

**Исследования
по славянской
диалектологии 4**

DIALECTOLOGIA SLAVICA

*Сборник к 85-летию
С. Б. Бернштейна*

 **ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИНДРИК»
Москва 1995**

**Российская Академия наук
Институт славяноведения и балканистики**

DIALECTOLOGIA SLAVICA

Российская Академия наук
Институт славяноведения и балканистики

**ИССЛЕДОВАНИЯ
ПО СЛАВЯНСКОЙ ДИАЛЕКТОЛОГИИ**

4

Редакционная коллегия серии:

кандидат филологических наук *М. И. Ермакова*,
доктор филологических наук *Л. Э. Калнынь* (председатель)
кандидат филологических наук *Г. П. Клепикова*

Российская Академия наук
Институт славяноведения и балканистики

DIALECTOLOGIA SLAVICA

*Сборник к 85-летию
Самуила Борисовича Бернштейна*

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИНДРИК»
Москва 1995

Редакционная коллегия:

Л. Э. Калынь

Г. П. Клепикова

(ответственный редактор)

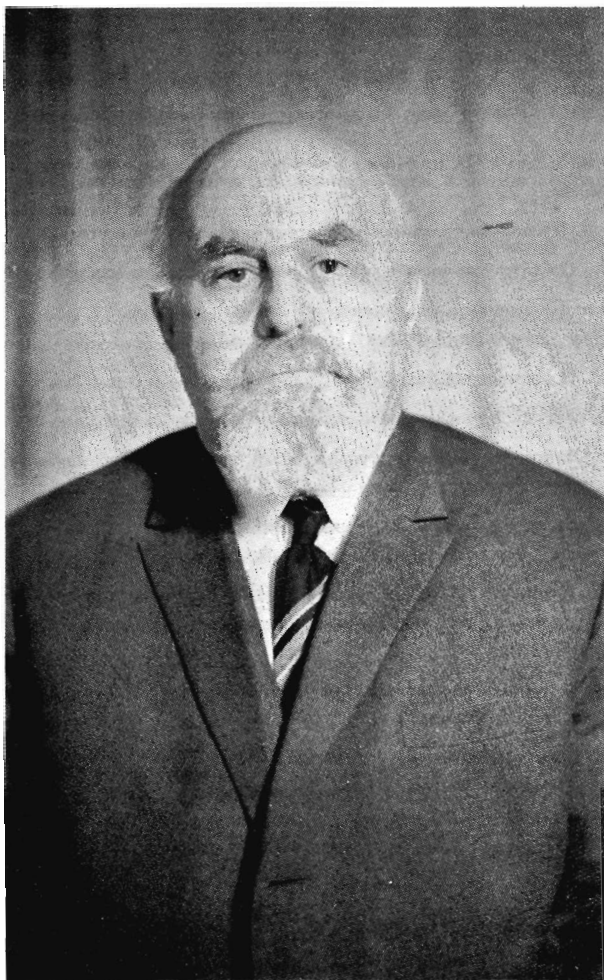
Е. Н. Овчинникова

DIALECTOLOGIA SLAVICA. Сборник к 85-летию Самуила Борисовича Бернштейна / Отв. ред. Г. П. Клепикова. — М.: Издательство «Индрик», 1995. — 336 стр. — (Институт славяноведения и балканистики РАН. Серия: «Исследования по славянской диалектологии».)

ISBN 5-85759-028-0

Сборник, посвященный замечательному ученому, одному из основателей современной славистической науки профессору С. Б. Бернштейну, содержит статьи российских и зарубежных исследователей, рассматривающих различные аспекты славянской диалектологии (диалектология как источник сравнительно-исторических штудий, описательная диалектология и лингвистическая география, история славянской диалектологии). Тематическая направленность сборника определяется тем, что в научном творчестве С. Б. Бернштейна вопросы славянской диалектологии занимают важное место, он является инициатором и активным участником работы над рядом славянских лингвистических атласов. В сборнике принимают участие известные слависты — академики О. Н. Трубачев, Н. И. Толстой, В. Н. Топоров, Б. Видоески, коллеги и ученики профессора С. Б. Бернштейна.

Сборник представляет интерес для широкого круга специалистов в области славянского языкознания, истории, истории культуры и т. д.



Самуил Борисович Бернштейн

Содержание

I

<i>О. Н. Трубачев.</i> SCLAVANIA на Майне в меровингскую и каролингскую эпоху. Реликты языка.	11
<i>Н. И. Толстой.</i> Несколько болгарско-русских лексических соответствий.	36
<i>В. Н. Топоров.</i> О балто-славянской диалектологии (несколько соображений).	40
<i>Ж. Ж. Варбот.</i> Праславянские вариантные глагольные основы с корнем * <i>ny-</i> 'качать (ся), склонять (ся), кивать'.	54
<i>Л. В. Куркина.</i> К этимологии болгарских диалектизмов.	59
<i>Н. Popowska-Taborska.</i> Pewna pozorna zbieżność kaszubsko-bułgarska.	72
<i>Е. И. Демина.</i> Лингвогеография и история языка: к вопросу о возможностях и методике синтетического анализа.	75
<i>М. И. Ермакова.</i> Серболужицкие памятники письменности и историческая диалектология серболужицкого языка.	87
<i>Л. Э. Калмынь.</i> К вопросу об использовании лингвогеографической информации при анализе динамики диалектной фонетической черты. Оглушение вибранта.	93
<i>Г. П. Клепикова.</i> Румынизмы славянского происхождения в карпатославянских диалектах.	100
<i>Т. В. Попова.</i> «Восточнославянские изоглоссы»: новый тип лингвогеографического исследования.	113

II

<i>Н. Е. Ананьева.</i> О некоторых особенностях глагола в польских говорах окрестностей Видз.	126
<i>Т. Бояджиев.</i> Епентеза и елизия на съгласните <i>m</i> и <i>ð</i> в българските диалекти.	133
<i>Т. И. Вендина.</i> Обобщающая карта как объект лингвистического исследования.	137
<i>Б. Видоески.</i> Членските морфеме во македонскиот дијалектен јазик (Прилог кон Македонскиот дијалектен атлас).	149
<i>Л. В. Вялкина.</i> Мотивационные признаки одной лексико-семантической группы (По материалам ОЛА).	165
<i>J. Dudášová-Kriššáková.</i> Jazyk Slovákov v Poľsku.	172

<i>А. Ф. Журавлев.</i> Лексикографические фантомы. I. СРНГ, А—З.	183
<i>Я. Закревська.</i> На західному пограниччі української мовної території.	194
<i>Л. И. Масленикова.</i> К вопросу о новых польских говорах.	205
<i>Э. Михаил.</i> Методология лингвистической географии в сравнительном изучении языков Юго-Восточной Европы.	211
<i>О. Н. Мораховская.</i> Значение лексико-семантических карт для исследования структуры диалектного языка.	217
<i>Н. Н. Пшеничниова.</i> Структурно-типологическая классификация говоров и диалектное членение русского языка.	224
<i>В. А. Пыхов.</i> Глаголы со значением 'режет (хлеб)' в славянских языках (По материалам Общеславянского лингвистического атласа).	239
<i>I. Rířka.</i> Vnı́troslovná antonymia v nářečích karpatskej oblasti.	243
<i>Т. М. Судник.</i> Об одной литовско-белорусской семантической параллели (ógas : надвóр'е 'пространство', 'погода').	249
<i>Я. Сятковский.</i> О влиянии русского языка на лексику силезских произведений Хорста Бинека.	258
<i>С. М. Толстая.</i> Диалектные ареалы литературных слов (Заметки на полях «Лексического атласа белорусского языка»).	263
<i>Т. В. Цивьян.</i> Мотив движения гор в балканославянских пастушеских песнях.	274

III

<i>Г. К. Венедиктов.</i> Из архивных материалов к начальной истории болгарской диалектологии.	285
<i>В. П. Гудков.</i> К оценке вклада русских лингвистов в науку о диалектах сербскохорватского языка.	295
<i>В. К. Журавлев.</i> Поиски оснований болгарской диалектологии.	303
<i>Л. Н. Смирнов.</i> К истории изучения словацких диалектов в дореволюционной России.	311
<i>Е. В. Чешко.</i> Об истории создания «Атласа болгарских говоров в СССР» (М., 1958).	318
Библиография трудов по диалектологии проф. С. Б. Бернштейна (1939—1995).	326

3 января 1996 года профессору Самуилу Борисовичу Бернштейну, видному ученому-слависту нашего времени, исполняется 85 лет. К этой дате коллеги и ученики С. Б. Бернштейна, работающие вместе с ним в Институте славяноведения и балканистики РАН, а также лингвисты других научных центров России и ряда зарубежных стран — Болгарии, Македонии, Польши, Румынии, Словакии, Украины — подготовили специальный сборник статей. При этом, если в аналогичных юбилейных сборниках, посвященных С. Б. Бернштейну («Исследования по славянскому языкознанию» [1971], «*Studia slavica*» [1990]), представлен широкий круг славяноведческих проблем, то настоящий сборник отличается определенным единством тематики. Это — славянская диалектология. Такой выбор кажется оправданным, поскольку, как известно, диалектологическое направление занимает важное место в научном творчестве С. Б. Бернштейна. Он является инициатором и активным участником работы над рядом лингвистических атласов, автором большого числа диалектологических штудий (см. Приложение, содержащее список трудов юбиляра в этой области славянского языкознания).

В первый раздел сборника включены исследования, широко использующие данные славянских диалектов для решения задач диахронического характера (сравнительно-исторических, этимологических и др.). Второй раздел посвящен изучению синхронного состояния славянских диалектов, в том числе методами лингвогеографии (описание отдельных особенностей диалектов различных славянских языков и диалектных ландшафтов, анализ возможностей методов лингвогеографии, соотношение диалектных фактов и фактов литературного языка и под.). Наконец, в третьем разделе содержатся статьи, рассматривающие некоторые страницы истории славянской диалектологии.

В подготовке сборника к печати приняли участие И. А. Калужская и М. А. Осипова.

Искренне признательны всем, кто выразил желание быть автором сборника, публикуемого по случаю 85-летия профессора С. Б. Бернштейна.

Редакторы

3th of January 1996 Professor Samuil B. Bernshtein, the eminent contemporary investigator of Slavic languages, will be 85. By this date colleagues and disciples of Prof. S. B. Bernshtein from the Institute for Slavic and Balkan Studies in Moscow and linguists from other research centres of Russia and foreign states — Bulgaria, Macedonia, Poland, Romania, Slovakia, Ukraine — have prepared a special collection of articles. Moreover, if in similar jubilee collections devoted to Prof. S. B. Bernshtein (*Papers on Slavic Linguistics* [1971], *Studia slavica* [1990]) a wide range of Slavic problems was discussed, the present collection is notable for its definite subject unity. That is Slavic dialectology. Such a choice seems to be justified because, as it is known, dialectological trend occupies an important place in creative work by Prof. S. B. Bernshtein. He was the pioneer and the active participant of the series of linguistic atlases, the author of a great number of dialectological studies (v. Appendix containing the bibliography by the hero of the anniversary in this field of Slavic linguistics).

The first section of the book comprises papers exploiting Slavic dialectal data for solving problems of diachronic character (comparative-historical, etymological, etc.). The second section is devoted to the study of synchronous state of Slavic dialects including methods of linguistic geography (description of some peculiarities of Slavic languages and dialect landscapes, analysis of the possibilities of linguo-geography, correlation of dialectal facts and those of the literary language, etc.). Finally, in the third section some papers devoted to the history of Slavic dialectology are collected.

The preparation of the book for print was assisted by I. A. Kaluzhskaya and M. A. Osipova.

We are sincerely grateful to all the participants in the collection of articles being published on the occasion of the 85th anniversary of Prof. S. B. Bernshtein.

Editors

I

О. Н. Трубачев (Москва)

**SCLAVANIA на Майне
в меровингскую и каролингскую эпоху.
Реликты языка**

Главным стимулом для нижеследующих наблюдений явилась новая книга немецкого слависта, профессора Йозефа Шютца — J. Schütz. *Franzens mainwendische Namen. Geschichte und Gegenwart. München, 1994* (*Philologia et litterae slavicae. Bd. II*) — далее [Schütz 1994]. Заслуга Шютца состоит в том, что он подверг критическому пересмотру историю, источники и нынешнее состояние филологического изучения остат-

ков языка (в основном — ономастики) так называемых майнских вене-дов. Лингвистический анализ Шютца пронизан духом живейшей полемики с двумя другими почтенными немецкими специалистами — Эрнстом Шварцем и Эрнстом Айхлером. Мы не станем вдаваться в детали этого спора, отметим только, что во многом оказался прав Йозеф Шютц. Он прав и тогда, когда упрекает автора настоящих строк в том, что исследования, предпринятые в книге последнего «Этногенез и культура древнейших славян» 1991 года, «не затрагивают ни ареал, ни этническую принадлежность майнских провинций» [Schütz 1994, S. 95], справедливо указывая на как бы «маятниковый, амплитудный характер славянского заселения в древнейшее время в этом районе» [ib., S. 92]. И в целом в книге Шютца ярко сформулирован призыв ко всей славистике выполнить свой долг по отношению к этим «языковым „крохам“ майнсковенедской ономастики меровингской эпохи» [Schütz 1994, S. 175], значение которых явно выходит за рамки интересов местных историков и краеведов восточной (Верхней) Франконии и которые до поры до времени не привлекали того внимания, которого они заслуживают в общеславистическом плане. С равным правом указывает Шютц и на недостаток внимания со стороны славянской филологии к самому раннему западноевропейскому источнику проблемы — хронике Фредегара, повествующей о событиях начала VII века в исследуемом регионе. Присовокупляя к этому также другие источники, а главное — лингвистическую реконструкцию, которая уводит в дописьменную древность, мы начинаем лучше понимать, что перед нами — языковая периферия со своими неповторимыми, своеобразными чертами и собственным отношением к остальному (исходному) славянскому ареалу.

Возможность высказать свое понимание проблемы и свою интерпретацию ряда позиций из числа собранного Шютцем материала побудила меня откликнуться на этот общеславистический призыв немецкого коллеги. Начну с восполнения явных децидат, отсутствие которых в труде Шютца очевидно. Это в первую очередь — возможно полный алфавитный индекс условно праславянских реконструкций ономастических остатков языка местных вене-дов-славян, со временем растворившихся в немецком населении восточных районов Франкской империи, исторической Аустрии или Аустразии. В книге Шютца содержатся алфавитные указатели соответствующих старых и новых немецких форм топонимов и гидронимов [S. 191–200], что лишь повышает потребность собственно славянского индекса, который мы и приводим ниже (с некоторыми, здесь не оговариваемыми, отклонениями в деталях от авторской реконструкции):

*borica	*gnojica	*laziny	*pol'anica	*šćarъсь
*borovišće	*godica	*lěсь	*polъno (paltena)	*šćavъсь
*brěziny	*godomyslъ	*lěvica	*poostrožъje	*šćebina
*brъvica	*godъci	*l'uboradjъ	*poręčъje	*šćeglica
*bъzъpnica	*godъсь	*l'uzъnica/luzъnica	*rozarišće	*šćurgъka
*bъrlica	*godъn-	*lomišće	*požog-	*tisъ
*črětъсь	*golišće	*lovъči lovъ	*pręčъnъ	*topidlišće
*čъmelъ	*gonicě	*lub-	*prękasъ	*topina
*čъrnedъ	*grabъ	*lubina	*prēmyslъ	*trěbenъ
*čъrnidlo	*guzъ	*med-	*prēsękъ	*ulica
*čъrпъ	*gybica	*močidlo	*pridrožъje	*vališće
*dobica	*xlěvъ	*močъn-	*pustыrъ	*velimyslъ
*dobra	*xvoja	*mъdъl-	*ręčica	*velъpodъ
*dobrina	*iz-gari	*nil-	*rъdrica	*voldpodъ
*dobrotinъ	*iz-žari	*niziny	*sedlišće	*vonъсь
*dobr-	*jamica	*nyrišće	*sědъbišće	*vysęk-
*dobrъ	*kamenicě	*obъcina	*sikora	*vъlčъpnica
*dobъna	*klenъсь	*obžari	*slama	*vъrba
*dolica	*klětъca	*obžarišće	*slatina	*vъrбъpnъc-
*doręža?	*kl'učъ	*olъšica	*slop-	*zelenica
*dorica	*klody	*olъšъnica	*smoljanica	*zvērinъсь
*dragomyslъ	*kopанъ	*osękъ	*spъvъсь	*želb-
*drebica	*koryto	*oslupi	*sny/*spъve	*zi(d)lišće
*drěvesa	*kridlica	*pž-	*stopa	*žirъk-
*droga	*krivica	*pasęka	*stъgm-	*žirъn-
*drožъn-	*kruzi	*plesъ	*stъgmica	*živulica
*družina	*krynica	*po(d)myslъ	*stъrzišće	*žiza
*dymica	*kurъ	*podolja vъсь	*sъpišće	*žylčъ
*galaz-? (xalaz-?)	*kysliœ	*polica	*sъžarišće	

Следующее desideratum, которое я считал нужным выполнить, это составление также отсутствующей в книге Шютца карты примерного распространения и взаиморасположения перечисленных выше почти полутора сотен названий (см.). Географическая проекция майнсковенедских ономастических следов достаточно красноречива и показывает их самостоятельную позицию не только в отношении чешского языкового ареала и пограничного горно-лесного массива Чешского леса, который стал

«чешским» уже в относительно более позднее время, но и в отношении соседящего на севере и северо-востоке ареала продвижения серболужицких славян, которым обычно приписывается значительная роль в освоении этих центральногерманских пространств, ср. [1]. Эти примыкающие инославянские зоны экспансии никак не обозначены на нашей схематичной карте, что отнюдь не означает недооценку с нашей стороны западнославянских влияний и проникновений на верхнем Майне. Достаточно сказать, что отмеченная выше «условность» реконструкции майнсковенедских форм, в которой мы в основном следуем книге Шютца, выражается по большей части в преобладании послеметатезного состояния сочетаний с плавными, в том числе — однозначно лехитского вида (**brěziny*, **črěťcъ*, **dragomyslъ*, **drěvesa*, **droga*, **drožъn-*, **kloidy*, **prěčъnъ*, **prěkoscъ*, **prēmyslъ*, **prēsěckъ*, **pridrožъje*, **slama*, **slatina*, **trěbenъ*). Но, как в отношении многих других явлений, так и в отношении славянской метатезы плавных, преобладающий цифровой итог вполне может оказаться вторичным продуктом, и дOMETATEЗНЫЕ состояния хорошо известны на периферии лехитского языкового ареала. Тот же Фредегар сохранил нам такой древний пример, как имя вождя племени сербов — дOMETATEЗНОЕ *Dervanus dux gente Surbiorum* [Fred. Chron. IV, 68 (21)], собственно, апеллатив '(полабский) древлянин, дравен'. Вполне допустимо считать, что волна метатезных инноваций пришла к майнским венедам вторично извне и что собственную майнсковенедскую древность логичнее ассоциировать с немногими, но действительно древними примерами «до метатезы плавных», говоря упрощенно. Сюда относятся: **želb-* на крайнем северо-востоке (см. карту), немецкая форма гидронима — *Selb*, которую Шютц не решается соотнести с известным славянским названием жолоба — ст.-чеш. *žleb*, н.-луж. *žlob* как раз по причине отсутствия метатезы плавных в майнсковенедском примере: «ожидалось бы **žlěb-*» [Schütz 1994, S. 144]. Вместе с этим нашего автора не удивляет чисто дOMETATEЗНОЕ состояние одного несомненно майнсковенедского примера в поземельной описи XII века (так называемый «*Banzer Reichsurbar*») лесного района Банц на верхнем Майне. Речь там идет о подати, взимаемой «платьями из шерсти», причем последнее глоссируется туземным словом *paltēna*, очевидный славянский плюраль от славянского же **polъno* — **polъna*. Это позволяет датировать заимствование слова из местного славянского в древневерхненемецкий первый половиной VII века; в соседних западнославянских формах этого названия полотна история застала уже метатезированное состояние: н.-луж. *plotno*, чеш. *plátno* [Schütz 1994, S. 89–90]. Но самый замечательный и весомый пример дOMETATEЗНОГО состояния зафиксирован в слове, ко-

торое одновременно может считаться драгоценным вкладом скудных остатков майнсковенедского языка в общеславянский словарный состав, — это местный праславянский лексический диалектизм **voldpodbъ*, которым мы еще займемся ниже и который реконструируется на основе обозначения туземной знати, приравненной к имперскому комесу («графу»). Это, во-первых, *waltpoto* по имени Immo, участник (testis 'свидетель') Бамбергского синода 1059 года; во-вторых, этот сан четко обозначен как «туземный, народный» в королевской грамоте относительно позднего времени (1139): ...quisquam..., qui vulgo waltpodo vocatur (см. [Schütz 1994, S. 161–162], там же совершенно справедливо отведена попытка немецкого историка истолковать этот несомненно знатный туземный сан как нем. *Gewaltbote* — что-то вроде 'судебного исполнителя!').

Дальнейшая историкофонетическая характеристика майнсковенедских реликтов выглядит в общих чертах следующим образом. Следов носовых гласных в записях франкской имперской канцелярии почти не сохранилось, ср. **krug-*, мн. **kruzi* (нем. *Creussen*), если из праслав. **krqǫbъ* [Schütz 1994, S. 131]; **guž-* (нем. стар. *Gusibah* in *Sclavis*, 810–832 гг.), если из **gqǫž-* [Schütz 1994, S. 158]; но ср. сохраненное **qž-* (нем. стар. *Bunselesdorf*, ок. 800 г. [ib., S. 159]). Что касается чистых гласных, их фиксация в условиях местного славянско-немецкого двуязычия немецкой канцелярией, о которой Шютц отзывался похвально, допускала, видимо, двусмысленные решения, напр. нем. топоним *Schlömen* как отражение слав. **slama/*sloma* или **slemeŕ/mene* [Schütz 1994, S. 120], чем приходится существенно оговорить однозначно лехитские (см. выше) или иные славянские сближения.

Чешско-словацко-верхнелужицкого перехода $g > h$ язык майнских венедов, по-видимому, не знал. Об этом свидетельствует, с одной стороны, надежное наличие примеров на g в начале и внутри слов (**dragomyšbъ*, **droga*, **gnojica*, **godica*, **grabъ* и др., см. список выше), а с другой стороны — абсолютная ненадежность и изолированность авторского прочтения немецкого топонима *Hallstadt*, стар. *Halazestat*, 741 г., как майнсковенедского **gälāz-/gälēz-* 'freies, offenes Fischwehr' [Schütz 1994, S. 155], чем и вызвано у нас, выше, допущение вариантной реконструкции **xalaz-?* Проблема сохранения и отражения сочетания согласных dl при ближайшем рассмотрении выглядит не столь однозначно, как это видится немецкому исследователю, который уверенно заключает о названиях типа **sedlišče* на основе нем. *Zettlitz*: «Названия на dl имеют типичную западнославянскую фонетическую форму» [Schütz 1994, S. 117]. В самом деле наличие dl как праславянский периферийный арха-

и з м можно констатировать в случаях **kridlica* [Schütz 1994, S. 84]: **krydllica*, при нем. *Creidltiz*), **čьrnidlo* (нем. *Schirmaidl*), **močidlo* (нем. *Mot-schiedel*), **topidlišče* (нем. *Toupetlitz*). Но есть вещи, также имеющие сюда отношение, хотя и менее заметные в силу своей региональности, чем объясняется то, что слависты мимо них обычно проходят. В книге Шютца дважды представлено майнсковенедское, славянское **žilišče*, реконструированное один раз на основе нем. *Zeilitzheim*, другой раз – нем. *Seylitz* [Schütz 1994, S. 104, 118]. В правдоподобности реконструкции майнсковенедского **žilišče* (у нас на карте оба случая локализируются между Швайнфуртом и Бамбергом, неподалеку от реки Майн) вряд ли нужно сомневаться. Наша поправка выражается в уточнении праславянской формы – не **žilišče*, а **židlišče*, как о том свидетельствует польск. стар. *żydło* ср. р. 'жизнь' [2, t. 8, s. 732], а также, до известной степени, консонантная репродукция в укр. *житло* 'жильё', на что было уже давно обращено внимание [3]. Кажется, это ослабляет западнославянский тезис Шютца (выше) или, во всяком случае, позволяет нащупать диалектную сложность языка майнских венедов, допускающую не только западнославянские ассоциации. Существенно поэтому то, как в майнсковенедском языковом пространстве манифестируется известнейшая изоглосса *iz-* (*jьz-*) ~ *vy-*, довольно четко разделяющая в огромном большинстве случаев славянский Юг (*iz-*) и славянский Запад (*vy-*). Так, на примере **vysěk-* (нем. *Weysig*) в книге Шютца делается важный вывод, что по изоглоссе *iz-/vy-* майнсковенедский имеет западнославянский характер [Schütz 1994, S. 104]. Однако при этом автор забывает о наличии в собственном же материале двух случаев с префиксом *iz-*: **iz-žari* (нем. *Isaar, Iser*) и **iz-gari* (нем. *Issigau*, стар. *Ysgir*) [Schütz 1994, S. 84]. Известно, что этимологические случаи **iz-žar-* (точнее **jьz-žar-*) и **iz-gar-* (**jьz-gar-*) получают в западнославянском иную фонетическую трактовку, ср. чеш. *Žďár* [4, s. 139; 5, вып. 9, с. 103], а также отличие сербохорв. *žgâr* от кашубскословинского *zgara* [5, вып. 9, с. 27]. В нашем случае с **iz-gar-* и **iz-žar-* оба примера, находясь на крайнем северо-востоке майнсковенедского языкового пространства (см. карту), то есть на аванпостах древней серболужицкой зоны экспансии, ведут себя как южнославянские рефлексy. Кстати сказать, выдающуюся древность майнсковенедских реликтов способна показать относительная хронология соответствующих немецко-славянских языковых контактов, конкретно – один поучительный случай, специально разбираемый Шютцем [Schütz 1994, S. 93], причем не только в этой книге. Этим случаем уместно завершить наши наблюдения по исторической фонетике майн-

сковенедского. Современный немецкий топоним *Herreth*, особенно – стар. *Norwida* (в междуречье реки Итц и верхнего течения Майна, см. нашу карту) Шютц расшифровывает как майнсковенедское (слав.) **ko-ryto*, замечательное архаизмом отражения слав. *k* > нем. *kh*, *h* (древневерхненемецкое передвижение согласных) и фиксацией дифтонгического характера слав. *y=wi* (*ui*).

В отношении словообразования, которое, как всегда, трудно отграничить от лексики (см. о ней ниже у нас), замечательно присутствие в майнсковенедских реликтах нерасширенной формы **med-*, в составе немецкого топонима *Medbach* [Schütz 1994, S. 58]. Шютц в принципе правильно связал этот случай со слав. **med-ja* ‘межа, граница’ (на нашей карте это один из самых южных майнсковенедских топонимов). Однако, если быть точным, следует обратить внимание на специальную близость майнсковенедского **med-* форме предлога *med* ‘между’ в западной части южнославянских языков (словенский, кайкавский, диалектно-сербохорватский), в то время как в остальных славянских распространено расширенное **medju*, **medje-*, ср. [6]. В функциональном отношении случай *Medbach*, кажется, наиболее близок словенскому топониму *Medvode* (объясняемому из **medvodjane*, см. [7], правда, последний автор не уловил архаической сущности формы *med-*). Еще один пример нерасширенной архаичной формы: в майнсковенедских остатках встречается (в связанном виде) один случай *velb-* и нет совсем суффиксального *velikъ*. Речь идет, кстати, о лексическом уникале **velbpodъ*/**velbpotъ*, выделяемом на базе нем. *Wölbattendorf* [Schütz 1994, S. 167], ср. второй компонент майнсковенедского **vold-podъ* и слав. **gospodъ*, а также первый компонент **velbmoza* (см. северо-восточный сектор нашей карты).

Знакомство с майнсковенедской лексикой, получившей косвенное отражение в ономастических реликтах майнсковенедского, поучительно и на фоне собственного опыта по составлению Этимологического словаря славянских языков. Так, случай **byrlica* ([Schütz 1994, S. III–III2], на базе нем. *Wurlitz*, стар. *Borlitz*, северо-восточный сектор нашей карты) Шютц предпочитает прямо сравнивать с лит. *buřlas* ‘грязь’ (о балтийских и особо понимаемых венедских предпочтениях Шютца я рассчитываю сказать далее). Правильнее было бы, по-видимому, говорить о форме слав. **byrlica* (так у нас в списке), не учтенной, правда, в ЭССЯ, но очевидной производной форме от глагола **byrliti* ‘возиться, мешать’, сюда же **byrloga/ъ*; **byrlica*, между прочим, засвидетельствована в славянской ономастике Германии, ср. *Berlitz-*, *Börlitz*, *Prörlitzsch*, отмеченные в книге Удольфа [8], не попавшей на этот раз в поле зрения нашего автора.

Даже тот скудный лексический материал, который дошел до нас непрямым, не всегда очевидным образом, дает иногда возможность говорить о наличии лексикосемантических изоглосс внутри майнсковенедской области. Так, Шютц обратил внимание на тот факт, что в номенклатуре, первоначально связанной, вероятно, с обозначением хороших сельскохозяйственных угодий, производные с корнем *god- на запад от реки Регниц не встречаются (там выступают производные от *dobr-), место последних — в восточной части региона: *godīca (нем. Joditz, Koditz), *godъn- (нем. Ködnitz), *godьci, см. [Schütz 1994, S. 127 и след.]. Именно эти последние он считает более инновационными, сравнительно с гнездом *dob(r)-, хотя речь идет о достаточно архаичных производных, к сожалению, не отмеченных или слабо отмеченных в нашем ЭССЯ.

Несмотря на то, что Шютц очень внимателен ко всем проявлениям «переключки» между майнсковенедской и восточнославянской (русской, северновеликорусской) топонимическими зонами, с полным основанием рассматривая ту и другую как языковые периферии и поэтому — хранилища архаизмов (см. специально [Schütz 1994, S. 113]), вполне возможно, что им в этом отношении выявлено далеко не все. Так, проблематичная славянская реконструкция *dorъža (у нас в списке со знаком вопроса, см. также на карте к северу от Майна) на базе темной немецкой формы *Theres*, стар. *Tharissa* (986 г., [Schütz 1994, S. 136]), по автору — из *do-rъža (?!), якобы сложения, ср. русск. *реж* 'решетина', вызывает у нас в памяти, скорее, др.-русск. *деряждье* ср. р. 'завал из хвороста, кустарника (?)' (Ипат. лет. под 1251 г. [9, вып. 4, с. 213]).

Одной из замечательных локальных особенностей репертуара майнсковенедских лексем, пока не обнаружившей соответствий ни в Западной Славии, ни где-либо еще, кроме восточнославянского, оказывается генетически речное название архаического вида (основа на -ū-) с индоевропейским корнем *sny/*snъve (нем. *Schney*, стар. *Znuvia*, *Cenewe*, *Cenewa*, XI в., на правобережье верхнего Майна, см. карту). Шютц точно определил «величайший славистический интерес», представляемый этим гидронимом, в том числе — по причине несохранения исходного апеллатива — от и.-е. *sneц- 'плыть, течь'. Столь же бесспорна идентификация Шютцем майнсковенедского *Sny/*snъвь и восточнославянского *Снов(ь)* в бассейне Десны, точно проэтимологизированного в свое время Розвадовским в упомянутом выше индоевропейском смысле [10, s. 197 и сл.]. Однако знаменитому ученому тогда еще не был известен другой случай *sny/*snъve — на западной периферии славянства. Можно

понять Шютца, когда он элегически восклицает: «Если бы Розвадовский знал франконскую Schney в ее письменных вариантах!...» [Schütz 1994, S. 76]. Любопытно, что в самых верховьях Майна (см. карту) находится еще производное от того же корня **snъvъsъ* (нем. *Schnebes*, [Schütz 1994, S. 119]).

К сожалению, Шютц никак не комментирует кратко упоминаемое им водное название *Plez* в записи конца XVI — начала XVII века [Schütz 1994, S. 139], у нас в списке — в форме **plesъ*. Гидрографический термин и гидроним слав. **plesъ*, **pleso* представлен у славян довольно широко, но с характерными лакунами: во всех восточнославянских языках, из западнославянских прежде всего — в чешском и словацком, причем особенно в качестве названия озера, что позволяет вернуться к вопросу о паннонско-славянской природе античного названия Балатона — *Iacus Pelso(nis)*, см. [11, с. 128, сноска]; в верхнелужицком слово неизвестно [12, S. 1106], известен старый пример из нижнелужицкого, несколько польских диалектных свидетельств, либо тяготеющих к карпатскому ареалу, либо сомнительных, см. подробнее [8, S. 381 и след.]. Можно думать, что в случае с **plesъ* майнсковенедский тяготел скорее к паннонскославянскому.

Не столь ярко, но все же проявилось, кажется, тяготение майнсковенедского к наиболее древней форме славянского названия дерева 'граб *Carpinus betulus*' и соответственно — к срединным частям славянского языкового ареала. Здесь майнсковенедский, как явствует из отраженного названием старинного округа *Grabfeld(gau)* VIII—IX вв. между Фульдой, средним Майном и верхним течением Верры (северный сектор нашей карты, см. также [Schütz 1994, S. 105], с указанием тождества *Grabfeld* = герм.-лат. *Buchonia* = слав. *grab*), оказывается в одной группе с другими славянскими языками, сохранившими наиболее архаичное слав. **grabъ*. С востока, на чешской территории, рано установилась инновационная форма *habr*, *Habr* [4, с. 111], аналогичная форма, что интересно, отмечается на крайнем западе старой серболужицкой экспансии — *Gabritz* в районе Иены [13], при преобладании на собственно серболужицкой и польской территории формы **grabъ*. Интересное в лингвогеографическом отношении славянское название этого дерева особенно богато вариантами на славянском Юге, где представлены **grabъ*, **grabъ* и **gabъ*, причем как центр югославянской территории, так и центр Паннонии характеризуются топонимией с корнем **grab-* [14].

Тесное и постоянное общение с лесом майнских венедов в этой, очевидно, лесной, особенно тринадцать столетий назад, зоне проявляется

множественно даже в не очень многочисленной майнсковенедской ономастике. Это и **lěšъ* [Schütz 1994, S. 130] и – примерно в том же значении общего термина – **krqgъ*, мн. **krqzi*, откуда немецкий топоним *Creußen* [Schütz 1994, S. 131]. Сохранился и след от плюраля **drēvesa* от **drēvo* (нем. *Trevesen*, ib., S. 132). На вопрос о важности лесосеки для хозяйственной деятельности майнских венедов возможен уверенный утвердительный ответ, основанный на богатстве сложений глагольного корня *sěk-* с приставками, ср. в нашем списке **osěkъ* (нем. *Ossich*), близкое, очевидно, скорее не сербо-хорв. *Osijek*, по Фасмеру – ‘крутой обрыв’ в соответствии с эфирским (илирийским) $\mu\acute{o}\upsilon\rho\sigma\alpha$ ‘яма’ [15], а др.-русск. *осѣкъ* ‘завал, засека; изгородь’ [9, вып. 13, с. 83]; далее, сюда майнсковенед. **pasěka*, **prēsěkъ*, **vysěk-*. Ту же реальную семантику выражают отчасти уже обсужденные нами майнсковенедские образования **izgari*, **izzari*, **obzari*, **obzarišče*, **požarišče*, **požog-* (реконструкция Шютца), **sžarišče*, **trēbenъ* (см. наш список, выше). Историк культуры эти названия говорят яснее, чем письменные документы, что местное славянское население – это не кочевая орда, живущая случайной добычей и охотой (хотя есть и ономастические свидетельства об охоте майнских венедов – **lovьdi lovъ* нашего списка – топоним *Luzelowa*, *nemus Lovecilowe*, 1195 г. – [Schütz 1994, S. 89–90]), а земледельцы, ведущие обычное для эпохи экстенсивное, подсечно-огневое земледелие. Их весьма раннюю оседлость справедливо подчеркивает и Шютц, в противном случае мы просто не сможем понять наличие майнсковенедских терминов **xlěvъ*, вероятно, ‘жилая землянка’, также ‘хлев для скотины’ (нем. *Kleb-hof* в округе Бамберга) и **klětъca* ‘легкая постройка’ (нем. *Kleetz-höfe* в северо-восточной Баварии, и то, и другое – [Schütz 1994, S. 65, 67], а также на нашей карте). Мы не уполномочены, наверное, судить о наличии у майнских венедов «городов»; но постоянные поселения, села у них объективно трудно отрицать. Так, аргументом для реконструкции майнсковенедского **vьsь* ‘село, селение’ Шютцу служит его прочтение **podolja vьsь* на базе нем. стар. *Botolfes-stat*, 788 г. [Schütz 1994, S. 80–81], причем ему приходится полемизировать с Э. Шварцем, считавшем, что слав. **vьsь* ‘Dorf’ для майнсковенедского не свойственно. Социально-исторически весьма реконструкция майнсковенедского **obьcina*, видимо, что-то вроде ‘(сельской) общины’, предпринимаемая на основе немецкого топонима *Ebecen-dorf* [Schütz 1994, S. 91]. Этими общинниками, которые вырубали леса для получения хороших земель под пашню (**dob-*, **god-* и производные, см. выше), занимались ремеслами, во всяком случае до-

стоверно платили подати кусками и изделиями из полотна и шерсти (**polьno*, выше), причем мерили свои и привозные изделия какой-то, видимо, привычной для себя, как и для других, впрочем, славян, 'стой', ср. *ostar-stuopha*, «secundum illorum lingua», то есть «на их языке» (очевидно негерманское название «восточной меры», как понимает это Шютц [Schütz 1994, S. 46], который решительно выступает против упрощенного немецкого чтения «Osterstufe» этого места в современном документе, но и явно славянского чтения **stopa*, у нас — в списке, не дает и не соотносит этого понятия с аналогами у других славян, см. о них [16; 17; 18]), — этими славянскими общинниками, судя по всему, правили «лучшие люди» племени, обозначавшиеся весьма самобытными терминами, уже кратко названными выше: **velьpodь* и **voldpodь*. Их самобытность и относительно высокий социальный статус очевидны и практически не требуют специального обоснования. В случае с первым термином к социальной терминологии, в сущности, принадлежат оба компонента сложения — **potь*, представленное еще в особом **potь-bèga*, о разведенной жене, и *velь-* в другом названии знатного человека — **velьmoza*, см. еще о них [19]. То же самое, в общем, можно сказать и о компонентах термина **vold-podь*, ценного как еще одна встречаемость реликтового корня **potь* в славянском ([Schütz 1994, S. 163]: «...название сана, впервые встречающееся как узко региональный случай именно на верхнем Майне...»), пока что не ставшая достоянием словарей и грамматик, что лишний раз подчеркивает заслугу Шютца и правильность в данном случае его этимологической атрибуции **voldpodь* к ст.-слав. *господь*, лит. *vieš-pats* 'господин, господь' и слав. **voldèti*, лит. *valdyti* 'владеть' ([Schütz 1994, S. 165, 166]: семантическое сближение **vold-podь* и др.-в.-нем. **walt-hërro* 'владельческий господин').

Но в интересах верного суждения о самобытности прежде всего **voldpodь* как социального термина полезно задуматься, так сказать, о политической ситуации тех далеких времен. Не поднявшиеся до собственной государственности, майнские венеда, лесные и сельские жители, хотя и вынужденные волей судьбы сосуществовать с франкскими меровингами и еще более грозными каролингами, в силу создаваемого различия социальных стадий просто не могли перенести на себя, в свою племенную практику, франкскую терминологию, обозначающую владельцев господ и государей. Вот еще одна причина (более важная, чем пресловутая скудость майнсковенедских реликтов!) — причина того, что майнские венеда не знали германизмов **kor(o)ль* и **кѣнѣзь*, распространившихся со временем у всех славян, а употребляли применительно к

собственному быту «доморощенное» **voldpodь*. Последнее составилось из исконно славянских корней и, как кажется, было ориентировано на связи не с западными славянами, а с ближайшими из южных, или, точнее сказать для той эпохи, паннонских и дунайских славян. Все это дает нам повод для того, чтобы вспомнить одно место из хроники Фредегара, на которое, кстати сказать, давно обратила внимание старая славистика. Речь идет о других местах и событиях того же далекого VII века — область *Marca Vinetorum*, на сей раз венедов не майнских, а паннонских, собственно словенцев, как предположил Миккола, вычленивший в фредегаровском контексте *cum Walluco, ducem Vinetorum* глоссу *Walluco=dux*, то есть, по мнению Микколы, древнесловенское, паннонскославянское название вождя, владыки [20], а по нашему мнению — очень архаическое (не только до метатезы плавных, но и до изменения $\bar{u} > y$ [21]) название, действительно приуроченное к Паннонии [22, т. 1, с. 327]. Слово **voldyka* имеет небезынтесную географию: ст.-слав. **владыка** δεσλότης, ἡγεμών (Супр.), у восточных славян распространена эта книжная, церковная форма, народная форма отсутствует, из южных славянских ср. еще серб. *vladika*, далее — чеш. *vládyka*. У остальных западных славян, кроме польск. *wlodyka*, деградировавшего в социальном отношении [16, с. 625], слово, по сути, неизвестно. Паннонскославянские связи должны быть акцентированы, в частности и для майнсковенед. **vold-podь*: паннонскославян. **voldyka*.

Мимо паннонскославянской ориентации не может пройти и Шютц, когда он характеризует хороним *Sclovania* в Бамбергском кодексе, служащий для обозначения славянских территорий, подвластных Восточнофранкскому королевству, причем, если вариант *Sclovinia* (Мюнхенский кодекс) отражает византийскогреческую огласовку Σκλαβην-, форма *Sclovania* отражает паннонскославянский узус, ср. чеш. *Slovany* мн. 'земля славян', *Slované* мн. 'славяне' и др.-в.-нем *Sklovān-* как отражение подобной формы [Schütz 1994, S. 170–171]. Прочитирую и заключение Шютца (там же): «Однако здесь имеются в виду явно, а не только внешне... в особенности паннонские славяне». Что касается еще одного — внутреннего — смысла *Sclovania* как обозначения всякий раз "о р у б е ж н ы х с л а в я н", то он не составляет никакого секрета и обсуждался нами неоднократно на примере разных случаев **slouěne*.

Таким образом, если для историка больше интереса представит, возможно, социально-экономический портрет майнсковенедского общества, извлекаемый из ономастики и преломленной в ней лексической семантики, то для языкознания (а в конечном счете — и для Истории, как хо-

телось бы верить) наиболее актуальна картина реконструкции лингвистической географии и изоглоссных связей, их возможный суммарный однозначный итог. В целях объективности этого последнего напомним ряд предшествующих наблюдений.

Группа рассмотренных выше майнсковенедских топонимов, гидронимов и антропонимов обнаруживает черты самобытности, в том числе периферийные архаизмы в виде ряда примеров «дометатезного» состояния сочетаний с плавными, сохранения взрывного *g* и изначальных групп *dl*, а также (что особенно характерно) ряд «незападнославянских» языковых особенностей: случаи перехода *dl > l* (**žilišče* 2×), префикса *iz-* (2×), нерасширенного префикса *med-*, западнославянского гидронима **sny*/**snъve*, преимущественно центральнославянские формы **plesъ*, **grabъ* и совершенно уникальные социальные термины **velъpodъ* и **voldpodъ*, второй из которых также имеет не западнославянские, а паннонскославянские связи.

Истории в самом общем смысле слова это может касаться постольку, поскольку становится все же вероятным, что в долины рек с «древнеевропейскими» названиями *Moenus* (*Main*) и *Radantia* (нем. *Regnitz*, *Rednitz*) будущие майнские венеды пришли с юга и юго-востока, из придунайских стран.

На этом наши наблюдения над майнсковенедскими остатками языка не кончаются, поскольку накопился также некоторый материал для отдельных этюдов, в том числе показывающих значение майнсковенедского для решения общеславистических проблем.

**myslъ* [муж] мудро следящий'

В.Н. Топоров более тридцати лет назад на основе сочетания внутренних и внешних аргументов практически доказал родство слав. **myslъ* 'mens, cogitatio' и и.-е. **men-* с тем же значением; его итогом явилась реконструкция суффиксального отглагольного производного **monsli*, ср. лит. *mąslus* 'вдумчивый, мыслящий, понятливый', и общее резюме: «Нужно думать, что на этом этапе анализа данные, которые можно извлечь из славянского материала, следует считать исчерпанными» [23]. Такое положение, действительно, сохранялось, пока нам не оставалось ничего другого, кроме как констатировать странную настойчивость повтора *-myslъ* в славянских именах мужчин *Dobromyslъ*, *Miromyslъ*, *Prèmyslъ* и т.д. Положение, кажется, несколько изменилось с вводом в

научный оборот майнсковенедских данных, причем имело место не столько количественное изменение, что вряд ли привнесло бы в исследование что-то существенно новое, кроме некоторого числа новых или подтверждения старых примеров: майнсковенед. **dobromyslъ*, **drogomyslъ*, **godomyslъ*, **po(d)myslъ*, **velimyslъ*, **prēmyslъ* (см. [Schütz 1994, S. 152] и наш список). Наметилась возможность некоторых качественных изменений в подходе к этому материалу, и эту новую возможность — что ценно — подсказывают контексты и контекстные варианты, наличествующие в книге Шютца либо им самим отчасти удачно реконструируемые (неоправданных сомнений Шютца в связи личных имен на *-myslъ* с семантикой 'mens, cogitatio' здесь не касаемся, потому что отклоняем их, как и его неверную попытку проэтимологизировать *domyslъ*, *promyslъ* отдельно от *myslъ*). К числу авторских удач, напротив, относим сопоставление *Dragomyslъ* (*mola Dragamuzilas*, в районе Нюрнберга, после 800 г.) с др.-в.-нем. **sintman*, *sinthêrre* 'mit Wegeaufgaben Vertrauter', говоря буквально — 'дорожный муж'; весьма перспективна и комбинаторика, подсказываемая авторским соотношением паннонскославянского *Dragamosus* (810) с проведенным словенским $q > o$, то есть **drago-možbъ*, с вышеназванным **drogomyslъ* [Schütz 1994, S. 152]. Замечательна в этом же смысле вариация, оставленная, правда, Шютцем в тексте без комментария [Schütz 1994, S. 149], которая позволяет попросту наблюдать, как более древнее название *Code-muzelsdorf* (Ансбах, XII в.) позднее сменяется как бы глоссирующим его немецким *Gottmannsdorf*. При всей скудости данных, напрашивается догадка о существовании (и значении) майнсковенедского апеллатива **myslъ* 'муж, мужчина', что соответственно было понято и переводилось франконскими немцами с помощью 'Mann'. Этому как будто не противоречит этнографическая информация из северо-восточной Баварии, то есть с территории майнской Склавании, о дожившем почти до современности обычае пляски ряженых мальчиков под рождество, причем сохранилось и название этого — *Pommwizel-Tanz* [Schütz 1994, S. 149]. Шютц не очень убедительно толкует реконструируемое при этом *pod-myslъ* как сложение с *pod-* 'Grund', видя здесь обозначение какого-то земельного специалиста или надзирателя (?), тогда как, не насылая этнографический контекст (пляска ряженых мальчиков, выше), уместно предположить лишь что-то вроде **pod-myslъ* = «под-муж». Здесь коренится какая-то нейтрализация «ментальной» номинации мужчины и мужской природы обозначения самой этой ментальности. Немногие, но откровенные контексты употребления майнсковенедского

**myslъ* 'муж, мужчина', похоже, помогают это понять применительно к общеславянским масштабам проблемы, не особенно вдаваясь здесь в детали (словосложение, даже первоначально, возможно, словосочетание **mon-*, см. выше, и глагола движения **sl-/s(ъ)l-* (или его каузатива)? не слогораздел, а словораздел **mōn-sl-*, что упростило бы вопрос трактовки конечного *ōn* > *-y*, ср. аналогию действительных причастий?). Решение этимологии **myslъ* 'муж' как атрибутивного двучлена можно опереть на другие индоевропейские обозначения 'мужа' как 'разумного' в чистом виде, ср. и.-е. *manu-* (примеры известны); так и еще одного двучлена, каковым следует, видимо, считать слав. **mqъь*, если оно из сложения **mon g(ъ)i-* 'разумно ходящий', вместо обычно приписываемой последнему суффиксальной версии, не очень убедительной ни в фонетическом, ни в морфологическом ее варианте. Имеется в виду – в первом случае – мало свойственное славянскому фонетическое развитие группы *-nъ* > *-ng^u*, предполагаемое Вайяном [24], и во втором случае – происхождение слав. **mqъь* от и.-е. **manu-* 'мужчина, человек' в соединении с суффиксом *-g-iō-* или *-g-iu-* [5, вып. 20, с. 160]. Натянутость последнего толкования (неясность функции и проблематичность самого суффикса *-g-*) неплохо контролируется случаем с лит. *žmogus*, попытка разложить который на *žmo-g-us*, якобы с *-g-* суффиксальным [25], столь же неудовлетворительна и бесперспективна, тогда как этимология из *žmo-gu-s* 'по земле ходящий', ср. [26, Vd. II, S. 1318–1319], превосходно решающая проблему всего слова и поддерживаемая другими свежими аналогиями на и.-е. **gus* из области атрибутивов-эпитетов мужчины-человека (напр. лит. *manda-gūs* 'вежливый, учтивый, милый', ср., возможно, сюда др.-инд. *manda-ga-* 'медленно передвигающийся?'), позволяет вновь вернуться к концепции **mqъь* как двучлена и аналогичной проблеме **myslъ/b*. Возвращаясь к корню **men-/mon-*, мы не можем не видеть, сколь основательно он задействован в обозначениях мужчины и мужских признаков, ср. этимологию слав. **mqdo* 'testiculus' < **men-* 'думать' [5, вып. 20, с. 125]. Архаический синкретизм 'мыслящего' и 'мужского' начал позволяет несколько по-новому взглянуть на иерархию форм, на их тесную, вплоть до неразличения, связь. Скажем, морфологически мужской вариант **myslъ*, куда принадлежат (помимо майнсковенедского **myslъ*, выше) ст.-польск. *Mysl*, личное имя собственное (1265), русск. диал. *мысел*, род. п. *-сла*, м. р. 'нрав, норы', *мысл* то же, скорее морфологически (и типологически) первичен по отношению к *-i-*основе слав. **myslъ*, которое логично понимать как эманацию некоего обозначаемого словом **myslъ* (иначе,

традиционно см. [5, вып. 21, с. 49]). Очень любопытно своеобразное нагнетание мужской этимологической семантики, наблюдаемое в псковском диалектном речении *ни по нраву, ни по мýслу* (цит. по [5, вып. 21, с. 49]), если при этом учесть, помимо того, что уже сказано выше о **myslъ* < **monsl-* как мужском атрибутиве, еще и то, что относится к этимологии народного здесь, несмотря на формулу TRAT, продолжения праслав. **norvъ*, генетически мужского обозначения норова, характера, как о том говорят древние связи с названием мужа, мужчины — др.-инд. *nar-*, авест. *nar-*, греч. ἀνήρ. Исследователи (Топоров, Варбот [5, вып. 21, s. v.] и др.) приводят в качестве неславянского соответствия слова **myslъ* 'mens, cogitatio' литовское *mąslus* 'вдумчивый, мыслящий'. Иерархической точности ради следует заметить, что это единственное практически полное и.-е. соответствие прежде всего для славянской основы не на *-i-* **myslъ* 'mens virilis' ← 'vir venator'. Собственно основа на *-i-* **myslъ* будет тогда уже славянской инновацией. Говоря об охотничьих коннотациях славянского названия мужа — **myslъ*, естественно вспомнить о прилагательном **myslivъjъ*, которое, по крайней мере в двух славянских языках (ст.-чеш., польск.), выражает значение 'охотничий, охотник' [5, вып. 21, с. 46]. Конечно, можно попытаться свести все к первоначальному 'способный думать, умный', что обычно и делается, ср. формальную отглагольную производность с суффиксом *-iv-* от глагола на *-iti* **mysliti*. Но секрет значения производных порой в том, что, формально вторичные, они способны хранить первичную семантику.

befulci (Fred. Chron. IV, 48) =
майнсковенедское **be(z)рѣлкъ*

Это слово в означенном месте Хроники Фредегара имеет репутацию «непонятного». Такую его репутацию не могли развеять ни старинная адидеация *befulci* и *dublicem* (= *duplicem* 'двойко') в фредегаровской латыни, восходящая еще к Фредегару, ни новейшая германская этимология *befulci* как прилагательного от глагола др.-в.-нем. *bifelhan*, нем. *befehlen* 'повелевать, препоручать' ([27]; прочие приводимые автором разноголосые толкования — то ли от слав. **byvolici* 'погонщики буйволов', то ли к нем. *Beivolk* 'вспомогательный контингент (?)' — обсуждать здесь не будем). В согласии со своей этимологией цитируемый нами немецкий исследователь понимает герм. (?) *befulci* как

'Schutzanbefohlene, подзащитные, подопечные'. Однако думается, что слово это было не германским, а туземным (франкской передачей туземного), а также, что его значение, реальный смысл были далеки от какой-либо «защиты» или «опеки» этого контингента, каким были веныды для аваров, поскольку контекст хроники повествует о весьма специфическом взаимодействии венеков и аваров в боевых условиях. Вот это место, удобно воспроизведенное в [Schütz 1994, S. 202]: *Winidi befulci Chunis fuerant iam ab antiquo, ut, cum Chuni in exercitu contra gentem qualibet adgrediebant, Chuni pro castra adunatum stabant exercitum, Winidi vero pugnabant: si ad vincendum prevalebant, tunc Chuni predas capiendum adgrediebant; sin autem Winidi superabantur, Chunorum auxilio fulti virebus resumebant. Ideo befulci vocabantur a Chunis, eo quod dubilem in congressione certamine vestila priliae facientes, ante Chunis precederint.* В своем русском переводе мы следуем за немецким переводом в [Schütz 1994, S. 203], воздержавшись лишь от авторской передачи *befulci* как 'Schutzanbefohlene': Венеды были уже с давних времен для гуннов *befulci*, так что, когда гунны ополчались против какого-либо племени, они стояли сплоченным строем перед своим лагерем, веныды же сражались, (и) если они одолевали, тогда гунны выступали вперед, чтобы завладеть добычей; если же венеков одолевали, то они собирались с силами под прикрытием гуннов. Они потому звались *befulci* у гуннов, что выступали двойко, сражаясь перед гуннами.

Веныды, таким образом, играли роль нестройных застрельщиков битвы, устремлявшихся на врага летучей толпой; все очень похоже на «скифскую» тактику боя древних славян, которыми веныды, собственно, и были. Об этом — чуть далее, а здесь важно лишь отметить, что ни о какой «защите» со стороны гуннов, под литературным именем коих скрываются, естественно, авары, текст Фредегара объективно не свидетельствует. Весь смысл — в противопоставлении нестройной толпы одних и стоящих «сплоченным строем» других. Именно за это первые названы были *befulci*, и, сняв в порядке реконструкции налет германизации в устах франка ($p > f$), мы имеем основание допустить славянский характер проблематичного имени — **be(z)pōlkъ/*be(z)-pōlk-*, прилагательное на базе предложного словосочетания **bez pōlka* 'вне военного строя (аваров)'. Буквального подтверждения сочетания **bez pōlka* в этом или близком значении в справочной литературе, правда, найти не удалось, ср. аналогии вроде русск.-цслав. *вън полка* ἔξω τῆς παρεμβολῆς, *extra castra* ('вне боевого расположения') [Исх. XIV, 19]; [28, т. 2, стлб. 1749].

Остается привести в некоторое соответствие этнические термины и суждения о них. Совершенно очевидно, что Фредегар не отличал славян от венедов. В его рассказе (там же, выше [Schütz 1994]) «человек по имени Само, родом франк» «отправился в страну славян по прозванию венедов» (in Slavos coinomento Winedos). Это так же недвусмысленно точно, как и аналогичное выражение (там же, далее) об аварах «по прозванию гуннах» (contra Avaris coinomento Chunis). И, вопреки тому, что Шютц не одобряет отождествления понятий *Winidi* и *Sclavi* у Фредегара [27, S. 50], тождество очевидно. Оно является полным и ниже, где Фредегар рассказывает о насилиях гуннов (аваров), чинимых в отношении славянских жен и дочерей, повторяя это же с заменой на венедских жен и дочерей. Перед нами литературные упражнения средневекового ученого, состоявшие в обыкновении переносить на нынешних жителей имена более древних обитателей тех же мест: 'гунны' → 'авары', 'венеды' → 'славяне'. Необходимо согласиться с Фредегаром в том смысле, что раньше на восток от германцев простиралась полосой с севера на юг особые племена венетов. Позднее сюда продвинулись славяне, на которых германцы по привычке перенесли имя прежних обитателей – венетов, возможно, известных под этим названием еще Плинию и Тациту (I–II вв. н. э.). Считать, что и в VI – начале VII вв. эти «поздние венеты» «еще не являются славянами» [27, S. 53], все же нет оснований. Преувеличением отдают и мнение, что «венеды эпохи Фредегара, по всей видимости, по «крови и языку» не являются славянами» [ib.]. Все, что мы знаем (в немалой степени – благодаря труду Шютца) о майнских венетах меровингской эпохи, то есть эпохи Фредегара, говорит нам о них как о славянах. Конечно, отметить все начисто, не разобравшись, не стоит. И в местном славянском материале могли бы сохраниться факты, изоглоссы, заслуживающие более тонкого наблюдения и выявления. Как например этот след особого привативного **be-* 'без, вне', не характерного для славянского, обобщившего форму **bez-*. Поэтому у нас открывается возможность либо признать **be-* 'без, вне' майнсковенедским эквивалентом общеслав. **bez* и крупным местным праславянским лексическим (лексико-словообразовательным) диалектизмом и принять соответственно реконструкцию майнсковенедского **be-pŕlkъ*, мн. **bepŕlci*, максимально приближенную к засвидетельствованному *befulci*, либо, сохраняя эту реконструкцию, поставить вопрос о заимствовании майнсковенедского **be-* из венетского **be-* в той же функции, образующего изоглоссу от балт. (лит.) *be-* 'без' до лигурийского *bo-* 'без', которое мы пытались выявить в лигурийск. *Bodincus* 'По' [11, с. 25].

**gostь* 'вступивший во владение'

Это слово, пожалуй, дальше других отстоит от майнсковенедской темы нынешних заметок: достаточно сказать, что его нет ни в собственно майнсковенедских материалах разбираемой здесь книги Шютца 1994 года, ни в нашем алфавитном индексе (выше). Дело в том, что на небольшом пространстве Верхней Франконии отмечена дюжина топонимов на *-gast*, но их прямолинейная славянская атрибуция, скажем, *Radegast* как слав. *rad-* + *gostь*, сильно затруднена меньшей близостью к др.-франк. *Ratgast* и др., к чему нельзя не прислушаться (см. [Schütz 1994, S. 40]). Имена на *-gast*: *-gost* распространены и в славянской, и в германской Европе, а в местах соприкосновения обоих этносов (одним из таких мест была восточная (Верхняя) Франкония) они могли относиться к небольшому фонду общей взаимопонятной лексики контактирующих родственных племен. Усиленно апеллировать при решении вопроса местного *gost-* к какому-то третьему этносу (или этносам) и каким-то «негостевым» элементам значения, как это делает автор заинтересовавшей нас книги, вряд ли нужно, хотя можно согласиться с тем, что над реконструкцией *-gost* еще надо работать. Первоначальная связь имен на *-gast* с землей («auf Grund und Boden» [Schütz 1994, S. 21]) не кажется очевидной, она явно опосредована через лиц с именами на *-gast*, *-gost*. Препятствием не может служить и морфология, а именно *-i*-основа исходного *gostь*, *hostis*, которая есть не что иное, как развитие, расширение первоначального консонантного исхода, о чем нередко забывают, как, впрочем, и о способности также *-i*-основ образовывать производные на *-j-*: **tьstь* → **tьšča* (**tьstja*), **gospodь* → **gospodja*. При склонности нашего автора к балтийской интерпретации «венедского» понятна и его апелляция к др.-прусск. *gastō* 'угодье, урочище, земельный участок' [Schütz 1994, S. 22], но это все равно, что объяснять проблематичное через еще более неясное. О древнепрусском слове спорят, ср. ([29]: *gasto* < **gastā* 'užgesusi žemė', то есть 'погасшая, выжженная земля'), но, скорее, оно, как и многое другое в древнепрусском, изолированное на балтийском фоне, тяготеет к славянскому, где также имеются примеры того, что единица земельной площади (русск. *погост*) восходит к **gostь*, *гость* в его более комплектных древних значениях, см. подробно [30], критику см. еще в [31]. В конечном счете в основе этой лексики лежит обозначение лица, субъекта, владеющего либо изначально (хозяин), либо приравниваемого к нему

(гость), см. специальное указание на отношение приравнивания, равенства на примере лат. *hostis* [30, с. 17]. Удачным в данном случае может быть признано только такое расширение индоевропейского сравнения, которое помогает раскрыть здесь семантику владения. Вскользь названный Мажюлисом [31] литовский гидроним *Gest-upỹs* (ср. еще [32], с совсем другим осмыслением) мог бы, кажется, выполнить эту роль, в особенности же этимологически идентичная ему, по всей видимости, балканскоиндоевропейская форма, показаниями которой незаслуженно пренебрегают, если учесть ее засвидетельствованное аппеллативное значение: фрак. *Gesti-styrum* 'locus possessorum'. Фрак. *gest-* 'possessor, владетель, владелец', давно и вполне убедительно проэтимологизированное Томашеком от и.-е. *ghed- 'доставать, хватать' [33], ср. еще [34], представляет собой и.-е. *ghestis, вариант к нашему *ghost(i)s, с сохранением исходной семантики 'владелец ~ вступающий во владение', откуда потом и выросло наше *gostь с его весьма терминологизированным и потому несколько темным значением, которое все же нельзя отрывать от названия глагольного действия и.-е. *ghed-, см. о нем [35], и замыкать на лексике, обозначающей землю. Этими поправками мне показалось уместным дополнить и рассуждения других исследователей, и собственные — о слав. *gostь [5, вып. 7, с. 68].

Примечания

- [1] Л. Нидерле. Славянские древности. М., 1956, с. 111.
- [2] J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiecki. Słownik języka polskiego. Warszawa, 1900—1935, t. 1—8.
- [3] О. Н. Трубачев. Формирование древнейшей ремесленной терминологии в славянском и некоторых других индоевропейских диалектах // Этимология. М., 1963, с. 39, 41.
- [4] V. Šmilauer. Osídlení Čech ve světle místních jmen. Praha, 1960.
- [5] Этимологический словарь славянских языков. М., 1974—, вып. 1—.
- [6] I. Porović. Geschichte der serbokroatischen Sprache. Wiesbaden, 1960, S. 133—134.
- [7] F. Bezljaj. Etimološki slovar slovenskega jezika II. Ljubljana, s. 174.
- [8] J. Udolph. Studien zu slavischen Gewässernamen und Gewässerbezeichnungen. Heidelberg, 1979, S. 88 (Beiträge zur Namenforschung. NF. Beiheft 17).
- [9] Словарь русского языка XI—XVII вв. М., 1975—, т. 1—.

- [10] J. Rozadowski. Studia nad nazwami wód słowiańskich. Kraków, 1948.
- [11] О. Н. Трубачев. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М., 1991.
- [12] H. Schuster-Šewc. Historisch-etymologisches Wörterbuch der ober- und niedersorbischen Sprache. Bautzen, 1978—1989.
- [13] E. Eichler. Slawische Ortsnamen zwischen Saale und Neiße. Ein Kompendium. Bd. I: A—J. Bautzen, S. 122.
- [14] И. Гълъбов. Южнославянските местни имена, образувани с *габр-*, и проблемите, свързани с тях // И. Гълъбов. Избрани трудове по езикознание. София, 1986, с. 488 и след.
- [15] M. Vasmer. Schriften zur slavischen Altertumskunde und Namenkunde. Bd. II. Berlin; Wiesbaden, 1971, S. 539.
- [16] A. Brückner. Słownik etymologiczny języka polskiego. Wyd. 2. Warszawa, 1970, s. 517: stopa...i o 'miarze'.
- [17] A. Gilewicz. Miary i wagi // Słownik starożytności słowiańskich. T. III. Wrocław, etc., 1967, s. 205: перечисляет различные виды стопы как меры длины в средневековой Европе и у славян (римская, кельнская, или рейнская, немецкая, парижская).
- [18] Г. Я. Романова. Наименование мер длины в русском языке. М., 1975, с. 11, 81, 82: «...неупотребительность меры с таким названием в народно-метрологической практике у восточных славян... заставляет рассматривать метрологическое значение термина *stopa* как заимствованное из церковнославянского языка».
- [19] Z. Gołab. The origins of the Slavs. A linguist's view. Columbus, Ohio, 1992, p. 166—167.
- [20] J. J. Mikkola. Ein altslovenisches Wort in Fredegars Chronik // AfslPh, Bd. 41, 1927, S. 160.
- [21] О. Н. Трубачев. История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. М., 1959, с. 186.
- [22] М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. Изд. 2, стереотипное. М., 1986—, т. 1—.
- [23] В. Н. Топоров. К этимологии слав. **myslь* // Этимология. М., 1963, с. 5 и след.
- [24] A. Vaillant. Grammaire comparée des langues slaves. T. I: Phonétique. Paris; Lyon, 1950, p. 96.
- [25] V. Grinaveckis. Ein-Konsonantensuffixe in der litauischen Sprache // Slavia, 1993, гоџн. 62, сеš. 2, с. 175.
- [26] E. Fraenkel. Litauisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1962—1965, Bd. I—II.
- [27] J. Schütz. Fredegar: Über Wenden und Slawen—Chronicon lib. IV cap. 48 et 68 // Jahrbuch für fränkische Landesforschung, Bd. 52, Jg. 1992, S. 45 и след., особенно 51 и след.

- [28] И. И. Срезневский. Материалы для Словаря древнерусского языка. СПб., 1893—1903, т. 1—3.
- [29] V. Mažiulis. Prūsų kalbos etimologijos žodynas. I. Vilnius, 1988, с. 329.
- [30] В. Н. Топоров. Прусский язык. Словарь: Е—Н. М., 1979, с. 169 и след.
- [31] V. Mažiulis. Del pr. *gasto* etimologijos // Baltistica. XXVIII (1), 1994, p. 82.
- [32] A. Vanagas. Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas. Vilnius, 1981, s. 114.
- [33] W. Tomaschek. Die alten Thraker. Wien, 1980 (unveränderter Nachdruck), S. 8—9 (II. Abhandlung).
- [34] D. Detschew. Die thrakischen Sprachreste. 2. Aufl. Wien, 1976, S. 103.
- [33] J. Pokorný. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1949, Bd. I, S. 437—438.

O. N. Trubačev

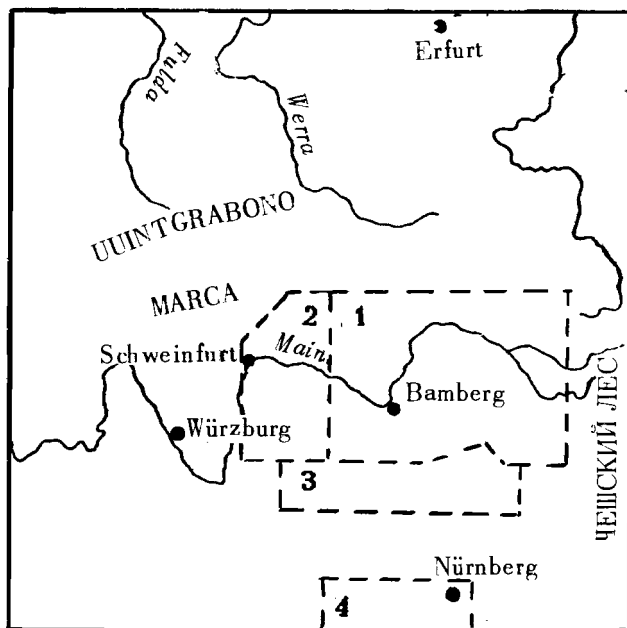
SCLAVANIA am Obermain in merovingischer und karolingischer Zeit: die Sprachreste (Zusammenfassung)

Als eigentliche Quelle für die darauffolgende Sprachanalyse diente dem Verfasser das Buch von J. Schütz, *Frankens mainwendische Namen* (München, 1994) mit seiner reichen Materialsammlung und Literaturkritik. Es geht um die Rekonstruktion von anderthalb hundert Sprachresten besonderer Sprachzugehörigkeit mit einer Landkartenbeilage (abwesend in [Schütz 1994]).

Einer entschieden westslavischen (lechitisch-sorbischen) Attribution dieser Sprachreste in [Schütz 1994] werden die Tatsachen gegenübergestellt, die in eine andere Richtung weisen, vgl. den latinisierten Landesnamen *Scлавania* und seine eher pannonisch-slavischen Verbindungen. Weiter dazu vgl. nichtwestslavische Fälle von *dl > l* (*žilišče), von *iz-* Präfix statt westslavisch *vy-*, auch *med-* statt *medju-*, nichtwestslavischen Wassernamen **sny*/**snove* und ganz vereinzelte soziale Termini **velьpodь* und **voldpodь*, vgl. im letzteren Fall **voldy-ka* und seine überwiegend pannonisch-slavischen Verbindungen. Damit wird der Gedanke von donauländischer Herkunft der Mainwenden erwogen.

Daran sind einige weiteren Wortstudien angeschlossen mit Heranziehung von mainwendischen Sprachzeugnissen (-slav. **mьstь*, anfangs als 'Mann', *befulci* in Fred. Chron. IV, 48 als mainwendisch **be(z)pьlkъ* 'ausserhalb einer Heeresschlachtordnung befindlich' und slav. **gostь* als 'Inhaber').

MOINUINIDI et RATANZUINIDI.
SCLAVANIA на верхнем Майне и на нижней Регниц.
Составил О. Н. Трубачев. 1995



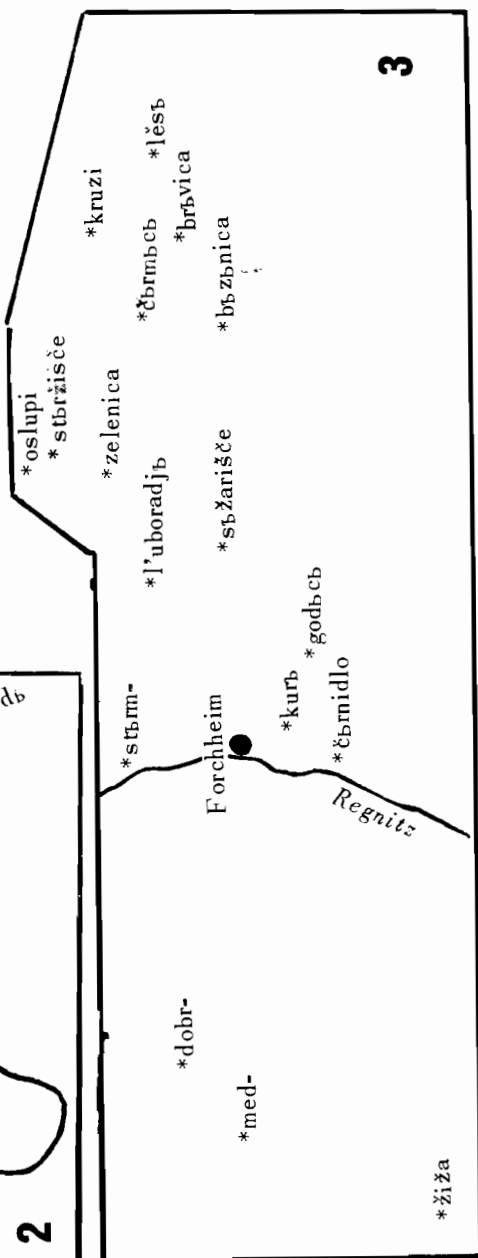
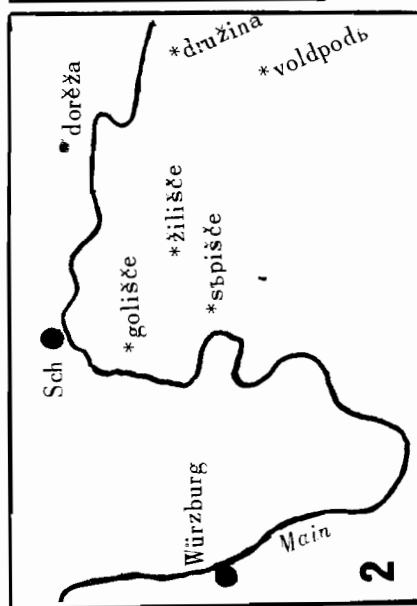
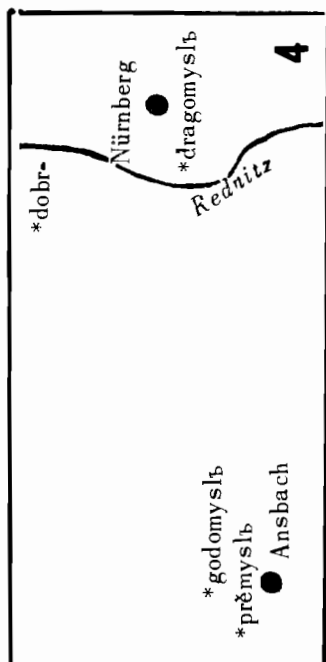
Материал названий и сведения об их локализации даны в книге: J. Schütz. Frankens mainwendische Namen. Geschichte und Gegenwart. München, Slavica Verlag A. Kováč, 1994 (локализация в ряде случаев остается проблематичной и дана относительно, как, впрочем, и реконструкция. — О. Т.).

Ba (= *Bamberg*) — немецкое название-ориентир;

**спльвьь*,
**voldpody* — майнско-венедские (славянские) имена.

В — Bayreuth, Ba — Bamberg, С — Coburg, Н — Hof,
К — Kulmbach, Kr — Kronach, L — Lichtenfels,
М — Münchberg, N — Naila, Sch — Schweinfurt.

Считаю необходимым выразить свою признательность Г. П. Клепиковой за удобную фрагментацию (1, 2, 3, 4) моей сводной карты.



Н. И. Толстой (Москва)

Несколько болгарско-русских лексических соответствий

Болгарско-русским изолексам в 70-х годах нашего столетия было посвящено несколько моих небольших заметок. В них, помимо лексического материала, указывались аналогичные работы того же и предшествующего времени, выполненные другими болгаристами [1]. Однако, ни моими коллегами, ни мною материал не был исчерпан и собирание и толкование словарных параллелей не вошло еще в завершающую стадию [2]. Весьма скромным вкладом в освещение вышеназванной проблемы является и эта заметка, построенная по уже установленному образцу. Читателю предлагается простое перечисление лексем в последовательности: глаголы, существительные, наречия.

Как и в предыдущих заметках, нас интересует не только, а иногда и не столько, распространение в двух и более славянских языках тех или иных корней, сколько общность словообразовательной структуры слова, ибо внимание к этой стороне слова и к его семантике существенно отличает современную славянскую этимологию как науку от прежней, довоенной этимологии. Само собой разумеется, что лексические соответствия, отмеченные этимологическими словарями, в настоящих заметках не приводятся, а отмечается иногда их отсутствие (знаком Ø).

овла̀гнувам (са) несов., *овла̀гна* сов. — увлажнять, увлажнить: *В зевни́ка е вла̀жно и солта́ е овла̀гнала* (Пирдопско, [БД, кн. 4, с. 125]). Ср. польск. *wilgnąć*. Рус. *во́лгнуть* — увлажняться. В [Фасмер; Младенов] — Ø.

нагрѝна сов. — неожиданно появиться, ворваться, вломиться (Трынско, [БЕз, год. 25, кн. 2, с. 115]). Рус. *нагрѝнуть*. В [Фасмер; Младенов] — Ø.

ти́ркѣм несов., *ти́рнѣ съ* сов. возв. — рассыпать(ся), разметать: *Дица́! Дѣ ни ти́ркѣти жи́туту пу харма́на кѣт играйти. Уфцѣт'е се ти́рнѣхъ пу пул'анатѣ* (Еленско, [БД, кн. 7, с. 141]). Ср. белор. *ты́ркаць* 'трогать, двигать'. Рус. *тыркать, тыркаться*. В [Фасмер; Младенов] — Ø.

нуд'ѣ съ несов. — собираться, готовиться, раздумывать: *Млѣгу съ нудши, трѣгѣй* (Севлиево, [БД, кн. 5, с. 32]). Рус. *нудиться* 'томиться от безделья'. [Младенов] дает лишь *нудя* без возвратной формы. Прасл. **nuditi* имеет соответствия почти во всех славянских языках, но с различным значением.

глухар' — 1) дикий петух, 2) плохо слышащий человек (Еленско, [БД, кн. 7, с. 26]). Рус. *глухарь* 'тетерев'.

ублѣжник — тихий, продолжительный дождь (Еленско, [БД, кн. 7, с. 146]). Рус. *обложной дождь* 'длительный, затяжной дождь, при котором небо сплошь покрыто тучами'. [Младенов]: *облѣжник* 'дождь при небе, обложеном тучами'.

сокѣрвица — выделение гноя и крови: *От рана́та му течѣ сокѣрвица* (Разложко, [СБНУ, кн. 44, с. 525]). Рус. *сукровица*.

незамѣтно — неожиданно, неприметно: *Врата́та се отвѣри незамѣтно* (Родопы, [БД, кн. 5, с. 191]). Рус. *незаметно*.

сѣтъки — все же: *Сѣтъки ни сѣ ѹбѣи такѣвъ ми ти рабути* (Поповско, [БД, кн. 5, с. 254]). Рус. *все-таки*.

атсѣде — от этого места: *Той си ѹе пунал вадѣса атсѣде* (Родопы, Смолян, [РСб, с. 262]). Рус. *отсюда*.

В заключение этого-очень краткого списка — два примера, демонстрирующих чисто семантическое болгаро-русское соответствие.

благата рана — злокачественный прыщ (антрах): *Сал дѣда Петрѣ знаѣеше да лѣкува благата рана* (Дупнишко, с. Бобошево, [СБНУ, кн. 42, с. 253]). Рус. диал. *благой* 'плохой, ядовитый, дурной'.

Этому значению славянизма *благ-* в восточнославянских диалектах посвящено исследование А. Б. Страхова [3]. Пример показывает, что трансформация значения 'хороший, благостный, мягкий, сладкий' — 'плохой, злой, злокачественный' началась в южнославянской среде на почве «табуирования» (по Д. К. Зеленину) слова.

тапѡр — простак, неотесанный, глупый человек (Родопы, Смолян, [РСб, с. 267]). Ср. русск. *топѡрный* — грубый, неуклюжий, неискусный.

Это праславянское, вероятно, заимствованное из иранского слово *topor* в своем прямом значении занимает в южнославянском диалектном континууме латеральную, «боковую» позицию, тогда как центральную обширную территорию занимает слово *sekira*. *Topor (topor)* же известен в словенском и в болгарских диалектах, равно как и в западно- и восточнославянских языках. Он находится со словом *секира* в том же лингвогеографическом соотношении, что и слова *огън* — *ватра*, *дъжд* — *киша*, *пот* — *зној* и др. Однако это уже несколько иная тема, которая примыкает к теме изолекса, но требует большего материала и большего внимания к географии слова.

Примечания

- [1] Н. И. Толстой. О болгаро- и македоно-русских изолексах // Совещание по Общеславянскому лингвистическому атласу (Гомель, 9—12 сент. 1975 г.). Тезисы докладов. М., 1975, с. 9—14; Он же. О болгаро-русских изолексах. 2 // Совещание по общеславянскому лингвистическому атласу (Черновцы, 4—7 окт. 1976 г.). Тезисы докладов. М., 1977, с. 135—138; Он же. Zu einigen südslawisch-russischen lexikalischen Parallelen // Zeitschrift für Slavistik. Berlin, 1976, Bd. 21, Nr. 6, S. 834—838.
- [2] Серьезных результатов в разысканиях, направленных на выявление, уточнение и научное комментирование славянских лексических изоглоссов, добились О. Н. Трубачев и его соавторы по этимологическому общеславянскому словарю (см.: Этимологический словарь славянских языков. М., 1974—1994, вып. 1—21;), а также А. Ф. Журавлев, автор ценного труда «К уточнению представлений о славянских изоглоссах. Дополнения к лексическим материалам „Этимологического словаря славянских языков”» (часть 1—II, М., 1990) и книги: А. Ф. Журавлев. Лексикостатистическое моделирование системы славянского языкового родства. М., 1994.
- [3] А. Б. Страхов. Слова с корнем *благ/блаж* (< **bolg-*) с отрицательными значениями в восточнославянских диалектах // International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. XXXVII, 1988, p. 73—114.

Сокращения

- БД Българска диалектология. Проучвания и материали. София, 1962—1981, кн. 1—10. (Кн. 4 — 1968; кн. 5 — 1970; кн. 7 — 1974.)
- БЕЗ Български език. София. 1951—, год. 1—.

- Младенов С. М л а д е н о в. Етимологически и правописен речник на българския книжовен език. София, 1941.
- РСб Родопски сборник. БАН. Проблемна комисия за изучаване миаалото, бита и културата на населението в Родопите. София, 1965, т. 1.
- СБНУ Сборник за народни умотворения, наука и книжнина (Сборник за народни умотворения и народопис). София, 1889—, кн. 1—. (Кн. 42 — И. П. К е - п о з. Народописни, животописни и езикови материали от с. Бобошево—Дупнишко. София, 1936; кн. 48 — Братя Д. и К. М о л е р о в и. Народописни материали от Разложко. София, 1954.)
- Фасмер М. Ф а с м е р. Этимологический словарь русского языка. М., 1964—1973, т. 1—IV.

N. Tolstoy

Some Bulgarian-Russian Lexical Parallels

The article deals with some Bulgarian-Russian lexical parallels which haven't been yet analysed. Attention is focused on the derivational and semantic aspects of the words.

В. Н. Топоров (Москва)

О балто-славянской диалектологии (несколько соображений)

Тема этой заметки и повод, ее вызвавший, возвращают к воспоминаниям более чем сорокалетней давности, к началу 50-х, когда центром «московской» славистики стал сектор славянских языков Института славяноведения, руководимый Самуилом Борисовичем Бернштейном, чьи научные интересы и личные качества определяли и научную и человеческую атмосферу, воспоминание о которой для многих дорого и сейчас.

Диалектологические исследования в те годы занимали в Институте особое место: если они и не были главным занятием, то, пожалуй составляли то конкретное, трезвое и полезное дело, которое казалось таким привлекательным на фоне преобладающего потока пустопорожней литературы после известного «исторического» труда по языкознанию. Десять выпусков «Статей и материалов по болгарской диалектологии», вышедших с конца 40-х по начало 60-х годов в виде книжечек скромного, но достойного вида, и сейчас вызывают чувство уважения и признательности. Они тот памятный пунктир, что отмечает это важное направление в диалектологических занятиях того времени. И когда сейчас в серьезных славистических трудах встречаются отсылки к этим сборничкам, возникает законное чувство удовлетворения от сознания необходимости и плодотворности научного преемства. Однако это было лишь началом и лишь одной из линий диалектологических исследований в Институте славяноведения, к сожалению, прерванных чуждой и равнодушной силой, не удосужившейся, между прочим, заметить, что накопленная потенция позволила начать новую серию диалектологических занятий гораздо более широкого плана.

Но еще до всего этого пишущему эти строки и тогда еще далекому от лингвистических интересов в букинистическом магазине на Мясницкой попала на глаза книга С. Б. Бернштейна «Разыскания в области бол-

гарской исторической диалектологии». Она была прочитана на одном дыхании — так много в ней было найдено захватывающе интересного и неожиданного. Это была не просто диалектология, даже и историческая: в книге разворачивалась некая драматическая коллизия между двумя участниками — болгарским языком со славянской стороны и румынским с романской; одно бросало свет на другое, чтобы с помощью этого другого высветить и в себе нечто новое, и посредником между тем и другим, в частности, оказывались заимствования. Именно через эту книгу для тогдашнего читателя, которому, прочтя ее, только еще предстояло стать неофитом в лингвистике, конкретно и зримо открылось широкое поле интерлингвистических исследований, в которых историческая диалектология была и объектом изучения, и инструментом, позволяющим реконструировать картину языкового прошлого.

И еще одно личное воспоминание, еще один повод для признательности. Несмотря на тогдашнюю достаточно строгую секторскую программу исследований именно славянских языков Самуил Борисович, учитывая интересы автора этих строк и строя планы на будущее, дальновидно и смело ввел в круг исследований сектора балтийскую тематику — не только в связи с проблемами славянского языкознания, но и как независимый объект изучения. В дальнейшем Институт славяноведения стал крупнейшим (не считая Вильнюса и Риги) центром балтийских исследований, и те, кто ими продолжает заниматься и сейчас, помнят о счастливой инициативе Самуила Борисовича.

* * *

В центре этой заметки три (о четвертой будет сказано особо) темы — диалектное, балтийское и славянское — в их органическом соединении — балто-славянская диалектология. Это последнее ново и, как думается, достаточно перспективно, если только, конечно, не понимать его как простую («механическую») сумму балтийской и славянской диалектологий, основания для которой слишком внешни и экстенсивны, чтобы на этой основе строить особую отрасль лингвистического знания. Разумеется, само понятие балто-славянской диалектологии может быть приложено к разным эпохам и соответственно к разным ситуациям, характеризовавшим взаимные отношения двух этих языковых ветвей.

Так о балто-славянской диалектологии можно говорить применительно к той древнейшей эпохе, когда балтийские и славянские языки выделялись на общем фоне индоевропейской диалектной картины своей особой, преи-

мущественной по сравнению с другими диалектами близостью, предполагающей некое относительное языковое единство, поддерживаемое общностью большей части протекавших процессов и наличием нераздельно-общего, хотя и частично дифференцированного ареала. В этом случае исследование балто-славянских диалектных отношений (прежде всего вариативности общих элементов и изоглосс — их состава и ареального распределения), несомненно, имело бы существенный смысл независимо от того, как понимать и трактовать эту преимущественную близость двух языковых идиом — как наличие общего балто-славянского языка (вторичного и частично «праязыка»), в котором обе составляющие его части исторически, специально хронологически («стадиально-поколенчески») были равноправны (ситуация языки-«братья», восходящие к общему, но более древнему источнику — к языку-«отцу»), или же как следствие «стадиально-поколенческого» неравноправия (ситуация — праславянский как позднее дитя, отпочковавшееся от балтийского «отца»). К сожалению, долгие годы работа в этой области велась слишком экстенсивно при том, что то целое, в рамках которого должны были формулироваться адекватным образом полученные результаты, не было осознано и как таковое постулировано. Поэтому наиболее полным, хотя и в разных отношениях частичным, но все-таки претендующим на синтез, трудом в этом роде остается «Baltisch-slavisches Wörterbuch» Траутмана, причем, однако, именно диалектный аспект остается наиболее слабым местом этого труда. Отчасти этот дефект устраняется в аналогичном словаре А. Е. Аникина, с одной стороны, и, с другой, в этимологических словарях общеславянского масштаба («Этимологический словарь славянских языков», «Słownik prasłowiański») или отдельных балтийских языков. Однако эти последние словари имеют, разумеется, каждый свою особую задачу, и поэтому, несмотря на целый ряд ценных наблюдений в области балто-славянской диалектной лексики, именно указанный аспект остается неэксплицированным, хотя в ряде случаев сделать такую экспликацию было бы нетрудно. Так или иначе, но достаточно полное собрание фактов, относящихся к ведению балто-славянской диалектологии в предлагаемом здесь понимании, и их интерпретация остаются до сих пор *ria desideria*.

Впрочем, понятие балто-славянской диалектологии имеет свой резон и в том случае, если не признавать существования некоей балто-славянской языковой общности, более тесной, чем та, которая объединяет и другие индоевропейские языки, или объяснять преимущественную близость балтийских и славянских языков наличием смежных ареалов и вытекающего из этого отношения соседства (также в двух вариантах — исконная смежность

еще в рамках индоевропейского диалектного континуума или относительно поздно установившееся соседство). Но в этом случае в т а к о й балто-славянской диалектологии акцент, естественно, ставится уже не на «генетическом», но на « а р е а л ь н о м ». Однако в этой области до сих пор сделано очень мало, существенно меньше, чем в «генетической» балто-славянской диалектологии. Это положение объясняется главным образом «эгоцентрической» установкой частных диалектологий, ограничивающей «ареальный» кругозор исследователя исключительно своим, хотя это «свое» сплошь и рядом оказывается «своим» и для «не-своих»: факт же совместного владения теми или иными языковыми элементами игнорируется или вообще остается неизвестным. При более же широком взгляде становится понятным единство многих языковых элементов и происходящих процессов по ту и по сю сторону от границы, разделяющей оба ареала (ср. такие явления, как аканье, яканье, отчасти полногласие или, наоборот, сохранение групп типа *-tort-/-tart-*, палатализация, аффрикатизация, цоканье, целый ряд других изменений согласных и их групп, интонационные схемы и т. п., если говорить только о фонетическом уровне).

Сугубая реальность и даже относительное единство объекта такой балто-славянской диалектологии станут более очевидными при сопоставлении ее двусоставного ареала с другими ареалами, соседствующими с современными Славией и Балтией и тоже являющимися пространством взаимодействия славянских и балтийских языков с иными языками (немецкий, итальянский, албанский, греческий, румынский, эстонский и другие финно-угорские, тюркские, языки Северного Кавказа и др.), соответственно — ареалами, образующими широкую рамку ареала славянских и балтийских диалектов. Балто-славянская диалектология в этом понимании должна считаться с двумя ситуациями межъязыковых балто-славянских отношений не только количественно, но, главное, качественно отличных друг от друга и, следовательно, выдвигающих перед исследователем два разных круга задач и соответствующих методик. Речь идет о м а к р о -ситуации, охватывающей (хотя и в разной степени) макро-ареал, в пределе совпадающий со всем современным ареалом Балтии и той части Славии, которая включена в игру языкового «обмена», и м и к р о -ситуации, той относительно узкой полосе на балто-славянском пограничье, где литовский и латышский непосредственно соседят с польским, белорусским и русским и где сложились условия совершенно особого, предельно тесного взаимодействия языков. Эта последняя ситуация, о которой не раз (и все-таки недостаточно, чаще всего

слишком общо, а иногда, напротив, слишком частно, узко-эмпирически) писалось, классифицировалась — и это было максимумом — как явление «сильного» языкового союза, что сейчас, в частности после работ Т. М. Судник и ряда литовских и польских лингвистов, представляется недостаточно верным выводом, точнее — верным, но всё-таки слишком слабым. В этом случае было бы правильнее настаивать на том, что перед нами в определенных точках этого пограничного балто-славянского языкового пояса и в определенных коммуникативных ситуациях при наличии двух (а то и трех, иногда и четырех) контактирующих языков кажущийся несколько фантомным конструкт лингвистической мысли — схема пересчета с одного языка на другой — обретает свою плоть в виде единого языка, в пределе отвечающего реальностям обоих (или более) контактирующих языков. Наличие этого единого языка «предельно тесного контакта», когда контактирующие языки, отчуждая от себя «свое», рознящееся от «чужого», и принимая в себя «чужое», рознящееся от «своего», т. е. идя на взаимную жертву-уступку, не препятствует ни (как уже было сказано) знанию и сознанию своего собственного языка, ни наличие в «едином» языке такого типа контактирования прерывистости «своего» и «чужого», переменного режима их включения. Нарочито заостряя проблему вплоть до парадокса, можно сказать, что в этом случае перед нами даже не «один» язык *à deux termes* на каждом языковом уровне, а ситуация, при которой — в максимуме — всё может быть балтийским (хотя речь и не идет о полноте воплощения «балтийскости») и все может быть славянским (с той же оговоркой), а в норме соотношение «своего» и «чужого» в этом «едином» языке при всех колебаниях чаще всего — в ситуации живого и оживленного языкового контакта — тяготеет к некоему равновесию, половина на половину. При этом балтийское в подобных случаях — такое «балтийское», которое полностью открыто славяноязычной стороне, непринужденно вступающей на это «балтийское» поле, а славянское — такое «славянское», которое предоставляет балтоязычной стороне те же самые привилегии. В этой ситуации «диалектное» из внешнего пространства как бы вводится в плоть этого «единого» языка «предельно тесного контакта», в его внутреннее пространство как некий набор потенциалов варьирования, реальный выбор из которых зависит от условий контакта, определенных правил «контактного» этикета и целого ряда других приходящих обстоятельств, о которых здесь, однако, говорить не придется. Но стоит сказать, что в рассматриваемых обстоятельствах старая поговорка — *Что отдал, то твое* нуждается в пересмотре — брать и да-

вать, свое и чужое имеют смысл лишь в «историческом» плане и в аналитическом аспекте: в ситуации же *hic et nunc*, одном из вариантов предельности, не до различения этих противоположностей — «брать» почти сливается с «давать», а «свое» с «чужим», по крайней мере потенциально, эвентуально, в некоем не только мыслимом, но и случающемся пределе, в «горячем» месте.

Как раз здесь и встает проблема того, что на смиренном языке традиционной лингвистики и применительно к наиболее элементарным и рутинным («холодным») ситуациям называется *з а и м с т в о в а н и я* - м и. В отличие от «горячих» случаев, когда само понятие «заимствования» оказывается слишком грубым и решительно девальвируется (нечто столь же «заимствуется»-берется, сколь и предлагается к «заимствованию»-дается, потому что в том «едином» языке, о котором говорилось ранее, иначе и быть не может), в «холодных» случаях всегда известно, кто взял-заимствовал и, чаще всего, — от куда взято-заимствовано, и обычно явно или прикровенно исходят из элементарного одностороннего акта — в одном языке прибыло, в другом не убыло, упуская при этом главное, а именно, что любое «заимствование» есть обмен между двумя языками, если угодно «бартерного» типа, при котором обе стороны в выигрыше: «берущая» сторона приобретает новый смысл или новую форму для обозначения уже известного ей смысла, и это составляет ее выигрыш, тогда как «дающая» сторона, ничего из своего не теряя, выигрывает для этого «своего» новое пространство экспансии.

Эти соображения следует иметь в виду и в дальнейшем, но здесь интерес к заимствованиям (без кавычек), т. е. к наиболее простому и одновременно типичному явлению межъязыковых взаимодействий (в «холодном» варианте), объясняется тем, что именно эта область и образующие ее факты (заимствования) могут быть еще одним языковым пространством, в связи с которым уместно говорить о балто-славянской диалектологии. Целесообразность обращения к этому ракурсу ее диктуется разными соображениями. Прежде всего любое заимствование, т. е. элемент чужого языка, ставший частью своего языка (независимо даже от степени органичности, меры усвоения заимствованного элемента), отсылает одновременно в обе стороны — к чужому и к своему языкам и тем самым выступает как элементарная межъязыковая связка, если угодно, квант межъязыковой связи, сохраняющий, между прочим, как образ диалекта того языка, из которого было совершено заимствование (естественно, что речь здесь идет прежде всего не о книжных заимствованиях), так и образ диалекта языка заимствования. Если источниками

заимствования и рецепции были разные говоры обоих языков — «берущего» и «дающего» — (нередкая ситуация при непосредственном, «живом» контакте языков), то перед исследователем могут оказаться две серии диалектных «портретов»-вариантов того, что было дано, и того, что было взято. Количество таких серий и количество элементов в каждой из серий («длина» серии) существенным образом зависят от степени диалектной дифференциации контактирующих языковых пространств, от полицентричности источников заимствования и количества актов-«событий» заимствования, от величины площади и протяженности времени, где и когда имели место межъязыковые контакты или, по крайней мере, существовала возможность для них. Таким образом, заимствования при описанных обстоятельствах могут выступать не просто как элементарная межъязыковая связка двух языков, но и как междиалектная связка двух диалектов или даже двух пучков диалектов, принадлежащих к контактирующим языкам.

Наконец, обращение к этому ракурсу балто-славянской диалектологии диктуется непосредственным соприкосновением балтийского и славянского языковых ареалов по всему периметру как современной, так и исторической Балтии, по меньшей мере с конца I-го тысячелетия н. э., если говорить о времени, с которого более или менее достоверно известна балто-славянская языковая граница. Славянский ареал охватывает и сейчас Балтию с запада, юга и востока (не говоря о славянских вкраплениях «островного» типа, как и о таких же балтоязычных островках на окраинах Славии, смежных с балтийским ареалом). Естественно, что на всем протяжении этой линии балто-славянского языкового взаимодействия и на всей площади, где происходят соответствующие контакты, с той или иной стороны или с обеих сторон наличествует ситуация многоязычия, не говоря уж о многодиалектности: латышский с латгальским, литовский, ранее прусский, ятвяжский, галиндский («голядский») с балтийской стороны и белорусский, польский с кашубским, ранее, видимо, и вымершие диалекты полабско-одерского круга, говоры северо-западной Украины со славянской стороны. И если «один и тот же» лексический балтизм засвидетельствован в разных и многих славянских языках и диалектах (при том, что нет никакой уверенности, что известное исчерпывает реальное положение дел), то почти с полной достоверностью можно утверждать, что это приобретение было сделано не в результате однократного акта заимствования, но множества таких актов, происходивших по значительной части периметра балто-славянской границы и дополнительно поддерживавшихся постоянными живыми контактами двух сильно дифференцированных и многообразных

языковых стихий. Полицентризм источников заимствования (в ту и другую сторону) соответствует полицентризм результатов рецепции заимствования, во всяком случае в очень значительном числе лексических (они особенно диагностичны и, если угодно, дидактичны, поучительны) балтизмов в славянских языках и славизмов в балтийских. С этой точки зрения обычные заключения типа «балт. *kirpē* было заимствовано в виде слав. *kirp(y)*» представляют собой такую меру обобщения, которая искажает реальную картину. Реально же источниками заимствования были и лит. *kùrpė*, и лтш. *kirpe*, и прусск. *kirpe* (и, вероятно, ятв. **kirpe* и т. п.), а результатами заимствования кашуб. *kirpa*, *kirpie*; польск. *kirp*, *kirpiel*, август., мазов., помор. *kirpie*, сейн. *kirp*, галиц., келец., ропч. *kirpiele*, галиц., мазов. *kirpiki*, также в других польских говорах — *karpie*, *karple*, *kierpce*, *kiprce*, *kurpce*, *kurpcie*; русс. *курпы*, пск., твер. *курпы*, пск. *курпáк*, *карпúк*, *курпéш*, *курпáник*, яросл. *курпáники*, твер. *курпúн*; укр. вольн. *курпéнус(и)*, *крупéнус(и)* и т. п. Диалектная раздробленность усложняется, когда источники заимствования балтизмов дифференцированы в самих балтийских языках и диалектах, как в случае лит. *skliùtas* (*skliutà*) при лтш. *slute*, *šlute*, откуда славянские заимствования типа польск. *sklud*, *schlud*, *sklut*, *skliut*, *skliud*, *szklut*; блр. *склюд*, *склют* (сев.-зап., ворон., кор., остр., вилейск., ивьев., вит., кличев., зельв., вилейск., верхнедв., лун., глуск.), *склют*, *склут* (в памятниках); укр. *шклюд* (киевск.), *житом.*, *киевск.*, *ровен.* *склют*, *шклюд* и под. Столь же показательны по своему разнообразию источники заимствования балтизмов и / или сами балтизмы в случае, когда они фиксируются не менее, чем в четырех смежных славянских языках (ср. также лексемы, представляемые здесь через одну из ряда белорусских форм, как-то: *вэнцер*, *гiрса*, *гринджóлы*, *грэбест*, *дзiрса*, *ёўня*, *жлúкта*, *кумпяк*, *парсiок*, *рэзiны*, *свiран*, *сiцрта*, *шашóк*, *яндóўка* и др.).

При том, что подобные примеры балтизмов в славянских языках с очевидностью демонстрируют и собственно славянский вклад в аккомодацию заимствованных слов и в их дальнейшее развитие в направлении ослабления, все-таки для подавляющего большинства случаев очевидно, что роли полицентризма источников заимствования балтизмов нужно отдать преимущество перед теоретически мыслимым (и лишь очень редко практически осуществляемым) предположением о моноцентрическом источнике заимствования балтийской лексемы и единократном акте рецепции ее с последующей диффузией балтизма в славянской языковой среде через межславянские границы. Разумеется, было бы упрощением считать (при допуске полицентризма источников заимствования и

множественности результатов рецепции), что существует некая формула, определяющая правила заимствования, например, типа: диалект А (слав.) заимствует лексему N из диалекта В (балт.); в принципе «берущая» сторона нередко имеет вполне реальную возможность выбора, реализуемую в зависимости от социальных, бытовых, эстетических и иных предпочтений. При этом, конечно, нужно помнить о двустороннем направлении заимствования в переходной балто-славянской зоне и наличии по обе стороны границы своего рода особой «реверберационной» зоны, где полученная чужая лексема нередко испытывает процесс размытия дискретных элементов и соответственно — «континуализации» их, выстраивания между твердыми опорными элементами серии переходных вариантов, которые в языке-источнике могут полностью отсутствовать.

Обращение к балто-славянской диалектологии в призме взаимных заимствований, многочисленных, многообразных, иногда весьма сложных и прихотливых (вплоть до заимствований типа «бумеранга», когда балтийское слово, заимствованное славянским, возвращается снова в лоно балтийской речи уже как «славизм» балтийского же происхождения), совершившихся и совершающихся на некоем передвигающемся в пространстве пограничном поясе в течение, по меньшей мере, полутора тысячелетий и переслоивших значительную территорию и обширный пласт языка результатами самой разнообразной по своим типам балто-славянской гибридизации, образует дополнительный стимул для введения «заимствований» в качестве важного источника как балтийской, так и славянской диалектологии, — тем более, что несколько поколений исследователей занимались (правда, чаще всего в эмпирическом плане) проблемой славянских заимствований в балтийских языках (А. Брюкнер, П. Скарджюс, А. Аугсткалнс, Дж. Левин и др.) и балтийских в славянских языках (Л. Малиновский, Э. Вольтер, К. Яблонский, Э. Блесе, А. Станкевич, В. Кипарский, Ю. А. Лаучюте, А. П. Непокупный, А. Сабалюскас, Е. Гринавецкене, Т. Зданцевич и др.).

Среди работ этого рода нужно особо выделить относительно недавнюю книгу Ю. А. Лаучюте «Словарь балтизмов в славянских языках» (Л., 1982), являющуюся на сегодня наиболее полным, достоверным и удобным синтезом всей этой проблемы. Разумеется, сам жанр книги (словарь) не исключает дальнейших исследований по этой теме и сопоставимого со словарем исследования аналитического по своим методам и синтетического по характеру и задачам. Более того, и сам словарь балтизмов в славянских языках не может быть признан закрытым и нуждается в дополнениях. Тем не менее собрание славянских балтизмов, пред-

ставленное в книге Лаучюте, дает основание и для некоторых выводов и для того, чтобы еще раз привлечь внимание к этой проблеме с принятой здесь точки зрения. Здесь лишь вкратце могут быть обозначены четыре ключевых вопроса, от прогресса в изучении которых существенно зависит и конкретная разработка выделенного аспекта балто-славянской диалектологии.

Прежде всего — проблема материала, т. е. балтизм в славянских языках. В словаре Лаучюте, достаточно полно учитывающем факты, собранные в течение века и существенным образом дополненные самой исследовательницей (ею впервые обнаружено около 260 балтизм), насчитывается около восьмисот балтийских заимствований в славянских языках, причем следует напомнить, что в данном случае речь идет о количестве балтийских лексем, а не о количестве их отражений в разных языках и диалектах и в разных «славянских версиях», которое многократно превышает число балтийских лексем, заимствованных славянскими языками. К общему числу славянских балтизм нужно добавить весьма значительное большинство слов из списка лексем, «балтийское происхождение которых недостаточно аргументировано» (с. 137–150 книги), общее число коих приближается к 270. Таким образом, словарь балтизм Лаучюте реально насчитывает до тысячи до сих пор отмеченных лексем. Сразу же нужно подчеркнуть, что и это количество должно быть существенно увеличено (объем и характер этой заметки не позволяет сделать это здесь). Стоит обратить внимание на то, что по мере появления диалектных словарей балтийских языков и особенно славянских собраний диалектной лексики количество балтизм с достаточной регулярностью увеличивается («Словарь русских народных говоров» предоставляет удобную возможность поиска новых, как, впрочем, и ранее известных, балтизм, число которых по предварительным данным измеряется по меньшей мере десятками). Особый пласт балтизм, к сожалению, по традиции слишком жестко отделяемых от апеллятивных балтийских заимствований, составляет гидронимия балтийского происхождения на славянских территориях (см. ниже), по которой более или менее надежно восстанавливается и фрагмент словаря балтийских апеллятивных лексем, мотивирующих соответствующие гидронимы. Наконец, не могут быть упущены из виду «невидимые» балтизмы, предполагать которые не только можно, но и нужно. Дело в том, что обычное понимание балтизм уже в своем основании содержит существенное ограничение: балтизмы, как правило, определяются по некоему диссонансу формальных признаков лексемы, по-

дозреваемой в «балтийскости», формальным же признакам, определяющим «славянскость» лексемы, и по наличию в балтийских языках некоего соответствия слову, проверяемого на «балтийскость». Поскольку упоминаемый диссонанс чаще всего возникает по причине разного темпа и / или разного направления в развитии фонетической системы и отдельных звуков и их сочетаний в некогда единых (или практически почти единых) в этом отношении балтийских языках и праславянском (а именно эти «разности» и определяют звуковой вид слова), возможность определения слова как балтизма существенно зависит от наличия таких «необходимых» диссонансов. Но каковы бы ни были перестройки балтийской и славянской системы, остается весьма существенная часть случаев, когда языковая эволюция не нарушила былого единства звуковой структуры слова и тем самым не дала повода возникнуть диссонансам, столь важным для опознания «чужого» и чуждого элемента в своем языке (таких ситуаций достаточно много, ср. структуры типа CVCV..., VCV..., CRV..., SCV... и т. п. и разные их комбинации). В таких случаях исследователь начисто лишен возможности выявлять балтизмы в славянской речи, но тем не менее он обязан, отмечая бесспорные балто-славянские лексические соответствия, числить среди них в резерве некую часть «невидимых» балтизмов (ср. из таких ближайших соответствий, к сожалению, не учтенных в ЭССЯ, праслав. **mǫrliti* – лит. *muřlinti* [к значению ср. болг. *мърлам*], **mǫrmati* – лит. *murmāti*, **mǫrmǫliti* – лит. *mūrmaliuoti*, **mǫrnėti* – лит. *murmėti*, **mǫrsiti* – лит. *muřsti* [*murdo*], **mǫržiiti* – лит. *muržėti*, **myliti* (*se*) – лит. *mūlti*, **myriti* – лит. *mūrti*, **mǫrmušb* – лит. *murmūzas*, *murmūzė*, *marmūzyti* и т. п. – и таких примеров весьма много, причем в ряде случаев несмотря на отсутствие фонетических диссонансов всё-таки обнаруживаются кое-какие способы, хотя бы весьма относительно, предложить предпочтительную трактовку соответствий такого типа).

Второй ключевой вопрос (и соответственно задача) балто-славянской диалектологии в свете заимствований связан с определением их ареала, в данном случае ареала балтизмов. Образцом идеальной ситуации в этом отношении можно считать балтийскую гидронимию (отчасти и топонимию, хотя она выявляет и некоторые дополнительные сложности), весьма точно локализуемую на славянской территории, как, естественно, и на балтийской. Лишь в относительно редких случаях можно допускать «перенос» некоторых элементов балтийской гидронимии в процессе миграций уже не балтийского, а славянского населения в места, где балтов могло и не быть даже в прошлом. Поэтому около полутора тысяч балтийских гидронимов (из которых две трети достаточ-

но надежны) Восточной Европы — Белоруссии, России (ареал, приблизительно ограниченный линией Псков-Москва и даже восточнее нее — Киев), северной части Украины — составляют драгоценный материал для весьма точной локализации балтийского этноязыкового элемента в Восточной Европе. Если учесть, что значительный пласт балтийской гидронимии известен (не говоря о Восточной Пруссии) на территории северной половины Польши и, вероятно, Северной Германии, хотя он должным образом и не собран, и что будущие обследования балтийского ареала — вне современной Балтии, прежде всего тех его частей, которые пока слабо документированы, число таких балтийских гидронимических опор на территории Славии должно, несомненно, еще более увеличиться, а они во всей их совокупности позволят полнее, точнее и дифференцированнее определить всё пространство взаимодействия балтийского и славянского этноязыковых комплексов, что, конечно, имело бы большое значение для решения более дифференцированных задач балто-славянской диалектологии.

Впрочем, кое-какие уточнения в этой области возможны и сейчас. Здесь можно назвать два из них, основанные на данных, собранных в словаре Лаучюте. Первое из них относится к дифференциации славянских языков с точки зрения наличия в них лексических балтизмов. Более всего балтизмов в белорусском языке — более 550, далее следуют польский — около 400, русский — несколько более двухсот и украинский — более шестидесяти. Данные о других славянских языках в этом отношении ничтожны, и они или определенно не предполагают непосредственных контактов с балтами, или вызывают некоторые сомнения в их надежности, или, наконец, могут быть объяснены как-то иначе (ср. чеш. *dehet*, *lajdák*, *tram*, словц. *deht*, с.-хорв. *брѣдица*, *грумен* и др. и, конечно, «вечный» янтарь, чье название так или иначе представлено на всей территории Славии). С ареальной точки зрения существенны и некоторые другие количественные характеристики, относящиеся к пространственно-языковой группировке славянских балтизмов. В четырех языках (белорусском, польском, русском и украинском; случаями — их один-два, — когда к ним присоединяется пятый язык, разумно пренебречь) распространены 38 общих балтизмов апеллятивного типа. В трех языках выявлено 58 общих балтизмов, причем более дифференцированное распределение выглядит следующим образом: в белорусском, польском и русском — 40 общих балтизмов, в белорусском, польском и украинском — 10, в белорусском, русском и украинском — 7, в белорусском, польском и чешском — 1. В двух языках насчитывается 135 об-

щих балтизмов, а именно — 81 общий балтизм в белорусском и польском, 36 — в белорусском и русском, 12 — в польском и русском, 5 — в белорусском и украинском, 1 — в русском и украинском. Балтизмов, которые распространены только в одном языке — 554, из них в польском — 222, в белорусском — 220, в русском — 108, в украинском — 4.

Эти сведения о «языковой» дифференциации балтизмов могут быть дополнены и уточнены данными о существенно более мелких локусах, к которым привязаны балтизмы. Разумеется, что эти данные, как правило, довольно точно интерпретируются и в диалектно-говорном отношении. Так, из локальных (resp. диалектных) адресов балтизмов в России упоминаются псковск., новгор., любанск., петерб., череповецк. тверск., торопецк., яросл., костром., ивановск., владимир., рязан., мещерск., тамб., пенз., смолен., ржев., моск., подольск., калужск., тульск., орловск., севск., брянск., липецк., воронеж., донск., но и нижегор., казан., симбир., саратовск., уфимск., и даже ростовск., краснодар., терск., тифл., перм., уральск., екатериносл., тобольск., оренб., томск., новосиб., красноярск. говоры. Белорусская территория практически полностью охвачена балтизмами, и в связи с ними упоминаются многие десятки мест. Украинские балтизмы локализируются, судя по пометам в словаре в Львовск., Ровенск., Тернопольск., Житомирск., Киевск., Черниг., Полтавск., Харьковск., Херсонск. областях, в Черкасск. р-не. В Польше балтизмы отмечаются по всей северной полосе с востока на запад (в частности, в Познанском воеводстве), но и в южной части страны, в Краковской и Люблинской землях.

Естественно, что уже эти данные о локализации балтизмов в Славии неизбежно приводят к теме времени их появления в данном месте и времени их заимствования, что, собственно, и составляет третий ключевой вопрос балто-славянской диалектологии — хронологический. В этой области сделано менее всего, а сделанное или относится к указаниям на очевидное, или же выполнено «на глазок». Поэтому в данном случае говорить о каких-то наличностях трудно, и хронологическая тема остается именно вопросом, требующим ответа, задачей, подлежащей решению. При этом нужно принимать во внимание и те парадоксы времени и пространства, с которыми приходится сталкиваться в балтийском языкознании, о чем писалось ранее. К теме балто-славянской диалектологии соответствующие явления и ситуации имеют самое непосредственное отношение. Решение хронологических проблем важно, наконец, и в том отношении, что оно уточнило бы нижнюю границу того времени, с которого имеет смысл говорить о балто-славянской диалектологии.

И, наконец, последний (четвертый) ключевой вопрос отсылает к самой основе, на которой зиждется балто-славянская диалектология, — к диалектной идентификации балтизмов на территории Славии — как с балтийской, так и со славянской стороны, о чем уже говорилось выше. Не считая отдельных спорадических наблюдений (в частности, они кое-где предлагались в связи с анализом балтийской гидронимии Верхнего Поднепровья и Подмосковья), в этой области уровень исследования близок к минимуму, хотя кое-какие резервы позволяют надеяться на изменение ситуации. Но как бы то ни было, об итогах здесь говорить рано, и главный вопрос балто-славянской диалектологии — о диалектной идентификации балтизмов — остается ее главной задачей.

Суть же всей ситуации состоит в том, что балтийская диалектная мозаика переносится на славянскую диалектную мозаику, и диалектное балтийское как бы отражается в зеркале диалектного славянского, становится его заложником, хотя и не без компенсации в виде выигрыша в пространстве и, более того, в степени своей (балтийской) диалектной дифференцированности за счет славянских диалектных особенностей (два зеркала с разными законами преломления «чужого» в «своем» и «своего» в «чужом»).

V. Toporov

About the Balto-Slavic Dialectology

In this article various aspects which warrant the application of the notion «Balto-Slavic Dialectology» are analysed. Side by side with the situation determined by a special genetic propinquity which marks out these two elements against the background of other dialectal connections in the Indo-European epoch attention is given mainly to the situation characterized by mutual borrowings in Baltic and Slavic languages. It deals with the macro-situation including the macro-area inside of which this process of linguistic «interchange» takes place, and with the micro-situation existing in a comparatively narrow region of the Balto-Slavic borderland where immediate contacts are going on nowadays as well, resulting in something like a single language *à deux termes*. The whole problem of borrowings acquires a new shape in connection with the latter situation. As to the macro-situation, some data are given in this article, concerning the structure of the Baltic heritage in the Slavic languages — both quantitative and qualitative ones — as well as the frontiers of the area with the Baltic elements on the Slavic territory and some peculiarities of its dialectal differentiation.

Праславянские вариантные глагольные основы с корнем **ny-* 'качать(ся), склонять(ся), кивать'

Этимологические исследования славянской лексики обнаруживают возможность реконструкции для праславянского языка групп глагольных основ, представляющихся вариантными консонантными расширениями, производными (в каждой группе) от одного и того же корня: ср. **ььrt-*, **ььrx-* и **ььrk-*; **ььrg-*, **ььrk-*, **ььrb-*, **ььrd-*, **ььrm-* и **ььrl-*; **ььrt-*, **ььrg-* и **ььrk-*. Возраст вариантов определяется наличием / отсутствием соответствий в родственных языках и сохранением / утратой в праславянском языке корневой глагольной основы. В большинстве случаев устанавливаются индоевропейские истоки вариантности. Однако несомненная связь генезиса многих расширителей со звукоподражаниями и возможность их функционирования как экспрессивных средств [1] в различные периоды существования праиндоевропейского языка, праславянского языка и даже отдельных славянских языков определяют относительность, проблематичность хронологических характеристик соответствующих глагольных основ. Выявление каждой новой группы, объединяемой подобной вариантностью, существенно для суждения о функционировании и хронологии консонантных расширителей глагольных основ в праславянском языке. Ниже излагаются основания для реконструкции группы вариантных основ с корнем **ny-*, первичная семантика которого — 'качать(ся), склонять(ся), кивать'.

Ф. Миклошич включил в свой «Этимологический словарь славянских языков» основу **nych-* (далее, в соответствии с практикой «Этимологического словаря славянских языков» под ред. О. Н. Трубачева, заднеязычный глухой фрикативный обозначается *x*. — Ж. В.), реконструированную на базе ст.-слав. **вЪЗНЫШИТИ СѦ** 'поднявшись, колебаться в воздухе', чеш. *konýšiti, konoušiti* 'баюкать', словен. *nihatí* 'качать', сер-

бохорв. *nĭhati*, *nĭšem* и *nĭhati* 'качать', *nĭšati* 'качать', болг. *нишая* 'качать' [2]. Миклошич не дал этой основе этимологического толкования. Ст. Младенов предположил для южнославянских глаголов родство с **nizъ* [3], не учитывающее соответствующие чешские формы. Убедительное толкование всей славянской группы принадлежит В. Махеку: слав. **nyxati*/*nyšiti* — это *x*(*<s*)-расширение индоевропейского корня **neuH-*, представленного в лат. *niō* 'кивать, делать знак', др.-инд. *návatē* 'двигаться, шевелиться'; *s*-расширениями являются также греч. *νεύω* 'качаться, раскачиваться; склонять, опускать (голову); кивать; направляться' [4] и лит. *niaĩsti* 'наклоняться, нагибаться' [5, с. 63]. Таким образом, судя по наличию индоевропейских соответствий, славянская основа должна восходить к праиндоевропейскому.

Объединяя в своем «Индоевропейском этимологическом словаре» возможные рефлексy гнезда **neuH-*, Ю. Покорный реконструировал для него и производную основу **neug-*, возведя к ней греч. *νύσσω* 'толкать, колоть', ср.-нем. *nucken* 'дремать', слав. **n*(*'*)*lukati* 'побуждать' [6]. Но для этих лексем предлагаются и иные ряды соответствий и возможности истолкования, особенно убедительные для греческой и славянской форм [5, с. 64 — там же см. литературу], так что реальность других (кроме *s-*) расширений для и.-е. **neuH-* остается под вопросом.

Диалектная лексика славянских языков, между тем, дает основания предполагать существование, наряду с праслав. **nyxati*/*nyšiti*, и других расширений от и.-е. **neuH*, а именно — **nygati* и **nykati*. Как продолжение праслав. **nygati* может рассматриваться прежде всего в.-луж. *nygać* 'кивать, дремать сидя' [7]. Толкование этого слова Г. Шустер-Шевцем как германизма (< в.-нем. *nucken, nücken* 'дремать') [8], кажется, спровоцировано в значительной степени изолированностью лужицкой лексемы. Но эта изолированность устраняется сопоставлением лужицкого слова с блр. диал. *нѣгаць* 'слоняться, соваться' [9], 'искать' [10, с. 140], 'заглядывать, совать нос' [10, с. 88], 'перебирать при еде, привередничать' (Ні есьць, а ўсё нѣгая, смакоў шукая) [11]. В отношении белорусского диалектизма также есть другое этимологическое объяснение — как варианта блр. *нікаць* < праслав. **nikati* [12], и предпочтительность иного толкования — родства с **nyxati* — определяется возможностью более точного формального отождествления с в.-луж. *nygać* и семантической сопоставимостью блр. *нѣгаць* с лужицкой лексемой и с праслав. **nyxati*. Дело в том, что, наряду с приведенными выше славянскими продолжениями праслав. **nyxati*, при преобладающей семантике 'качаться, колебаться', к этой основе (через некоторые промежуточные

словообразовательные ступени) могут быть возведены русские диалектизмы со значениями 'суетиться, искать': *нѣхрѣть* 'суетиться, соваться всюду' (сарат.), 'тщательно искать кого-, что-либо' (сарат.), 'разузнавать что-либо хитростью' (симб.) [13, с. 326], *нѣхорѣть* 'высматривать, выглядывать' (курск.), 'тщательно искать кого-, что-либо' (курск.) [13, с. 326]. Развитие значений 'суетиться' → 'высматривать, искать' вполне вероятно на базе исходной семантики 'качать(ся)': ср. значения рус. *шататься* 'колебаться' и 'бродить, суетиться', рус. *шнырять* (родств. с *нырять*). Эти русские диалектизмы являются, таким образом, семантическим связующим звеном между **nyxati* и блр. *нѣгаць* 'слоняться, искать', а тем самым и основанием для генетического отождествления блр. *нѣгаць* и в.-луж. *nygać* 'кивать, дремать сидя'.

Представляется, что архаичным префиксальным производным от реконструируемого праслав. **nygati* может быть рус. диал. донск. *коньгаться* 'возиться' [14]; ср. упомянутые выше чеш. *konýšiti, konoušiti*, производные от **nyxati*/**nyšiti*/**nušiti*.

На тех же семантических основаниях к основе **nykati*, родственной и вариантной с **nyxati* и **nygati*, могут быть возведены польск. диал. *nykać* 'кивать, засыная сидя, дремать' [15], 'искать, шарить, рассматривать' [16], блр. *нѣкаць* 'склонять часто голову, свойственно уткам; поглядывать в разные места, как бы ища чего или подсматривая; уклоняться, прятаться от работы' [17], диал. *нѣкаць* 'ходить, бродить' и *нѣкацца* 'бродить, волочиться' [18], русск. диал. *ныкать*, -аю 'стараться проникнуть куда-либо' (курск.) и *ныкать* 'искать кого-, что-либо, шарить' (краснодар.) [19].

Итак, представляется возможной реконструкция для праславянского состояния трех родственных глагольных основ с вариантными консонантными расширителями: **nyxati* (помимо использовавшихся ранее материалов южно-славянских языков и чешского, основа обнаруживается и в русских диалектах, см. выше), **nygati* (на базе данных верхнелужицкого, белорусского и русского языков), **nykati* (на материале польских и русских диалектов). При этом, судя по известным славянским лексическим материалам, в славянских языках нет продолжения корневой глагольной основы **ny-* с соответствующей семантикой 'качать(ся), кивать'. Достаточно весомой мотивацией утраты этой основы может быть омонимия с **nyti* 'страдать'. Следовательно, допустимо предположение о дославянском, индоевропейском происхождении не только основы **nyxati*, но и основ **nygati* и **nykati*.

Примечания

- [1] J. Zubatý. Studie a články. Praha, 1945, sv. I, č. 1, s. 145; A. Vaillant. Grammaire comparée des langues slaves. Paris, 1966, t. 3, p. 331—337; T. Szymański. Derywacja czasowników onomatopeicznych i ekspresywnych w języku bułgarskim (Prace językoznawcze 86). Wrocław etc., 1977, s. 18—50; F. Sławski. Zarys słowotwórstwa prasłowiańskiego // Słownik prasłowiański / Pod red. F. Sławskiego. Wrocław etc., 1974, t. 1, s. 49—53.
- [2] F. Miklosich. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Amsterdam, 1970, S. 218. См. также P. Skok. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb, 1972, knj. II, s. 530.
- [3] Ст. Младенов. Етимологически и правописен речник на българския език. София, [1941], с. 358.
- [4] V. Machek. Etymologický slovník jazyka českého. Druhé, opravené a doplněné vydání. Praha, 1968, s. 273.
- [5] В. М. Иллич-Свитыч. Опыт сравнения ностратических языков. Сравнительный словарь. р—q. М., 1984.
- [6] J. Pokorny. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1949, Bd. 1, S. 767 (**neu*-).
- [7] F. Jakubaš. Hornjoserbsko-němski słownik. Budyšin, 1954, s. 218.
- [8] H. Schuster-Šewc. Historisch-etymologisches Wörterbuch der ober- und niedersorbischen Sprache. Bautzen, [1984], H. 14. S. 1029.
- [9] Жывое слова. Мінск, 1978, с. 109.
- [10] Народнае слова. Мінск, 1976.
- [11] П. Сцяцко. Дыялектны слоўнік (3 гаворак Зэльвеншчыны). Мінск, 1970, с. 107.
- [12] Этымалагічны слоўнік беларускай мовы / Рэд. В. У. Мартынаў. Мінск, 1993, т. 8, с. 51—52.
- [13] Словарь русских народных говоров / Гл. ред. Ф. П. Филин. Л., 1986, вып. 21 (далее — СРНГ).
- [14] Словарь русских донских говоров. Ростов, 1976, т. 2, с. 77.
- [15] W. Brzeziński. Słownik gwary wsi Podrózna w Złotowskiem. Wrocław etc., 1987, t. II, s. 382.
- [16] J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki. Słownik języka polskiego. Poznań, 1952, t. III, s. 428; J. Karłowicz. Słownik gwar polskich. Warszawa, 1906, t. III, s. 340.
- [17] И. И. Носович. Словарь белорусского языка. СПб., 1870, с. 343.
- [18] Р. М. Яўсееў. Маці казала так... 3 гаворкі Бялыніцкага раёна. Мінск, 1978, с. 75.

- [19] СРНГ, вып. 21, с. 322 (*ныкать*), с. 326 (*нычьеть*; судя по приведенной в контексте личной форме *нычешь*, инфинитив восстановлен некорректно, должно быть *ныкать*).

J. Varbot

Proto-Slavic Variant Verb-Stems of the Root *ny- 'to oscillate, to nod'

Some dialectal materials of West and East Slavic languages allow to reconstruct two Proto-Slavic verb-stems — *nygati and *nykati 'to oscillate, to shake' as cognate with *nyxati (all being derived from IE *neu- 'to oscillate').

Л. В. Куркина (Москва)

К этимологии болгарских диалектизмов

пѣшта

Болгарский язык и его диалекты, исследование которых занимает важное место в научной деятельности уважаемого юбиляра, сохраняют немало лексико-семантических архаизмов, расширяющих этимологическую базу, углубляющих возможности восстановления родственных связей славянских слов. К числу таких лексических архаизмов может быть отнесен зафиксированный в болгарских диалектах гл. *пѣшта* (*са*) в значении 'перегораживать, запруживать, засыпать камнями, землей, наваливать кучу, нагромождать, делать плотину; перегораживать водный поток, чтобы создать пруд или изменить направление реки' (ботевгр., врачан., пирдоп. [БД, кн. I, с. 198; кн. IV, с. 130; кн. IX, с. 296]). Об активном употреблении глагола говорят многочисленные префиксальные образования с тем же основным значением: ср. ботевгр. *отпѣшта* [БД, кн. I, с. 197], пирдоп. *зѣпѣшта* [БД, кн. 9, с. 296; кн. IV, с. 103], софийск. *зѣпѣштѣам* [БД, кн. 2, с. 80], врачан. *ѣспѣшта*, *пѣпѣшта* (*са*) [БД, кн. 9, с. 258, 301], ихтиман. *прѣпѣшта* [БД, кн. 3, с. 145], карлов. *прѣпѣштѣ* [БД, кн. 8, с. 157]. В семантическом плане особо следует выделить ихтиман. *зѣпѣшта* 'закрѣсть печь', прич. *зѣпѣштѣн* 'загороженный, закрытый' [БД, кн. 3, с. 70]. В одном из архаичных болгарских диалектов — родопском гл. *зѣпѣштѣам* имеет значение 'втыкать, засовывать, затыкать, заделывать отверстие' [БД, кн. 2, с. 164], в этом же диалекте отмечено глагольное образование с преф. *ис-* и экспрессивным наращением *-ар-* — *испѣштѣарувам* 'ударить' [БД, кн. 2, с. 173]. Эти диалектизмы не только дополняют и углубляют семантику болгарских глаголов, но и позволяют выделить элементы значения, которые могут служить ориентиром в поисках первичной

мотивации при восстановлении исходной основы. В исторической иерархии значений, видимо, более древнюю ступень со следами изначальной мотивации отражают глаголы с исходным значением 'тыкать, совать'. Первоначально, видимо, функционирование глагола было ограничено узкой сферой хозяйственной деятельности: он употреблялся в тех случаях, когда надо было что-то закрыть, заткнуть с помощью какого-то предмета или каким-то другим способом (ср. 'закрыть печь'). Результатом переосмысления, расширения исходного значения стало употребление глагола для обозначения других видов деятельности (перекрытие реки). В диалектах находим этот же глагол с преф. *рас-*, который несколько видоизменяет семантику глагола, придает ему пейоративный оттенок: ср. софийск. *расши́тол'вам се* 'растегиваться, раздеваться, распускаться', 'жить широко' [БД, кн. 2, с. 101], *расши́то́ввам са* нес., *ра́спиштова са* 'ходить небрежно одетым, растегнутым, раскрытым', перен. 'распускаться, вести себя безответственно, бушевать', *распи́штовен* 'небрежно одетый', 'распушенный' [БД, кн. 9, с. 315], троян. *ръспи́штовъ съ* 'разойтись, развеселиться' [БД, кн. 4, с. 223]. Изменения в семантике глагола приводят к нарушению, распаду исконных лексических связей. Болгарский материал наглядно представляет все звенья семантической эволюции глагола: 'тыкать, толкать, совать' > 'затыкать, закрывать' > 'перегораживать, запруживать, насыпая землю, наваливая камни', отсюда 'нагромождать', а в сложении с префиксами — 'раскрытый, небрежно одетый'. При определении этимологических истоков болгарских глаголов представляется оправданным обращение к гнезду праслав. **pīxati*/**pъxati* (< и.-е. **peis-*, см. [Рокоту, Vd. I, S. 796]), в рамках которого находим образования со значениями 'толочь', 'толкать', 'совать'. В основе болгарских образований лежит расширение формантом *-k-* исходной основы, при наличии расширителя *-k-* отсутствуют обязательные условия для перехода *s > x*. Словообразовательно и семантически гл. **piščati* связан с гл. **piskati*, к продолжениям которого могут быть отнесены болг. ихтиман. *испи́ска*, обычно в форме 3 л., 'поклевать, высосать' [БД, кн. 3, с. 79], пирдоп. *опи́скам* 'поклевать, склевать (виноград, черешню и другие мелкие плоды)' [БД, кн. 4, с. 127], врачан. *опи́скам* сов., *опи́сquam* нес. 'выклевывать, поклевывать зерна в колосьях' [БД, кн. 9, с. 258], кашуб.-словин. *pīskac* 'о свиньях: рыть, копать', 'мелко, неглубоко пахать', отсюда *pīska* 'морда' [Sychta, t. IV, s. 280]. Приведенные материалы помогают воссоздать ближайшее родственное окружение и тем самым преодолеть изолированность отмеченного в литературе ряда именных образований с реконструируемой для них исходной формой **pisk/*piska*. Глаголы на *-skati*, видимо, стали производя-

щей основой для именных образований: ср. кашуб.-словин. *pisk* 'морда', чеш. *pisk* 'зародыш пера, стержень пера', с.-хорв. диал. *piska* 'обрубок дерева, пенек, щепка', болг. *пыска* 'клин, вставляемый в дышло', *пысек* 'рассоха, вставляемая одним концом в дышло, а другим в переднюю ось' ([Геров, ч. IV, с. 404–405]; см. также: [1]). Этот ряд образований может быть дополнен славянскими диалектизмами с общим значением 'стержень': болг. *писек*, *писка* 'рассоха, клин, вставляемый в дышло' [2]; с.-хорв. *пиштован* м. р. 'планка, рейка, которая служит для временного укрепления каких-то деталей в строительном деле' [3]; блр. диал. *п'шчык*, *п'шчык* м. р. 'роговая часть птичьего пера', *п'шчыкі* мн. 'кончики пальцев рук', 'отростки перьев после линьки птиц' [4]; русск. диал. (запад.) *писка* 'морда животного' [СРНГ, вып. 27, с. 47].

На болгарской территории достаточно широко представлены семантические близкие глаголы с основой *пишк-*: ср. *п'шкам* (*да п'шинж*, *п'шнувам*) 'совать, всовывать, засовывать, втискивать, запускать' [Геров, ч. IV, с. 405], диал. *п'шкам* 'колоть' [5], родоп. *п'шкам* 'толкать, колоть, бить', *п'шка ма* 'колет' и *п'шкам* нес., *п'шинам* сов. 'толкать, бить, ударять', *нап'шквам*, *нап'шкувам* 'оговорить, оклеветать', *-са* 'укальваться', *оп'шкувам* 'уколоть', *поп'шкувам* 'накалывать', с производными *п'шкал* 'колючка, иголка, шип', *п'шкалиф*, прилаг. 'колючий', *пишк'ало* ср. р. 'четыреугольный железный шест с деревянной рукояткой — старое оружие', *пишк'алка* ж. р. 'засов на внутренней стороне ворот', *п'шкунт* 'колики, колотье, острая боль' [БД, кн. 2, с. 236, 216, 226, 242; кн. V, с. 197], а также *п'шина* 'кольнуть, воткнуть' [6], дедеагач. *п'шкѣм* нес. 'колоть', прич. *п'шинѣт* 'продырявленный' [БД, кн. 5, с. 235], хасков. *уп'шкѣѣм съ*, *уп'шкѣѣм съ* 'укальвать(ся)' [БД, кн. 5, с. 94], гюмюрдж. *п'шкѣѣм* нес. 'колоть', *п'шинѣ*, *п'иснѣ* сов. 'кольнуть' и *пишклиф*, *-ивѣ* 'колючий', *нап'шкѣѣѣм* 'оклеветать, оговорить, донести на кого-н.' [БД, кн. 6, с. 142]. Образование той же структуры с корневым вокализмом в ступени редукции в чеш. диал. *pškát* 'пихать, толкать', *napškát* 'напихать' и др. см. [Machek², s. 448]. В преобладании варианта *pškati*, вытеснившего первичную основу *pisk-*, можно видеть результат чисто фонетического развития, но при этом не исключена и другая возможность — обобщение основы *пиш-* исходного глагола, оформленного в диалектах по классу глаголов на *-iti*: ср. самоков. *пишим* 'отводить рукав реки' и связанное с ним *пиш* м. р. 'преграда, насыпь из камней для отвода воды в другое русло', *зап'шкувам* 'затыкать, заделывать отверстие, закупоривать' [БД, кн. 3, с. 258, 220], кюстенд. *п'шим* 'закрывать, заткнуть отвер-

стие' [БД, кн. 6, с. 146]. Глагол на *-iti* стал производящей базой для болг. родоп. прилаг. *распíшен* 'продырявленный, незакрытый' [БД, кн. 2, с. 257]. С этим же глаголом соотносятся собственно болгарские образования с суффиксальным *-л*, все значения, характеризующие эти образования, являются конкретизацией более общего — 'деталь для соединения, скрепления': самоков. *пíшл'ак* 'кусок дерева, соединяющий части обода колеса' [БД, кн. 3, с. 258], *пишляк* то же [7], троян. *пíшльк* то же [БД, кн. 4, с. 218], родоп., пирдоп. *пíшлек* то же и 'два куска дерева, с помощью которых раздвигают и закрепляют уши у рала' [БД, кн. 5, с. 197; кн. IV, с. 130], *пишльáци* м. р. мн. (ед. *пишльáк*) 'короткие куски дерева, соединяющие две доски' [8].

Восстанавливая распавшиеся связи болгарских глаголов, мы углубляем и расширяем этимологический контекст гнезда слав. **pixati*, что и дает некоторые дополнительные основания для поисков других потенциально родственных образований. Основываясь на структурных и семантических особенностях данного гнезда, можно рассмотреть возможность включения в состав продолжений слав. **pix-* еще одного болгарского диалектизма. Мы имеем в виду зафиксированные в словаре Герова и родопском диалекте слова *опистé* и *опистé* ср. р., *опистén* м. р. в значении 'ремень под хвостом вьючного животного для крепления седла' [Геров, ч. III, с. 371; БД, кн. 2, с. 226]. Это образование с семантикой, производной от основного значения гл. **pixati* 'пихать, совать', связано древним чередованием *e : o* со слав. **pěsta/*pěstь* [Фасмер, т. III, с. 250]. Попутно заметим, что в это же этимологическое гнездо вводятся слав. **pěstunь*, **pěstovati*, которые определяются как образования отыменного происхождения с семантикой, развившейся на базе первонач. 'двигать, толкать туда-сюда, вверх-вниз (как пест при толчении) или кругами (как пест при растирании)' [9]. В русских диалектах находим слова, которые имеют общую с болгарскими лексемами основу *пист-*: ср. *пíстега* ж. р. 'манок, пищик из гусяного пера на рябчиков' (олон.), по существу тем же значением характеризуются *пíстик* м. р. 'манок, пищик на рябчиков из гусяного пера, коры или сучка липы' (волог.), *пíстиль* м. р. 'деревянный пест' (Ряз. Мещера), *пíстшиница* ж. р. 'кушанье из молодых побегов полевого хвоща — пистиков, сваренных на молоке' (перм.) [СРНГ, вып. 27, с. 49–50]. Все приведенные образования несут в себе следы первичного значения 'стержень с острым концом', что и сближает их с упомянутым выше чеш. *pisk* 'зародыш пера, стержень пера'. Как видим, в разных частях славянского мира представлены варианты основ **pistь : *pěstь*, содержащие в своей структуре суф. *-tь, -ta* [10].

Вероятно, в контексте таких отношений обретают конкретные внутриязыковые связи отмеченные в литературе русские диалектизмы с общим значением 'лесная чаща': новгор. *пищá*, *пищóра* 'частый лес', 'чаща, заросли' [11, с. 99–100] и примыкающие к ним *пищýга* ж. р. 'лесная чаща, густой непролазный лес (преимущественно еловый)', 'непроходимое или труднопроходимое место в лесу' (калин., петерб.), 'щель, расщелина' (брян.), с тем же значением *пищýра* (смол., петерб.) [СРНГ, вып. 27, с. 62]. В словообразовательном отношении русские диалектизмы представляют собой производные на *-ура*, *-ýга*, *-ора* от основы *пист-*, в которой можно видеть продолжение того же исходного корня, расширенного суф. *-ть*, с вокализмом в ступени *e*. Таким образом, русские слова входят в ряд регулярных отношений именных образований с суффиксальным *-t-*, сложившихся на базе исходного глагола **pixati/*pъxati*. Семантические связи с исходным глаголом затемнены. Достаточно определена и, в общем, очевидна производность одного из значений русского диалектизма 'щель, трещина' от исходного 'пихать', т. е. русские диалекты отражают результат конкретного действия, обозначенного гл. **pixati*: 'пихать, толкать' > 'место пробитое, продолбленное' > 'щель' и 'место в лесу, где можно пробиться, пробраться'. Обозначения чащи, густого леса опосредованно несут в себе следы связи с тем же исходным значением. Если принять во внимание семантику славянских соответствий и уточнение, даваемое словарем при толковании этого слова, — 'густой лес, преимущественно еловый', можно высказать предположение, что обозначение чащи, густого леса сложилось на основе метафорического сравнения, уподобления стволов еловых деревьев 'стержням с острыми концами', в этом плане уместно напомнить чеш. *pisk* 'стержень пера', русск. *пистиль* 'деревянный пест' и родственные им слова.

В статье, специально посвященной анализу русск. *пища*, В. А. Меркулова определяет русский диалектизм как узколокальное образование, первоначально страд. прич. прош. вр. на *-t-* от несохранившегося гл. ***pisti* с семантикой 'густой, частый', производной по отношению к глагольной основе 'набивать, напихивать'. В контексте приведенных словообразовательных и семантических отношений представляется излишней и недостаточно обоснованной реконструкция для праславянского особого глагола ***pisti* с предполагаемым для него соответствием в лит. *pisti* [11, с. 100], которое, видимо, отражает корневой вокализм в ступени редукции.

Как видим, болгарский материал позволяет восстановить распавшиеся генетические связи, установить этимологическое тождество весьма

удаленных друг от друга слов и тем самым расширить состав гнезда слав. **rixati* во всем многообразии словообразовательных и семантических отношений.

хѣртъ

В «Материалах по болгарской диалектологии» находим редко употребляемые диалектизмы с корнем хѣрт-: хасков. хѣртъ м. и ж. р. 'человек, который голодает; бедняк', *прихѣрт'вѣм съ* нес. и *прихѣрт'ѣ съ* сов. 'испытывать состояние голода, когда возникает особое ощущение пустоты в желудке' [БД, кн. 5, с. 98], попов. *при'хѣртвѣм съ* нес. 'сжиматься, сгибаться от холода' [БД, кн. 5, с. 252]. Состояние, обозначаемое болгарскими словами, соответствует тому, что в русском языке передается выражениями *его всего подвело; живот подвело*, т. е. стал худым, впалым. Во всех отношениях близкое образование в русск. диал. (псков., твер.) *хортáть, хортáться* 'жить кое-как, перебиваться' [Даль³, т. IV, с. 1224]; [12].

Встает вопрос: в каком отношении находятся эти слова со слав. **хѣртъ* 'борзая'. Славянское слово, служащее обозначением породы охотничьих собак, не имеет общепринятой этимологии. Не вдаваясь в историю этимологического изучения этого слова, мы лишь в самом общем виде, очень кратко назовем основные версии. Поиски этимологического решения велись в следующих направлениях: 1) соотнесение с и.-е. **kher-* 'резать' [13, с. 12], ср. лат. *curtus* 'укороченный', 'подрезанный', первоначально прич. страд. прош. вр. на *-t-*, т. е. 'собака с короткой шерстью' (ср. у Даля: «...хортими собаками вообще зовут борзых с низкой гладкою шерстью, для отличия от псовых и густопсовых, мохнатых...»); 2) сближение с лит. *kùrti* 'быстро бежать, скакать' (ср. [14, кпј. I, s. 690]; 3) выведение из и.-е. **ser-* 'быстро двигаться, мчаться' < и.-е. **k'er-* с развитием *k'* > *x* перед заднеязычными: слав. **хѣртъ* ~ др.-инд. прич. *sṛta* от гл. *sáṛati* 'гонит' [15; 16]; 4) признание родства с герм. (*h*)*rup-* (нем. *Rüde* 'охотничья собака'), см. [Machek², s. 207]; [17]; 5) сравнение со слав. **skorbъ(jь)* [18]; 6) объяснение как первонач. названия животного по масти, родственного лит. *sařtas* 'светло-гнедой, желтоватый', сюда же русск. *мухортый* '(о лошади) гнедой, с желтоватыми подпалинами'. Последняя версия получила убедительное обоснование в работах О. Н. Трубачева (ср. [ЭССЯ, вып. 8, с. 148–149], см. также [19]). Все отмеченные истолкования не свобод-

ны от фонетических трудностей и связаны с определенными допущениями. Вопрос об этимологии славянского слова остается до конца не решенным. Как видно из приведенных версий, в своих поисках исходной основы исследователи ориентируются на свойства этой породы охотничьих собак. Важнейшие качества борзых: быстрый бег, тело стройное и тонкое на сухих, но очень мускулистых ногах, цвет разнообразен.

Хотя на всей славянской территории слово **xъrtъ* терминологизировано и как будто бы свободно от внутриязыковых связей, нельзя пройти мимо некоторых употреблений, возникших вторично на основе метафорического сравнения, причем в сравнении устойчиво повторяется одна особенность этой породы собак: стройное, поджарое тело, худоба. К примерам метафорического переосмысления могут быть отнесены польск. *chartowaty*, *chartowity koń* 'конь с длинным, тонким туловищем' [20], кашуб.-словин. *chart* 'о женщине, тощая', 'голодный, как собака', 'тощий гусь', 'тощая сельдь' [Sychta, t. II, s. 23], чеш. *chrt* 'худощавый, тощий человек', *chrtnouti* 'худеть', *vychrtnouti* 'отощать', *výchrtlý* 'тощий' [21, d. I, s. 545; d. IV, s. 948], словц. (книж. экспр.) *výchrtlý* 'худой, тощий, как охотничья собака' [22, d. V, s. 227]. Вполне понятна взаимосвязь значений 'тощий' ~ 'голодный' и далее развитие на этой основе значений 'алчный, жадный' и 'жаждущий, ищущий' в кашуб.-словин. *chartâč*, *chartati*, *chartovati* [Sychta, t. II, s. 23], русск. диал. *хортовать* '(о жеребце) искать кобылы' [Даль³, т. IV, с. 1224]. Нельзя не отметить и случаи употребления слав. **xъrtъ* в значении 'скупой, скряга', в свою очередь, видимо, производного от 'жадный': ср. чеш. *chrt* 'скупой', *chrtit* 'копить, скопидомничать', *chrtúsit*, *-óset se* 'хлопотать, возиться' [Machek², s. 207]. В качестве семантической параллели можно привести русск. диал. *жадный*, *алчный* и др. [23]. В процессе функционирования слово **xъrtъ* обрастает новыми значениями, претерпевает семантическую эволюцию, при которой более ранние смысловые элементы теряют свою прежнюю мотивировку, общую для значений этого слова, и начинают восприниматься как исходные, скрепляющие другие значения, развившиеся на основе метафорического употребления слова, в результате происходит ослабление внутренних связей. Не случайно Махек этимологически разделяет чешские слова со значением 'борзая' и 'скупой' и предлагает для последнего сложное и неубедительное объяснение.

Если теперь обратиться к диалектизмам болгарского языка, то нетрудно заметить, что слова с корнем *xърт-* характеризуют весьма удаленные друг от друга значения: одно — 'голодный', вполне понятное и объяснимое, другое — 'сжиматься от холода', прямо и непосредственно не связанное с первым, хотя с некоторой натяжкой и допустима эта со-

отнесенность через промежуточную ступень 'ощущение пустоты в желудке при голоде' и вызванное этим состоянием изменение внешнего вида. Однако в семантике болгарских, а также чешских слов (ср. *chrt* 'скупой, скряга') заложена возможность и иного объяснения. На наш взгляд, болгарские слова дают иное конкретное воплощение той характеристики, которая содержится в семантике слав. **xьrtъ*, а именно 'худой, тощий' ~ 'изогнутый, имеющий впалый живот'. Борзых отличает развитая грудь, задняя часть тела с глубоко втянутым, впалым животом имеет изогнутую форму. Именно эта особенность строения охотничьих собак выделена и присутствует в приведенных выше значениях. Болгарские диалектизмы в своей семантике содержат на глубинном уровне признаки иной семантической мотивации, побуждающей к поискам истоков, генетических связей всей группы слов в гнезде слав. *(s)ker-. Эта идея остается до конца не исчерпанной. К ней необходимо вернуться и с других позиций подойти к восстановлению семантических отношений. Начнем с того, что название охотничьей собаки экспрессивно отмечено, а в словах, имеющих такую природу, вполне регулярный характер носит изменение *sk > x*, что подтверждают материалы ЭССЯ: ср. слав. **xabati* ~ др.-исл. *skemma* 'повреждать, наносить ущерб', лит. *skõbti* 'скрести, вырезать, долбить', слав. **xorbrъ* ~ нем. *scharf* 'острый', слав. **xromъ(jь)* < **skromъ* и т. д. [ЭССЯ, вып. 8, с. 8, 72, 102]. Что касается отношения 'резать' > 'худой', то индоевропейские языки отражают некоторые промежуточные звенья семантической эволюции в этом направлении: 'резать' > 'быть отрезанным, неполным, иметь тонкую линию': ср. лат. *curtus* 'укороченный, подрезанный' и 'неполный, скудный, односторонний, однобокий'. Семантической параллелью к разным фрагментам серии переходов того же исходного значения может служить русск. диал. *обрéзаться* 'идти на убыль (о воде)', 'похудеть, отощать' (ср. Кошка совсем *обрéзалась*, как нитка стала), *обрезно́й* 'с хорошим телосложением (о человеке)', 'очень похожий, вылитый' [СРНГ, вып. 22, с. 200–201]. В рамках гнезда и.-е. *(s)ker- значение, передающее состояние человека, развивается у славянского варианта основы без начального *s-*: ср. укр. *кортити* 'не терпится', блр. *карціць* бел. 'сильно хочется', *карцець* 'сильно хотеться, беспокоить' ([ЭССЯ, вып. 13, с. 241]: < **kьrtěti*/**kьrtiti*). Результат преобразования того же исходного значения 'резать' в направлении 'обламывать, сдерживать, укрощать' > 'уменьшиться; сжаться' находит отражение в польск. *karcіć* 'сдерживать, обуздывать, укрощать' [ЭССЯ, вып. 8, с. 241], словен. *s-krtúljiti se* 'съежиться, сморщиться' [Pleteršnik, knj. II, s. 500]. Семантически емкая исходная основа развивает значе-

ние 'скупой' в чеш. *skřiti* 'скупиться, жадничать, скаредничать' [Machek², s. 614], с.-хорв. *skrt* 'скупой' и т. п.

Как видим, лексические архаизмы болгарских диалектов открывают новые аспекты в этимологическом изучении слав. **xъrtъ*.

niгаф

В одном из болгарских диалектов (страндж.) отмечено прилаг. *niгаф* в двух значениях: 1) 'смешанный со многими сорняками (о зерновых кормах)' и 2) 'слабый, недоразвитый, больной' [БД, кн. I, с. 125]. Как будто бы отсутствуют препятствия для сближения этого прилагательного с русскими однокоренными образованиями с общим значением 'невзрачный, хилый', 'неразвившийся, маленький': ср. *нигалица*, *ниглица*, *нигльвица*, *нигблка* 'кашей, тощий, худощавый человек' (ряз., влад.), *нигльвака* 'невзрачный, хилый, малорослый, очень худой человек' (вят.), *ниглица* 'больной ребенок; физически слабый, исхудавший человек' (ряз.), 'невзрачный, низкорослый, худой человек' (ряз., влад., тул.), *нигльвый* 'худой, тощий человек' (ряз., тул.), *нигльвый парнишка* 'плохой', *нигльк* 'о толстом, низкорослом и недоброжелательном человеке' (забайк.), *ниговка* 'о невзрачном, малорослом человеке, животном' (арх.), с суф. *-ар-* *нигарец* м. р. 'чахлое низкорослое растение, мелкий неразвившийся плод, мелкое зерно и т. п.' (ярослав. [Даль³, т. III, с. 275–276; СРНГ, вып. 27, с. 19–21]). Эти же слова служат обозначением птицы – чайки, чибиса, а также маленькой птички: ср. *нигалка*, *нигльвака* 'небольшая птичка, пичужка' [СРНГ, вып. 27, с. 20]. Этимология русского слова остается до конца не выясненной. Традиционно русское слово возводят к звукоподражанию и связывают с криком птицы *pi-gi*, *ki-gi* [Фасмер, т. III, с. 258–259]. Как нам представляется, семантика болгарского диалектизма, отражающего архаичную ступень в эволюции слова, создает предпосылки для более углубленного изучения генетических связей соотносимых слов. Важно иметь в виду, что два свойства, две характеристики обозначаются болгарским словом: 1) смешанный, т. е. неоднородный, пестрый по составу и форме, и 2) слабый, незрелый, и эти характеристики приложимы не только к живым существам. И это дает основание предположить, что в основу обозначения положен некий более общий признак, некая характеристика, присущая всему тому, что находится в развитии, еще не определено, не сложилось, не приобрело окончательного вида. Эти же смысловые элементы присутствуют и в семантике русских диалектизмов, связанных с

обозначением слабого, неразвитого существа, чахлого неразвившегося растения. Можно думать, что именно неопределенность, неразвитость внешней формы, характерная для живых существ и растений, находящихся в процессе роста, формирования, и стала основным признаком, мотивировавшим семантику приведенных диалектизмов. При всех различиях к тому же семантическому ряду может быть отнесено и слав. **molďъ(jь)*, которое, как предполагают, первоначально служило обозначением только что народившихся молодых существ, слабых, нежных, неокрепших ([ЭССЯ, вып. 19, с. 178], см. также: [24]). Вероятно, различие этих синонимов состояло в том, что если изначально *молодой* соотносилось с физическим состоянием молодых существ, еще слабых, неокрепших, то образования с корнем *ниг-* подчеркивали другую особенность — незавершенность развития, что находило выражение в неопределенности цвета, формы, внешнего вида. Все эти обозначения несут в себе некий отрицательный смысл, поскольку связываемые с ними свойства (слабое развитие, неопределенность окраски) представляют собой отступление от нормы, от того, что принято считать обычным. Именно семантика ориентирует на поиски генетических истоков слав. *ниг-* в гнезде **pěga*, продолжения которого объединяет значение 'имеющий пятна на лице, шерсти', отсюда 'пегий, пестрый' и 'всуншчатый' (ср. русск. *пегий*). Примечательно, что в русских диалектах найдем отражение этой основы в значении, характерном для образований с корнем *ниг-*: ср. *пéжа* ж. р. 'о ком-либо маленьком, неказистом, невидном' (Бурят. АССР [СРНГ, вып. 25, с. 313]), это имя является как бы связующим звеном между двумя рядами названных образований. С другой стороны, семантика одного из диалектных образований — русск. *нигáрка* базируется на значении 'пятно, то, что отличается по цвету' > 'пенка, образующаяся при кипячении молока' (ряз., курск.), мн. 'пригарки' (влад.), 'подсохшая поверхность раны' (Ряз. Мещера). Ф. Безлай отнес к продолжениям той же исходной основы **peig-* и словен. прекмур. *piǵav* (с *i* не из *ě*) 'пестрый' ([Pleteršnik, knj. II, s. 35], см.: [25]). В этимологической литературе слав. **pěga* традиционно сближается с лат. *pingo, -ere* 'рисовать; вязать иглой', др.-инд. *piṅga-* 'рыжеватый' и т. д. [Фасмер, т. III, с. 225; Machek², s. 448] и возводится к и.-е. **poig-*, родственному **peik'*, ср. *писать, пестрый* [Pokorny, Bd. I, S. 794–795; Фасмер, т. III, с. 251].

Болгарский диалектизм, соотнесенный с восточнославянскими образованиями, дает основание для реконструкции чередующихся основ **pěg-/pig-* в гнезде и.-е. **peig-*. Потенциальные возможности исходных основ сходно реализуются в семантике славянских образований.

Примечания

- [1] Ж. Ж. В а р б о т. К реконструкции этимологии некоторых праславянских глагольных основ и отглагольных имен. VI // Этимология. 1976. М., 1978, с. 35—38.
- [2] Д. М а р и н о в. Думи и фрази из Западна България // СбНУ, 1896, кн. XIII, с. 263.
- [3] Ј. Д и н и ћ. Речник тимочког говора // СДЗБ, 1992, књ. 38, с. 114.
- [4] Живое народнае слова. Мінск, 1992, с. 87; Народнае сдова. Мінск, 1976, с. 62; Народная словатворчасць. Мінск, 1979, с. 70; 3 народнаго слоўніка. Мінск, 1975, с. 105; Слоўнік паўночна-заходной Беларусі. Мінск, 1982, т. 3, с. 527.
- [5] Ст. К а б а с а н о в. Някои особености в лексиката на говора на с. Тихомир, Крумовградско // БЕз, 1963, год. 1, с. 32.
- [6] Родопски напрѣдъкъ. Пловдив, 1908, год. VI, № 4, с. 112.
- [7] Ив. К е п о в. [Без назв.] // СбНУ, 1936, кн. 42, с. 168.
- [8] М. М а р к о в и ћ. Речник народног говора у Црној Реци // СДЗБ, 1986, књ. 32, с. 157.
- [9] Ж. Ж. В а р б о т. Об этимологии праслав. **pěstunъ* // Slavia, 1994, гоџ. 63, сеџ. 2, с. 135—139.
- [10] F. S ł a w s k i. Zarys słowotwórstwa prasłowiańskiego // Słownik prasłowiański. Pod red. F. Sławskiego. Wrocław etc., 1976, t. 2, s. 36.
- [11] В. А. М е р к у л о в а. Русские этимологии. I // Этимология. 1976. М., 1978, с. 91—100.
- [12] Дополнение к Опыту областного великорусского словаря. СПб., 1858, с. 293.
- [13] Г. И л ь и н с к и й. Славянские этимологии. XXXVI. Праслав. *chъrtъ* // РФВ, 1913, т. 69, с. 12—14.
- [14] P. S k o k. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb, 1971—1974, knj. I—IV.
- [15] К. М о с з у њ с к и. Pierwotny zasięg języka prasłowiańskiego. Wrocław; Kraków, 1957, s. 136.
- [16] В. У. М а р т ы н а ў. Аб паходжанні славянскай фанемы *x* // Працы Інстытута мовазнаўства АН БССР, 1961, вып. VIII, с. 109.
- [17] И. Э н д з е л и н. Славяно-балтийские этюды. Харьков, 1911, с. 127.
- [18] С. М л а д е н о в. Етимологически и правописен речник на българския книжовен език. София, 1941, с. 672.
- [19] Полный, обстоятельный анализ всех известных этимологических версий см. в работах: О. Н. Т р у б а ч е в. Славянские этимологии 1—7 // Вопросы славянского языкознания. М., 1957, вып. 2, с. 38—41; В. Н. Т о п о р о в. Прусский язык. Словарь: К—Л. М., 1984, с. 340—344, см. также: Фасмер, т. IV, с. 268.

- [20] J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiecki. Słownik języka polskiego. Warszawa, 1900, t. 1, s. 27.
- [21] F. St. Kott. Česko-německý slovník. Praha, 1878—1893, d. I—VII.
- [22] Slovník slovenského jazyka / Ved. red. Š. Peciar. Bratislava, 1959—1968, d. 1—VI.
- [23] И. П. Петлева. О семантических истоках слов со значением 'скупой' в русском языке // Этимология. 1970. М., 1973, с. 212.
- [24] Р. М. Цейтлин. Заметки по старославянской лексикологии // Этимология. 1971. М., 1973, с. 111—114.
- [25] F. Bezlaž. Etyma slovenica // Razprave — dissertationes VII/4. Slovenska Akademija znanosti in umetnosti. Razred za filološke in literarne vede. Ljubljana, 1970, s. 160. С этими словами, видимо, никак не связано лит. *piktas* 'злой, сердитый', последнее вместе с лат. *piget* 'досадно, неприятно', лит. *pigius* 'дешевый' относится к другому гнезду — и.-е. **peig-* 'испытывать враждебность'. См. Pokorny, Bd. I, S. 795; E. Fraenkel. Litauisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1955—1965, S. 588.

Сокращения

- БД Българска диалектология. Проучвания и материали. София, 1962—1981, кн. 1—10.
- БЕз Български език. Тримесечно научно-популярно списание. Институт за български език БАН. София, 1951—. Год. 1—.
- Геров Н. Геров. Речник на българския език. Пловдив, 1895—1904, ч. I—V, ч. VI: Дополнение / Събрал, наредил и изтълкувал Т. Панчев. Пловдив, 1908. Фототипно издание. София, 1975—1978.
- Даль³ В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Изд. 3 / Под ред. И. А. Бодуэна-де-Куртенэ. СПб., 1903—1909, т. I—IV.
- СБНУ Сборник за народни умотворения, наука и книжнина (Сборник за народни умотворения и народопис). София, 1889—, кн. 1—.
- СДЗБ Српски дијалектолошки зборник. Београд, 1905—, кн. 1—.
- СРНГ Словарь русских народных говоров / Гл. ред. Ф. П. Филин. Л., 1965—, вып. 1—.
- Фасмер М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка / Пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. М., 1964—1973, т. 1—IV. Изд. 2, стереотипное. М., 1986—1987.
- ЭССЯ Этимологический словарь славянских языков. Праoslavянский лексический фонд / Под ред. О. Н. Трубачева. М., 1974—, вып. 1—.
- Machek² V. Machek. Etymologický slovník jazyka českého. Druhé, opravené a doplněné vydání. Praha, 1968.

- Pleteršnik M. P l e t e r š n i k. Slovensko-nemški slovar. Ljubljana, 1894—1895 (1974), knj. I, II.
- Pokorny J. P o k o r n y. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1949—1969, Bd. I—II.
- Sychta B. S y c h t a. Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej. Wrocław etc., 1967—1976, t. I—VII.

L. Kurkina

Etymology of Some Bulgarian Dialectal Words

The etymology of Bulgarian words is considered in this article. Bulg. *núuma* is explained as related to slav. **pixati*. The roots of bolg. *x vpmъ* might be traced to the family of i.-e. **sker-* 'cut'. Internal evidence shows that bolg. *núzaф* may belong to the group lexemes inherited from the i.-e. **peig-*.

H. Popowska-Taborska (Warszawa)

Pewna pozorna zbieżność kaszubsko-bułgarska

Wyraz, o którym będzie mowa, dość długo uchodził uwadze badaczy kaszubszczyzny, choć pojawiał się już w najstarszych słownikach kaszubskich. Zapisał go w swoim «Zbiorze słów słowińskich i kaszubskich» Aleksander Hilferding (*dremni* 'карлик') [1], za Hilferdingiem powtórzył go L. Biskupski [2], zacytował również S. Ramułt (*dremnè* 'karlątko, krasnoludek', *dremnô* 'karliczka, kobieta krasnoludka', *dremny* 'drobny, mały') [3]. Te właśnie ostatnie zapisy zakwestionował jeden z najlepszych znawców kaszubszczyzny, Friedrich Lorentz, opatrując je w swoim Słowniku uwagą: «Vorhandensein fraglich, ungenaue dialektische Form» [4]. Tymczasem — jak się ostatnio okazało — *dremny* 'ein Zwerg, poln. karzeł' figuruje już w terenowych zapisach gdańskiego pastora, K. C. Mrongowiusza, dokonanych przezeń w roku 1826 w czasie pobytu w Cecenowie i Głównycach na północno-zachodnim Pomorzu. Rękopis owego sporządzonego w terenie Słowniczka K. C. Mrongowiusza odnalazła niedawno w Petersburskim Archiwum Rosyjskiej Akademii Nauk pisząca te słowa [5]. Manuskrypt wcielony tu został do spuścizny naukowej rosyjskiego uczonego, P. I. Prejsa, i — jak można wnioskować — stanowił jego własność. Zapewne Słowniczek ten otrzymał Prejs w czasie swej podróży w roku 1840 po Kaszubach od Mrongowiusza i — jak wykazuje przeprowadzona analiza — spisał z niego większość wyrazów do swego Słownika, znanego później w literaturze naukowej jako Słownik kaszubski P. I. Prejsa [6]. W niewyraźnym rękopisie gdańskiego pastora wyraz *dremny* Prejs odczytał jednakże błędnie jako *dzemny* i błąd ten powieliły dwa następne polskie wydania tak zwanego Słowniczka P. I. Prejsa [7]. Pojawiła się więc nowa, nie poddająca się łatwo analizie etymologicznej kaszubska nazwa krasnoludka. Tak więc nie tylko «habent sua fata libelli» (gdyż Słownik Prejsa okazał się faktycznie Słownikiem K. C. Mrongowiusza), ale i poszczególne wyrazy miewają również swoje szczególne dzieje.

Ową z pozoru dziwnie brzmiącą nazwę karła czy krasnoludka (w większości gwar kaszubskich krasnoludek nazywa się *krasńią* lub *krasńiäk*, co stanowi aluzję do jego czerwonego stroju) wiązać należy z zapisem *drebnê* 'krasnoludki' występującym w tekście 25 spisany przez Aleksandra Hilferdinga w Charbrowie i interpretować jako powstałą w wyniku asymilacji *bn > mn* (*drebnny > dremny*). Słownik prasłowiański [8] kasz. *dremni* sprowadza do ps. adi. **drebnъ* 'mały, niewielki, słabej budowy ciała'. Przymiotnik ów, pozostający w opozycji do poświadczonego z większości języków słowiańskich adi. **drobnъ* 'ts.', oddaje prastarą oboczność *o : e*. Zachował się on do dziś jedynie w bułgarskim i macedońskim, co więcej zaś, w niektórych dialektach bułgarskich nastąpiła, znana nam już północno-zachodniej kaszubszczyzny asymilacja *bn > mn*, por. zapisaną z dialektu rodopskiego postać *дремн* 'drobny' [9], bułgarskie dialektalne z okolic Strandży *дрѣмнишек* 'mały, drobny, niski', też *дремно проца* 'gatunek proza', *дрѣмника* 'wełna powstająca w czasie obróbki' [10]. Szczególnie wymienione wyżej bułgarskie znaczenie wyrazu *дрѣмнишек* budzi oczywiste skojarzenia z analogiczną specyfikacją znaczenia na Kaszubach.

Czy jednak rzeczywiście mamy tu do czynienia z interesującą zbieżnością kaszubsko-bułgarską, w której – jak sugeruje materiał zgromadzony w Słowniku prasłowiańskim – można się dopatrywać archaizmu peryferycznego polegającego na zachowaniu na dwóch krańcach Słowiańszczyzny kontynuantów ps. **drebnъ*? Gdyby tak było w istocie, oczekivalibyśmy przecież kaszubskiej postaci **drebn'i*, nie poświadczonej w żadnym z cytowanych w źródłach zapisów. A zatem i ja również skłaniałabym się do zacytowanej wyżej hipotezy F. Lorentza, że figurująca w słownikach kaszubskich postać *dremni* jest formą niedostatecznie jasną pod względem dialektalnym. Bliższa lektura słowiańskich materiałów Lorentza problem ten zresztą zdaje się wyjaśniać w zadowalający sposób. W Gramatyce pomorskiej [11] znajdujemy bowiem opis wymowy *o*, które w gwarze główczyckiej i cecenowskiej w pozycji nieakcentowanej brzmiało jak *e*: *mî'aste* 'miasto', *nev'i* 'nowy'. Dawny adi. *drobn'i* brzmiał więc tu *drebn'i*, w wyniku asymilacji *dremn'i*, i tak utrwalony został w notatkach przebywającego w Cecenowie i Głównicy K. C. Mrongowiusza, jak również bawiącego na przyległym obszarze A. Hilferdinga. Biskupski i Ramułt formę tę najpewniej przejęli od Hilferdinga, zaś Ramułt – znanym z innych podobnych przykładów zwyczajem – adi. *dremni* rozbudował w całą rodzinę wyrazową. Zbieżność kaszubsko-bułgarska jest w tym wypadku całkowicie przypadkowa i na każdym z wchodzącym w grę obszarów spowodowana została całkiem odmiennymi przyczynami.

Tak więc badaczowi chcącemu rekonstruować dawne dzieje Słowian omówiona tu zbieżność nie przyniesie żadnych istotnych informacji. Etymolog zaś

znajdzie w niej jeszcze jeden przykład zawikłanych dziejów życia wyrazów i... satysfakcję, jaką niesie każdy odnaleziony nowy drobiazg leksykalny.

Przypisy

- [1] А. Гильфердинг. Остатки славян на южном берегу Балтийского моря. СПб., 1862, s. 163.
- [2] W. Biskupski. [ps. A. Berka] Słownik kaszubski¹ porównawczy // Prace Filologiczne. Warszawa, 1891, III, s. 379.
- [3] S. Ramuŧ. Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego. Kraków, 1893, s. 30.
- [4] F. Lorentz. Pomoranisches Wörterbuch. Berlin, 1958, Bd. 1: A—P, s. 156.
- [5] O czym dokładniej zob.: H. Popowska-Taborska. Nieznany autograf kaszubskiego Słowniczka K. C. Mrongowiusza // III Konferencja Słowińska (w druku); Z. Szulcka. Nowe spojrzenie na kaszubskie badania K. C. Mrongowiusza // Slavia Occidentalis, 50, s. 159—181.
- [6] Пор. П. И. Прейс. Донесение П. Прейса г-ну Министру народного просвещения из Берлина, от 20 июня 1840 года // Журнал Министерства народного просвещения. СПб., 1840, ч. 28, отд. 4, с. 7.
- [7] Пор. w związku z tym: H. Popowska-Taborska. Dzieje kolejnych wydań kaszubskiego Słowniczka P. I. Prejsa // Slavia Occidentalis, 50, s. 131—138
- [8] Пор. Słownik prastowiański / Pod. red. F. Stawskiego. Wrocław, 1981, t. IV, s. 250—252.
- [9] П. Стойчев. Родопски речник // Българска диалектология. София, 1965, кн. 2, с. 154.
- [10] Български етимологичен речник. София, 1971, т. 1, с. 422—423.
- [11] F. Lorentz. Gramatyka pomorska. Wrocław, 1958, t. 1, s. 255.

Г. Поповска-Таборска

Об одном сомнительном кашубско-болгарском совпадении

Каш. *dremni* 'карлик, гном' как будто имеет свое соответствие в болг. диал. *дремени* 'мелкий' (Родопы) и *дремничек* 'маленький, мелкий, низкий' (Странджа). Как кашубская, так и болгарская формы являются следствием ассимиляции *bn > mn*. Однако болгарские диалектные формы выводятся из праслав. **drebnъ* 'маленький, слабого телосложения' (соответственно отражающие древнее чередование *e : o*, засвидетельствованное в болгарском и македонском), тогда как каш. *dremni* передает специфическое для части словинских говоров произношение *o* в безударной позиции как *e* (*drobn'i > drebn'i > dremn'i*).

Е. И. Демина (Москва)

Лингвогеография и история языка: к вопросу о возможностях и методике синтетического анализа

В своей теоретической статье 1986 г. «Размышления о славянской диалектологии» С. Б. Бернштейн — филолог и языковед широкого профиля, в центре исследовательского внимания которого всегда находилась диалектология, высказал беспокойство по поводу снижения интереса к этому направлению исследований у историков славянских языков: «Опубликованные в последние годы исторические очерки в ряде случаев ощути-мо возвращают нас к дошахматовским временам, когда исторический процесс воссоздавался только или преимущественно на данных памятников письменности» [1].

Беспокойство автора вызывает и такое перспективное направление в диалектологии, как лингвистическая география. Следует основательно задуматься над тем, почему уже опубликованные атласы славянских языков медленно входят в научный оборот? Ведь подлинный синтез языковой истории и диалектологии, который все еще является делом будущего, может быть осуществлен только на основе теории и практики лингвистической географии. «Широкое сопоставление карт атласа с другими источниками (письменными источниками разных периодов, диалектологическими исследованиями и материалами, топонимическими данными и др.), бесспорно, даст новый и весьма надежный материал для воссоздания подлинной истории народного языка», — пишет он. И сам же отвечает на поставленный вопрос: объяснить это можно тем, что «пока еще не разработана новая методика чтения диалектологических карт. Поэтому историки языка не могут в полной мере использовать все факты, которые им дают диалектологические атласы» [2].

В этом отношении, по мнению С. Б. Бернштейна, лучше разработана методика использования данных диалектологии при изучении памят-

ников письменности: язык древнего текста сопоставляется с современным говором или группой говоров, ближайше ему родственных. Это дает возможность как бы услышать голос писца, восстановить особенности его языка. Такая старая и хорошо проверенная методика сохраняет свое значение и ныне. Однако в настоящее время очевидна и ее ограниченность. От историков языка требуется овладение новой методикой, существенно отличающейся от традиционных приемов изучения языка древних текстов.

Одну из таких плодотворных методик С. Б. Бернштейн видит в изучении языка памятников письменности по вопроснику атласа: древний текст становится как бы информатором атласа; это позволяет придать глубокую перспективу современным диалектологическим картам. Он высоко оценивает наш опыт исследования диалектной основы новоболгарских дамаскинов XVII в. на основе вопросника и изоглосс болгарского диалектологического атласа и примененную в нем методику [3]. Позволю себе поэтому в юбилейном сборнике, посвященном моему дорогому учителю, основываясь на материале своих ранее выполненных исследований, по необходимости в самом кратком виде остановиться на вопросе о возможностях использования данных лингвогеографии при решении проблем истории языка и о методиках подобного анализа. При этом не рассматривается методика прямого сопоставления собранного по вопроснику атласа материала какого-то локализованного, связанного с конкретным пунктом, памятника письменности с состоянием современного говора данного пункта, поскольку при этом данные лингвогеографии, анализ представленного на картах атласа территориального распределения вариантов диалектных различий, оказываются, собственно говоря, необязательными: достаточно иметь описание современного говора данного пункта. Остановлюсь на тех случаях, когда синтез особенностей языка памятников письменности и данных лингвогеографии требует обращения именно к картам атласа, умения интерпретировать их в целях исторической грамматики или использовать с той или иной прикладной целью.

Как представляется, можно выделить следующие направления возможных разработок в данной области, использующих разные методики и преследующих неодинаковые цели.

Во-первых, целью сбора материала некоторой совокупности четко датированных и локализованных памятников письменности позднего средневековья, относящихся к одному синхронному срезу, может явиться проецирование на географическую карту собранного по вопроснику современного

атласа материала диалектных различий на разных уровнях языковой системы, т. е. решение той же в принципе задачи, которую ставят перед собой современные лингвистические атласы национальных языков. Последующий анализ полученного таким образом сопоставимого с современным состоянием материала территориального распределения диалектных различий на том или ином срезе истории данного языка может придать особую информативность современным диалектным картам, выявить исторические сдвиги в этом распределении, центры инноваций и тем самым пролить свет на проблему истории данного языка в связи с историей народа. Палеолингвогеографические исследования на материале памятников русской деловой и бытовой письменности XVI–XVII вв., представляющих основные древнерусские территории, в принципе уже проводятся [4]. Но тот факт, что они не основываются на вопроснике современного атласа, сужает возможности сопоставительного анализа. Таящим опасность остается при этом вопрос о достоверности локализации того или иного источника и его отнесения к данному хронологическому срезу.

В этом отношении актуальным оказывается другое возможное направление использования материала современной лингвогеографии при изучении истории языка. Речь идет об основанной на этом материале методике анализа, которая позволяла бы судить о лингвистической информативности того или иного достаточно крупного памятника письменности, т. е. решала бы проблемы филологического истолкования текста как лингвистического источника. Находится ли его язык в однозначном соответствии с какой-либо коммуникативной единицей времени своего создания? Какова территориальная локализация этой единицы? Или присущие ему черты гетерогенны, связаны с несовместимыми на лингвогеографической карте ареалами? Иными словами, речь идет о методике определения диалектной основы языка изучаемого текста и выявлении инодиалектных напластований на эту основу.

Предлагаемая автором данной статьи методика решения этих вопросов, если представить ее в упрощенном виде, основана на убеждении, что, подобно тому, как недатированный текст может быть включен в хронологический континуум, народный идиом, взятый за основу языка данного текста, может быть включен в континуум территориальный (или доказано отсутствие однозначного соответствия диалектной основы языка данного текста какой-либо реальной коммуникативной единице прошлого).

Суть методики в следующем. Расписанный по вопроснику современного атласа материал диалектных различий, отраженных в исследуемом тексте, — в первую очередь, двучленных диалектных различий, выделяющих значительные ареалы, — подвергается процедуре последовательного соотношения с данными изоглосс современных карт. При этом на первом этапе анализа диалектная основа языка изучаемого текста определяется по каждому из диалектных различий в отдельности. На составляемых при этом картах из дальнейшего рассмотрения как не связанная с диалектной базой обследованного текста исключается территория, представленная иным, чем в нем, вариантом данного соответственного явления. Поскольку конфигурация современных изоглосс, даже входящих в пучки, характеризуется значительным разбросом, это позволяет постепенно, шаг за шагом, от карты к карте сужать район возможной локализации диалектной базы данного текста. Осуществляемая на следующем этапе анализа операция наложения этих карт позволяет выделить ареал, где могли сосуществовать рассмотренные варианты диалектных различий, или прийти к выводу об отсутствии такового, т. е. к выводу о гетерогенной, связанной с наслоением разнодиалектных черт основе языка данного текста.

Опыт подобного исследования, предпринятый мною в третьей части монографии «Тихонравовский дамаскин. Болгарский памятник XVII в.» [5], позволил отказаться от утвердившегося в науке мнения о смешанной, гетерогенной основе языка новоболгарского текста, основанного на том, что в нем отмечаются как западноболгарские, так и восточноболгарские диалектные особенности. Последовательное применение описанной выше методики позволило обосновать утверждение, что в его основе лежит народный идиом района Средней Старой Планины у границы по ъ (в ареале Тетевен — Луковит — Етрополе), который как диалект центрального типа обладал своеобразным набором диалектных особенностей, одни из которых характерны для западноболгарских по отношению к ъ-изоглоссе и для части восточноболгарских говоров, а другие — для восточноболгарских по отношению к ъ-изоглоссе и для части западноболгарских говоров. Этот идиом — скорее, койне — населения городов и монастырей в бывшей Ловечской епархии функционировал в XVII в. как реальная коммуникативная единица [6].

Лингвогеографическая интерпретация всего материала отраженных в тексте диалектных различий позволила получить информацию о совокупности важных в типологическом отношении языковых особенностей этого идиома. Тем самым был сделан определенный шаг в обнару-

жении одной из исторических языковых реальностей, что важно для истории болгарского языка, истории его литературной формы и исторической диалектологии, а также имеет самостоятельное познавательное значение.

Пытаясь определить третье направление в использовании данных лингвогеографии при изучении истории языка, я исхожу, прежде всего, из идеи имманентного единства тенденций развития языковой системы в тех или иных ее звеньях. В силу исторических, историко-культурных, социолингвистических и собственно языковых причин этапы, через которые она проходит в своем развитии, оказываются в неодинаковой степени продвинутыми во времени и в пространстве, что и проявляется в диалектных различиях. Именно эта неравномерность развития исходно единой системы позволяет взглянуть на проецированные на географическую карту диалектные различия как на развернутую в пространстве диахронию, определить стадии, этапы в развитии языковой системы и попытаться «нанизать» их на «ось последовательности», а также установить центры и направление инноваций. Именно здесь могут использоваться палеолингвогеографические данные, как и данные о возможности сосуществования на определенном хронологическом этапе совокупности вариантов диалектных различий, полученные с помощью первых двух методик, а также материал памятников письменности и современных атласов. Поясню сказанное на примере развития системы средств относительного подчинения в болгарском языке [7].

Проблема становления системы средств относительного подчинения, хронология и основные этапы этого длительного процесса — одна из сложнейших и недостаточно исследованных проблем болгарского исторического синтаксиса. Действительно, речь идет о процессе, не только неравномерно протекавшем в различных территориальных регионах и говорах, но и о процессе, с различной степенью адекватности состоянию в живом народном языке отраженном в памятниках болгарской письменности. Сложность разработки данной проблематики в значительной степени определяется и тем, что в процессе становления системы средств относительного подчинения, исторически присущих болгарскому языку в территориальном и социальном варьировании его структуры, действовали неоднородные по своей генетической сути тенденции развития. С одной стороны, это были тенденции, общие в этой сфере в той или иной степени для всех славянских языков. С другой стороны — тенденции, связанные с участием болгарского языка в балканском языковом союзе, т. е. те тенденции, действие которых

приводило к специфическим по сравнению с другими славянскими языками результатам.

Так, для всех славянских языков, включая болгарский, характерной была тенденция к замене древних относительных слов с указательной основой на **jo* (*иже, ѡже, кликъ, идеже* и под.) новыми, происходящими из вопросительных местоимений и наречий (*который, кѡи* → *кой* и др.). Ср., например, в Троянской притче — болгарском памятнике XIV в. [8], язык которого подвергся значительному народному влиянию, — возможность параллельного употребления конструкций типа: *Бѣше въ прѣвое врѣмѣ единъ кра^А иже сѡ зовѣше именемъ пришедъ кра^Лль* (с. 83); *И не дадохъ тронскыж чж^Аж. Нж рекошж сътъщи камень, иже бѣше надъ враты* (с. 122), с одной стороны, *нж к^А по^Авно рещи таковому витезоу кон видитъ селикж лѣпотж* (с. 96); *тогда црѣ и всѧ воеводы и оурше грѣхъстин кон сѣдѣха в коу^Лѣ и начухъ погладовати дроугъ на дроуга* (с. 120) — с другой.

Общей для народных идиомов славянских языков была и тенденция к употреблению неизменяемых средств относительного подчинения, т. е. так называемых абсолютных релятивов (*relativum generale*). В болгарском языке в территориальном варьировании его структуры это абсолютные релятивы *дето, дека, дено, што, де, дей, щото*. Ср., например, в языке Троянской притчи: *приди къ мнѣ, да ти повѣмъ всѧ танны тронскыж що хоще^А быти* (с. 92).

В свою очередь, к числу балканизмов в болгарском языке в сфере средств относительного подчинения, как это показал еще Кр. Сандфельд [9], можно отнести, например, характерное и для соседних балканских языков употребление наречия места (*къде, где, гдето, де, дето, дека, дено, дей*) в качестве относительного местоимения 'который'. Видимо, так может быть истолкован следующий пример в Троянской притче: *и прошж вамъ • дадите его мнѣ само • да ѡведж и поставла гдето го смѣ и взалъ* (с. 120), т. е. 'на място, от което'.

Специфической же только для болгарского языка в кругу других славянских языков является, как известно, тенденция к формальному отграничению относительных местоимений и относительных местоименных наречий от вопросительных местоимений и местоименных наречий, в свою очередь пришедших на смену древней форме относительного местоимения *иже, ѡже, кже*, с помощью указательной по своему происхождению морфемы *-то* (в некоторых говорах также *-со, -но*). Это явление, как отметил И. Гылыбов [10], находит себе параллель в старых памятниках румынского языка, в которых относительное местоимение

care также сопровождается морфемой-частицей *le*, восходящей к латинскому указательному местоимению *illis*. Очевидно, наличие специальных морфем *-то*, *-со*, *-но*, выступающих как средство эксплицитного указания на относительное подчинение, также может быть отнесено к числу синтаксических балканизмов.

Как можно судить на основании немногих изученных до настоящего времени в этом аспекте письменных источников, все указанные тенденции развития нашли свое проявление (по крайней мере в какой-то части болгарских народных идиомов) уже к древнеболгарскому периоду. В частности, по данным И. Гылыбова, А. Вайяна, К. Мирчева агглютинативное прибавление морфемы *-то* к относительным местоимениям известно уже памятникам древнеболгарской письменности. Единичные примеры отмечены в языке Иоанна Экзарха, в Супрасльской рукописи, в Беседе Козмы Пресвитера. Ср., например, в Шестодневе формы типа *ижето*, *ижето*, *кжето*: *аще хощеши чесо въкоусити • аще не приближише языка к томоу • кгоже то хощеши вкоусити* (л. 35 об., пример Гылыбова). Или в Супр. рукописи: *аште хощеше ма жива пошти, молитѣ страннаго того чловѣка, кгоже то бикте и оукарѣкте* (л. 536, 12, пример Вайяна—Мирчева).

Вместе с тем памятники среднеболгарской эпохи оказываются невосприимчивыми по отношению к этой столь типичной для болгарского языка особенности. Так, например, мои наблюдения над языком Троянской притчи, в которой впервые отмечена форма относительного местоимения *който*, ныне являющаяся нормой литературного языка, показали, что из 50 представленных в памятнике сложных предложений с относительной придаточной частью, в которых в соответствии с книжной традицией следовало бы ожидать употребления относительного местоимения *иже*, в 35 предложениях находим вопросительное местоимение *кой* в функции относительного, в четырех — употребление абсолютивных релятивов *что*, *що*, в восьми предложениях — *иже* и только в трех предложениях употреблено относительное местоимение *който*. Это следующие примеры: *И поиде и възвѣ прощеніе ѿ старца ѿца своего, конто моу сѧ ѿць бѣ нарекалъ* (с. 90); *не даванте ѡрекшишоу оржѣа ацилешева ...нж е данте анакшоу конто ѡмѣветъ и носити* (с. 118); *и да ти въдамъ мож дъщерь по^Акшенж г^Пжж коато е наилѣпша въ всѣхъ г^Пждахъ тронскых^Х* (с. 117). Как мы видим, неизменяемая морфема *-то*, позволяющая эксплицитно указать на относительное подчинение, употреблена здесь в определительных придаточных предложениях, относящихся к лицам м. и ж. рода.

Возникает ряд вопросов. В частности, необходимо уяснить, не связано ли слабое проникновение форм с морфемой *-то* в язык среднеболгарской письменности не только с особенностями ее норм, с силой письменной традиции, но и с тем, что и в народных говорах это явление в среднеболгарскую эпоху находилось в стадии своего постепенного становления, а части из них вообще не было известно? Каковы те этапы развития, которые прошла система средств относительного подчинения в болгарском языке? Откуда шли волны тех инноваций, которые могут быть причислены к синтаксическим балканизмам?

Ответить на эти вопросы, обратившись лишь к материалу памятников письменности, очевидно, нельзя. Только методика исторической интерпретации отраженных на картах современного диалектного атласа данных, которые рассматриваются как развернутая в пространстве диахрония, и подключение к ним материала письменных источников, который может восполнить один из этапов эволюционной цепи, а также бросить свет на абсолютную хронологию процесса, может способствовать решению поставленной проблемы. И здесь неоценимую помощь оказывают карты 4-томного Болгарского диалектного атласа, отразившие лексическое многообразие форм относительного местоимения, вводящего постпозитивное определительное придаточное предложение присловного типа. Обращение к ним показывает, что явление эксплицитного указания на относительное подчинение охватило не всю территорию болгарских говоров и значительной части из них неизвестно. Изоглосса по признаку: «наличие — отсутствие морфемы *-то* в формах относительного местоимения (в том числе в формах абсолютных релятивов)», которую можно сконструировать на основании отраженного в атласе материала (сами создатели БДА такой задачи не ставили), выделяет два диалектных массива — восточный и западный. В восточном отмечены формы с морфемой *-то* (главным образом — *дето*, реже — *който*, *която*, *което*, *кошто*, *където*, в отдельных говорах — *катрито*, *катрата*, *катрото*, *катрите*, *ажит*, *ажата*, *ажите*; ср. также форму *кувет* в одном из северо-восточных говоров — абсолютивный релятив из *който*). В западном — формы без морфемы *-то* (главным образом — *дека* и *што*, реже — *кой*, *къде*, *де*, *дей*, *дено*). Важно подчеркнуть, что эта изоглосса на всем своем протяжении в общем совпадает с изоглоссой по *ѣ* и тем самым вписывается в целый пучок изоглосс, отражающих старое деление болгарского диалектного массива. Материал атласа позволил мне сконструировать и изоглоссу другого синтаксического балканизма в болгарском языке, а именно изоглоссу по признаку: «наличие — отсутствие употребления наречия места в качестве относительного местоиме-

ния», которая также проходит с севера на юг (западнее изоглоссы по Ъ) и делит этот западный диалектный массив на два ареала. В восточной части в качестве относительного местоимения 'который' употребляются различные формы местоименного наречия места: *дето, дека, къде, където, де, дей, дено* (наряду с более редкими формами *кой, който*), в западной – вопросительное местоимение *што*. (Обе описанные здесь изоглоссы см. на карте № 26 в ч. III монографии «Тихонравовский дамаскин...», с. 171.)

Анализ изоглосс указанных диалектных различий с учетом материала памятников письменности позволяет высказать предположение, что система средств относительного подчинения в болгарском языке прошла в своем развитии через следующие этапы: 1-й этап – относительные местоимения и наречия указательной основы на **jo* (*иже, њже, ижеже* и др.) → 2-й этап – вопросительные местоимения и наречия в функции средств относительного подчинения → 3-й этап – формальное отграничение относительных местоимений и местоименных наречий от вопросительных с помощью специальных морфем *-то, (-со, -но)*. Следы I-го этапа зафиксированы в одном из родопских говоров Кырджалийской околии (с. Тихомир), где отмечено изменяемое относительное местоимение от старой указательной основы: *ажит, ажата, ажото – ажите*, (интересное, кстати, еще и в том отношении, что свидетельствует о связи генезиса морфемы *-то* и членных морфем). 2-й этап, на котором, как можно думать, сформировалось множество лексических вариантов вопросительных местоимений и наречий, выступающих в функции относительных местоимений, охватил практически все болгарские говоры. При этом части из них известно только употребление изменяемых форм относительного местоимения со значением 'который'. На этом этапе, по-видимому, сформировалась и изоглосса, связанная с наличием–отсутствием употребления наречия места как абсолютного релятива, о котором я уже говорила. Наконец, 3-й этап развития – появление форм с морфемами *-то, -со, -но* – охватывает только восточноболгарские говоры. Он, видимо, протекал в условиях формирования основных различий между восточными и западными говорами, поскольку изоглосса этого синтаксического балканизма проходит по территории, где, кроме целого пучка старинных языковых изоглосс, в частности изоглоссы по Ъ, проходит граница некоторых этнографических и фольклорных различий. Например, фольклорный сюжет «орисана невеста» известен только в восточноболгарских говорах [11]. Это может бросить свет на абсолютную хронологию входящих в пучок изоглосс.

Таким образом, процесс становления современной системы средств относительного подчинения в болгарском языке, в преломленном через тра-

дицию и нормы различных центров письменности виде, отраженный в памятниках древнеболгарской, среднеболгарской и новоболгарской письменности, безусловно, охватывал собой длительный период времени и протекал неодновременно в разных регионах. При этом на разных стадиях процесса центром тех инноваций в системе, которые могут быть отнесены к синтаксическим балканизмам, была восточноболгарская территория.

Методика реконструкции этапов развития той или иной особенности языковой системы во времени, основанная на различиях ее развития в пространстве, в свою очередь, позволяет включить в число синхронно отраженных на картах атласа диахронных состояний такие, которые отсутствуют в современных говорах и известны нам только по памятникам письменности. Так, например, отраженная в новоболгарских дамаскинах XVII в. система модальных категорий болгарского глагола, для которой характерно отсутствие причастия на *-л* от основы имперфекта и включающих его в свой состав форм, совпадение пересказывательных форм для аориста и имперфекта, отсутствие пересказывательных форм для настоящего времени, футурума, перфекта и повелительного наклонения, эмфатических пересказывательных форм, более тесная сфера функционирования и семантики этих форм, демонстрирует, как можно думать, один из ранних этапов становления этой системы. Следующим этапом, отраженным в современных западных говорах, можно считать систему, в которой также отсутствует причастие на *-л* от основы имперфекта и, соответственно, включающие его в свой состав формы, но уже представлены пересказывательные формы для презенса, футурума и перфекта. Далее на оси последовательности могут быть помещены современные восточные говоры, развившие специальное причастие на *-л* от основы имперфекта и включающие его в свой состав формы, в частности, эмфатические, и, наконец, — система современного болгарского литературного языка [12].

Таковы некоторые из возможностей и методик синтетического анализа данных лингвогеографии и материала памятников письменности при изучении истории языка. Крут таких возможностей, безусловно, шире [13]. Нельзя не согласиться с мыслью С. Б. Бернштейна: лингвогеография — это тот резерв, который позволит вывести изучение истории языков славянских народов на новый этап.

Примечания

- [1] С. Б. Бернштейн. Размышления о славянской диалектологии // Славянское и балканское языкознание. Проблемы диалектологии. Категория посессивности. М., 1986, с. 3—4.
- [2] С. Б. Бернштейн. Актуальные задачи изучения истории болгарского языка // Вестник Московского университета, сер. 9. Филология, 1983, № 4, с. 12—13.
- [3] Ср.: «Принципиально новое решение проблемы в болгаристике (вероятно, и в славистике вообще) нашла, на мой взгляд, Е. И. Демина. По программе болгарского диалектного атласа она изучила весь материал образцово изданного ею Тихонравовского дамаскина XVII в. Она заставила этот памятник „ответить“ на те вопросы, которые участники экспедиций по атласу ставят перед современными информаторами. Уже „ответы“ только на один памятник дали много нового, внесли существенные изменения в наши представления. Нет никакого сомнения в том, что исследование всех сохранившихся до наших дней новоболгарских памятников письменности XVII—XVIII вв. даст глубокую перспективу современным диалектным картам. Возможна и целесообразна аналогичная работа и со среднеболгарскими текстами» (С. Б. Бернштейн. Главни проблеми на историята на българския език // Изследвания върху историята и диалектите на българския език. Сборник в памет на чл.-кор. Кирил Мирчев. София, 1979, с. 51). Ср. также: С. Б. Бернштейн. Е. И. Демина. Тихонравовский дамаскин. Болгарский памятник XVII в. Исследование и текст [рец.] // Советское славяноведение. М., 1987, № 2, с. 116.
- [4] См. об этом подробнее: Е. И. Демина. Принципы лингвогеографической интерпретации данных памятников славянской письменности // Славянское языкознание. X Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1988, с. 117—118, 129 (библиографические данные).
- [5] Е. И. Демина. Тихонравовский дамаскин. Болгарский памятник XVII в. Ч. III. Тихонравовский дамаскин как памятник книжного болгарского языка XVII в. на народной основе. София, 1985, глава III, с. 75—262.
- [6] См. об этом: Е. И. Демина. Народно-разговорное койне района Средней Старой Планины как основа книжного болгарского языка XVII в. // Материалы к VI Международному конгрессу по изучению стран Юго-Восточной Европы. Лингвистика. М., 1989, с. 55—65.
- [7] Ср.: Е. И. Демина. Из болгарского исторического синтаксиса. Сложные предложения с союзным словом *който* в языке дамаскинов XVII в. // Славянское и балканское языкознание. Проблемы интерференции и языковых контактов. М., 1975, с. 104—137; Она же. Из болгарского исторического синтаксиса. 2. Морфема *-то* как средство указания на относительное подчинение в сложных предложениях в языке дамаскинов XVII в. // Изследвания върху историята и диалектите на българския език..., с. 131—137.
- [8] Все примеры даются по фототипическому изданию хроники Константина Манасия, в состав которой входит Троянская притча, с указанием страниц издания. Ср.:

- Ив. Дуйчев. Летописца на Константин Манаси. Фототипично издание на Ватиканския препис на среднобългарския превод. София, 1963.
- [9] K. S a n d f e l d. Linguistique balkanique. Paris, 1930, p. 107.
- [10] Ив. Гълъбов. Към историята на относителните местоимения в българския език // Езиковедски изследвания в чест на акад. Ст. Младенов. София, 1957, с. 65—66.
- [11] М. Младенов. Ятовата граница в светлината на нови данни (Към въпроса за диалектното разчленение на българския език) // Славистичен сборник. София, 1973, с. 247—256.
- [12] Ср.: Е. И. Демина. Към историята на модалните категории на българския глагол // Български език. София, 1970, кн. 5, с. 405—421.
- [13] Например, задача моделирования «хроно-топо-изоглосс» на основе ретроспективного сравнително-исторического изучения данных лингвистической географии и широкого привлечения материала письменных источников была поставлена Р. И. Аванесовым на VII Международном съезде в Варшаве. Ср.: Р. И. А в а н е с о в. К вопросам периодизации истории русского языка // Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1973, с. 13—15.

E. Demina

Linguistic Geography and History of Language: to the Problem of Possibilities and Methods of Synthetic Analysis

The author suggests three possible approaches to synthetic analysis both of contemporary geography of dialectal distinctions represented in the linguistic maps and of ancient slavonic manuscripts. These new methods may be applied in research in some aspects of language history thus allowing to throw light upon the problem of interdependency between linguistic and national history, to resolve some problems of philological investigation of the texts and to explore different stages of language system development.

М. И. Ермакова (Москва)

Серболужицкие памятники письменности и историческая диалектология серболужицкого языка

В настоящее время серболужицкая диалектология имеет серьезные достижения: изучены важнейшие структурные особенности современных серболужицких диалектов, что позволило существенно изменить представление о диалектном членении серболужицкого языка, о генетических связях серболужицких диалектов, о различной степени диалектной дифференциации на фонетическом и морфологическом уровнях, об особенностях развития некоторых грамматических категорий, изменениях в их структуре. Исследования в области современной серболужицкой диалектологии дают представление о сложности морфологических процессов в серболужицких диалектах вообще и особенно в переходных диалектах. Итогом всей работы по изучению современных верхне- и нижнелужицких диалектов явилось создание Серболужицкого лингвистического атласа [1].

Наименее разработанной областью в серболужицкой диалектологии остается историческая диалектология. Успехи в ее развитии связаны прежде всего со степенью изученности тех источников и материалов, которые фиксируют черты отдельных серболужицких диалектов и относятся к различным синхронным срезам. Точкой отсчета при этом является XVI в., период Реформации, время возникновения серболужицкой письменности. Первые же переводы позволяют говорить о раздельном существовании верхне- и нижнелужицкой письменности. Основными источниками исследования диалектов, представляющих два наиболее крупных диалектных комплекса в этот период, являются верхне- и нижнелужицкие переводы Библии [2]. Первые рукописные переводы библейских текстов на серболужицкий язык с немецкой Библии М. Лютера создавались на основе местных диалектов и предназначались для использования в рамках определенных приходов для более успешного изложения догм нового учения и его

распространения среди серболужичан. Серболужские письменные памятники, отражающие особенности конкретных серболужицких диалектов, в большинстве случаев представляли собой изолированную попытку фиксации диалектных норм и носили как правило единичный характер, не являясь авторитетными для авторов переводов из других местностей.

Можно говорить о трех группах памятников в зависимости от их принадлежности к одному из самых крупных диалектных комплексов серболужицкого языка: верхнелужицкие, западнонижнелужицкие и восточнонижнелужицкие [3]. Выяснение языковых особенностей отдельных памятников и, следовательно, выявление характерных черт соответствующего серболужицкого диалекта является основой для определения диалектной основы памятника. Развитие этой области исторической диалектологии связано прежде всего с изданием ранних переводов библейских текстов на серболужицкий язык. Характеристика диалектной принадлежности отдельных памятников серболужицкой письменности является основной частью лингвистического комментария при их издании.

Трудности определения диалектной основы того или иного серболужицкого памятника письменности, созданного в период, предшествующий формированию верхне- и нижнелужицкого литературных языков, могут иметь самый общий характер. Различная степень приближения языка памятника к живому диалекту обусловлена различиями между устной речью и письменной ее фиксацией; жанровыми особенностями памятника, которые ограничивают возможность реконструкции тех или иных фрагментов языковой системы диалекта; субъективным восприятием фонетических отношений в диалекте автором памятника, что находит отражение в орфографии перевода.

Недостаточная изученность раннего периода серболужицкой письменности, памятников этого времени, привязанных к местным диалектам и фиксирующих их черты, во многом является причиной различных оценок диалектной основы некоторых памятников, тем более, когда речь идет о ныне не существующих диалектах.

Так, если диалектная основа одного из самых крупных памятников нижнелужицкой письменности — перевода «Нового завета» М. Якубицы 1548 г. — выявлена с достаточной определенностью (он возник на востоке нижнелужицкой языковой территории и представляет черты теперь уже не существующего жаровского диалекта) [4] и в большей мере, чем другие памятники серболужицкой письменности, дает возможность представить морфологическую систему соответствующего диалекта, то, например, при оценке языка другого нижнелужицкого памятника нижнелужицкой пись-

менности, относящегося к первой половине XVII в., — «Энхиридиона Вандаликума» А. Тары 1610 г. [5] возникают значительные разногласия. Все исследователи — М. Горник, А. Мука, А. Лескин, З. Штибер, Г. Шустер-Шевц, М. Радловский — указывают на то, что памятник отражает черты не одного диалекта (в данном случае шторковского; он возник в тогда еще серболужицких окрестностях Шторкова, на севере нижнелужицкой области, на польско-полабской языковой границе), а обнаруживает близкое родство с другими тогда существовавшими нижнелужицкими диалектами: по мнению одних ученых — с жаровским диалектом, на котором написан перевод М. Якубицы (М. Горник), по мнению других — с мужаковским, родным диалектом автора памятника (А. Лескин, А. Мука, З. Штибер, М. Радловский). Г. Шустер-Шевц обнаруживает в языке памятника черты, с одной стороны, польского диалекта, с другой — верхнелужицкого. Диалектная основа памятника определяется по-разному: или как шторковская (М. Горник, А. Мука) — ныне исчезнувший северный нижнелужицкий диалект, или как западнонижнелужицкий окрестностей Котбуса (З. Штибер), точнее, котбусская (М. Радловский), или как центральный западнонижнелужицкий диалект с сильными элементами восточнонижнелужицкого мужаковского диалекта и определенной ролью шторковских элементов, которые трудно отделить от чисто восточнолужицких (Г. Шустер-Шевц). Характеристика диалекта (также уже не существующего), представленного в данном памятнике, нуждается в дальнейшем изучении и уточнении.

Степень изученности ранних памятников серболужицкой письменности определяет и обуславливает возможности реконструкции отдельных диалектных систем и картину диалектной дифференциации в серболужицком народном языке — *Volkssprache* — в период зарождения серболужицкой письменности.

С этим связаны и возможности в развитии другого направления серболужицкой исторической диалектологии — выявление динамики развития конкретных диалектов. Это возможно только в том случае, если сопоставляются данные письменных текстов, относящихся к различным синхронным срезам, но фиксирующие черты одного и того же диалекта.

К такого рода исследованиям, по существу, единственному, относится работа Ф. Михалка [6], посвященная анализу развития одного из верхнелужицких диалектов — куловского — на протяжении трех веков. Автор анализирует два синхронных среза этого диалекта: один представляет точно локализованный материал конца XVII в. (сочинения серболужицких писателей Тицина и Светлика), другой — данные современного диалекта

(1962). Интерес представляет методика исследования Ф. Михалка. Сопоставление двух синхронных срезов ведется по 84 пунктам, которые включают наблюдения над фонетическими, лексическими и грамматическими особенностями данного диалекта. При этом обнаруживаются как совпадения данных современного куловского диалекта с диалектом, представленным в сочинениях Тицина и Светлика, так и существенные изменения и отличия в данных современного диалекта и его состоянии в XVII в. В современном куловском диалекте некоторые группы слов и грамматических форм, наблюдаемые в сочинениях Тицина и Светлика, больше не существуют и заменены южными соответствиями, которые известны и диалекту, расположенному на север от куловского диалекта, — воеровскому. В то же время в современном куловском диалекте употребляются такие слова и грамматические формы, которые не зафиксированы и в воеровском диалекте, а встречаются лишь еще дальше на север от него. Инновацией в куловском диалекте является отсутствие форм простого прошедшего времени, полная парадигма которых была представлена 300 лет назад. Это объединяет куловский диалект с переходными и собственно нижнелужицкими диалектами. Анализ всех особенностей куловского диалекта в разные периоды времени по определенной методике свидетельствует о том, что куловский диалект во многих случаях сохранил свои индивидуальные черты относительно более южного католического диалекта и что 300 лет назад у него было больше общих черт с воеровским диалектом. Основной вывод автора: современные куловский и католический диалекты являются результатом взаимного выравнивания между прежней самой южной частью территории переходных диалектов и западной частью собственно верхнелужицких диалектов в период после завершения Реформации в Лужице. Тем самым доказывается активная роль конфессиональных границ при образовании пучков изоглосс.

Разработка различных направлений исторической диалектологии в серболужицком языке — изучение особенностей определенных диалектов в разные периоды функционирования серболужицкого языка, выяснение диалектной основы тех или иных памятников раннего периода развития серболужицкой письменности, когда еще не проявилось сознательное стремление авторов переводов Библии выработать и применить наддиалектную языковую норму, реконструкция состояния диалектной системы, характеризующей различные синхронные срезы, — непосредственно связана с возможностью создания фундаментальной исторической грамматики серболужицкого языка. Источники исследований в области исторической диалектологии и исторической грамматики для ранних периодов функционирова-

ния серболужицкого языка совпадают. Это обстоятельство хорошо подтверждается исследованиями выдающегося серболужицкого лингвиста А. Муки, его грамматикой нижнелужицкого языка [7], которая была задумана как историческая грамматика с учетом данных верхне- и нижнелужицких диалектов, относящихся к различным периодам. Предложенная А. Мукой классификация серболужицких диалектов, включающая ныне уже не существующие, признана и применяется в современных исследованиях. Тем самым были заложены основы исторической диалектологии серболужицкого языка. Вкладом в развитие исторической диалектологии можно считать те работы серболужицких лингвистов, которые посвящены анализу происхождения и развития отдельных грамматических явлений и категорий с привлечением материала серболужицкой письменности и данных современных диалектов [8], ср., например, анализ развития и генезиса Р./В. дв. ч. в работах Р. Летча, Г. Фасске, Г. Шустер-Шевца.

При всем многообразии вопросов, которые стоят перед создателями исторической грамматики серболужицкого языка, основу их работы представляет предварительное изучение ранних памятников серболужицкой письменности. На основе их детального описания должна быть воссоздана по возможности определенная система, зафиксированная в памятнике (в данном случае речь идет о конкретной диалектной системе), сопоставимая с другими системами этого и других периодов развития серболужицкого языка. Именно «...последовательное описание всех исторических состояний необходимо предваряет составление общей картины его исторического развития» [9].

Как показывают уже существующие исследования в области исторической грамматики, наиболее убедительные результаты достигаются там, где авторы, используя в достаточном объеме материал памятников письменности, отражающих диалектную ситуацию определенного времени, в то же время детально исследуют современную диалектную ситуацию.

Примечания

- [1] Sorbischer Sprachatlas. Bautzen, 1965—1990, Bd. 1—13.
- [2] К настоящему времени одна часть этих переводов опубликована полностью, другие — во фрагментах, третьи остаются еще недоступными для исследователей. Общее представление о составе верхне- и нижнелужицких памятников раннего периода дает хрестоматия серболужицких памятников, составленная Г. Шустер-Шевцем: H. Schuster-Šewc. Sorbische Sprachdenkmäler 16.—18. Jahrhundert. Bautzen, 1967.

- [3] H. Schuster-Šewc. Sorbische Sprachdenkmäler...
- [4] Das niedersorbische Testament des Miklawuš Jacobica 1548, herausgegeben und mit einer Einleitung und wissenschaftlichen Kommentaren versehen von Heinz Schuster-Šewc. Berlin, 1967.
- [5] Andreas Tharaeus. Enchiridion Vandalicum. Ein niedersorbisches Sprachdenkmal aus dem Jahre 1610. Herausgegeben und mit einer Einleitung und wissenschaftlichen Kommentaren versehen von Heinz Schuster-Šewc. Bautzen, 1967.
- [6] S. Michalk. Kulowski dialekt džensa a před 300 lětami. Přinošk k serbskej historiskej dialektologii // Sorabistiske přinoški k VI. mjzynarodnemu kongresej slawistow w Praze. 1968. Bautzen, 1968, S. 37—64.
- [7] K. E. Mucke. Historische und vergleichende Laut- und Formenlehre der niedersorbischen (Niederlausitzisch — wendischen) Sprache mit besonderer Berücksichtigung der Grenzdialekte und des Obersorbischen. Leipzig, 1981.
- [8] R. Löttsch. Die Verbreitung des Gen. / Akk. du. in den sorbischen Dialekten und das Problem seiner Genese // ZfSl, 1964, IX, H. 4. S. 485—499; H. Fasske. Wuwice ak./gen. jako wuraz kategorije žiwosće resp. kategorije racionalnosće w serbsčinje // Lětopis Instituta za serbski ludospyt. Rjad A, 1972, č. 19/1, s. 18—51; H. Schuster-Šewc. Nastaće a wuwice gramatiskeju kategorijow musko-wosobowosće a žiwosće w delnjej a hornjej serbsčinje z wobkedźbowanjom poměrrow w susodnych słowjanskich rěčach // Lětopis Instituta za serbski ludospyt. Rjad A, 1977, č. 24 / 1, s. 28—41.
- [9] Г. П а у л ь. Принципы истории языка. М., 1960, с. 13.

Сокращения

ZfslPh — Zeitschrift für slavische Philologie. Leipzig; Heidelberg, 1925/1926—, Bd. 1—.

M. Ermakova

Serbian Written Language Monuments and Historical Dialectology of Serbian Language

Historical dialectology is the least elaborated field of Serbian linguistics. Its development depends upon the exploration of the examples of the Serbian-writing which has engraved the dialectal traits. The analysis of these sources reveals the features of certain dialects, the dialectal basis of the given document, in several cases it is possible to trace back the history of some dialects.

Л. Э. Калнынь (Москва)

К вопросу об использовании
лингвогеографической информации при анализе
динамики диалектной фонетической черты
Оглушение вибранта

В статье «Размышления о славянской диалектологии» С. Б. Бернштейн выразил сожаление по поводу того, что «уже опубликованные атласы славянских языков медленно входят в научный оборот. <...> Даже участники работ над этими атласами мало и совсем случайно используют их данные в своих исследованиях» [1, с. 4].

Предлагаемая статья является попыткой внести вклад в заполнение этой лакуны в исследовании славянских диалектов, на которую справедливо указал С. Б. Бернштейн.

Собрание диалектных атласов отдельных языков и регионов, Общеславянский лингвистический атлас показывают дифференциацию славянских диалектов безотносительно к границам отдельных языков. Диалектные сходства и различия выступают как особенности Славии в целом. Среди устанавливаемых изоглосс есть такие, которые в принципе предсказуемы — они уточняют предварительные представления о территориальном распределении отдельных языковых особенностей, входящих в характеристику разных групп славянских диалектов.

Однако при сопоставлении диалектов на большой территории могут быть обнаружены новые, не укладывающиеся в традиционные представления, изоглоссы. Это происходит потому, что в коалицию изоглоссных явлений попадают факты, которые в рамках одного языка не принято считать лингвогеографически значимыми, хотя они и свойственны лишь части диалектов этого языка. Причины такого отношения к диалектным явлениям различны. Это — и функциональная незначимость явления (поэтому, кстати, эксплораторы его не всегда замечают), малочастотность явления, его факультативность; немалую роль играет и априорное отношение к факту, когда традиционно принято считать, что данное явление в диалектах дан-

ного языка отсутствует. Однако то же самое явление, включенное в большой диалектный континуум, может обретать новую иерархическую характеристику и превращаться в типологический показатель различий между славянскими диалектами. Явление включается в определенную диахроническую последовательность. Это значит, что приоритет получает сам факт существования языкового явления как такового без оценки его значимости для системного строя конкретного диалекта.

Классический метод изучения истории славянских языков и диалектов это сравнительно-исторический метод, т. е. реконструкция хронологически разных состояний на основе сопоставления известных фактов. Не избыточно ли привлечение для решения тех же задач еще и атласов с их территориальной информацией? Напротив, атласы, давая визуальную картину современного диалектного ландшафта, углубляют эффективность сравнительно-исторического метода, поскольку включают каждый диалект в общеславянский контекст. В этой связи можно отметить, что принцип рассмотрения истории отдельных языков и диалектов в общеславянском контексте был незыблемым для славистов начала века. История одного языка не мыслилась в отрыве от фактов других славянских языков. Ср. историю нижнелужицкого языка К. Муки [2], чешского — Гебауэра [3], русского — Шахматова [4].

Общеславянский фон, идея славянского языкового пространства необходимо должна присутствовать при исследовании отдельных языков и диалектов. Славянские атласы играют большую роль в формировании такого фона в сознании славистов, т. е. формируют определенное исследовательское мировоззрение.

Значение общеславянского фона для понимания динамики фонетического явления далее показано на примере прогрессивного оглушения вибранта *p* (**r*) в нижнелужицких, польских и части севернорусских диалектов. Это та черта, которая в рамках традиционного сравнительно-исторического анализа как бы исчерпала свой доказательный потенциал.

Прогрессивная ассимиляция в группах согласных в славянских диалектах распространена значительно уже, чем регрессивное уподобление. В каждом языке явлений прогрессивной ассимиляции — единицы. Например, в русских говорах это перенос мягкости с первого согласного на второй (*бóл'н'о*, *вáн'к'а*), аффрикатизация смьчного после переднеязычного спиранта (*шчѣ́ка* = *щука* и *штука*); в надсянском украинском говоре — прогрессивное озвончение шумного согласного (*дор'іжга*, на *дур'ізді́*) и др. Но к числу довольно распространенных явлений относится прогрессивно обусловленное оглушение вибранта после глухих шумных.

Механизм этого явления известен — снижение уровня звонкости (участия голоса) у сонорных после шумных «встречается повсюду в славянской речи; именно первая часть сонорного становится часто безголовою. Но так как безголосая часть лишь минимальна, а решающим для слуха моментом в таких случаях становится последняя часть сонорного согласного, то этот початок уподобления остается без заметного значения для звукового строя» [5, с. 170]. Однако при известных условиях включение голоса может быть заторможено на протяжении всего сонорного согласного. Эти условия создаются характером артикуляции как сонорного, так и предшествующего шумного. Чем интенсивнее выражена артикуляция шумного согласного, а это бывает при высокой ее напряженности, тем интенсивнее воздействие на следующий согласный.

Комбинация этих условий особенно очевидно представлена в сочетании смычных глухих с вибрантом. Вибрант среди всех сонантов имеет наиболее высокий уровень шума. С другой стороны, глухие смычные, относящиеся по шкале признака консонантность ~ вокальность к наиболее консонантным [6, с. 50—51], имеют в славянских языках и большую напряженность в сравнении с парными звонкими согласными. В некоторых диалектах эта напряженность особенно усилена, что уже является диалектной чертой [7]. О. Брок различие в напряженности артикуляции согласных определяет как «разницу в силе ртовой артикуляции» [5, с. 50].

Учитывая все эти обстоятельства, можно выстроить определенную динамическую линию в славянском диалектном пространстве, т. е. соединить территориальный и структурный факторы.

Наиболее архаическое проявление прогрессивного оглушения вибранта представлено в нижнелужицких диалектах, т. е. на крайнем западе современной Славии. Здесь — 1) в позиции после *p*, *t*, *k* вибрант заменяется шумным согласным (первоначально это был переднеязычный спирант, который в дальнейшем подвергся разным изменениям) — *pšut*, *kšej*, *tšawa* [8]; 2) шумным заменяется не только *r'*, что известно и другим западнославянским языкам, но и *r*, что, кроме нижнелужицких диалектов, нигде не встречается; 3) замена происходит лишь в праславянских сочетаниях согласных и отсутствует в аналогичных последовательностях, возникших в результате метатезы плавных и тем более после падения редуцированных, т. е. *krowa*, *prog*.

Это означает, что появившиеся после падения редуцированных и после метатезы плавных сочетания согласных не имели тех свойств, которые послужили предпосылкой для унификации по отсутствию голоса старых сочетаний *p*, *t*, *k* с вибрантом. Различие может касаться разных

параметров. Глухие согласные могли стать менее напряженными и их ассимилирующее воздействие на последующий сонант стало слабее. Нижнелужицкий вибрант мог изменить артикуляцию в сторону сокращения количества ударов, образующих раскат (дрожание). А чем больше ударов, тем больше шансов для вибранта подвергнуться оглушению. Таким образом, нижнелужицкое изменение в сочетаниях *p, t, k* с *r* в древности произошло, но в более поздние периоды утратило актуальность. Синхронно связь шумного с сонантом в таких сочетаниях не обнаруживается — ничто, кроме этимологии, не указывает на то, что в *pšut, tšawa* переднеязычный спирант появился на месте *r*.

При продвижении на восток, на польскую территорию, встречаем факты более позднего прогрессивного оглушения вибранта и в другом проявлении. Здесь произошла десоноризация вибранта перед гласным переднего ряда, т. е. палатализованного *r'*. Это изменение понятно, так как фонетически *r'* близок шумным по своей артикуляции — он больше похож на щелевой, чем на дрожащий [9, с. 84]. О механизме утраты сонорности вибрантом *r'* — см. в [5, с. 37]. В позиции после глухого согласного изменению *r'* в переднеязычный спирант предшествовало оглушение сонанта — именно поэтому произносится *pšed*, а не *bžed*, как было бы, если бы не было оглушения сонанта перед его изменением в спирант. Вибрант утрачивает голос не только после глухих смычных, но и после спиранта — *xšan*.

В польских говорах в сферу прогрессивного оглушения вовлечен не только вибрант, но и другие сонанты. Это изменение *j* → *ś*, *ǰ* после *p* (*pjęńć* → *pǰeńć*, *pśeńć*), *v* → *f* после *t, ś* (*tfui, śfety*); отмечено изменение *r* → *ɹ* в позициях оглушения сонанта [10, с. 35, 51, 72 и др.].

Хотя в польском просматривается чередование вибрант ~ шумный в одной морфеме (*dobry : dobrzy*), тем не менее прогрессивное оглушение вибранта как живой процесс квалифицировать трудно, поскольку это происходит по преимуществу в постоянных сочетаниях.

Продвинувшиеся далее на восток, в зону севернорусских говоров, встречаем ситуацию, которая в общеславянском контексте вообще никогда не рассматривалась, и ее доказательный потенциал в истории славянской фонетики не использовался.

Факты оглушения вибранта между глухими согласными и паузой обычно упоминаются в русской фонетике как факультативное явление — ср. в [11, с. 139; 12, с. 131]. Оглушение вибранта функционально незначимо и аудитивно не всегда фиксируется. Наблюдения над севернорусскими архангельскими говорами в Пинежском р-не вскрыли явления, ранее не фиксировавшиеся в русских диалектах. Здесь прогрессивное оглушение виб-

ранта выступает как живой процесс, не достигший еще стадии десоноризации вибранта. В позиции после глухих согласных сонант теряет звонкость не только в своем начале, что, по О. Броку, свойственно вообще славянской речи, но артикулируется без голоса на всем своем протяжении. Происходит это не только перед паузой, но и перед гласным. Это такие примеры, как *tr'a'va*, *poł'litra*, *tr'i*, *tr'o'pał*, *'pravoj*, *'kruška*, *kr'uk*, *tru'ba*. В этих говорах вибрант не составляет исключения среди сонантов, так как прогрессивному оглушению подвергаются и другие сонанты, включая латеральный — *p'janka*, *žyt'jo*, *k'jerma'c'ix'e*, *s'jem*, *oś'j'epła*, *kl'uc'*, *śn'im*. Рассматривая эти севернорусские говоры как компонент славянского диалектного континуума, можно предположить, что они демонстрируют ту стадию глухих вибрантов, которую прошли нижнелужицкие, а потом польские диалекты прежде, чем в них появились фрикативные на месте вибранта. Поэтому, в принципе, дальнейшее развитие *r*, *r'* в фрикативный согласный не исключено и для севернорусских говоров. Напрашивается вывод, что прогрессивное оглушение вибрантов является динамической особенностью славянской фонетики, т. е., появившись однажды, она не затухает, а проявляется с разным хронологическим интервалом в разных славянских регионах. Стимул этой фонетической особенности был задан до падения редуцированных на западе славянского континуума, а далее она продвигалась по северу славянской территории с запада на восток. Наиболее архаическое ее проявление отражено в нижнелужицких диалектах, наиболее новое, т. е. как живой процесс, — в севернорусских говорах.

На примере конкретного явления славянской фонетики можно увидеть, как меняется его лингвистическое значение, когда явление рассматривается не только как особенность говоров одного языка, а включается в серию явлений, однотипность которых выявляется лишь в пределах славянского континуума, т. е. с привлечением фактора большой территории распространения диалектов. Меняется доказательный статус явления, его роль в системе диахронических аргументов. В один ряд выстраиваются результаты завершившихся процессов и явления синхронно актуальные. Сосуществующие в синхронии разновременные явления в принципе должны бы картографироваться с учетом фактора времени — только так можно получить адекватное представление о движении этих явлений не только в пространстве, но и во времени. Включение фактора времени в диалектную карту создает новый тип изоглосс — это, по идее, сформулированной Р. И. Аванесовым в [13], «хроно-топо-изоглоссы». Такие изоглоссы могут показать не только дифференцированность диалектного ландшафта, но и хронологию движения картины к современному состоянию.

Эффективно изучать диалектную фонетику можно только на славянском фоне, когда исследователь, оперируя конкретными фактами, держит в уме общеславянскую картину. Созданию и поддержке такого мировоззрения способствуют собрания атласов отдельных славянских языков и Общеславянский лингвистический атлас. Именно об этом и пишет С. Б. Бернштейн в цитированной статье.

Примечания

- [1] С. Б. Бернштейн. Размышления о славянской диалектологии // Славянское и балканское языкознание. М., 1986.
- [2] К. Е. Мукке. Historische und vergleichende Laut- und Formenlehre der niedersorbischen Sprache. Leipzig, 1891.
- [3] J. Gebauer. Historická mluvnice jazyka českého. Praha, 1894.
- [4] А. А. Шахматов. Очерк древнейшего периода истории русского языка. Пг., 1915.
- [5] О. Брок. Очерк физиологии славянской речи. СПб., 1910.
- [6] Р. Ф. Пауфшима. Фонетика слова и фразы в севернорусских говорах. М., 1983.
- [7] Л. Л. Касаткин, Р. Ф. Пауфшима. К лингвогеографическому описанию Архангельской области: напряженность — ненапряженность согласных в говорах Пинеги и Мезени // Сопровождение по вопросам диалектологии и истории языка. М., 1984; С. В. Князев. Фонетическая реализация дифференциального признака. Глухость / звонкость и напряженность / ненапряженность согласных в севернорусских говорах. АКД, М., 1991.
- [8] Л. Э. Калнынь. Нижнелужицкое оглушение вибранта как факт славянской фонетики // Формирование и функционирование серболужицких литературных языков и диалектов. М., 1989.
- [9] Л. В. Бондарко. Звуковой строй современного русского языка. М., 1977.
- [10] Z. Topolińska. Opisy fonologiczne polskich punktów «Ogólnopolskiego atlasu językowego». Wrocław, 1982.
- [11] Р. И. Аванесов. Фонетика современного русского литературного языка. М., 1956.
- [12] М. В. Панов. Русская фонетика. М., 1977.
- [13] Р. И. Аванесов. Описательная диалектология и история языка Славянское языкознание. V Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1963.

L. Kalnyn'

On the Use of Evidence from Linguistic Geography in the Analysis of Dynamics of a Dialectal Phonetic Feature. Devoicing of Rolled Sound

Progressive devoicing of rolled sound is a dynamic particularity of Slavic dialect phonetics. It has emerged before the loss of the reduced sounds in the West of Slavia, and had later manifestations in the East up to the North Russian dialects, where it still exists as a living process.

Г. П. Клешикова (Москва)

Румынизмы славянского происхождения в карпатославянских диалектах

Уже в период становления карпатского языкознания (КЯ) [1] осознавалась важность объяснения характера схождения между юго-западными украинскими говорами и южнославянскими языками, — являются ли эти схождения «словарными совпадениями», унаследованными от «старого времени, когда славянские говоры болгарского типа имели распространение в нынешней Трансильвании („дакославянские говоры“) и Украине по северной стороне Дуная (IX–XI вв.), с которыми предок нынешнего карпато-русского говора был непосредственно связан» (Г. Геровский — цит. по: [КДА, ч. I, с. 13]), или же речь должна идти также о возможности более позднего проникновения южнославянских элементов в указанные украинские говоры (и говоры иных славянских языков зоны Карпат), осуществлявшегося опосредованно, через румынский язык. Поэтому принципиально важным для исследования указанных параллелей было предложение С. Б. Бернштейна дифференцировать карпатские «южнославянизмы»; разграничивая, с одной стороны, собственно «карпатизмы», элементы, датируемые эпохой древних языковых (и племенных) связей предков восточных и южных славян (= праславянское наследие) — до ухода части славян на Юг, называемого «карпатской миграцией славян» [2], а с другой — «балканизмы», сравнительно поздние заимствования из южнославянских языков, в ходе «валашской колонизации» [3], когда в качестве медиатора выступал румынский язык (о содержании терминов «карпатизм», «балканизм» в КЯ см. [КДА, ч. I, с. 16–17]; также [4]).

Идея систематического изучения этих хронологически различных групп лексики методами лингвогеографии в карпатоукраинских говорах, сформулированная С. Б. Бернштейном в 1961 г., нашла свое воплощение в «Карпатском диалектологическом атласе» (М., 1967). Данные Ат-

ласа стали надежной основой анализа и стратификации общих для карпатской и балканославянской зон лексико-семантических единиц.

Вместе с тем КДА показал очевидность того, что «нельзя решить вопрос о наличии „южнославянизмов“ в украинском языке без изучения аналогичных фактов в словацких и польских говорах» (также румынских и венгерских) [КДА, ч. 1, с. 15]. Так логика лингвогеографических штудий потребовала расширения их объекта, с одной стороны, до общекарпатских, а с другой — до общевосточных масштабов. На этой стадии осмысления теоретических и практических проблем КЯ возник проект «Общекарпатского диалектологического атласа» (ОКДА). Для его реализации необходимо было объединить усилия большого международного коллектива диалектологов, которым с начала работы над ОКДА (1974) руководит С. Б. Бернштейн (об истории создания Атласа см.: [5]). Не всё, что было задумано, удалось выполнить, но сделано главное: по специальному Вопроснику собран уникальный материал славянских, румынских, венгерских диалектов, этот материал обработан и картографирован, изданы Вступительный выпуск, четыре (из семи) выпусков карт и комментариев; данные ОКДА использованы в большом числе исследований, способствующих углублению наших представлений о современной языковой ситуации в зоне Карпат и в сопредельных регионах (прежде всего на Балканах), о результатах взаимодействия генетически гетерогенных языков (= диалектов) ареала на протяжении длительного времени и др. [6].

Одной из проблем, эффективному решению которых помогает создание КДА и ОКДА, является изучение влияния румынского языка на формирование общего для карпатских диалектов пласта лексики (в том числе и группы «обратных» заимствований). В качестве примеров лексических единиц — эвентуальных «южнославянизмов», проникших в говоры карпатского ареала через румынский, — ниже анализируются ⁺*brič*, ⁺*pazi-*, ⁺*zir*, ⁺*Griža*. Подчеркнем при этом, что важнейшим аргументом в пользу предлагаемых решений является ареалогический; он базируется на данных различных лингвогеографических трудов.

1) ⁺*brič*. Репрезентант древнего словообразовательного локализма ⁺*bričь* < ⁺*bri-kjo-* ([ЭССЯ, вып. 3, с. 25]; также: [БЕР, т. I, с. 79; Skok, I, s. 209 и др.] — при более распространенных рефлексах ⁺*britьva*, там же), фиксируемый ныне преимущественно на Юге Славии (ср., например: [ОКДА IV, № 17, НМ 8]). Так, ю.-серб. *brič* 'бритва' (чаще *bria:c*, *'brijac* и др.), также *брич* ([СДЗб, кн. 1, с. 665]; ср. и в обл. Косово [СЕЗб, кн. 7, с. 507]; см. и: [RJA I, 640, PCA II, 179 и др.; Skok]); макед. *brič* 'то

же' [ОКДА]; ср.: Дебар, Щип, Прилеп, Охрид [БДР; РМЈ]; болг. *брич* 'то же' („устар.“, „диал.“ [РБЕ, т. 1, с. 795; БЕР]; р-н Брезник, Трын, Ст. Димитрово, Кюстендил, Годеч, Самоков, Разлог, Банат, Цариброд, также Хасково, Шумен [БДР]), глагол *брича* 'брить' — ю.-вост. Фракия [ТрСб, кн. 6, с. 118]. На Севере Славии лексема зафиксирована только в карпатоукраинских говорах: *bryč* (*břeč*, *bryč*) '(опасная) бритва', 'нож' (ОКДА; подробнее: КДА, ч. 2, № 157); см. и: Гринченко 1, 100; ЕСУМ 1, 259. Вряд ли связаны с упомянутыми формами польск. диал., словц. диал. *bric* 'злой человек' и под. [ОКДА].

В качестве связующего звена между карпатской и балканской зонами выступает румынский язык. ОКДА показывает, что *bric*, *bric* хорошо известно в говорах Молдавии и Буковины в значении 'бритва', 'самодельная ~', та же форма в значении '(перочинный) нож' фиксируется на юго-западе Румынии [ALR, IV, № 1049]; рум. *brici* — из ю.-слав. *bričь* [Cioranescu, № 1097; DLR, I, p. 651 и др.]. Более частотна форма *briceag* (*brišag*, *brišagu* и под.) '(перочинный) нож' [ALR] — из слав. *bričь* + тур. *biçak* (< *biçmek* 'резать' [Skok]), ср. и: *bričə* 'то же' (северо-запад) < венг. *bicska* + *brici* [DLR]. Отметим, что алб. *brisk* — исконного происхождения (< *bri* 'рог' [Çabej, s. 179, 185, 254]).

Данные ОКДА и иные источники позволяют предположить, что карпатоукр. *bryč* может быть достаточно старым румынизмом южнославянского происхождения, в самом румынском этот вариант сохранился лишь в периферийных зонах, будучи вытесненным в большинстве говоров более новой, контаминированной формой (*briceag* и под.); ср. однако и мнение, что в данном случае следует «выделить... лексический (карпатский) параллелизм, изоглоссу» [ЭССЯ, вып. 3, с. 25].

2) ⁺*pazi*-. Глаголы с этим корнем образуют четкое лексическое соответствие между частью карпатоукраинских (Буковина, Гуцульщина, Вост. Закарпатье) и южнославянскими диалектами. П. Скок характеризует этот глагол как специфически южнославянский, существовавший в праславянском (родств. лат. *spectare* и под. < и.-е.**pa*- с формантом *-g*- [Skok, II, s. 626]), первичная семантика 'глядеть, смотреть; видеть' — 'быть внимательным'... — 'охранять, сторожить' и под.; в сербском известны и модификации этих значений: 'присматривать' и далее 'любить, уважать' и др. [ОКДА IV, № 40; ср. RJA]. Макед. (*da*)*pazit* 'стеречь, беречь' и под., *pazi* (*se*) 'быть внимательным, присматриваться' [ОКДА; РМЈ]. Достаточно велика семантическая амплитуда болг. *пазя* (*се*) 'беречь, оберегать; стеречь, защищать', также 'сохранять (в целости)', 'соблюдать', 'быть внимательным' и 'подстерегать', *пазя се* 'избегать опасности', 'оставаться (дома)' и

т. д., но и 'говеть' [Геров, ч. 4, с. 45]; также: [БТР, с. 532; РСБКЕ]. В диалектах значение 'беречь(ся)' фиксируется в Зап. Болгарии (также Ю. Фракия; Казанлык), ср. *nàzim* 'смотреть, следить' (Годеч, Трын, Кюстендил), *nàzi* 'то же' (Брезник), *upàzvam* 'подглядывать' (София), но и 'помнить' (← 'сохранять [в памяти]'): *nàzim* (Самоков, Ихтиман) [БДР; Младенов]. Ср. и словен. *pàziti* [Pleteršnik, II, 15].

Существование аналогичного глагола на Севере Славии долго не привлекало внимания исследователей, хотя уже у Б. Гринченко зафиксировано на только *пазати* 'возиться, хлопотать, досматривать, заботиться, беречь' и под., но и *пазити* 'то же' (у В. Шухевича! [3, с. 87]). На это специально указал В. Н. Топоров, связывающий **raziti* и **razъ*, **razixa* [7]. Однако лишь специальные карпатологические штудии позволяют описать географию и семантику глагола **raziti*; ср. карпатоукр. '*pazyty* (*s'a*)' 'стеречь, караулить; присматривать', реже 'быть внимательным' (бойк.), 'быть старательным' (гуцул.); отмечены и значения 'заниматься своим делом' (во фразеологизме *нас' себá, нас' собí, нас' свойú dorógu* (м. б., из 'быть внимательным' [?]) и 'быть внимательным, внимательно что-то делать' (гуцул., буков.), а также 'быть жадным, алчным' (Вост. Закарпатье) [ОКДА; КДА, ч. 2, № 194]; ср.: [АУМ II, № 381]. Таким образом, в украинских говорах зоны присутствуют и общие с южнославянскими диалектами значения (с филиациями), и значения, которые в славянском контексте выглядят эксклюзивами, но которые, при расширении поля сопоставлений, находят аналогии в семантике рум. *a (se) păsi* (< ю.-слав. *raziti* [Rosetti, III, p. 100; DLR, VIII, p. 353 и сл.]; ср. арум. *păzescu* 'сохранять; наблюдать' [Papaňagi, p. 835 и др.]). Этот глагол, в различных значениях, известен практически повсеместно [ALR, VII, № 2107]; они, с одной стороны, развивают семантику, унаследованную от славянского источника ('сохранять, удерживать [в том же состоянии]', 'придерживаться [чего-либо]', 'задерживаться', но и 'заботиться; охранять, брать под защиту', 'присматривать' [→ 'пасти скот'], 'следить, подстергать' и т. д.). С другой — обнаруживаются результаты интенсивной семантической эволюции «исконных» значений уже на румынской почве; некоторые новые значения еще сохраняют связь с указанными выше, например: 'бодрствовать (при мертвом)' (Банат, Олтения, Мунтения [ОКДА]) из 'охранять, сторожить' и под. (поскольку в погребальном обряде румын релевантны ритуалы, призванные охранять покойника, чтобы он не превратился в оборотня, подробнее: [8]); сохраняют связь с 'быть внимательным' фразеологизмы *a-și păzi treaba*, ~ *drumul* 'заниматься своим делом' (заимствовано и в украинские диалекты — см. выше). Вместе с тем остается неясным отноше-

ние значения 'торопиться, спешить' и под. к «типичным» значениям данного глагола. Неясна эволюция *a pǎzi* 'силиться, прилагать усилия'; в этом случае, м. б., сказалось влияние близкого по звуковому облику *a pǎți* 'страдать, мучиться' и под. (см.: [9]); о допустимости версии семантического взаимовлияния указанных глаголов говорят факты из украинских говоров: *унá нэ с'а пáцила* (= береглась) *та заболіла, пац' сво́ю дорóгу* (Вост. Закарпатье [КДА, ч. 2, с. 242]).

География продолжений **paziti*, а главное, соотношение их семантических объемов в различных микроразнообразиях карпато-балканского ареала позволяют, на наш взгляд, допускать, что карпатоукр. *paziti* (*c'a*) может трактоваться как «обратное» заимствование через румынский язык (таково, кстати, мнение некоторых исследователей, например И. Робчука).

3) ⁺*žIr* (общеславянское; ср. **žirь* < **žiti* [Skok, III, s. 680], ср. иные версии [Фасмер, I, с. 56; ЕСУМ, I, 198 и др.]) в значении 'плод бука', '~ дуба', 'общее название плодов этих деревьев' и под. — очевидная семантическая карпато-южнославянская параллель; ее география описана в [ОКДА IV, № 57, НМ 36]: с.-хорв. *žir* (*žir*, *žir*), вост.-макед. *žir* 'буковый жёлудь', зап.-макед. — 'общее название (жёлудя)', 'жёлудь' [там же; Skok; RMJ], *жир* 'жёлудь' [Костур — БД, кн. 8, с. 235]; о зап.-болг. *жир* 'жёлудь' (< 'пища', 'то, что поддерживает жизнь') [Младенов, с. 210]; также зап.-болг. *жир* 'жёлудь': Видин, Враца, Белоградчик, София, Самоков, Ихтиман, Пазарджик (и Преслав [БДР; М. Младенов]); ср.: [ПРОДД, с. 135]). Словен. *žir* 'жёлудь' (но и 'пища' — *Pleteršnik*). В зоне Карпат только укр. *žur* (*žer*, *žyr*) фиксируется в значении 'плод бука (дуба)' и под. [ОКДА; КДА, ч. 2, № 45].

В румынском языке (диалектах); *žir*, *žir* 'плод бука' (Банат, Трансильвания, Марамуреш, некоторые р-ны Молдовы [ОКДА; DLR]); также арум. *žir* 'то же' [Parahagi, p. 592], мегленорум. *žir* 'жёлудь' [GS, VII, p. 230] и др.

Семантической близость некоторых славянских и румынских говоров, отмеченная выше, становится еще более ясной на фоне иной семантики продолжений **žirь* в славянском. В словенском, западнославянских языках — 'пища, корм (= откармливание)' и др. (Фасмер I, с. 56; Machek, s. 595), отмечается и «переходная» семантика — зап.-слвц. *žir* 'корм для свиньи (= жёлуди)', укр. *žyru' vaty* 'пасти свиней в лесу (где есть жёлуди)' и далее *ž'er* 'хорошая еда для скота (отруби, сено)' и под. [ОКДА; КДА]. Ср. также русск. диал. *жир* 'место кормежки и икротетания рыбы', *жира* 'хорошее пастбище', 'место зимовки лосей' (Север) [СРНГ, вып. 9, с. 180 и сл.] (здесь мы не останавливаемся на обычном для большинства славян-

ских языков значения 'жир, сало' и т. д.; откуда, например, венг. *zsír* 'то же', но и 'влага', 'сила, способность к работе' и др. [MNyTESz, III, s. 1221]; ср. вост.-слвц. *žir* 'охота к еде, работе' и под. [ОКДА]).

Материалы лингвогеографии дают основание для различных интерпретаций карпатоукр. *žyr* (*žer*) 'плод бука (дуба)'. (1) можно видеть в нем (поздне)праславянский фитоним, возникший в ходе «карпатской миграции славян» и вошедший в лексико-семантическое противопоставление: [«южн.»] **žirь* 'плод бука' (← 'то, чем откармливают животных') (далее и рум. *žir* 'то же') ~ [«зап.» — Slawski I, 49; но и «южн.»] **buky*(-*iv*-) и др. (< **bukъ* [германизм] — [ЭССЯ, вып. 3, с. 90–92; Фасмер и т. д.]), — при том, что название самого дерева (= бука) осталось в Славии единым [ЭССЯ]. (2) в карпатоукраинских говорах появление указанного термина может датироваться более поздним временем и оцениваться как румынизм (южно)славянского происхождения (ср. и конфигурацию данной изосеммы — примыкание ее к румыноязычной территории), что представляется нам достаточно вероятным. Очевидно вместе с тем, что эта дилемма требует дальнейшего исследования. Следует иметь в виду и иные схождения между карпатоукраинскими и другими славянскими говорами: укр. (Покутье) *жёр* 'мошкара над водой' [КДА, ч. 1, с. 107] ~ ср.-слвц. *žir* 'то же' [ОКДА], укр. (гуцул.) *жёр* 'множество мелких червячков' [КДА] ~ болг. (родоп.) *жиравец* 'червячок' (Велинград) [БД, кн. 5, с. 169]; ср. и русск. (псков.) *жир* 'большое количество чего-либо' [СРНГ] и др.

4) ⁺*GrIža* (праславянский дериват от **gryzti* + суфф. -*ja*; как и **gryzota* [ЭССЯ, вып. 7, с. 160], при, вероятно, более новых дериватах, например, укр. *гриза*, польск. *zgryz* [ОКДА IV, № 29; КДА, ч. 2, № 84], ср. и др.-чеш. *hryz* [Machek, s. 147]; русск. *грызь* [Фасмер, с. 466 и др.]) представляет различные стадии семантического развития: 'физическое страдание (вид болезни — грыжа и др.)' → 'нравственное страдание', 'терзание', см.: [ЭССЯ; Бернштейн, с. 21–22], последнее в некоторых славянских языках получало особое направление эволюции — 'тревога, беспокойство', 'озабоченность (чем-либо)' → 'забота (о чем-либо, о ком-либо)' и 'печаль', но также 'ссора, брань' и под. Для нашей темы интерес представляет распространение ⁺*GrIža* во вторичных значениях. Так, карпатоукр. (буков., вост.-закарп., реже — гуцул., бойк.) *'hryža, 'hreža* и др. 'печаль', 'забота' [ОКДА], но и 'ссора, брань' [КДА], глагол *грижати* 'воспитывать; добиваться (чего-либо) с трудом' ~ *ся* 'печалиться' (буков.-ЕСУМ I, 594); в севернославянских языках за пределами Карпат близкие значения фиксируются в русских диалектах: *грыжа* 'ссора' (смол., курск., орл.), 'печаль, огорчение; терзание' (курск., орл.) [СРНГ, вып. 7, с. 175 и сл.]; при, за-

метим, широкой представленности значения 'болезнь' (и 'виды болезней') [там же]; ср.: [Бернштейн, с. 21]. На Юге Славии современные данные свидетельствуют о наличии серб. *'grīža* 'печаль, забота', 'резкость, ярость', но также и 'покаяние' (!), *'grīže se* 'беспокоиться, печалиться' [ОКДА]; ср.: *'grīža*, *'grīžba*, *'grīžnja* 'печаль, тревога' [Skok, I, s. 619]; иного происхождения *'grīža* 'скала' — романнизм (< лат. *grex*) [Skok, I, s. 620]. Макед. *'grīža* 'печаль, забота' оценивается в ОКДА как «литературное», см. и [PMJ]. Болг. *'grīžsa* 'душевное волнение, терзание, беспокойство, тревога', 'действие, направленное на осуществление чего-либо, забота' и др., *'grīžsa se* 'заботиться, стараться, проявлять заботу, беспокойство' и т. д. [РБЕ, т. 3, с. 388—389]; ср. и: [РСБКЕ, т. 1, с. 204]; также [БЕР, т. 1, с. 281—282].

Обратим внимание, что в румынском известны и существительное *'grījă* (старое заимствование из (южно)славянского [Rosetti, III, p. 63]) и глагол *a (se) grīji*; они достаточно употребительны (особенно, по-видимому, в диалектах) и в целом сохраняют связь с семантикой первоисточника. Это многочисленные значения, объединенные инвариантом 'забота, озабоченность; заинтересованность', 'тревога, беспокойство, опасение' и родств. [DLR, II/1, p. 310; DExp, p. 384], а также '(церковная) служба (на похоронах)' [DLR]; ср. *a (se) grīji* (нар., устар.) 'беречь(ся)', 'заботиться' (последнее — широко и в говорах [ALR I, № 393]); также 'готовиться', 'хлопотать (по дому)' (Молдова, Трансильвания [MALR, II, № 253]), далее 'причащаться' (= 'заботиться о душе' [?]) ([DLR]; Банат, Олтения, Мунтения [ALR II, № 196]), (устар.) 'служить (на похоронах)' [DLR] и некоторые иные.

Как и в рассмотренных выше этюдах (1—3), в случае с ⁺*Grīža* обнаруживается комплекс близких значений (= 'забота, озабоченность' и под.), который объединяет ряд карпатоукраинских, южнославянских и румынских диалектов. Ареалогический критерий позволяет, на наш взгляд, предположить влияние рум. *'grījă* (и *a [se] grīji*) на семантику карпатоукр. *'grīžsa* ('*'hrīža*, '*'hrēža* и под.) и — как следствие — расширение семантической амплитуды последнего, которая сохраняет вместе с тем близость к старым (= комплекс 'физическое страдание; болезнь') и более поздним (= 'ссора, брань') значениям, отмечаемым и в других зонах Славии. Следует, однако, признать, что роль румынского языка в семантическом развитии этой карпатоукраинской лексемы менее ясна, чем в примерах, анализируемых выше, и поэтому значение 'забота' и под. может быть собственно «карпатизмом». Предложенная нами версия нуждается в дополнительном обосновании [10].

Итак, данные румынского языка (его диалектов) позволяют показать значительно бóльшую сложность сформулированной вначале проблемы карпатославянского-южнославянских корреспонденций. Так, в некоторых случаях есть основания предполагать, что славянские по происхождению единицы словаря являются в украинских говорах карпатского ареала «обратными» лексическими заимствованиями из южнославянского через румынское посредство (⁺*brlč*, ⁺*pazi-*); в других случаях (продолжения ⁺*Ir* 'плод бука' и др. и, возможно, ⁺*GrIža* 'забота' и под.) речь идет об «обратных» семантических заимствованиях. Именно к указанным типам подобных заимствований приложим термин «балканизм», введенный С. Б. Бернштейном для карпатского языкознания и имеющий иное, чем в балканском языкознании, содержание [11].

Примечания

- [1] КЯ понимается ныне как совокупность лингвистических дисциплин (индоевропейская, финно-угорская ареальная лингвистика, теория языковых контактов, типология и др.), имеющая целью изучение карпато-балканского языкового пространства (см.: С. Б. Бернштейн. [Введение к] КДА. М., 1967; ср.: Г. Л. Клепикова. Карпатское языкознание — состояние и перспективы научного сотрудничества // Зарубежная историография славяноведения и балканистики. М., 1986, с. 13). Об истории КЯ см. обзор: В. В. Нимчук. Карпато-южнославянские параллели и тождества // ОЛЯ, 1988.
- [2] В. М. Иллич-Свитыч. Лексический комментарий к карпатской миграции славян // Изв. АН СССР. Сер. ОЛЯ, № 3, 1960; ср.: Г. П. Клепикова. Гипотеза В. М. Иллич-Свитыча о роли «карпатской миграции славян» в свете новых данных лингвогеографии // Лексика в ОКДА. II. М., 1992.
- [3] Г. П. Клепикова. Славянская пастушеская терминология. М., 1974, с. 22 и сл.
- [4] Г. П. Клепикова. Карпатское языкознание..., с. 17.
- [5] ОКДА. Вопросник. М., 1981; ОКДА. Вступительный выпуск. Скопје, 1987.
- [6] Некоторые итоги работы над Атласом изложены в коллективном докладе: Проблемы дифференциации славянского диалектного ландшафта (по данным ОКДА). М., 1993; С. Б. Бернштейн, Г. П. Клепикова. Итоги работы над Общекарпатским диалектологическим атласом (1973—1993 гг.) // ОЛА, 1995.
- [7] В. Н. Топоров. О происхождении нескольких русских слов (к связям с индо-иранскими источниками) // Этимология. 1970. М., 1972, с. 40—41. Соответственно предполагается развитие семантики 'держать в закрытом месте' → 'беречь' → 'заботиться' → 'следить за' → 'глядеть'; учет идеи «закрепленность, за-

- фиксированность посредством **паза**» не исключает и иной путь — непосредственно → 'внимательно смотреть' (подобно фр. *fixer ses yeux* и др.). С другой стороны, соответствие укр. *пазати* и болг. диал. (*от*)*пазам* отмечает Г. Риков (см.: Български език. София, 1990, № 2, с. 144—145).
- [8] Т. Н. С в е ш н и к о в а. Волк в контексте румынского погребального обряда // Исследования в области балто-славянской духовной культуры. М., 1990, с. 130—133.
- [9] С. Б. Б е р н ш т е й н, Г. П. К л е п и к о в а. Восточно-романское влияние в лексико-семантической сфере внутри и вне балканского языкового союза // Материалы к VI международному конгрессу по изучению стран Юго-Восточной Европы. М., 1989, с. 77—78.
- [10] Другой пример «сосуществования» в карпатославянском ареале форм, определяемых как исконные (морав. *park*, польск. *park* и др. < **ryrk-*) и как возможные заимствования из румынского (карпатоукр. *пирч*, *пѣрч* и под. - рум. *piŕci* [< южнослав. *ръгъ*], ср. морав. *prča* — Machek, s. 392) см.: Г. П. К л е п и к о в а. Об изучении лексических заимствований из румынского в карпатоукраинских говорах // Советское славяноведение, 1973, № 3.
- [11] В балканистике под «балканизмами» понимаются изменения, проходящие по всем языкам или группе языков «балканского языкового союза» (Т. В. Ц и в ъ я н. Синтаксическая структура балканского языкового союза. М., 1979, с. 272 и сл.); см. также: Г. П. К л е п и к о в а. К проблеме взаимоотношения языков центральной и периферийной зон балкано-карпатского ареала // ОЛА, 1985, с. 75.

Сокращения

АУМ II	Атлас української мови. Київ, 1988, т. II.
БЕР	Български етимологичен речник / Ред. В. И. Георгиев. София, 1971—, т. I—.
Бернштейн	С. Б. Б е р н ш т е й н. Из Карпатского диалектологического атласа // <i>Lingua viget</i> . Helsinki, 1965.
БД	Българска диалектология. Проучвания и материали. София, 1962—1981, кн. I—10.
БДР	Български диалектен речник (архив, хранится в Ин-те болгарского языка БАН, София).
Геров	Н. Г е р о в. Речник на българския език. Пловдив, 1895—1904, ч. 1—5. Фототипно издание. София, 1975—1978.
КДА	С. Б. Б е р н ш т е й н, В. М. И л л и ч - С в и т ы ч, Г. П. К л е п и к о в а, Т. В. П о п о в а, В. В. У с а ч е в а. Карпатский диалектологический атлас. М., 1967, ч. 1, 2. Ч. 1: Комментарии. Ч. 2: Карты.
Младенов	С. М л а д е н о в. История на българския език. София, 1979.
М. Младенов	Материалы архива М. Сл. Младенова (София).

- ОКДА Общекарпатский диалектологический атлас. Кишинев; Москва; Warszawa; Київ, 1988—1993, т. 1—4.
- ОЛЯ Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. М., 1965—.
- РБЕ Речник на българския език. София, 1977—, т. 1—.
- РМЈ Речник на македонскиот јазик со српскохрватски толкувања. Скопје, 1961—1966, т. 1—3.
- ПРОДД Речник на редки, остарели и диалектни думи. София, 1979.
- РСБКЕ Речник на съвременния български книжовен език. София, 1954—1959, т. 1—3.
- СДЗБ Српски дијалектолошки зборник. Београд.
- СЕЗБ Српски етнографски зборник. Београд.
- СРНГ Словарь русских народных говоров / Гл. ред. Ф. П. Филин. Л., 1965—, вып. 1—.
- ТрСб Тракийски сборник. София, 1936, кн. 6.
- ЭССЯ Этимологический словарь славянских языков / Под ред. О. Н. Трубачева. М., 1974—, вып. 1—.
-
- ALR Atlasul lingvistic român. Serie nouă. București, 1956—1972, I—VII.
- ALR I S. P o p. ALR. Sibiu, 1938, p. I.
- ALR II E. P e t r o v i c i. ALR. Sibiu; Leipzig, 1940, p. II.
- Cioranescu A. C i o r a n e s c u. Dictionario etimológico rumano. La Laguna, 1958—1963, I—6.
- Çabej E. Ç a b e j. Studime etimologjike në fushë të shqipës. Tiranë, 1982, I.
- DEXP Dicționarul explicativ al limbii române. București, 1975.
- DLR Dicționarul limbii române. București, 1913—, I—.
- GS Grai și suflet. București.
- MALR Micul atlas lingvistic român. Serie nouă. București. 1956—1972, I—III.
- MNYTESz A magyar nyelv történeti etimológiai szótára. Budapest, 1967—1976, I—III.
- Papahagi T. P a p a h a g i. Dicționarul dialectului aromân general și etimologic. București, 1963.
- Rosetti A. R o s e t t i. Istoria limbii române. București, 1964, III.
- Skok P. S k o k. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb, 1971—1974, knj. I—IV.

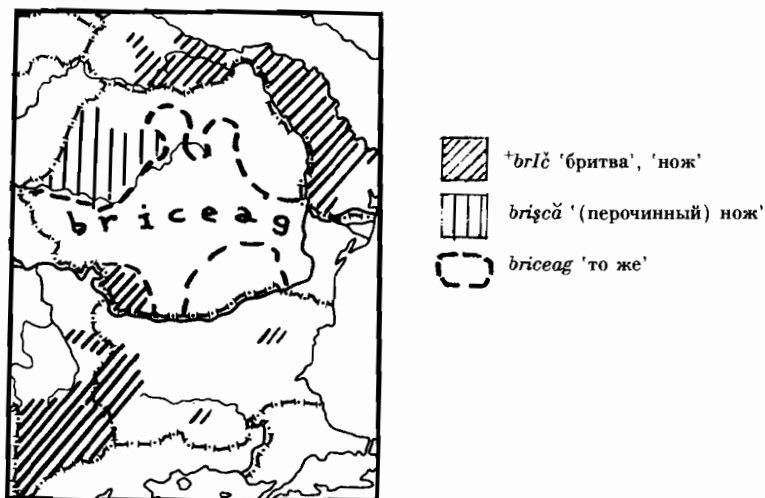
Остальные сокращения см. в издании ИРЯ РАН «Этимология».

G. Klépikova

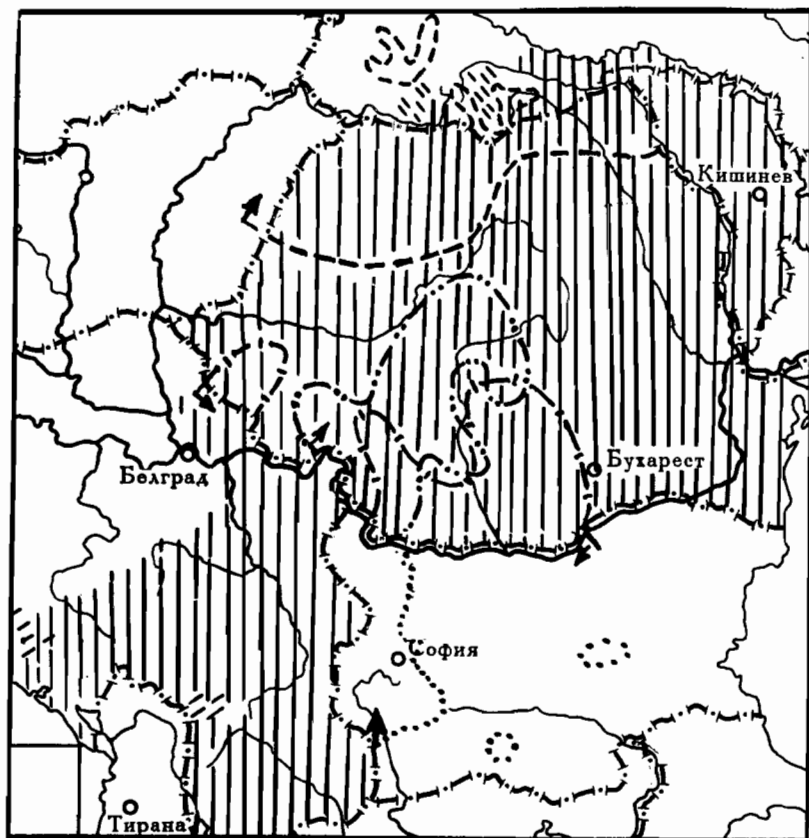
Les Roumanismes d'Origine Slave dans les Dialectes Carpato-Slaves








L'article est consacré au problème des parallèles lexico-sémantiques entre les dialectes carpato-slaves (dans notre cas — les dialectes carpato-ukrainiens) et les dialectes sud-slaves. On prêt attention au rôle de la langue roumaine dans la formation de quelques correspondances (⁺*brlč*, ⁺*pazi-*, ⁺*žIr*, ⁺*GrIža*). D'après la terminologie de S. Bernchtein, ils se nomment les «balkanismes».

КАРТА 1

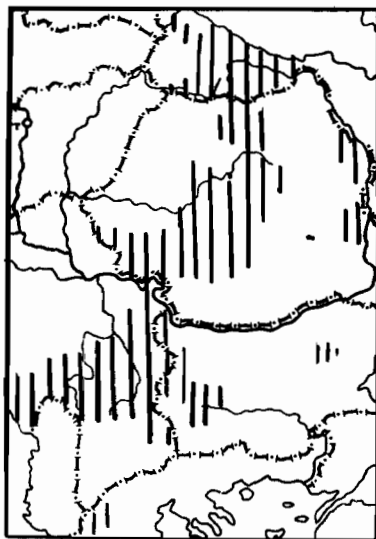


КАРТА 2



- | | | |
|---|---|--------------------------------|
|  |  | 'беречь, хранить' и под. |
| |  | 'подкарауливать (мышь)' |
| |  | 'бодрствовать (при покойнике)' |
| |  | 'торопиться' |
|  | | 'заниматься своим делом' |
|  | | 'любить (уважать)' |

КАРТА 3



†žlr в значении 'плод бука (дуба)' и под.

Т. В. Попова (Москва)

«Восточнославянские изоглоссы»: новый тип лингвогеографического исследования

В 1958 г. в докладе на IV Международном съезде славистов Р. И. Аванесов высказал идею о необходимости целостного лингвогеографического изучения диалектных явлений трех восточнославянских языков вместе взятых [1, с. 3]. Позже, на заседании Бюро ОЛЯ АН СССР в 1964 г. Р. И. Аванесов вновь обратился к данной идее, которая, по его мнению, могла бы быть реализована в виде сводного диалектологического атласа восточнославянских языков: «В качестве обобщающей работы диалектологов-специалистов по восточнославянским языкам Научный совет по диалектологии и истории языка предполагает организовать на базе материалов русского, украинского и белорусского атласов составление сводного атласа восточнославянских языков, который должен заменить известный „Опыт диалектологической карты русского языка в Европе“ (1915). Эта работа в основном обеспечена материалом и не требует специальных затрат; она может быть осуществлена в сравнительно короткий срок, а ее научное и культурное значение трудно переоценить» [2, с. 560]. Однако при жизни Р. И. Аванесова этот план не был реализован.

Непосредственное осуществление данного замысла, воплотившегося в создании лингвистического труда нового типа под названием «Восточнославянские изоглоссы» (далее — ВСИ), стало возможно лишь во второй половине 80-х гг. К этому времени в научный оборот уже был введен обширный диалектный материал трех восточнославянских языков (см.: [ДАРЯ I, II; АУМ 1, 2; ДАБМ]) и появился целый ряд работ, содержащих интерпретацию и систематизацию как уже известных, так и новых для науки диалектных данных. Все это позволило коллективу русских, украинских и белорусских диалектологов под руководством С. В. Бромлей приступить к рекартографированию диалектных явлений,

распространенных на территории русского, украинского и белорусского языков вместе взятых, см.: [3].

Важность исследования явлений в рамках всего восточнославянского диалектного пространства в целом обусловлена тем, что «многие проблемы не могут быть разрешены на материале одного языка, в изоляции от данных других близкородственных языков. Понятие отдельных языков (например, русского, украинского и белорусского) относится прежде всего к сфере социально-исторической, культурной, а не структурно-языковой. Ареалы ряда самых различных языковых явлений нередко охватывают соседние территории близкородственных языков» [2, с. 558].

Кроме того, вошедшие в ВСИ карты, которые содержат систематизированный диалектный материал трех современных восточнославянских языков, должны способствовать прояснению целого ряда актуальных для восточнославянских диалектов проблем исторического и типологического плана, а также некоторых вопросов, являющихся и в настоящее время дискуссионными (таких, например, как вопросы о диалектном членении позднепраславянского и древнерусского языков, о генезисе современных сходств и различий в рамках восточнославянского диалектного пространства, о формировании русского, украинского и белорусского языков и др.).

Известно, что одна из наиболее традиционных и поддерживаемых многими лингвистами гипотез о диалектном членении позднепраславянского и древнерусского языков признает наличие первоначально единого языка восточных славян, истоки которого уходят своими корнями еще в праславянскую эпоху. Так, например, С. Б. Бернштейн пишет, что в I–II вв. н. э. восточнославянский праязык никаких говоров не имел и «представлял поразительное диалектное единство» [4, с. 70]; он также подчеркивал, что «в нашем распоряжении нет фактов, которые бы говорили о существенном и глубоком членении внутри восточнославянских диалектов до утраты сверхкратких в „слабой“ позиции (т. е. до XII в.)» [4, с. 40].

На эту же особенность восточнославянских языков в древности указывает и Р. И. Аванесов, отмечая, что «восточные славяне были исконно едины по своему языку» [5, с. 24] и «в древнейших фонетических процессах, как и морфологических особенностях, в ней (в восточнославянской языковой группе. — Т. П.) не обнаруживается сколько-нибудь заметных различий» [5, с. 24]. Существующие же в настоящее время в пределах восточнославянской группы языков диалектные различия, по мнению Р. И. Аванесова, «в подавляющей своей части относятся к более поздней исторической эпохе» [6].

Оценивая данную точку зрения традиционного исторического языковедения, ориентированную на концепцию так называемого родословного древа, Г. А. Хабургаев справедливо отмечает, что в этом случае «обще-восточнославянское (исторически — древнерусское) языковое единство интерпретируется... как единство историческое, т. е. обусловленное происхождением всех восточнославянских говоров из одного праславянского диалекта — „восточнославянского языка-основы“» [7, с. 84].

Другая гипотеза, являющаяся в течение длительного времени менее популярной, признает изначальную неоднородность славянских, в том числе и восточнославянских, прадиалектов (ср. замечание Г. А. Хабургаева о несомненной спорности самого понятия «праславянский язык» для второй половины I тыс. н. э., а также его рассуждение о реконструируемом праславянском состоянии, которое можно характеризовать как язык лишь при известном допущении [8, с. 33–34]). Однако в последние годы концепция, отрицающая существование единого праславянского языка как целого (а, следовательно, и единство прадиалектов современных трех групп славянских языков), получила серьезную поддержку в новых материалах и в новых исследованиях: в научный оборот были введены уникальные данные — как диалектные (см. ОЛА, ОКДА, материалы полесских говоров), так и исторические (например, новгородские берестяные грамоты, материалы по славянской исторической акцентологии, некоторые данные северо-западных и западных великорусских и северо-восточных белорусских говоров, рассмотренных с точки зрения возведения их к кривичскому диалектному языку, и др.). Все это позволило исследователям восточнославянских языков внести существенные коррективы в традиционную концепцию «родословного древа» и высказать новые соображения, объясняющие многие неясные до недавнего времени вопросы, такие, как, например, состояние древних восточнославянских диалектов, образование восточнославянской группы языков, их диалектное членение и др. В этих работах содержатся убедительные аргументы в пользу доказательства того, что правосточнославянский «язык» не следует рассматривать как «генетически монолитное ответвление от праславянского языка» [9, с. 176] и что истоки существующих и в настоящее время отдельных диалектных различий, которые характеризуют говоры восточнославянских языков, восходят к различиям, свойственным еще правосточнославянским (племенным) диалектам.

Этот важнейший вывод о существовании изначальной гетерогенности восточнославянского диалектного континуума и о наличии тесных взаимоотношений древних восточнославянских диалектов с другими славянскими диалектами базируется не только на тщательном изучении много-

численных новых фактов, но и на переосмыслении уже известного в науке диалектного и исторического материала (см., например: [10]).

Так, исследования А. А. Зализняка показывают, что уже в позднепраславянский период выделялись две основные диалектные группы (северо-западная и юго-восточная) и одна переходная (смешанная). В каждой из этих групп были предки диалектов, входящих в настоящее время в состав восточнославянских языков. К северо-западной диалектной группе, по данным А. А. Зализняка, относились польский, северо-лехитские, лужицкие и северно-кривичский диалекты. Юго-восточную группу диалектов составляли болгарский, сербскохорватский, словенский, ильменско-словенский и южные диалекты восточнославянской зоны. Причем, «к моменту географического разделения южных и восточных славян внутри юго-восточной группы уже существовало племенное дробление и начали формироваться различные (в том числе перекрестные) межплеменные связи» [9, с. 175–176]. К смешанной (или переходной) группе диалектов, расположенной между двумя вышеназванными основными группами, относятся древненовгородский, южнокривичский, словацкий и до некоторой степени чешский и ростово-суздальский говоры.

О существовании кривичского племенного языка и племенных языков славян Верхнего Дона и вятичей убедительно говорит С. Л. Николаев, приводя в подтверждение своей гипотезы вполне обоснованные лингвистические факты [11].

На известную автономность в славянском мире праукраинских диалектов в целом, а также на наличие противопоставленности между северными и южными украинскими говорами уже в рамках самого украинского языка, истоки которой ведут в доисторическое прошлое, указывают Н. Н. Дурново и Ю. Шевелев [12].

Оценивая восточнославянское лингвистическое пространство с точки зрения его древнейшего диалектного членения, нельзя пройти мимо и общепризнанности в нем юго-западных украинских говоров, чему, как известно, в значительной степени способствовала так называемая «карпатская миграция славян» [13]. Об особой судьбе этих говоров в прошлом и настоящем убедительно свидетельствуют как широко известные многочисленные исследования (см., например, работы И. Верхратского, И. Панькевича, М. Пшепюрской, К. Дейны, Б. В. Кобылянского, Д. Г. Бандриковского, В. В. Нимчука, И. А. Дзэндзелевского, П. Н. Лизанца, А. Н. Залесского, Л. Дежэ и мн. др.), так и новейшие данные КДА и ОКДА. Поэтому нельзя считать случайным тот факт, что хотя современные юго-западные украинские говоры и относятся, вне всяких сомнений, к восточнославянской язы-

ковой группе (так, например, эти говоры характеризуются целым рядом схождений с севернорусскими говорами, с одной стороны, и говорами западного диалектного пояса восточнославянских языков, с другой [14, с. 38]), они, тем не менее, оказываются такими лингвистическими объектами, которые по многим своим чертам противопоставляются всем остальным восточнославянским диалектам [15]. Очевидно, что ярко выраженная специфика юго-западных украинских говоров в рамках восточнославянского диалектного континуума не в последнюю очередь обусловлена тем обстоятельством, что они входят в карпатскую зону, между языками и диалектами которой на протяжении истории «происходили сложные процессы взаимопроникновения и взаимовлияния, в результате которых сформировалась определенная языковая общность, со своими специфическими чертами» [14, с. 29].

Следует, однако, подчеркнуть, что, рассуждая о диалектных различиях, характеризующих современные восточнославянские говоры, часть из которых, в соответствии с данной гипотезой, была обусловлена в определенной степени еще древними процессами (серьезные доказательства чего мы находим в ранних работах Р. И. Аванесова, в трудах С. Б. Бернштейна, посвященных карпатской проблематике, в исследованиях Ю. Шевелева и особенно в работах А. А. Зализняка, С. Л. Николаева, Г. А. Хабургаева и др.), нельзя недооценивать и бесспорный факт наличия той глубокой общности, которая в действительности характеризует современные диалекты восточных славян и служит веским основанием для их объединения в отдельную восточнославянскую языковую группу [16].

В славистике и для объяснения этой общности также существуют различные гипотезы. Одна из них, традиционная, исходит из справедливого признания того, что многие праэлементы, характеризующие праславянский язык в целом, прошли в восточнославянских диалектах одинаковый или близкий путь развития и обусловили их общность [17]. Существующие же различия — это уже результат самостоятельной жизни отдельных восточнославянских языков [4, с. 40].

Другая, менее распространенная, точка зрения предполагает, что значительную (а, возможно, и большую) часть специфических черт, общих для всех современных восточнославянских говоров, можно считать своего рода инновациями, поскольку возникли они не в праславянский период, а гораздо позже, в VI — нач. IX вв., в эпоху совместного существования племен на восточнославянской территории, т. е. в эпоху формирования восточнославянских племенных диалектов, и особенно в IX—XI вв., когда складывалась древнерусская народность (на основе создания Древнерус-

ского государства в середине IX в.) и формировались специфические восточнославянские (т. е. общевосточнославянские) языковые особенности [18, с. 6; 7, с. 86, 102; 9, с. 176]. Так, по мнению Г. А. Хабургаева, восточнославянское (хронологически – древнерусское) языковое единство образовалось «в результате объединения генетически неоднородных славянских диалектов» [18, с. 10], а «общность восточнославянских языков на общеславянском фоне – это отражение древнерусской (а не „православянской“) языковой общности» [7, с. 102; 8, с. 34].

Из этого краткого обзора некоторых гипотез о возникновении восточнославянского диалектного континуума (с его общими и различающимися чертами) и об образовании отдельных славянских языков следует, что убедительная (как синхронная, так и диахронная) интерпретация существующих в настоящее время сходств и различий между восточнославянскими диалектами и языками, что свидетельствует о ярком своеобразии данного лингвистического объекта, не может быть получена только в результате одного лишь изучения языка соответствующих памятников письменности. Параллельно с этим совершенно необходимо провести как тщательное лингвогеографическое исследование диалектных явлений в рамках всего восточнославянского диалектного пространства, так и последующий глубокий анализ сконструированных на основе этого материала изоглосс. Именно задачу всестороннего лингвогеографического изучения современных восточнославянских диалектов и ставит перед собой коллективный труд ВСИ, карты и комментарии которого, мы надеемся, можно рассматривать как один из вполне надежных источников для реконструкции древнего состояния целого ряда явлений, свойственных православнославянскому периоду [19]. Хотелось бы подчеркнуть, что актуальность и целесообразность данного труда обуславливается не в последнюю очередь и тем, что его материалы могли бы стать достаточно вескими аргументами в проблеме выбора между существующими различными точками зрения на многие сложные и дискуссионные вопросы, связанные с образованием восточнославянского диалектного континуума и трех восточнославянских языков – русского, украинского и белорусского.

Неудивительно поэтому, что в ВСИ важное значение приобретает и исторический аспект лингвогеографического метода исследования диалектных материалов. По справедливому замечанию Р. И. Аванесова, «лингвистическая география имеет дело с сосуществующими современными фактами языка на разных территориях. Однако она имеет право на существование едва ли не ввиду ее исключительно большого значения для генетического, диахронического языкознания» [1, с. 4]. В этом, кстати, за-

ключается несомненная стимулирующая роль диалектологического атласа ВСИ в последующем развитии исторической диалектологии восточнославянских языков.

Наряду с историческим направлением, труд ВСИ содержит и типологическое осмысление современных диалектных данных с целью выявления и определения тех тенденций, закономерностей и явлений, на основе которых выделяются современные диалектные типы. В отличие от карт источниковедческого характера, показывающих конкретное распределение тех или иных элементов разных уровней языка в пространственном аспекте на материале всех восточнославянских диалектов, главная задача так называемых типологических карт заключается в том, чтобы по возможности четко отразить наиболее существенные для диалектных систем связи и противопоставления между отдельными явлениями и показать те сходства и различия современных восточнославянских диалектов, которые обуславливают синхронную типологическую группировку исследуемых говоров. Спектр явлений, показываемых на типологических картах, может быть достаточно разнообразным. Наряду с явлениями, раскрывающими определенное современное состояние диалектов, необходимо выявлять и архаизмы или некоторые исходные явления, снимая при этом с них более поздние наслоения (например, картографируются не конкретные падежные флексии существительных ж.р. старых *ī-основ типа *соль*, *грязь*, а только сам факт наличия или отсутствия аналогического воздействия на склонение этих существительных словоизменительной модели существительных ж.р. старых *ā (*jā*)-основ типа *жена*, *земля*). В результате указанные карты смогут отобразить многие из важных явлений, которые в той или иной мере послужили основой для формирования современного восточнославянского диалектного ландшафта.

В связи с неизбежным переосмыслением известного уже по трем национальным атласам материала и его новой интерпретацией в аспекте всего восточнославянского диалектного пространства в работе над ВСИ особое внимание уделяется комментариям, которые представляют собой, в сущности, подробные исследования показываемых на карте явлений с привлечением по необходимости диахронических, этимологических, сопоставительных и иных данных. Из сказанного следует, что ВСИ, по замыслу, должен представлять собой надежную фактографическую базу, содержащую синхронные диалектные данные и учитывающую при этом такие параметры, как системные отношения исследуемых явлений, их пространственная ориентированность и диахроническая направленность.

В настоящее время коллективами трех академических институтов — Института русского языка РАН (Москва), Института славяноведения и балканистики РАН (Москва) и Института украинского языка АН Украины (Киев) подготовлена к изданию и находится в печати в издательстве «Наука» монография «Восточнославянские изоглоссы. 1995». Эта монография является, фактически, новым типом атласа, который существенно отличается от известных нам региональных, национальных и многонациональных атласов. Так, вопреки существующей традиции составления диалектологических атласов, в представленных в монографии «Восточнославянские изоглоссы. 1995» картах исследуются явления р а з н ы х языковых уровней. Такое объединение разноуровневых явлений в рамках одного лингвогеографического труда обуславливается тем, что анализируемые в работе языковые факты представляют один и тот же объект исследования — это диалекты всех трех восточнославянских языков, объединенные в одно целое. Показанные на картах данного выпуска явления свидетельствуют об их значимости для членения восточнославянского диалектного пространства. В монографию вошло 14 карт, посвященных некоторым существенным для восточнославянского диалектного континуума и мало или совсем неизученным явлениям из области фонетики, акцентологии, морфонологии, морфологии, синтаксиса и лексики.

В качестве иллюстрации сказанного приводим карты, на которых отражены некоторые морфологические и морфонологические явления, характеризующие современные восточнославянские диалекты.

Примечания

- [1] Р. И. Аванесов, С. Б. Бернштейн. Лингвистическая география и структура языка // IV Международный съезд славистов. Доклады. М., 1958.
- [2] Р. И. Аванесов. О состоянии и задачах научных исследований в области диалектологии // ИАН ОЛЯ, 1964, № 6.
- [3] С. В. Бромлей. Восточнославянские языки как объект лингвогеографии // Восточные славяне. Языки. История. Культура. М., 1985.
- [4] С. Б. Бернштейн. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961.
- [5] Р. И. Аванесов. Проблемы образования языка русской (великорусской) народности // ВЯ, 1955, № 5.
- [6] Р. И. Аванесов. Общеславянский лингвистический атлас (1958—1978). Итоги и перспективы // Славянское языкознание. VIII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1978, с. 10.

- [7] Г. А. Хабургаев. Становление русского языка. М., 1980.
- [8] Г. А. Хабургаев. Первые столетия славянской письменной культуры. Истоки древнерусской книжности. М., 1994.
- [9] А. А. Зализняк. Древненовгородский диалект и проблемы диалектного членения позднего праславянского языка // Славянское языкознание. X Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1988.
- [10] ОЛА, 1988₁; ОЛА, 1988₂; ОЛА, 1990₁; ОЛА, 1990₂; А. А. Зализняк. Древненовгородский диалект...; Г. А. Хабургаев. Проблемы образования и взаимодействия древнерусских диалектов // АДД. М., [МГУ], 1972; Г. А. Хабургаев. Становление...; G. J. Shevelov. Historical Phonology of the Ukrainian Language. Heidelberg, 1979; С. Л. Николаев. Следы особенностей восточнославянских племенных диалектов в современных великорусских говорах. I. Кривичи // БСИ. 1986. М., 1988; С. Л. Николаев. Следы... (окончание) // БСИ. 1987. М., 1989; С. Л. Николаев. Раннее диалектное членение и внешние связи восточнославянских диалектов // ВЯ, 1994, № 3; Р. В. Булатова, В. А. Дыбо, С. Л. Николаев. Проблемы акцентологических диалектизмов в праславянском // Славянское языкознание. X Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1988; Основы славянской акцентологии. М., 1990.
- [11] С. Л. Николаев. Следы..., 1988; С. Л. Николаев. Следы..., 1989; С. Л. Николаев. Раннее диалектное членение...
- [12] Н. Н. Дурново. Введение в историю русского языка. М., 1969, с. 124; G. J. Shevelov. Historical Phonology..., р. 752 и сл.; Ю. Шевелев. Про генетизм у діалектологічній концепції К. Михальчука // Проблеми сучасної ареалогії. Київ, 1994, с. 15.
- [13] В. М. Иллич-Свитыч. Лексический комментарий к карпатской миграции славян // ИАН ОЛЯ, 1960, № 3, с. 222; см. также: Г. П. Клепикова. Гипотеза В. М. Иллич-Свитыча о роли «карпатской миграции славян» в свете новых данных лингвогеографии // Лексика в ОКДА. II. М., 1992, с. 115 и сл.
- [14] С. Б. Бернштейн. Проблемы интерференции языков карпато-дунайского ареала в свете данных сравнительной диалектологии // Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1973.
- [15] С. Б. Бернштейн, Г. П. Клепикова. Лингвогеографическое изучение карпатской (=карпато-балканской) зоны и проблемы диахронической интерпретации «карпатизмов» // ОЛА. Материалы и исследования. 1985—1987. М., 1989, с. 130.
- [16] Ср., например, высказывание А. Мейе о русском и украинском языках: «Русский и украинский языки образуют единство еще более ясное и производят впечатление двух форм одного и того же диалекта» (А. Мейе. Общеславянский язык. М., 1951, с. 7).
- [17] Так, подчеркивается, что, например, в отношении судьбы *ъ и *ь «восточнославянская зона выступает как единая речевая система» (Ф. П. Филин. Образование языка восточных славян. М.; Л., 1962, с. 261).
- [18] Г. А. Хабургаев. Проблемы образования и взаимодействия...

- [19] Ср.: «Правязковое состояние, реконструируемое сравнительно-историческим методом с учетом не только мертвых языков древней письменности, но и живых..., нередко хранящих более архаичные черты, чем фиксируемые памятники, предстает в более полном и детализованном виде, чем реконструируемое исключительно на базе данных древних языков» (Д. И. Эдельман. К ареальной неоднородности правязкового состояния // Типы языковых общностей и методы их изучения. Тезисы. М., 1984, с. 170).

Сокращения

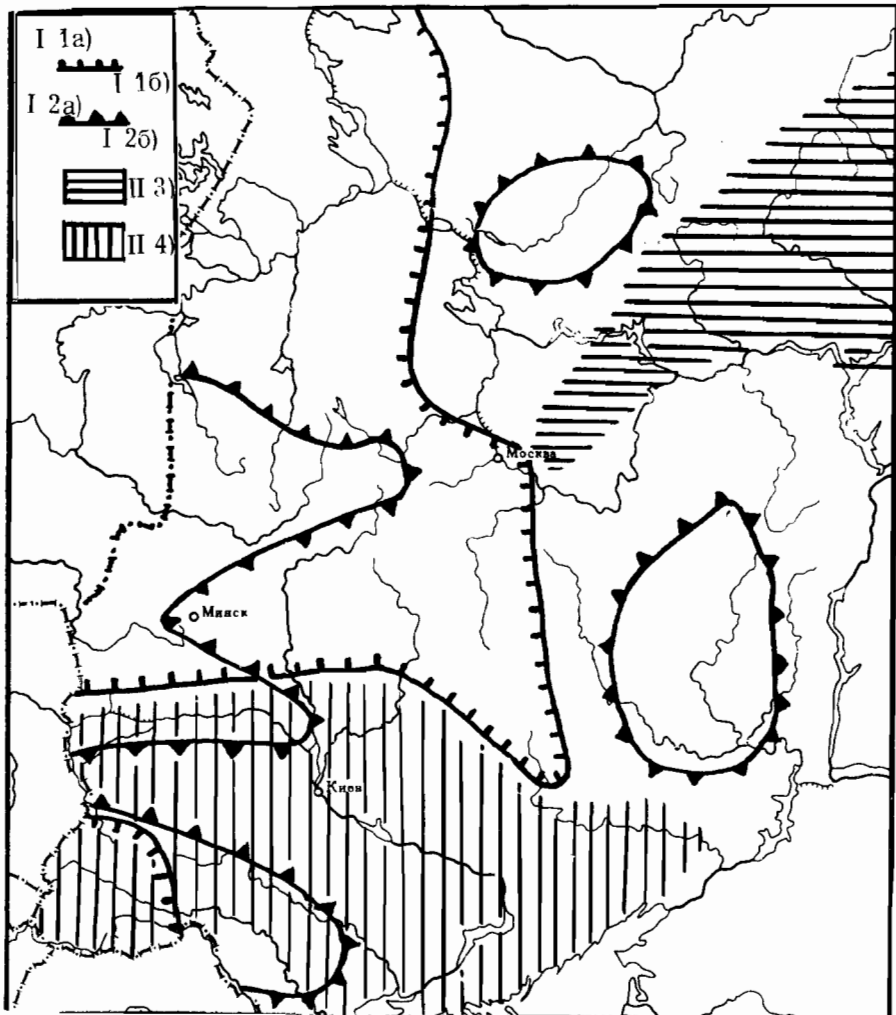
АУМ 1, 2	Атлас української мови. Київ, 1984, 1988, ч. 1, ч. 2.
БСИ	Балто-славянские исследования. М., 1974—.
ДАБМ	Дыялекталагічны атлас беларускай мовы. Мінск, 1963.
ДАРЯ I, II	Диалектологический атлас русского языка. Центр Европейской части СССР. Вып. I. Вступительные статьи. Справочные материалы. Фонетика / Под ред. чл.-корр. АН СССР Р. И. Аванесова и к. ф. н. С. В. Бромлей. М., 1986; вып. II. Морфология / Под ред. чл.-корр. АН СССР Р. И. Аванесова и к. ф. н. С. В. Бромлей. М., 1989.
КДА	Карпатский диалектологический атлас. М., 1967.
ОКДА	Общекарпатский диалектологический атлас.
ОЛА, 1988 ₁	Общеславянский лингвистический атлас. Серия лексико-словообразовательная. М., 1988, вып. I: Животный мир.
ОЛА, 1988 ₂	Общеславянский лингвистический атлас. Фонетико-грамматическая серия. Белград, 1988, вып. I: Рефлексы *ѣ.
ОЛА, 1990 ₁	Общеславянский лингвистический атлас. Фонетико-грамматическая серия. М., 1990, вып. 2а: Рефлексы *ѣ.
ОЛА, 1990 ₂	Общеславянский лингвистический атлас. Фонетико-грамматическая серия. Wrocław, 1990, вып. 2б: Рефлексы *ѣ.

T. Popova

"Eastern-Slavonic Isoglottic Lines": a New Type of Linguo-geographical Research

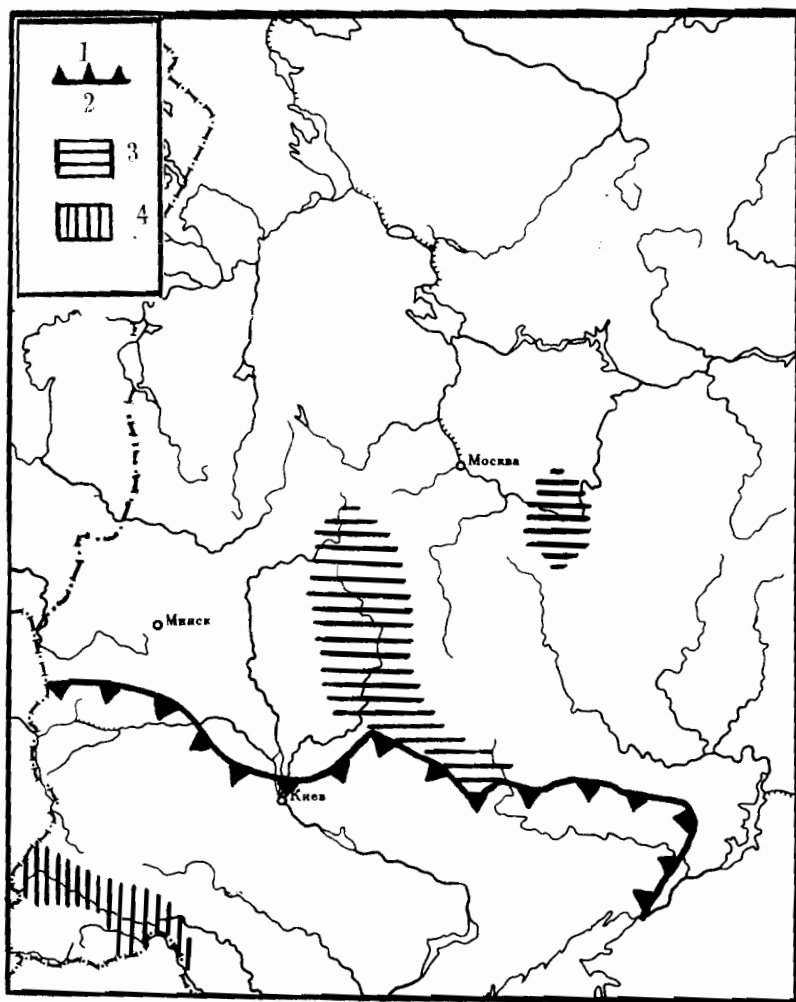
In the collective investigation «Eastern-Slavonic isoglottic lines» dialectal phenomena are for the first time analysed in linguo-geographical aspect based on the material of three Eastern Slavonic languages: Russian, Ukrainian and Byelorussian. The authors put forward the aim to give historical and typological interpretation of the phenomena which are considered to be important for Eastern Slavonic dialects and to present the facts necessary for solving some complicated problems connected with the history of the appearance of the Eastern Slavonic Continuum.

КАРТА I



- I. Существительные старых *ī-основ типа рус. лит. *соль, грязь, печь*:
 1. Образование форм Д. и М. ед. ч.: а) по словоизменительной модели *ī-основ; б) по словоизменительной модели *ā (jā)-основ.
 2. Образование формы Т. ед. ч.: а) по словоизменительной модели *ī-основ; б) по словоизменительной модели *ā (jā)-основ.
- II. Исход основы в формах настоящего времени глаголов I спряжения на заднеязычные типа рус. лит. *печь, беречь*:
 3. <К> во всех формах парадигмы (рус. диал. *пекѹ, пекѹш...*).
 4. <С> во всех формах парадигмы (укр. *печѹ, печеш...*).

КАРТА 2



Исход основы в формах наст. вр. глаголов II спр. на губной (любить):

1 <Pj'-P> = <1 л. ед., 3 л. мн.> - <остальные>: *люблю, люблять - любши...*

2 <Pj'-P> = <1 л. ед.> - <остальные>: *люблю - любши..., любят.*

3 <P>: *любю, любши..., любят.*

4 <Pj-P> = <1 л. ед., 3 л. мн.> - <остальные>: *любйу, любйат - любши...*

II

Н. Е. Ананьева (Москва)

О некоторых особенностях глагола в польских говорах окрестностей Видз

В данной заметке мы рассмотрим некоторые синтаксические и словообразовательные особенности глагола в польских говорах окрестностей Видз (Браславский район, Витебская область, Белоруссия)*.

* Материал был собран во время летних экспедиций 1990—1991 гг. в Видзах и близлежащих населенных пунктах (деревни Бицюны, Видзишки, Видзы Ловчинские, Клипы, Неполаты (Липолаты), Маярышки, Падворынка, Пакульня, Таленишки, Трейчуны). Один пункт (дер. Стрылюнги) находится на территории Литвы.

Своеобразные условия появления этих говором, относящихся к «смоленскому» региону «польщизны литовской» [1, с. 21], делают возможным и даже необходимым при их описании сопоставление с соответствиями литературного польского языка (далее ЛПЯ). Представляя собой модификацию культурной региональной разновидности польского языка, распространившейся среди автохтонного (главным образом белорусского и литовского, отчасти латышского) населения, северо-восточная разновидность «польщизны кресовой» имеет ряд ярких синтаксических особенностей в области глагольного и именного управления, которые в разной степени характеризуют ее территориальные варианты. Например, в исследуемом говоре при адъективах и наречиях в сравнительной степени объект, с которым производится сравнение, вводится предложением *za* (ср. литов. *už* «за» с винит. п.) или союзом *jak* (*stal'sy za mn'e* — литер. *starszy ode mnie, p'eko smacn'ejšy [chleb] ĵak v Vizax* — литер. *pieką smaczniejszy [chleb] niż w Widzach*); прилагательное *podobny* управляет предложно-падежной конструкцией *na* + винит. п. (*podobny na ojca* — литер. *podobny do ojca*).

Остановимся на трех явлениях из области глагольного управления.

1. При обозначении средства производства действия в польских говорах окрестностей Видз возможен не только творительный беспредложный (*zal'ac' vodo* «залить водой»), но и творительный орудия действия с предлогом *z(e)*: *kren'c'iš z jednaĳ nogajĳ* «крутишь одной ногой», *iez'z'il'i s kol'asko* «ездили коляской (на коляске)», *pl'eł s kon'om* «полол лошадь», *jed'li s łyško / s łyškami'i* «ели ложкой / ложками», *s cegłam murujĳ* «выкладывает кирпичом, строит из кирпича», *pšyĵexał s gruzovo mašyno* «приехал грузовой машиной (на грузовой машине)».

Это явление имеет широкие индоевропейские параллели (ср. нем. *fahren mit dem Auto*, фр. *par avion*, англ. *go by train, to cut with a knife* и т. п.). Для большинства славянских языков характерна беспредложность творительного инструментального, которая квалифицируется исследователями как первоначальное состояние по сравнению с отмечаемой в нескольких славянских языках орудийностью, выраженной творительным с предлогом. При этом в верхнелужицком, нижнелужицком, словенском и говоре кашубских словинцев орудийность, передаваемая творительным падежом с предлогом *s*, обычно интерпретируется как результат влияния немецкого языка, а в болгарском употребление предлога *съ* с несклоняемой формой существительного объясняется аналитизмом. Наряду с обычным выражением орудийности творительным беспредложным употребление в аналогич-

ной функции творительного инструментального встречается и в сербохорватском языке. Для остальных славянских языков (старославянский, русский, украинский, белорусский, чешский, словацкий, польский, кашубский, кроме словинского диалекта) характерен инструментальный творительный беспредложный [2, с. 76]. Таким образом, для типа *jes'c' s tyško* следует предполагать иноязычный источник, как, впрочем, и для отмечаемых в переходной русско-белорусской зоне Смоленщины конструкций *мазати хлеб с маслом, копати землю с лопатой, ехати с конем*, которые С. М. Прохорова относит к синтаксическим балтизмам (влиянию латышского языка) [3, с. 29, карта 15 на с. 123, карта 14 на с. 122].

Анализируемое явление находит также соответствие в литовском: просторечное и диалектное употребление в указанной функции конструкций с предлогом *su*.

2. Второе явление — это употребление адресата действия транзитивного глагола в форме родительного падежа с предлогом *dla* в соответствии с формами беспредложного дательного в ЛПЯ: *dl'a krovu i odaš* 'корове и отдашь', *ja dl'a pan'i pov'adam* 'я Вам говорю', *odvruc'it [kamien'] dl'a tej l'uz'iny* 'перевернул (камень) этому человеку' (имеется в виду — на могиле этого человека). Подобная конструкция отмечалась нами и в других пунктах «смоленского» региона (например, в дер. Гайде Игналинского района Литвы), а также в «виленском» ареале польских говоров (с. Майшегала Вильнюсского района Литвы): *dac' karm dl'a žyv'oły, dl'a krovu* 'дать корм скоту, корове' и т. п.

Исследователи указывают на эту особенность не только как на характерную для польских говоров Белосточчины (которые представляют собой часть диалектного континуума, относящегося к северо-восточной разновидности периферийного польского диалекта), но и как на регионализм, свойственный языку белостоцкой интеллигенции: *Czy chcesz dla pani zepsuc' humor?*; *Dzeń dobry dla pana*; *Muszę przyznać dla ciebie rację*; *Nie mógł poznać kobiety, dla której obcięto włosy* [4, с. 53].

Высказываются предположения о балтийском источнике данной особенности.

3. При глаголах речевой деятельности делиберативный объект выражается формой винительного падежа с предлогом *o (ob)* — *gadać* 'ор со — литер. *gadać, mówić o czym*.

Это явление находит соответствие не только в белорусском (в частности, в северо-западных говорах: ср. *гаварыць, спрасіць ап што* [5, т. 1, с. 25]), но и в литовском языке, в котором предлог *apie* употребляется с винительным падежом при глаголах речевой и мыслительной дея-

тельности (например, *pāsakoti apīē mótina* 'рассказывать о матери', *galvóti apīē gyvėnima* 'думать о жизни' и т. п.). К литовско-славянским новациям широкого распространения относит конструкцию *говорить о ребятам* С. М. Прохорова [3, с. 30, карта II на с. 119].

Из словообразовательных черт рассмотрим такие особенности префиксальных девербативов, которые не являются следствием фонетических процессов и не относятся к лексико-фонетическим феноменам (т. е. оставляем в стороне такие факты, как, например, смещение префиксов *u-* и *v-* — *škola byla fstrojona 'ustrojona' (zbudowana), zemp ustavic' 'wstawić* — или лексикализованное наличие варианта *s* перед сонорным — *složone 'złożone'*).

Среди явлений такого рода можно выделить три группы отличий от ЛПЯ.

1. Различие между диалектом и ЛПЯ состоит в распределении по формам разных морфонологических вариантов одного и того же префикса. Например: а) в диалекте представлен консонантный (оканчивающийся на согласный) вариант префикса в отличие от вокалического (оканчивающегося на гласный) варианта ЛПЯ: *ja spsułam 'zepsułam' garła*; б) в диалекте представлен вокалический вариант в отличие от консонантного в ЛПЯ: *odegżewaio 'odgrzewają', obadarty 'obdarty'*.

2. Различия между ЛПЯ и диалектом связаны с большей или меньшей частотностью в диалекте одного из вариантов префикса. Так, из двух вариантов префикса *o-* и *ob-* большей частотностью в говоре окрестностей Видз обладает вариант *ob-*.

3. Различия между ЛПЯ и диалектом заключаются в представленности в диалектном соответствии иного префикса (по В. Цырану «*prefiksacja odmienna*» [6], пример: литер. *pokroić* — диал. *skroić*) или сочетания префиксов (по В. Цырану «*prefiksacja intensywna*» [6], пример: литер. *posolić* — диал. *sposolić*).

Подробнее остановимся на диалектных вариантах с *ob-* и проявлениях «интенсивной префиксации».

Как правило, диалектное *ob-* оформляет глаголы, в которых префикс сохраняет пространственное значение 'со всех сторон': 3 л. ед. ч. наст. вр. *obab'iva s''e^a* (литер. *obja się*), 1 л. ед. ч. наст. вр. *əbab'ia, skuro əbab'ita*, 1 л. мн. ч. наст.-буд. вр. *əptiđym* (литер. *otoczyły*), *op-smalić* (литер. *osmalić*), 2 л. ед. ч. наст.-буд. вр. *opitiđyš, vysonđyš* [о киселе] (литер. *otłuc/obitłuc*), наряду с совпадающими с ЛПЯ *oblizać (obl'izyć), obsiadać (n'e ops''adal'i)*.

Подобные колебания в вариантности *o-/ob-* отмечают исследователи региональных явлений польского языка. Так, Б. Фалиньска, описывая регионализмы в кулинарной лексике, указывает, что среди территориальных вариантов названий кулинарных действий «самую активную» пару составляют префиксы *ob-* : *o-*: *obtaczać-otaczać* (*w bulce tartej*), *obsypać-osypać* (*mąka*), *obsmażyć-osmażyć* (*ze wszystkich stron*), *obskrobać-oskrobać* (*kartofle*), *obkroić-okroić* (*wokoło*), *obczyścić-oczyścić* (*rybę*), но только *obdusić, obgotować* (*mięso*) [7, s. 86].

Несовпадение в распределении вариантов *o-/ob-* по сравнению с эквивалентами ЛПЯ известно также говорам на территории Польши. При этом случаи типа малопольского *ojeść się* – литер. *objeść się* и западно-великопольского *omyślić* – литер. *omyslić* [6, s. 111] отмечаются реже, чем тип *obcenić* – литер. *ocenić*. Исследователи объясняют факт большей частотности в диалектах варианта *ob-* его «более конкретным» [8, s. 315] и «более выразительным» характером [6, s. 111].

Отличия от литературного языка в репартиции вариантов *o-* и *ob-* широко представлены в восточнославянских говорах. Например, в говорах восточной Могилевщины: *абстраміца* ‘асароміцца’, *абстраміць* ‘асароміць’ [9, с. 33]; в русских говорах Приамурья: *обседлаць* ‘оседлать’, *обторочить* ‘оторочить’ и даже с удвоением *об* – *обобславить* ‘распространить дурные слухи о ком-либо’, ср. *ославить* [10, с. 176, 178]. В русском говоре с. Татищево Переволоцкого района Оренбургской области зафиксированы глаголы *обзолотить* ‘озолотить’, *обсвещаться* ‘освещаться’, *обнеметь* ‘онеметь’, *обсказать* и др. [11, с. 11]. Русским говорам Забайкалья известны формы *обдеревенеть* ‘одеревенеть’, *обчиренье*, *обчиренный* и *обчирельный* при базовом глаголе *очиреть* ‘покрыться чирьями’ [12, с. 248, 257]. В говорах северо-западной Белоруссии (что существенно для нашего материала) отмечаются варианты *аккутаць/акутаць* и *аккуты/акуты* [5, т. 1, с. 88], *абкоўваць* ‘акоўвацца’ [5, т. 1, с. 35], отглагольные существительные *абмеці/амеці*, *абмеціны/амеціны* [5, т. 1, с. 37, 79], варианты причастия *абчараваны/ачараваны* [5, т. 1, с. 44, 136] и др.

Частотность префиксального варианта *аб* (*an-*) в белорусских северо-западных говорах (см. [5, т. 1, глаголы с *аб-* и *ан-*]), причем не только с пространственным значением (ср. *антушыць* – литер. *затушыць*, *абаснуць* – *заснуць* и др.), заставляет предположить воздействие белорусского языка на факт частотности варианта *ob-* в говоре окрестностей Видз, тем более, что в некоторых случаях отмечается лексическое совпадение польского и белорусского вариантов (ср. белор. диал. *абабіць*).

Расширенное по сравнению с ЛПЯ употребление варианта *ob-* было в какой-то степени присуще и культурной разновидности «польщизны виленской». Так, З. Курцова отмечает в источнике XVII в. вариант *obkładać* 'okładać' (1625 г.) [13]. Ср. диал. *jak p'ec apklada* наряду с *okladaš... na mac'icy*.

Большая частотность по сравнению с ЛПЯ варианта *ob-* находит соответствие в употреблении в «смоленском» регионе двух вариантов предлога: *o-* и *ob-*.

Такое проявление «интенсивной префиксации», как добавление к основе совершенного вида, содержащей приставку *po-*, префикса *s-*, усиливающего «совершенство» этой производящей основы, широко известно диалектам восточнославянских языков. Например, в «Словаре говоров восточной Могилевщины» зафиксирован глагол *spakінуць* — литер. *pakінуць* [9, с. 414]; в словаре говоров Смоленщины В. Н. Добровольский на словарную статью «вода» приводит, в частности, контекст с глаголом *спалюбіць* [14, с. 72]; для русского говора с. Татищево на Оренбуржье отмечены глаголы *споміловать*, *споймать*, *спогреть* [11, с. 112]; русским говорам Забайкалья известны образования *спокинуть* — *спокидать* — литер. *покинуть* — *покидать*, *спохилиться*, *спочетнуться* — литер. *пошатнуться*, вторичный имперфектив *спосылать* [12, с. 391–392]; ср. также русское полидиалектное *спознать* 'узнать, познать'.

Усилению «совершенности» действия служит префикс *z-* и в диалектном *spogzēb'ic'* (*b'iskupaže^{aš} spogzēb'ili* 'епископа же похоронили'), которое с синхронной точки зрения мотивировано субстантивом *pogrzeb*. Данная формация отличается от соответствия ЛПЯ не только наличием префикса *z-*, но и суффиксом (литер. *pogrzebać*). Диалектам на территории «материковой» Польши известна также форма *pogrzebić*.

З. Курцова обнаружила в документах, отражающих особенности польского языка, бытовавшего на территории бывшего Литовского великого княжества в XVI–XVIII вв., примеры, обратные типу *sposolić*, а именно наличие форм без *z-* в глаголах, в которых в современном ЛПЯ представлено сочетание *spo:* *poglądać* — литер. *spoglądać*, *postrzegać* [15] — литер. *spostrzegać*, *potkać* — литер. *spotkać* [13, с. 153]. Однако, как справедливо отмечает исследовательница, указанные формы вовсе не относятся к специфическим региональным особенностям и зафиксированы словарями общепольского языка того времени.

В говорах на территории Польши представлен еще один тип, противоположный *sposolić*: «сокращение» по сравнению с эквивалентом ЛПЯ

сегмента ро после префикса z-: литер. *spodziewać się* — диал. *zdziewać się*, литер. *spoglądać* — диал. *zglądać* [6, s. 118].

Таким образом, из рассмотренных нами синтаксических явлений большинство находит соответствие в балтийских языках (в литовском). Проанализированные особенности глагольной префиксации наряду с представленностью их в диалектах «континентальной» Польши и региональных вариантах ЛПЯ (колебания в дистрибуции *o* — *ob*) характерны для восточнославянских языков (в частности русских и белорусских говоров). Различие в префиксальном оформлении глагола в польских периферийных говорах и ЛПЯ часто является следствием проникновения в говор или идиолект лексемы (формы) из находящейся (находившейся) во внешнем или, в случае полилингвизма носителя польского говора, внутреннем контакте с данным диалектом иной языковой системы (ср. белор. диал. *абабіць* и крес. **obab'ivac'*, белор. диал. *глядзі, спсучыць* [5, т. 4, с. 551] и крес. *spsuła garła* и т. п.).

Примечания

- [1] H. Turska. O powstaniu polskich obszarów językowych na Wileńszczyźnie // *Studia nad polszczyzną kresową*. Wrocław etc., 1982, t. 1, s. 19—121.
- [2] Творительный падеж в славянских языках. М., 1958.
- [3] С. М. Прохорова. Синтаксис переходной русско-белорусской зоны: ареально-типологическое исследование. Минск, 1991.
- [4] T. Wróblewska. Przyimek «dla» z dopełniaczem w języku mieszkańców Białegostoku // *Język Polski*, 1978, z. 1.
- [5] Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча. Минск, 1979—1986, т. 1—5.
- [6] W. Cygan. Tendencje słowotwórcze w gwarach polskich. Łódź, 1977.
- [7] B. Falińska. Z badań nad regionalizmami w słownictwie kulinarnym. Regionalizmy w języku familijnym (zbiór studiów) // *Prace Slawistyczne*. 86. Wrocław; Warszawa, 1991, s. 79—88.
- [8] H. Świderska. Dialekt Księstwa Łowickiego // *Prace Filologiczne*, 1929, t. XIV.
- [9] Т. К. Бялькевіч. Краёвы слоўнік усходняй Магілёўшчыны. Минск, 1970.
- [10] Словарь русских говоров Приамурья. М., 1983.

* Крес. — «кесовый» (пограничный).

- [11] Л. В. И в а н о в а. Особенности диалектного префиксального глаголообразования [На материале одного из говоров Оренбургской области] // Вопросы изучения севернорусских говоров и памятников письменности. Материалы межвузовской конференции. Краткое содержание докладов. Череповец, 1970, с 109—114.
- [12] Л. Е. Э л и а с о в. Словарь русских говоров Забайкалья. М., 1980.
- [13] Z. K u r z o w a. Język polski Wileńszczyzny i kresów północno-wschodnich XVI—XX w. Warszawa; Kraków, 1993.
- [14] В. Н. Д о б р о в о л ь с к и й. Смоленский областной словарь. Смоленск, 1914.
- [15] В настоящее время глагол *postrzegać* активизировался в ЛПЯ в значении 'видеть, считать, полагать' (*Postrzegam to tak...* 'Я понимаю (вижу, полагаю) это так').

N. Ananyeva

On some Peculiarities of the Verb in Polish Dialects of the Environs of Widz

In this article considered are some syntax and word-formation features of the Polish dialect in northern-west Byelorussia (the villages near the small town Widz).

Т. Бояджиев (София)

Епентеза и елизия на съгласните Т и Д в българските диалекти

В по-голямата част от българските диалекти се пази етимологичната разлика между групите *ср* – *стр*, *зр* – *здр*, *жр* – *ждр*: *срам* (*срамъ*) – *страх* (*страхъ*), *зря* (*зърѣти*) – *здраве* (*съдравъ*), *жребѣ* (*жрѣба*) – *ждрело* (*ждрѣло*). В други диалекти, предимно югоизточни и югозападни, тази разлика е заличена. В резултат на закономерни промени с противоположна насоченост, които засягат мястото на съгласните *т* и *д*, в някои диалекти се установяват съчетания само от един тип:

<i>ср</i> → <i>стр</i>	<i>стр</i> → <i>ср</i>
<i>зр</i> → <i>здр</i>	<i>здр</i> → <i>зр</i>
<i>жр</i> → <i>ждр</i>	<i>ждр</i> → <i>жр</i>

Двата вида съчетания от съгласни се срещат в началото на определен неголям брой думи, но чести по употреба, и на морфемната граница – главно между представка или предлог и следваща дума, взета в нейната изходна етимологична форма.

Диалектният изговор на групите редовно се отбелязва и систематизира в описанията на различните говори и обикновено се приема за релевантен при диалектната диференциация, защото разпространението му оформя ясни и противопоставени ареали [1].

1. Епентезата на денталните съгласни *т* и *д* в стари групи *ср*, *зр*, *жр* е характерна особеност на почти всички югозападни български говори: *срам*, *стребрò*, *стрештѹ*, *здрел*, *ждрѣбе* (Софийско, Дупнишко); *срам*, *стрѣда*, *срѣбро*, *здрав*, *ждрѣбе* (Бобошица); *срам*, *стрѣбо*, *стрѣти*, *здрав*, *здрел*, *ждребе* (Костурско); *срам*, *стрѣк'а*, *стрѣда*, *стрѣбро*, *здрав*, *здрел*, *ждрѣбе* (Битолско); *срам*, *стрѣбро*, *здрав*, *дрѣје*, *ждрѣбе*, *ждрибѣк* (Воденско) и др.

В говорите, в които промяната е редовна, тя се открива по-често и на морфемната граница: *с ръкави — стрàкави, без работа — бездрàбота* (Софийско); *бездрàбота, изречит — издречит, изриет — издрейет* (Стружко).

Секундарните съгласни *т, д* в една част от югозападните говори могат да се разглеждат, от една страна, като резултат от дистрибутивните особености на парадигматичните им характеристики — като забрана за проходните съгласни *с, з, ж* да стоят в една група със съгласната *р*, ако след нея следва гласен звук. Групите *ср, зр, жр* се избягват чрез вмъкване на съответния дентален експлозив. От фонетична гледна точка появата на преградните съгласни *т* и *д* може да се обясни с необходимостта от преходна артикулация между фрикативната съгласна към следващата плавна съгласна. За промяната е могло да способства и наличието в говорите на изконни съчетания *стр, здр* (*страх, здраве*), по аналогия на които е ставало изравняването на етимологичните групи.

Епентезата на *т* и *д* в групите *стр, здр, ждр* се открива и в други български говори извън ареала на югозападните: *страм, пустрèшнат, страмежлѝф, стр'а̀да, стрèбо, уздрèе* (Димотишко); *ждребèц, ждрепкѝн'а, иждрèбила, здрèло* (Ломско); *страм, стр'а̀да, стрèшнах, стрèкнем* (Шуменско). Също и в Харманлийско, Дедеагачко, Димотишко, Бунархисарско.

В някои от източните и северозападните говори обаче епентезата не е обобщена като закономерна и редовна проява на синтагматичните ограничения. Тя се определя като спорадична, случайна и нетипична за говорите, а отделните случаи се обясняват с аналогии на други близки форми или като проява на хиперкоректност, тъй като вариантите са лексикализирани или имат факултативна употреба: *срам, но страмежлѝф* (Пирдопско); *срèле, сра̀мота, но на̀стред* (Скопско); *прèсрете и прèстрете* (Велешко); *п̀страло, но сред зима* (Ресен).

Тенденцията за избягване на първичните групи *ср, зр, жр* чрез вмъкване на съгласните *т* и *д* е позната още в праславянския език. Срв.: **strumь, *ръstrъгъ*. тази особеност е била характерна и за старобългарския език. Такъв стар произход имат съгласните *т* и *д* в *стро̀ѡѡа, остръ* (< **sruja, *osrъ*). В старобългарския език почти редовно съгласната *д* се е вмъквала в групата *зр*, получена чрез тясното срастване на предлог, завършващ на *з*, и дума, започваща на *р*, или между *с* и *р* в края на думата: *въздра̀довати с̀а, издреш̀ти, издрж̀ки, п̀стръ* (< *п̀сръ*). Епентеза на *т* и *д* познава и солунският говор, което едва ли би могло да бъде използвано, за да се доказва нейната старинност:

стр'ѣда, страм, стр'ѣдну, стрибр̀а, стръ̀шита, стрѣ̀штитиш, здр'ѣл, стрѣ̀ци (сърце), здр'ѣпча (Висока, Солунско) [2].

В книжовния български език остатък от такава епентеза има в думите *зрач, зрачава се, стършел* (*стръшьлъ < сръшьлъ*) [3].

2. Елизията на денталните съгласни *т* и *д* в старите групи *стр, здр, ждр* е характерна и типологична особеност на рупските говори. Най-последователно елизията се открива в тракийските и западнорупските (драмско-серските) говори, в които експлозивните съгласни редовно се губят: *сѣсра, ср̀ана, ср'̀аха, срах, ср̀ижба, ср̀ико, ср̀ина, бѣсра, ъсра, пѣсри, ср̀ашино, з̀асрук, пусѣсрима, зраф, зра̀ве, зрав̀о-вам*. Новите думи, които навлизат в говорите, очертават процеса като закономерен: *м̀осра, сраж̀ар, ср̀оги, зра̀сти, ср̀адам* [4].

Изпадането на съгласните *т* и *д* в по-сложните тричленни групи *стр, здр* може да се обясни със синтагматичните ограничения в реда на елементите от съчетанията, а не толкова с ограниченията, отнасящи се до състава на фонемите в последователността и до реализацията на недопустими звукови комбинации. С други думи в тези случаи има едно праволинейно контролирано опростяване, което налага ограничение в съчетаемостта на фонемите и което е обусловено фонологически и позиционно дотолкова, доколкото то се разпространява абсолютно и без изключение върху всички реални словоформи с общ признак в звуковата им структура.

Процесите на епентеза и елизия на съгласните *т* и *д* в групите *ср, зр, жр* и *стр, здр, ждр* в българските говори трябва да се разглеждат и изясняват заедно, въпреки че уеднаквяването е в две различни насоки и териториалното, и аналогичното разпространение не съвпада. Съчетанията се изменят по две различни правила, на всяко от които трябва да се признае фонологическа самостоятелност. Промените нямат индивидуален и елементарен позиционен характер. Развивали са се в диалектите с по-голяма или по-малка системна обусловеност и без чуждо влияние. Случаите на *стр* вместо *ср* в албанския език е по-убедително да се тълкуват като влияние от крайните югозападни македонски говори.

Бележки

[1] А. М. Селищев. Очерки по македонской диалектологии. Казань, 1918, т. I, с. 164—165; Ст. Стойков, Българска диалектология. София, 1993, с. 218; *Fonološki opisi srpskohrvatskih / hrvatosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuh-*

vaćenih opšteslovenskim lingvističkim atlasom. Posebna izdanja, kn. LV. Sarajevo, 1981, 625—822; Ц в. Т о д о р о в. Северозападните български говори // СБНУ, 1936, кн. ХІ, с. 211.

- [2] З б. Г о л о м б. Два македонски говора (на Сухо и Висока) во Солунско. Македонски јазик, 1962/1963, ХІІІ—ХІV, кн. 1—2, с. 249.
- [3] К. М и р ч е в. Историческа граматика на българският език. София, 1958, с. 145.
- [4] Т. Б о я д ж и е в. Българските говори в Западна (Беломорска) и Източна (Одринска) Тракия. София, 1991, с. 56; Й. Н. И в а н о в. Българските преселнически говори. София, 1977, с. 123.

T. Boyadzhiev

Epenthesis and Elision of Consonants t and d in Bulgarian Dialects

The paper deals with two related and, at the same time, contrasting sound changes in the Bulgarian dialects — the epenthesis of the alveolar stops t and d in the clusters sr and zr and the elision of the same consonants in the clusters str and zdr. The explanation is sought in different phonotactic constraints valid for different dialects. The author also describes the geographic distribution of the two changes.

Т. И. Вендина (Москва)

Обобщающая карта как объект лингвистического исследования

Публикация первых фонетических и лексических томов Общеславянского лингвистического атласа (ОЛА) является реальным результатом деятельности Международной комиссии ОЛА, в работе которой долгие годы принимал активное участие С. Б. Бернштейн.

Задачей Атласа, как известно, является «представление и интерпретация материала, способствующего решению двух качественно различных проблем — проблемы историко-сравнительной и проблемы синхронно-типологической» [1]. Сравнительно-исторический аспект исследования в соответствии с Программой Атласа долгое время оказывался на первом плане, в то время как синхронно-типологический — на втором. Это положение объясняется во многом тем, что Атлас построен преимущественно на диахроническом принципе, учитывающем диахроническое тождество слов и морфем, т. е. опирается на принятые в науке представления о позднеславянском состоянии. В связи с этим синхронно-типологический аспект исследования при разработке Программы Атласа представлялся в виде далекой перспективы. «Наряду с картами на отдельное слово <...> в ОЛА на определенном этапе развития работы должны быть даны обобщающие карты, охватывающие целые фрагменты — большие или меньшие — языковой системы» [2]. Однако развернувшаяся работа над ОЛА показала, что сравнительно-типологический аспект исследования реализуется наряду со сравнительно-историческим либо в рамках отдельных томов в виде т. н. синтетических карт (см. фонетические тома Атласа, 1988, 1990, 1994), либо в виде отдельных публикаций обобщающих карт [3; 4] или ареалогических комментариев к тому или иному тому Атласа [5]. То есть в процессе работы над ОЛА произошло постепенное усложнение объекта исследования. Если на ранних этапах картографирования предметом исследования явля-

лись отдельные языковые факты (относящиеся к фонетическому или лексическому уровню языка), в связи с чем карты выполняли лишь иллюстративную функцию, то со временем появляются карты, репрезентирующие целые фрагменты системы (например, «Фонетические рефлексy *ѣ в современных славянских диалектах», «Отношение рефлексов *ѣ к ударению», «Влияние вокального количества на рефлексy *ѣ» и т. д.). Эти синтетические карты наряду с иллюстративной, выполняют и интерпретативную функцию, поскольку они эксплицируют результаты обобщения материалов, представленных в целом томе Атласа. Такой подход к картографированию получил одобрение коллектива ОЛА, в связи с чем было принято решение о создании таких синтетических карт и в лексических томах Атласа, на что обращается внимание во 2-м издании Вступительного выпуска ОЛА: «...в области лексики, словообразования и семантики наряду с частными различиями (обозначение одного понятия разнокоренными словами, однокоренными, но различными в словообразовательном отношении, семантическими различиями генетически одного слова и т. д.) появится необходимость решать и общие вопросы системного характера [6]. В частности, в очередном лексико-словообразовательном томе ОЛА «Домашнее хозяйство и приготовление пищи» карт, посвященных решению вопросов системных отношений, будет довольно много, хотя некоторые из них и не были предусмотрены программой (это прежде всего относится к серии мотивационных и номинационных карт, таких, например, как L 1170 'кипяток', L 1198 'обед', L 1200 'еда между обедом и ужином', SL 1089 'горбушка' и др.). Значительно шире, чем в предыдущих выпусках Атласа, будут представлены и словообразовательные карты, причем не только собственно словообразовательные, цель которых эксплицировать различия в словообразовательных структурах при тождестве корневой или аффиксальной морфемы (см., например, карту SL 1081 'печенье', репрезентирующую различия в словообразовательных формантах при тождестве корневой морфемы *pec-), но и синтетические, цель которых обобщить материалы, содержащиеся на отдельных картах Атласа, образующих семантический блок. Интерпретационные карты, объединенные семантическим тождеством, позволят представить диалектную дистрибуцию словообразовательных моделей имен, входящих в одну ЛСГ, в частности, различия в частеречной принадлежности и морфемном составе производящих основ однокоренных дублетов. Эти карты открывают широкие перспективы в изучении действия словообразовательных закономерностей в отдельных звеньях лексической системы языка (об интерпретативных возможностях синтетических лексико-словообразовательных карт см. [7; 8; 9]).

В этой связи чрезвычайно богатным материалом является группа вопросов, посвященных названиям видов мяса: SL 1111 'свинина', LSL 1112 'говядина', SL 1113 'телятина', LSL 1114 'баранина', SL 1115 'гусятина'. Эта довольно компактная группа карт, каждая из которых сама по себе представляет лингвистическую ценность, дает возможность составить ряд обобщающих интерпретационных карт и выявить структурно-типологические различия славянских диалектов в принципах номинации и деривации.

Обобщающая номинационная карта, посвященная данной тематической группе имен, вносит существенные коррективы в существующие представления о распределении их номинативных структур. Она дает возможность впервые четко обозначить конкретный и достоверный ареал однословных и многословных номинаций со значением 'мясо животного или птицы'. Помимо традиционно выделяемых болгарского и македонского языков [10], для которых характерны описательные конструкции, карта позволяет отнести к этой группе лужицкие, чешские, отдельные диалекты словацкого, словенского и сербскохорватского языков, противопоставив их в формально-номинативном плане восточнославянским, частично польским, словацким, словенским и сербскохорватским диалектам, где представлены однословные номинации (см. фрагмент карты).

Кроме формально-номинативных, карта выявляет различия и в самом характере описательных конструкций, а именно в частеречной принадлежности и синтаксических связях входящих в их состав имен: если, например, для лужицких, чешских, большинства македонских, сербскохорватских и словацких диалектов характерна описательная модель Adj (с основой, мотивированной названием животного или птицы) + Subst (со значением 'мясо'), члены которой находятся в отношениях согласования, например: *svin-ьsk-E meš-o*, *bEran-ьj-E meš-o*, *ov-ьc-ьj-E meš-o*, *korv-ьsk-E meš-o*, *gqs-ьj-E meš-o* и т. д., то в некоторых македонских (пп. 106, 107), сербскохорватских (пп. 23, 73, 84, 87), польских (пп. 241, 244, 245, 249, 250, 254) диалектах встречается модель Subst (название животного в род. п.) + Subst (со значением 'мясо') с предлогом *ot-ь* и синтаксической связью управления, ср. *meš-o ot-ь svin-ьj-è*, *meš-o ot-ь gqs-i*, *meš-o ot-ь bEran-a*, *meš-o ot-ь ov-ьc-è* и т. д.), а в отдельных украинских (пп. 499, 500, 507), белорусских (п. 394) и польских (пп. 277, 309, 311, 312) диалектах — с предлогом *jьz-ь*, ср. *meš-o jьz-ь gqs-i*, *meš-o jьz-ь bEran-a*, *meš-o jьz-ь tel-èt-y*, *meš-o jьz-ь ov-ьc-ьk-y* и т. д.

Устойчивость формально-номинативных конструкций со значением 'мясо животного, птицы' позволяет выделить на диалектном ландшафте

Славии три группы говоров, противопоставленных с точки зрения последовательности/непоследовательности реализации номинативной модели:

1) последовательная реализация:

а) однословных наименований (все русские, большинство украинских и белорусских диалектов, часть словенских (пп. 5, 8, 9, 11, 16, 17, 21), большинство сербскохорватских, польских и словацких диалектов, отдельные пункты в чешских (пп. 202–204) и македонских (п. 93) диалектах;

б) описательных конструкций (лужицкие, большинство македонских, чешских диалектов, часть словенских (пп. 1, 2, 4⁷, 7, 10, 146–149), сербскохорватских (пп. 42, 44а, 55, 78, 85, 146а–148а), польских (пп. 241, 243–246, 249, 251, 256, 272, 278, 288–290, 317), белорусских (пп. 327, 330, 343, 353–355, 369, 372, 374–376, 389, 391, 393, 394) и украинских (пп. 401, 404, 405, 409–411, 414, 417, 419, 425–427, 432, 435, 448, 450, 452–455, 466, 468, 472, 485, 486, 489, 497, 522, 523);

2) непоследовательная реализация, вариативное употребление моделей: отдельные пункты в словенских диалектах (пп. 12, 13), сербскохорватских (пп. 36, 53), чешских (п. 207), словацких (пп. 209, 215), польских (пп. 254, 273, 279, 287), белорусских (пп. 331, 344, 362, 364, 399) и украинских (пп. 422, 423, 436, 456, 460, 467, 469, 478, 492). Соотношение в этих диалектах однословных и описательных конструкций носит характер дополнительной дистрибуции, а именно: употребление той или иной конструкции определяется не только или даже не столько грамматическим строем языка, сколько причинами чисто прагматического характера, поскольку однословные номинации используются чаще всего в названиях видов мяса, традиционно являющегося основным продуктом питания, тогда как описательные конструкции употребляются в названиях видов мяса, которые такого значения, как правило, не имеют. Об этом красноречиво свидетельствуют материалы карт 'говядина' и 'гусятина': описательным конструкциям типа *gqs-ʷj-E mɛs-o* в словенских (пп. 8, 9, 16–19) и польских (пп. 254, 265, 280, 299, 301, 304, 323) диалектах соответствуют однословные наименования типа *gov-ɛd-in-a*, *gov-ɛd-ʷn-a*, *vol-ov-in-a*, *rent-ov-in-a* и т. д.; такая же ситуация наблюдается в белорусских диалектах (пп. 331, 332, 340, 341, 364, 392), где описательной конструкции *gqs-in-o mɛs-o* противопоставляются однословные номинации типа *korv-in-a*, *korv-ɛt-in-a*, *vol-ov-in-a*, а также в сербскохорватских (пп. 25, 27, 28, 36, 38, 53, 59, 60, 67, 81), где наблюдается противопоставление многословной и однословных номинаций (ср. *gqs-ʷk-ʷj-E mɛs-o* и *gov-ɛd-in-a*, *gov-ɛd-ʷn-a*).

Обобщающая номинационная карта репрезентирует не только формально-номинативные различия славянских диалектов, но и деривационные, связанные со способом словообразования однословных наименований — морфологическим (восточнославянские диалекты, словенские, сербскохорватские, польские, словацкие) и морфолого-синтаксическим (чешские, македонские, частично словацкие, отдельные словенские и сербскохорватские диалекты).

Кроме обобщающей номинационной, эта группа имен дает возможность составить и интерпретационные словообразовательные карты, которые представят территориальную дистрибуцию как отдельных словообразовательных формантов, использующихся в качестве средства детерминации, так и целых словообразовательных моделей.

В отличие от других ЛСГ, эта группа имен имеет свой древний словообразовательный детерминатив суф. =*in-a*, присоединяемый к субстантивным (*svin-in-a*, *bEran-in-a*) или адъективным основам (*vol-ov-in-a*, *jal-ov-in-a*). Следует отметить, что суф. =*in-a* во всех славянских диалектах сохраняет историческую продуктивность при образовании имен, обозначающих мясо животного или птицы. Об этом говорят не только широко представленные образования типа *svin-in-a* (вост.-сл., слн. пп. 8, 15–17, сх. п. 29, слц. пп. 227–232, плс.), *korv-in-a* (рус.), *byč-in-a* (рус. п. 596, укр. п. 438), *bEran-in-a* (вост.-сл., плс., чеш. п. 207, слц. пп. 208–233), *borv-in-a* (слн. п. 15, сх. пп. 26, 33), *ov-ъč-in-a* (слн. п. 15, сх. п. 88, рус. пп. 525, 583, 746, 758), *gqs-in-a* (плс., чеш. пп. 203, 204, слц. п. 209, рус.) и наличие расширенных вариантов этого суффикса:

=*in-in-a* (*gqs-in-in-a* рус. п. 610);

=*ęt-in-a* (*tel-ęt-in-a* вост.-сл., слн., сх., мак. п. 93, чеш. пп. 202, 203, 207, слц. пп. 209–233, плс.; *svin-ęt-in-a* (рус. п. 797, блр. п. 399, слн., сх., мак. п. 93, слц. пп. 211, 216; *korv-ęt-in-a* (рус., блр. п. 340), *byč-ęt-in-a* (укр. п. 443); *borv-ęt-in-a* (сх. пп. 24, 43, 44, 47, 56, 59); *ov-ъč-ęt-in-a* (слн. пп. 18, 19, сх., мак. п. 97, рус. п. 632); *gqs-ęt-in-a* (сх. пп. 26, 29–32, 39, слц., вост.-сл.);

=*ъk-ęt-in-a* (*gos-ъk-ęt-in-a* сх.);

=*ęd-in-a* (*gov-ęd-in-a* слн. пп. 15, 20, 21, 149, сх., мак. п. 93, чеш. пп. 202, 203, 207, слц. пп. 210–227, 229–233, плс., вост.-сл.);

=*ov-in-a* (*vepr-j-ov-in-a* чеш. пп. 202, 203, плс.); *borv-in-a* (слц. пп. 212–215, 217–225); *rent-ov-in-a* (плс. пп. 250, 265); *vol-ov-in-a* (сх. пп. 23, 44, плс., блр. пп. 331, 364, укр. пп. 421, 524); *jal-ov-in-a* (укр. пп. 436, 442, 516);

ov-ъc-ev-in-a (сх. пп. 22, 24, 25); *gqs-ov-in-a* (плс. п. 250); *skop-ov-in-a* (чеш. пп. 202, 203, плс.);
 =*ъk-ov-in-a* (*gqs-ъk-ov-in-a* сх. пп. 45, 50, 54);
 =*ѣt-ov-in-a* (*tel-ѣt-ov-in-a* сх. пп. 24, 70);
 =*иѣ-in-a* (*korv-иѣ-in-a* рус. п. 656);
 =*ov-иѣ-in-a* (*jal-ov-иѣ-in-a* плс. пп. 238, 252, блр. пп. 328, 332, 336–338, 340, 342, 344, укр., рус. пп. 525, 526).

Анализ материала, представленного на картах, показал, что среди этих моделей наиболее распространенными являются субстантивная основа + суф. =*in-a* (вост.-сл., плс., чеш. пп. 203, 204, 207, слц., слн.п. 15, сх. пп. 26, 29, 30), =*ѣt-in-a* (вост.-сл., плс., чеш. пп. 202, 203, 207, слц., слн., сх., мак. п. 93), =*ѣd-in-a* (вост.-сл., плс., чеш. пп. 202, 203, 207, слц. пп. 210–227, 229–233, слн. пп. 15, 20, 21, 149, сх., мак. п. 93). Остальные модели имеют локально ограниченный характер, среди них эксклюзивные =*иѣ-in-a*, =*in-in-a* (рус.), =*ъk-ov-in-a* (сх.).

Устойчивость словообразовательной модели субстантивная основа + суф. =*in-a* или его расширенные варианты позволяет выделить на территории современной Славии несколько диалектных зон, различающихся степенью продуктивности суф. =*in-a*:

1) диалекты, сохраняющие высокую продуктивность словообразовательной модели с суф. =*in-a* (вост.-сл.). В них представлено не только большое количество разнокоренных производных с суф. =*in-a*, но и ярко выражена тенденция к усложнению морфемной структуры производящей основы (ср. суффиксы =*ѣt-in-a*, =*ѣd-in-a*, =*ov-иѣ-in-a*, =*иѣ-in-a*, =*in-in-a* и);

2) диалекты, в которых суф. =*in-a* является уже непродуктивным словообразовательным формантом (слн., сх., мак. п. 93), уступившим свое место суф. =*ѣt-in-a* (в сх. говорах известна даже модель глагольная основа + суф. =*ѣt-in-a*).

Обобщающая карта позволяет выявить еще одну особенность славянских диалектов, связанную с различным характером мотивирующей основы в однословных номинациях, в частности ее родовой принадлежности. Речь идет о существовании коррелятивных родовых оппозиций типа *svin-/borv-*, *bEran-/ov-ъc-*, *korv-/byk- (vol-)*, *gqs-/gqs-ъk-*, которые иногда осложняются третьим членом, обозначающим детеныша животного (основы *pors-*, *tel-*), при этом второй и третий компонент этих коррелятивных пар имеет, как правило, ограниченный характер распространения (например, дериваты с корнем *pors-* характерны в основном для сх. и рус. диалектов, *byk-* для рус. и укр., *gqs-ъk-* для сх., *borv-* для сх. и слц.), и лишь производные с основой *tel-* встречаются во всех славянских диалектах.

Не менее, если не более интересную картину дают суффиксы possessивности в описательных конструкциях Adj + Subst. Обращает на себя внимание прежде всего тот факт, что их почти в два раза больше, чем суффиксов в однословных номинациях. Если там в качестве общеславянского выступает лишь суф. =*in-a*, имеющий расширения слева в виде одного (=iĉ-*in-a*, =*ov-in-a*, =*et-in-a*) или двух элементов (=ov-iĉ-*in-a*, =*et-ov-in-a*, =*ѣk-ov-in-a*), то здесь общеславянских формантов значительно больше. Это суффиксы =*ѣj-*, =*ѣsk-*, =*ov-*, =*in-* и др., причем каждый из них имеет свои расширенные варианты. Как свидетельствует материал обобщающей карты, основным суффиксом possessивности в этой группе имен выступает суф. =*ѣj-*: он не только широко представлен в конструкциях типа *gqs-ѣj-E meš-o* (слн., чеш., плс., укр. п. 467, рус. п. 621), *bEran-ѣj-E meš-o* (слц. пп. 209, 215, плс. пп. 288, 311, блр. пп. 327, 330, 331, 337, укр. пп. 409, 417, 445, рус.), *ov-ѣs-ѣj-E meš-o* (плс., рус., укр. пп. 405, 410, 411, блр., луж. пп. 235, 237, чеш. пп. 185, 186, слн., сх., мак.), *svin-ѣj-E meš-o* (плс. пп. 241–245, 250), *korv-ѣj-E meš-o* (плс. пп. 241, 311, рус., блр.), но и имеет многочисленные словообразовательные варианты, возникшие на его основе. Это прежде всего суффиксы =*et-j-* и =*ed-j-*, отмеченные в таких образованиях, как:

gqs-et-j-E meš-o (слн. пп. 21, 149; слц. пп. 209, 215; луж. пп. 234, 235, 237, вост-сл.);

tel-et-j-E meš-o (слн., сх., зап-сл., вост-сл.);

svin-et-j-E meš-o (луж., блр., укр., рус. пп. 525, 615, 544, 724);

pors-et-j-E meš-o (слн. пп. 1–3, сх. п. 25, чеш. п. 202, рус. пп. 662, 798);

korv-et-j-E meš-o (плс. п. 287, блр., укр. пп. 412, 429);

korv-j-et-j-E meš-o (блр., укр.);

by-dl-et-j-E meš-o (плс. пп. 270, 285, 296, 304, укр. пп. 401, 403);

skot-et-j-E meš-o (луж. п. 236, блр. п. 362, укр. пп. 402, 405);

bEran-et-j-E meš-o (блр. п. 399, укр.);

gov-ed-j-E meš-o (слн., сх., чеш., слц. пп. 208, 209, 213, 228, луж. пп. 234, 235, 237, плс. пп. 289, 308–310, 317, блр. п. 391, укр. п. 454, рус. п. 779).

В восточнославянских диалектах суф. =*et-j-* имеет еще одно расширение слева – суф. =*ov-*, ср. *jal-ov-et-j-E meš-o* (блр. пп. 335, 344, 377, 387, 389, 400, укр. пп. 408, 423, 426, 431, 453, рус. п. 812).

На базе суф. =*ѣj-* возникли суффиксы =*ov-ѣj-* (рус.), =*ѣk-ѣj-* (сх.), =*ov-iĉ-ѣj-* (укр.), =*in-ѣj-* (рус., сх.), имеющие, однако, ограниченное распространение.

К числу достаточно регулярно используемых суффиксов в этой группе имен следует отнести и суф. =*ьsk-* (а также его расширенные варианты =*ѣd-ьsk-*, =*ѣt-ьsk-*, распространенные преимущественно в македонских диалектах), ср.:

korv-ьsk-E meš-o (мак. пп. 108, 109, слц. п. 228, плс. пп. 249, 309, 311, 316–318, блр., рус. п. 746);

skot-ьsk-E meš-o (рус. пп. 529, 533, 537, 548, 565);

vol-ьsk-e meš-o (мак. п. 106);

svin-ьsk-E mešo (слн., сх., мак., чеш. пп. 203, 207, слц., плс., блр. пп. 336, 344, укр.);

gov-ѣd-ьsk-E meš-o (слн. пп. 10, 13, сх. пп. 147а, 151, мак.);

tel-ѣt-ьsk-E meš-o (мак.).

В восточно- и южнославянских диалектах, а также в некоторых польских и чешских в этой группе имен представлен суф. =*ov-*, который в македонских диалектах известен в своем расширенном варианте =*ѣk-ov-*, ср.:

bEran-ov-E meš-o (блр. п. 375); *rent-ov-E meš-o* (плс. п. 249);

jal-ov-E mešo (блр. п. 352, укр., рус. п. 784);

vol-ov-E meš-o (слн. п. 1, сх. п. 42, блр. п. 376, укр. пп. 410, 412, 415, 454);

ov-ьc-ev-E meš-o (мак. пп. 106, 108, 109);

ov-ьn-ov-E meš-o (слн. п. 1);

skop-ov-E meš-o (чеш., плс. п. 262);

vepr-j-ov-E meš-o (мак. п. 108, чеш., плс.);

gqs-ѣk-ov-E meš-o (мак. п. 103); *pat-ѣk-ov-E meš-o* (мак. п. 103).

Среди локально ограниченных суффиксов выделяется суф. =*in-/=yn-*, распространенный преимущественно в восточнославянских диалектах (в белорусских он известен чаще в своем расширенном варианте =*ov-in-*), и суф. =*ьn-* в польских, ср.:

gqs-in-o meš-o (луж. п. 236, вост.-сл.);

svin-in-o meš-o (рус. п. 554);

korv-in-o meš-o (блр., рус. пп. 629, 675, 725, 745);

ov-ьc-in-o meš-o (слн. п. 21, сх. п. 153, луж. п. 234);

vol-ov-in-o meš-o (блр. п. 331);

gqs-ѣk-yn-o meš-o (сх. пп. 85, 153, мак.);

svin-ьn-o meš-o (плс. п. 268); *rent-ov-ьn-E meš-o* (плс.).

Обобщающая словообразовательная карта позволяет, таким образом, выявить территориальную дистрибуцию кодериватов, различающихся суф-

фиксальным оформлением, поскольку ареалы этих однокоренных дублетов являются, как правило, контактными. На обобщающей карте, посвященной распределению словообразовательных моделей среди однословных номинаций, отчетливо видно противопоставление южнославянских диалектов (словенских и сербскохорватских), где наибольшее распространение получил суф. =*et-in-a*, восточнославянским (активно использующим в этой группе имен два суффикса — =*in-a*, =*et-in-a*) и польским (где такими суффиксами являются =*in-a* и =*ov-in-a*). Кроме того, она выявляет различия и в рамках одного ареала: в словацких диалектах, например, наблюдается четкое разделение их на западнословацкие (с преобладанием суф. =*et-in-a*) и восточнословацкие (где, кроме суф. =*et-in-a*, широко представлен суф. =*in-a*); такая же ситуация наблюдается в польских говорах: восток малопольских и мазовецких говоров (правобережье Вислы), где получил широкое распространение суф. =*in-a*, противопоставит всем остальным польским диалектам, в которых кроме суф. =*in-a*, широко известен и суф. =*ov-in-a* (а в бассейне левобережной Вислы — преимущественно =*ov-in-a*).

Обобщающая карта эксплицирует не только ареалы этих суффиксов, но и выявляет степень их продуктивности, так как чем активнее в прошлом была та или иная словообразовательная модель, тем шире ее ареал в настоящем (яркой иллюстрацией этого является ареал суф. =*in-a*, охватывающий восточнославянские, польские, восточнословацкие и частично словенские диалекты).

Материалы обобщающей карты дают возможность и для решения другой, тесно связанной с этой, проблемы — региональных архаизмов и инноваций и их ареальной репрезентации. Сопоставление ареалов суф. =*in-a* и суффиксов, возникших на его основе (прежде всего =*et-in-a* и =*ov-in-a*), показывает, что ареалы базового суффикса, сохраняющегося, так сказать, в своей «чистоте», находятся, как правило, на периферии диалектной зоны, тогда как ареалы его суффиксальных вариантов — в центре, откуда они иррадиируют на периферию, в связи с чем в каждой диалектной зоне выделяется обширный ареал, в котором архаизмы сосуществуют с более продуктивными моделями, сформировавшимися на их основе.

Синтетические карты иллюстрируют и динамику становления номинативного типа. Сопоставление, в частности, ареалов описательных конструкций и однословных номинаций, представленных единичными примерами, показывает, как происходит формирование номинативной модели, вытеснение производящего сочетания производным словом. Это особенно наглядно видно на примере ряда словенских (пп. 2, 5), польских (пп. 246, 272), белорусских (пп. 330, 343, 353–356, 393), украинских (пп. 446,

449, 455, 483, 484, 490, 498, 499) и русских (пп. 543, 545, 547, 554, 555, 602 и др.) диалектов, в которых вытеснение описательных конструкций в названиях видов мяса начинается, прежде всего, моделью с суфф. =*in-a* и значительно реже — с суфф. =*et-in-a* (ср.:

- п. 2: *svin-in-a*, но *pors-et-j-E meš-o*, *ov-ьс-ьj-E meš-o*;
 п. 5: *svin-in-a*, но *gov-эд-j-E meš-o*, *ov-ьс-ьj-E meš-o*, *gqs-ьj-E meš-o*;
 п. 246: *gqs-in-a*, но *rent-ov-ьн-E meš-o*, *svin-ьск-E meš-o*, *ov-ьс-ьj-E meš-o*, *tel-et-j-E meš-o*;
 п. 272: *bEran-in-a*, но *by-dl-et-j-E meš-o*, *svin-ьск-E meš-o*, *gqs-ьj-E meš-o*, *tel-et-j-E meš-o*;
 п. 327: *tel-et-in-a*, но *ov-ьс-ьj-E meš-o*, *tel-et-j-e meš-o*, *korv-ьск-E meš-o*, *gqs-in-o meš-o*;
 п. 330: *svin-in-a*, но *korv-ьj-E meš-o*, *bEran-ьj-E meš-o*, *gqs-in-o meš-o*;
 п. 343: *bEran-in-a*, но *by-dl-et-j-E meš-o*, *tel-et-j-E meš-o*, *gqs-in-o meš-o*;
 п. 353: *bEran-in-a*, но *korv-in-o meš-o*, *tel-et-j-E meš-o*, *gqs-in-o meš-o* и т. д.;
 п. 410: *tel-et-in-a*, но *ov-ьс-ьj-E meš-o*, *gqs-et-j-E meš-o*, *svin-et-j-E meš-o*;
 п. 449: *svin-in-a*, но *korv-et-j-E meš-o*, *vol-ov-E meš-o*, *svin-ьск-E meš-o*, *tel-et-j-E meš-o*;
 п. 455: *bEran-in-a*, но *svin-et-j-E meš-o*, *tel-et-j-E meš-o*, *jal-ov-et-j-E meš-o*;
 п. 499: *svin-in-a*, но *bEran-et-j-E meš-o*, *tel-et-j-E meš-o*, *vol-ov-E meš-o* и т. д.;
 п. 545: *svin-in-a*, но *korv-ьj-E meš-o*, *tel-et-j-E meš-o*, *gqs-in-ьj-E meš-o*;
 п. 554: *gov-эд-in-a*, но *tel-et-j-E meš-o*, *gqs-in-O meš-o*, *svin-ьн-O meš-o*;
 п. 602: *bEran-in-a*, но *korv-ьj-E meš-o*, *tel-et-j-E meš-o*, *svin-ьн-O meš-o*, *gqs-in-O meš-o* и т. д.

Сопоставление ареалов описательных конструкций с посессивными прилагательными (типа *korv-ьj-E*, *korv-in-O*, *korv-ьск-E* и др.) с характером территориального распределения суфф. =*in-a*, =*et-in-a*, =*ov-in-a* позволяет высказать предположение о тесной связи многословных и однословных номинаций, а именно о зависимости употребления этих суффиксов от суффиксов принадлежности: появление суфф. =*et-in-a* наблюдается, прежде всего, там, где широкое распространение имел суффикс посессивности

=*in-* (это, прежде всего, восточнославянские, сербскохорватские, частично словенские диалекты), что было вызвано во многом давлением языковой системы, стремлением избежать столкновения омонимичных формантов (суф. =*in-* в субстантивах и адъективах), вследствие чего произошло расширение влево субстантивного суффикса (формируется модель с суф. =*et-in-a*, о чем свидетельствуют образования типа *korv-et-in-a*, *bEran-et-in-a*, *ov-ъc-et-in-a*, *kъrm-et-in-a* и др.). Там же, где в качестве суффикса посессивности использовался прежде всего суф. =*ъj*, там каких-либо преград для функционирования суф. =*in-a* не существовало (о чем свидетельствуют материалы большинства восточнославянских, польских и восточнословацких диалектов).

Обобщающие карты, таким образом, открывают широкие перспективы для лингвоареального изучения диалектных процессов. Эксплицируя и генерализируя информацию, содержащуюся на картах, посвященных отдельному слову, обобщающая карта позволяет проникнуть в структуру изучаемого явления, рассмотреть его в системе (или в звене лексической системы диалекта). Она дает возможность не только выявить сходства и различия славянских диалектов в использовании словообразовательных средств при оформлении той или иной ЛСГ имен, но и объяснить процессы становления и распространения словообразовательных моделей.

Примечания

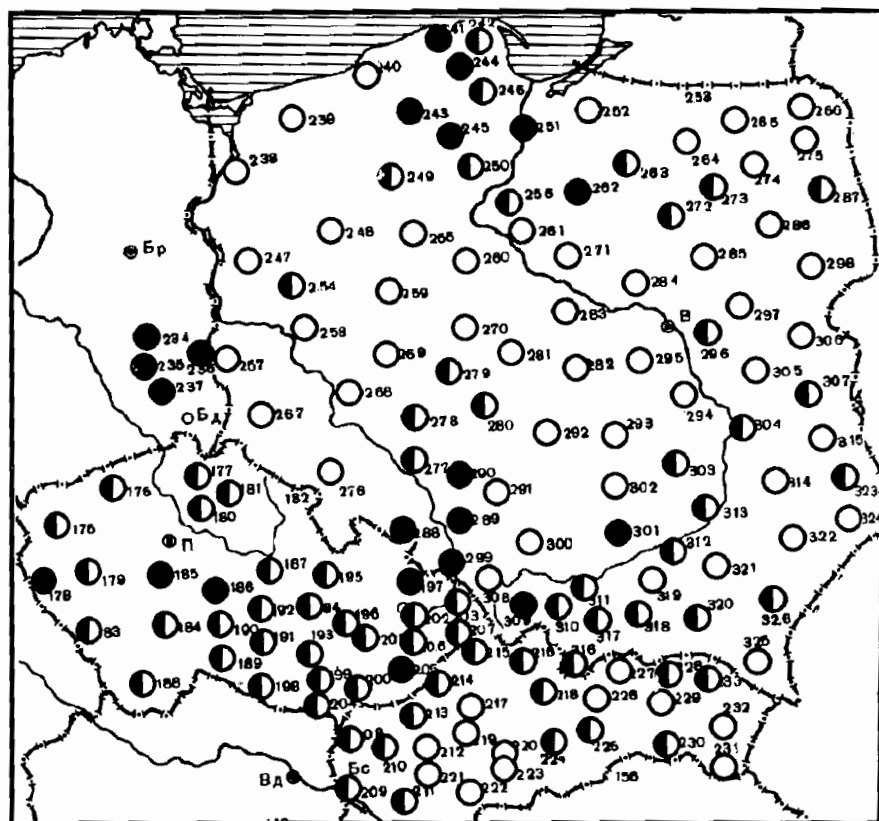
- [1] Общеславянский лингвистический атлас. Серия лексико-словообразовательная. Вып. 1. «Животный мир». М., 1988, с. 5.
- [2] Общеславянский лингвистический атлас. Вступительный выпуск. Общие принципы. Справочные материалы. М., 1994, с. 32.
- [3] Я. В. Закревская. К проблематике сводных карт лексико-словообразовательной серии ОЛА // ОЛА. Прилози. XIII, 1. Скопје, 1988.
- [4] В. F a l i ŋ s k a. Rѓóbnе mapу zbiѓrче nazw ptakѓw domowych i młodych zwierѓat z sufiksem =*e* < **et*) // ОЛА. Прилози. XIII, 1. Скопје, 1988.
- [5] Т. И. Вендина. Общеславянский лингвистический атлас. Серия лексико-словообразовательная. Вып. 1. «Животный мир». Ареалогический комментарий // ОЛА. Мат-лы и исследования, 1995.
- [6] Общеславянский лингвистический атлас. Вступительный выпуск..., с. 31—32.
- [7] Я. В. Закревская. Словообразование существительных *nomina loci* (к проблеме ареального изображения) // ОЛА. Мат-лы и исследования, 1974.
- [8] Г. П. Клепикова, Т. М. Морозова, В. А. Пыхов. К вопросу об интерпретативных возможностях многотемных карт ОЛА // ОЛА. Мат-лы и исследования, 1981.
- [9] О. Н. Мораховская. К вопросу о составлении обобщающих карт в ОЛА // ОЛА. Мат-лы и исследования, 1989.
- [10] Историческая типология славянских языков. Киев, 1986, с. 217.

T. Vendina

Carte Synthétique comme Objet d'une Étude Linguistique

Le sujet du présent article est le problème de l'interprétation des cartes synthétiques de l'Atlas linguistique slave. Chaque carte illustre à l'aide de cinq lexèmes (**teleřina*, **goveřina*, **řivřina*, **baranřina*, **guseřina*) les problèmes de la formation des mots et ceux de la géographie morphologique.

Фрагмент интерпретационной сводной карты
«Способы номинации названий мяса животных и птиц» —
западнославянские диалекты



- Однословные наименования
- Описательные конструкции
- ◐ Однословные наименования и описательные

Б. Видоески (Скопје)

Членските морфеми во македонскиот дијалектен јазик (Прилог кон Македонскиот дијалектен атлас)

0. Категоријата определеност на именските зборови во македонскиот дијалектен јазик се изразува со следните морфеми:

0.1. *-от* (со фонетските разновидносни: *-џт*, *-ат*, *-ут*, *-ет*, одн. *-о*, *-а*, *-а*, *-у*, *-е*), *-та* (*-та̇*), *-то* (*-ту*), *-те* (*-те̇*), *-ти*, во зависните форми: *(о)того*, *-(о)тога*, *-(о)тому*, *-ту*, *-та*, *-ти*, *-ти̇ј*, *-тим*, *-тем*, *-там*.

0.2. *-ов* (*-џв*, *-ав*), *-ва*, *-во*, *-ве*, *-ви*, *-ва*, за зависните форми: *-(о)вого*, *-(о)вога*, *-ву*, *-(о)вому*, *-ви*, *-вим*, *-вем*, *-вам*.

0.3. *-он* (*-џн*, *-ан*), *-на*, *-но*, *-не*, *-ни*, *-на*, за зависните форми: *-(о)ного*, *-(о)нога*, *-ну*, *-(о)ному*, *-ни*, *-ним*, *-нем*, *-нам*.

Географски тие се распределени на следниот начин (види и на картата).

1. Членските морфеми на *-в* и *-н* заедно со морфемите на *-т* се употребуваат само во западното македонско наречје, вклучувајќи го тука и горанскиот говор во Призренско (Р. Србија), и само во неколку села во североисточна Македонија на пограничјето со српската јазична територија (в. подолу).

Во западните дијалекти тројниот член се зема како нивна важна дијалектна диференцијална особеност [Видоески 1963: 22]. Во тие говори членската парадигма ни се претставува во следниот вид:

1.1. *старец-о(т)*, *старец-оф(-ов)*, *старец-он* — *старци-те*, *старци-ве*, *старци-не*;

брат-о(т), *-оф*, *-он* — *браќа-та*, *-ва*, *на*;

дедо-то, *-во*, *-но* — *дедофци-те*, *-ве*, *-не*;

владика-та, *-ва*, *-на* — *владици-те*, *-ве*, *-не*;

жена-та, *жена-ва*, *жена-на* — *жени-те*, *жени-ве*, *жени-не*;

ноќ-та, *-ва*, *-на* — *ноќи-те*, *-ве*, *-не*;

село-то, -во, -но — села-та, -ва, -на;
поле-то, -во, -но — полиња-та, -ва, -на;
лозје-то, -во, -но — лозја-та, -ва, -на;

кај придавките:

бел-и-от, бели-оф, -он; — бела-та, -ва, -на, бело-то, -во, -но; бели-те, -ве, -не.

Овој модел го познаваат: скопско-велешкиот, прилепско-битолскиот, кичевско-поречкиот дијалект и охридско-преспанските, дебарските и полошките говори (без вратничкиот).

1.2. *коњ-џт, коњ-џв, коњ-џн, општа форма: коњо-тога, коњо-вога, коњо-нога, мн. коњи-те, коњи-ве, коњи-не;*

жена-та, -ва, -на, општа ф.: жену-ту, жену-ву, жену-ну, мн. жене-те, жене-ве, жене-не;

село-то, -во, -но — села-та, -ва, -на;

кај придавките:

стар-и-џт, стар-и-џв, стар-и-џн, општа ф.: старо-тога, стар-о-вога, стар-о-нога; стара-та, -ва, -на, општа ф.: стару-ту, стару-ву, стар-уну; старо-то, -во, -но; мн. стари-те, -ве, -не.

Овој модел е карактеристичен за скопскоцрногорскиот и за вратничкиот говор во Долни Полог. Во вратничкиот говор и војужниот појас на скопскоцрногорскиот за м. р. превладуваат формите на *-ат, -ав, -ан* (*син-ат, син-ав, син-ан*). Во вратничкиот посебни членски форми во општиот падеж се константирани само кај именките за ж. р., сп. *доведи гу кравуту, истерај гу свињуву, на свињуну*. Кај именките од м. р. во живата реч посебни членски морфеми не се среќаваат, сп. *истерај га петалан*. Меѓутоа, во првата половина на 19. век вакви форми имало, сп. *Попо того го карате, да земемо друго того попа, царотому, друготому* — во текстовите на К. Пејчиновиќ, сп. [Селишчев 1929: 351].

Јужната изоглоса на овој членски модел допира приближно до линијата Одри — Нераште (на полошкиот дел, сп. [Видоески 1961: 352]) — Кучково — Бразда — Љуботен (на скопскиот дел, сп. [Видоески 1954: 136, 170, 171; 1985: 16]).

1.3. Нешто посложен членски модел покажува говорот на муслиманите во областа Гора (Призренско) и во селата Урвич и Јеловјане кои се наоѓаат на падините на Шар Планина на тетовската страна. Во тој говор уште се живи ген-акуз. и дативната форма едн. м. р., дативната форма во едн. кај именките од ж. и с. р. и дативната множинска форма

кај именките од сите три рода. Сета парадигма на членските облици го има следниов вид:

муж-от, -ов, -он, дат. *мужу-тому*, *мужу-вому*, *мужу-ному*, акуз. *мужа-того*, *мужа-вого*, *мужа-ного*, мн. *мужи-ти*, *мужи-ви*, *мужи-ни*, дат. мн.: *мужи-тим*, *мужи-вим*, *мужи-ним*;

жена-та, -ва, -на, дат.: *жени-ти*, *жени-ви*, *жени-ни*, мн.: *жене-те*, *жене-ве*, *жене-не*, дат. мн.: *жене-тем*, *жене-вем*, *жене-нем*;

дете-то, -во, -но, дат.: *дете-тому*, *дете-вому*, *дете-ному*, мн.: *деца-та*, -ва, -на, дат. мн.: *деца-там*, *деца-вам*, *деца-нам*;

кај придавките:

добр-о-јет, *добр-о-јев*, *добр-о-јен*, акуз.: *добр-о-того*, *добр-о-вого*, *добр-о-ного*, дат.: *добр-о-тому*, *добр-о-вому*, *добр-о-ному*, мн. м. р.: *добри-ти*, *добри-ви*, *добри-ни*, дат.: *добри-тим*, *добри-вим*, *добри-ним*;

добра-та, -ва, -на, дат.: *доброј-зи-ти*, *доброј-зи-ви*, *доброј-зи-ни*, мн.: *добре-те*, *добре-ве*, *добре-не*, дат.: *добре-тем*, *добре-вем*, *добре-нем*;

добро-то, -во, -но, дат.: *добро-тому*, *добро-вому*, *добро-ному*.

Во некои локални говори во рамките на горанскиот говор /о/ се редуира во /у/, па така формата за м. р. може да се сретне и во фонетската разновидност од типот *добрѹјет*, *добрѹјев*, *добрѹјен*, сп. [Видоески 1986: 60–63].

Источната граница на членските морфемии со -в и -н наполно се поклопува со границата меѓу западното и (југо)источното наречје. Таа оди по правецот север – југ: Бродец – Булачани – Миладиновци – Којнаре – Лугунци (на скопскиот дел) – Црквино – Владиловци (Велешко) – Тројаци – Дуње – Ралеш (на прилепско-мариовскиот дел), и на југ до линијата Живојно – Канино – Драгаш (Битолско) – Арвати – Којнско (Преспа). На север границата на членот воопшто се поклопува со јазичната граница со српската јазична територија на качаничко-шарскиот дел од областа, а во Гора таа допира до нешто малку појужно од Драгаш, сп. [Видоески 1963: 22; 1982: 25; 1985: 29; 1986: 60].

1.4. Во североисточна Македонија, како што спомнав, троен член се употребува на еден релативно тесен појас во областа Славиште и по сливот на Крива Река на правецот Шопско Рударе – Ранковце – Метежево, и се поврзува со Горна Пчиња и Заплање, каде што исто така има три вида членски морфемии [Белиќ 1905: 442 нт.]. Во овој говор од старата промена на членот се запазил уште акузативот во функција на општа зависна форма. Целиот систем на членски форми таму гласи:

кóњ-ѣт, кóњ-ѣв, кóњ-ѣн, општа ф.: кóња-тога, кóња-вога, кóња-нога, мн. кóњи-те, кóњ-ве, кóњи-не (негде и кóње-те, -ве, -не);

жéна-та, -ва, -на, општа ф.: жéну-ту, жéну-ву, жéну-ну, мн.: жéне-те, жéне-ве, жéне-не; сéло-то, -во, -но, мн.: сéла-та, -ва, -на;

кај придавките:

голém-јѣт, голém-јѣв, голém-јѣн, голém-мата, -ва, -на, голém-то, -во, -но, мн. голém-те, -ве, -не, ж. р. голém-те, -ве, -не.

Во врска со членот во овој говор за одбележување се две појави: членот *-те* кај именките што имаат множина на *-е* од типот *снопје* – *снопје*, *снопје-ве*, *снопје-не*, *камење-те*, и тенденцијата кај придавките да се додава членската морфема во м. р. непосредно на неопределената форма, сп. *бél-ѣт*, *цél-ѣт*, и / или izdelување на морфемата *-јѣт* (*-јѣв*, *-јѣн*) преку десилабизација на /и/ → /ј/: *стáр-и-ат* → *стáр-јѣт*, *голémјѣт*, *ширóкјѣт*, *зелénјѣт*, после и *зелéњѣт*, *цél-јѣт* → *цélъѣт*, сп. [Видоески 1962: 149 нт.].

1.5. На сета друга македонска јазична територија се употребуваат само членските морфемии на *-т* во разни фонетски разновидности, така што членската парадигма е значително упростена, сп.:

старец-от – *старици-те* / *владика-та* – *владици-те* /, *дедо-то* – *дедовици-те*,

жена-та – *жени-те* / *ноќ* – *ноќ-та*,

село-то – *села-та* / *јајце-то* – *јајца-та* / *пиле-то* – *пилиња-та* / *лозје-то* – *лозја-та*, итн.

2. Од дијалектен аспект во врска со членските морфемии интерес побудуваат некои појави што придонесле за промени во структурата на одделни членови, потоа промени што настанале во дистрибуцијата на морфемите, како и остатоците од старата деклинација на членот.

2.1. Погоре видовме дека членската морфема за м. р. и кај именките и кај придавките се јавува во цела низа варијанти: *-от*, *-ѣт*, *-ат*, *-ет*, *-ут* // *-о*, *-ѣ*, *-а*, *-е*, *-у*; *-ов*, *-ѣв*, *-ав*; *-он*, *-ѣн*, *-ан*, а кај придавките уште и: *-јо(т)*, *-јѣ(т)*, *-ја(т)*, *-ју(т)*, *-је(т)*, *-јов*, *-јѣв*, *-јон*, *-јѣн*. За оваа разнообразност придонесле повеќе фактори, главно од фонетски карактер: различната рефлексација на стариот вокал ѣ (*-ѣт* → *ѣт*, *-ат*, *-от*), загубата на финалното *-т* (*-ѣ*, *-а*, *-о*, *-е*), карактерот на претходната согласка (*-ет*, *-е*, *-јет*, *-је*), редуцијата на неакцентраното /о/ во /у/ (*-ут*, *-у*), а некои случаи се објаснуваат со аналогича, на пример варијантите *-ѣв/-ав* и *-ѣн/-ан* во северните говори (место етимолошките *-ов*, *-он*) настанале по аналогича на членот *-ѣт/-ат*:

Источно од оваа граница само во неколку оази во области Чеч има член -о во ограничена позиција, сп. *градб*.

2.3. Во сите други македонски $\text{ʒ} \rightarrow /o/$ – говори членската морфема кај именките од м. р. што завршуваат на согласка гласи -от ($\rightarrow ut$ во говорите каде што се врши редукција на $o \rightarrow u$ во неакцентирана позиција), односно -о ($\rightarrow y$) во говорите каде што се загубило финалното -т. Географски овие разновидности се распределени на следниот начин.

2.3.1. Морфемата -от се употребува во охридско-преспанските, дебарските, кичевско-поречките, скопско-велешките и полошките говори (во последниве со исклучок на неколку пунктови каде што -т се загубило) од западното наречје, потоа во тиквешко-мариовските, а -ут во долновардарските на целиот простор од Јагадинското Езеро до Кајлар и на север приближно до линијата Емборе (Кајларско) – Островско Езеро – Пожарско – Тушин (на воденско-мегленското подрачје) – Гевгелија – Дојран – Кукуш, како и во јужниот дел на костурското подрачје во областа Костенарија јужно од линијата Нестрам – Старичане. Сп. примери: *лебот*, *каменот*, *белиот*, *големиот* (Охрид, Ресен, Дебар, Кичево, Порече, Гостивар, Тетово, Скопје, Велес, Кавадараци, Мариово), *прагут*, *брејут*, *голѐмјут/голѐмут* (Нестрам), *меут*, *амбарут*, *мисурут* (Езерец, Сничени, в. [Видоески 1984: 90; 1989: 60, 61]), *лебут*, *каменут* (Ранци – Кајларско), *мажут*, *нишанут*, *младјут* (Меглен), *песукут*, *жарут*, *гљјут/гљјџут* (Ениче), *носут*, *бѐлјут* (Гуменца), *носут*, *зајцут*, *убафјут/убавут* (Стојаково, Фурка – Гевгелиско), *ножут*, *меут*, *дрџут*, *единјут* (Амбаркој – Кукушко), *цувѐкут* (Градобор – Солунско), *бракут*, *мојут*, но *градбт* (во акцентиран слог – Висока, сп. [Малецки 1936: 101]). Изгласата на членот -ут наполно се поклопува со редукцијата на /о/ во /у/.

2.3.2. Членот -о доминира во источните македонски говори што се наоѓаат источно од линијата Крива Паланка – Кратово – Штип – Дојран – Кукуш – Висока (Јагадинско), потоа на еден поширок и континуиран ареал во југозападна Македонија на правецот Прилеп – Битола – Јерин – Костур – Корча и во неколку пунктови во Полог на пограничјето меѓу тетовскиот и гостиварскиот говор (во селата Челопек, Стенче, Волковија), сп. *брего*, *лебо*, *носо*, *пато*, *умо* [Поповски 1970: 63]. Границата меѓу разновидностите -от и -о на преспанското говорно подрачје оди по правецот Којнско – Штрбово (сп. *чојако*, *стисо*) – Шулин (*стисо*, *скапио*) – Брајчино, сп. [Видоески 1982: 25, 36], а на битолскиот терен таа се поклопува со говорната граница меѓу демирхисарскиот и битолскиот [Видоески 1985/1: 29]. И на прилепскиот терен изгласата на членот -о се поклопува

со говорната граница меѓу прилепскиот и поречкиот на запад и велешкиот на север. Разновидноста -у (← о) се јавува во неколку пунктови во Лагадинско покрај -ó, сп. *буф-бúфу*, *ваш-вáшију*, но *брак-бракó* (Сухо [Малецки 1936: А 101]), *брек-брéгу*, *мáжу*, *ч'увéку* (Негован [Видоески 1993: 16]), и неколку примери од другите говори: *даж'дó*, *влакó*, *кóн'о* (Илинец – Лагадинско [Малецки 1936: А 101]), *градó*, *вóло*, *стáрио* (Секавец, Савек – Серско, сп. [Иванов 1972, карти 81, 82; Видоески 1991: 61, 65]), *сóно*, *другáро*, *глúж'о* (Крецово, Мугулово – Кукушко), *гласо*, *кóјно*, *бóлнои / бóлно* (Дојран [Пеев 1979: 71; 1987: 191]), *брегó*, *зéко* (Петрич), *брегó*, *двóру*, но *кóне* (Разлог, Благоевград), од костурско-леринскиот регион: *чов'áко*, *гол'áмио* (Бобошчица [Мазон 1936: 53, 70]), *двóро*, *брáто*, *дебéлио* (Костур), *лéбо*, *стáр'о* (Граждено – Преспа), *чóвеко*, *нáшио* (Лерин), *дворо*, *белио* (Прилеп, Битола, и редовно така во струмичкиот, радовишкиот, штипскиот, кочанскиот, кратовскиот, делчевскиот, беровскиот).

2.3.3. Во драмското, гоцделчевското, разлошкото говорно подрачје, во северниот дел на благоевградскиот говор и во дел од малешевските села зад историски меките согласки членот -е (-ет во зилјаховскиот говор) е добиен по фонетски пат со преглас на ѝ ('ѝт → -ет), што значи дека е таа стара појава. Најдоследно во таа позиција прегласеното -е(т) се јавува во драмската и гоцделчевската група говори, каде што добро се чува старата мекост на согласките, сп. *кóш'ет*, *нóж'ет*, *кóн'ет*, *пáт'ет*, *грóзницет* (Зилјаховско), *кóш'е*, *нóж'е*, *пáт'е*, *кóн'е*, *гóлие* (Мрвашко [Иванов 1977: 152]), *к'óн'е*, *к'л'уч'е*, *цáр'е*, *н'óж'е*, *мáж'е*, *ж'óст'е*, *зét'е*, *кáме-не*, и редовно кај придавките (со вметнато ј): *дóбр'и'е*, *мáлк'и'е*, *вис'ó-к'и'е* (во гоцделчевскиот [Мирчев 1936: 34]), *даждé*, *денé*, *кóне*, *крáле*, *мажé*, *пáте*, *тувáре*, *цáре*, потоа скратените форми на посесивните заменки *нáше*, *вáше*, *твóе*, покрај *брегó*, *зáбу*, и редовно -а кај придавките: *бáлиа*, *гул'áмиа* (во разлошкиот [Алексиев 1931: 111]). На разлошкиот терен, како што покажуваат приведените примери, се разграничуваат членските морфемии -е и -а на тој начин што -е се задржаало кај именките, а -а кај придавките.

Во беровскиот и благоевградскиот говор, каде што старата мекост на согласките се загубила, членот -е веќе се лексикализирал на ограничен број случаи, сп. *крај-крáе*, *сој-сóе*, *брáче*, *к'л'уче*, *орáче*, *воденичáре*, *дожцé*, *кóне*, *нóже*, но и *мажó*, *éжо*, *цáрó*, *сверó*, *пријáтело* (Пехчево), *дожцé*, *к'л'уче*, *пáте*, *кон-кóне*, *дрвáре*, *офчáре*, *орáче*, *ковáче*, покрај *бројó*, *рајó*, *мажó*, *цáрó*, *денó*, *éжо*, *крáл'о*, *зéто* (Берово), *дождé*, *товáре*, *воденичáре*, *домак'ине*, *лепíче*, но *пријáтело*, *дéве-*

ро, зéто, ежó, мажó, царó (Русиново – Беровско). Подоследно -е се чува кај придавките: бéлие, óфчие, слабíе (Пехчево), здравíе, слабíе, брзíе, бóсие (Берово), старíе, младíе, нóвие (Владимирово), ширóк'ие, дéдовие, Миланóвие, бéлие (Русиново. – Сите примери се од мојот бележник). Во соседниот делчевски говор членски форми на -е веќе не се среќаваат, сп. убáвио, пр́вио (Истевник), крóткио, плíткио (Вирче), е́дер – е́дрио, јáк'и́о (Лукавица – Делчевско). Уште поголемо шаренило во овој поглед покажува благоевградскиот (горноцумајскиот) говор, сп. кóне, крáје, а́рнје, бéлије, голéмије, но и нóжо, царó и др. [Стоилов 1904: 4; БДА III, карта 179].

Како што се гледа од приведените примери, во беровскиот, благоевградскиот и разлошкиот говор членот -о станува поддоминантен и се шири за сметка на членот -е.

2.3.4. Од дијалектен аспект интерес претставува една појава што се наоѓа во процес во членската форма за м. р. кај придавките во некои говори. Се работи за случаите од типот *јакио(т) → јакјо(т) → јак'јо(т) → јакó(т)*. На еден широк ареал на правецот Корча – Нестрам – Костур – Кајлар – Воден – Кукуш, на исток сè до границата со лагадинските и серските говори, и на север на појасот Струмица – Радовиш – Штип – Куманово покрај старата членска формација има тенденција членската морфема за м. р. да се додава непосредно на неопределената форма како што е тоа кај формите за ж. и с. род и во множината, а веројатно и по аналогија на нив подзасилена и од членската форма на именките од м. р. на согласка. Таа тенденција се реализира на два начина: со непосредно лепење на членската морфема на основната придавка (*бел + от: бела + та, бело + то, бели + те*) и / или со десилабизација на /и/ во /ј/ (фонетската позиција, пред вокал, тоа го овозможува во односните говори) при што членот се проширил во *-јот* (*белиот → белјот*), се разбира, до колку не се јават некакви фонетски или морфолошки пречки. Процесот најмногу напреднал во долновардарските говори и во јужниот појас на кајларско-костурското подрачје; сп.: *гол'јáмјо* покрај *добриó* (Бобошчица – Корчанско), *голéмјут / голéмут* покрај *голéмицут* (Нестрам), *бéлјо, гл'вјо, вис'кјо, кисéлјо, нéговјо* и *нéговио, глуф – гл'фјо* (Мањак, Марковени, Тиолишча, Габреш – Костурско), *лó-ијут, сиф – с'фјут, висóкјут* и *висóкут* (Тремно – Кајларско), *бéл'ју, зилéн'ју, висóкју* (Чеган – Леринско), *гулéмјут, вáшијут, гóрнјут, нó-вјут, домáшијут, бóжјут, кóзинут* (козин од коза), *лéринцкјут* (леринци), *скóпцкјут* (Г. Родево – Меглен), *а́динјут, јáкјут, ч'вждјут* (Воден), *бóлнјут, глáднјут, убáфјут* (Гуменца), *а́рнјут, лóшјут, ди-бéлјут* (Гевгелија), *млáдјут, пéтјут, др'вјут, н'сук – н'сукјо* (Фур-

ка – Гевгелиско), *висо́кјо*, *шаре́нјо*, *болнјо* покрај *болнио*, *нискјо* и *ниско* (Дојран), *на́шјо*, *глу́хјо*, *висо́кјо* / *висо́ко*, *ца́рнјо* / *ца́рн'о* (Крецово), *неговјут*, *ста́рјут*, и *ма́лкут*, *широкут*, *дла́бокут* (Кукуш [Пеев 1979: 74; 1987: 198]), *аре́нјо*, *еде́нјо*, *бога́тјо*, но *о́фчио*, *би́толскио*, *пéтио* (Радовиш), *боле́нјо*, *де́дофјо*, *кро́токјо*, *Ива́новјо* (Тркање – Кочанско), *дла́бокјо*, *ту́ђо* (Судик – Светиниколско), *голе́мјот* / *голе́мот*, *дебе́лјот* / *дебе́лот* (Тиквешко), *п́рват*, *дру́гат*, *ту́рскат* (Пчиња), *дру́гат* покрај *дру́гцјат* (Орашац), *ло́шјат*, *висо́кат*, *би́страт* и *би́старат* (Довезенце, Кумановско), *мо́дарат*, *голе́мат*, *до́љанат* (Ш. Рударе – Кратовско), *Мила́новат*, *широ́кат* (Одрено, Ранковце – Кривопапанечко, сп. [Видоески 1962: 158 нт.]).

Тенденцијата да се додава членот врз неопределената форма најдобро го илустрираат примерите од типот *о́стар* – *о́старат*, *мо́дар* – *мо́дарат*, *боле́н* – *боле́нат* / *боле́нот* и други.

Членуваните форми со *-jo(t)* најдоследно се употребуваат во говорите каде што се загубила согласката *-t* за да се избегне можната омонимија со неопределената форма за с. р., сп. *бел-ј-о*: *бел-о*, *зелен-ј-о*: *зелен-о*, *висок-ј-о*: *висок-о*, но: *бел-от*, *зелен-от* / *-ат*, *висок-от*, покрај *белјот* итн.

Во некои локални говори, главно во долновардарските и во костурските, на овој начин добиеното *j* можело да ја палатализира претходната согласка ако е таа *-л*, *-н*, *-к*, *-г*, поретко *-т* и *-д*, бидејќи само тие во односите говори можат да имаат меки парници. Во таков случај палаталната согласка се јавува истовремено и како релевантен признак за морфолошко диференцирање (со неопределената форма за с. р.). Спореди примери: *бе́лјот* → *бе́л'от*, *зеле́нјот* → *зеле́н'от*, *висо́кјот* → *висо́кот*, *бла́гјот* → *бла́гот*, *ја́кот*, *ниско́т* (Мангила – Костурско), *висо́кут*, *биволцикут* (: биволцки ← биволски), *уфча́рцкут* (Тремно), *висо́ку*, *широ́ку* (Емборе – Кајларско), *гол* – *гол'о*, *бел* – *бел'о*, *верн'о*, *зелен'о*, *горн'о*, *железн'о*, *бабин'о*, *висо́ко*, *мек* – *меко*, *ниско*, *широ́ко*, *бла́го* (: бело, зелено, иско, благо), но: *голе́мјо*, *добрјо*, *лошјо*, *старјо* (: *голе́мо*, *добро*, *лошо*, *старо*) во долнопреспанскиот [Шклифов 1979: 51], *висо́кјут*, *ја́кјут*, *бла́гјут* покрај *ја́кут*, *ниску́т*, *бла́гјут* (Мандалево – Воденско), *бе́лјо* и *бе́л'о*, *ади́нјо* / *ади́н'о*, *ца́рнјо* / *ца́рн'о*, *висо́ко*, *дру́го* (Мутулово – Кукушко [Пеев 1987: 197]).

Во некои локални говори во Воденско и во Кукушко секвенците *-ку(t)* и *-жу(t)* се преосмислиле како посебни форманти па се пренесле и на придавските основи што завршуваат на *-т* и *-д*, а и во други случаи, сп. *тре́т-кут*, *сакáт-кут*, *ше́скут* (← *шестку́т*), *деве́т-кут*, *мла́гјут* (: *трет*,

сакат, шест, девет, млад, Мандалево – Воденско), *вѣткѹт*, *пѣткѹт*, *слѣпкѹт* и *слѣбѹт*, *здрѣвѹт* (Гуменца), *вѣткѹт* (: вет), *богѣткѹт* (Крецово – Кукушко).

Сиот приведен матерјал е, главно, од говорното подрачје каде што доминира морфолошки стабилизирани акцент и каде што е силно изразена квантитативната редукција во резултат на која пред членските морфемии самогласките често ја испуштаат (сп. *жѣна* – *жѣнта*, *сѣло* – *сѣлто*, *кулѣна* – *кулѣнта*, *зелѣните* – *зелѣнте*). Засега ова го оставам само како констатација!

2.3.5. Во врска со членската форма за м. р. кај придавките треба да обрнеме внимание и на образувањето на членските форми од типот на *другајѹт* во говорот на Висока во Солунско и *дрѹгојет* / *другујет* во горанскиот говор.

Во височкиот говор формите како *гул'ѣмајѹт* (брат), *дрѹгајѹт* (д'ен'), *длѣнгајѹт*, *стр'ѣднајѹт*, *н'ѣгувајѹт*, *н'ѣнајѹт*, *т'ѣхнајѹт* упатуваат на поинаков развиток на завршокот **ѹѣ(тѣ)* отколку во членските образувања од типот на *другојет*; процесот тука одел по овој пат: **ѹѣ* → *ѹј*, одн. *-ѣј* во неакцентирана позиција [Голомб 1962/63: 207].

Во горанскиот говор и во говорот на Македонците муслимани во тетовските села Урвич и Јеловјане определена придавска форма завршува на *-о(ј)ет* (во некои локални говори *-у(ј)ет* по извршената редукција на *о* во *у*): *босојет*, *добројет*, *готовојет*, *јакојет*, *кривојет*, *остројет*, *ирзнојет* (с. Диканце), *големијет*, *старијет*, *гладнијет*, *нискујет* (Млике). Завршокот **ѹѣ(тѣ)* → *-ојет* (→ *-ујет*). По аналогичност на овој завршок се преобразувале и членските морфемии на *-в* и *-н*: *-о(ј)ев*, *-о(ј)ен*: *добројев*, *босојев*, *старојев*, и *добројен*, *босојен*, *старојен*, одн. *добрѹјев*, *добрѹјен*, сп. [Видоески 1986: 62–63].

2.3.6. Остатоци од синтетичката деklinација на членските форми освен во горанскиот, скопскоцрногорскиот и кривопаланечкиот, за кои веќе стана збор погоре, се запазиле во живата реч уште во бобоштенскиот (корчанскиот) македонски говор и делумно во кумановскиот. Во корчанскиот говор се запазени дативот едн. и мн. за сите три рода и ген-акуз. едн. кај именките (и придавките) од м. р. Ја даваме целата парадигма:

<i>старѣц-о</i>	<i>старѹѣ-ти</i>
<i>старѹц-тѹму</i>	<i>старѹѣ-тим</i>
<i>старѹц-тѹго</i>	
<i>сестрѣ-та</i>	<i>сестрѣѣ-те</i>
<i>сестрѣѣ-тѹј</i>	<i>сестрѣѣ-тем</i>

<i>селó-то</i>	<i>селá-та</i>
<i>селу-тóму</i>	<i>селá-там</i>

и кај придавките:

<i>голjám-јо(-ио)</i>	<i>големó-то</i>	<i>големá-та</i>
	<i>големе-тéму</i>	<i>големjá-туј</i>
	<i>големе-тéго</i>	
<i>големí-ти</i>	<i>големjá-те</i>	<i>големjá-те</i>
<i>големí-тим</i>	<i>големjá-тем</i>	<i>голэмjá-тем</i>

[Мазон 1936: 54, 60–62, 70].

Дативната синтетичка форма од м. р. може да се сретне уште во долнопреспанскиот и во југозападните костурски села, но веќе како лексикализирана особеност и во посесивни искази и тоа претежно кај личните имиња, сп.: *Ристотому чупето*, *Петротому куќата*, *царутому сарајо*, *попутому чупата*, *царутому дворо* (Нивица), *оди на попутому ако ти е криво*, *гробутому вратата* (Брајчино – Преспа [Видоески 1982: 33, 36]), *госпотóm рабóта е тás*, *враготóm рабóта*, *Насетóm дéте*, *Петретóm // на Петрето*, *Илетóm*, *Јорготóm* (Езерец).

Во кумановскиот говор посебни членски морфемии има во општата форма кај одушевените именки од м. р. (-тога) и кај именките на -а (-ту), како и во скопскоцрногорскиот говор. Така целата членска парадигма во тој говор гласи:

<i>стáрjац-jт</i>	<i>стáрjи-те</i>
<i>стáрjо-тога</i>	
<i>жéна-та</i>	<i>жене-те</i>
<i>жéну-ту</i>	
<i>сéло-то -</i>	<i>сéла-та</i>

сп.: *лéбjт сjстинá*, *мумурjзjт е дóбар* – *изедó га лéбjт*, *лéбовите*, кај одушевените: *бjволjт скршj си нóгу*, *искáраj бjволотога из бáшчу*; *já га гáга óрлотога*; *анциjата напил се* – *врнал се кудé анциjуту*; *паднá у дjпкуту*, *дáј ми гу тóрбуту* [Видоески 1962: 146 нг].

Забелешка: Во јужните кумановски села членските морфемии -тога и -ту се многу ретки.

2.3.7. Видливи остатоци од акузативната флексивна членска форма кај именките од ж. р. освен во северните македонски говори, сп. *видó гу жéнуту*, *речé на жéнуту*, *сjс лопáтуту*, *прет кjкуту*, *преко*

ноќту дошле самовиле, вечерту (Куманово [Видоески 1962: 148]), на планинуту, ставил у торбуту, ноќту, вечерту (Кучевиште – Скопско), зеле погачуту, на ногуту (Вратница, Рогачево – Тетовско), наоѓаме и во југоисточните периферни говори, сп.: *ка̀рфтá*, *сма̀ртá*, *раќáта*, *в'áрата*, *душ'ѣта* – во гоцеделчевскиот [Мирчев 1936: 72, 183], *ка̀рфтá*, *сма̀ртá*, *наштá* – во мрвашкиот и зилјаховскиот, одн. *ка̀рфтó*, *сма̀ртó* – во чечкиот [Иванов 1977: 154].

Примерите: *пет'áхто*, *шест'áхто* (: *пет'áх*, *шест'áх*), познати во гоцеделчевскиот и во драмските говори претставуваат остатоци од стариот генитив множина [Мирчев 1958: 83; Иванов 1977: 154].

2.3.8. Од дијалектен аспект интерес може да претставува и дистрибуцијата на некои членски морфеми.

Така, на пример, членот *-то* (во говорите со редукцијата *-ту*) по аналогија од збирната множина (*снопје* – *снопјето*, *лисјето*) се проширил и на именките од м. р. што образуваат множина со наставките *-ове*, *-е*, *-је*, сп. *коње* – *коњето*, *госје* – *госјето*, *мажјето*, *стогóве* – *стогóвето* (Рожден – Мариово), *госје* – *госјето*, *волóве* – *волóвето* (Струмица, Радовиш, Штип, Кочани), *мажје* – *мажјето*, *дрварé* – *дрварéто*, *ковачé* – *ковачéто*, *б'иволје* – *б'иволјето*, *изворје* – *изворјето* (во малешевските, благаевградско-петричките говори), *гости* – *гостити*, *пра̀сти* – *пра̀стити* (← *госте* – *гостето*, *пра̀сте* – *пра̀стето*) (Воден), *дворáвéто*, *свéкур(е)то*, *л'у̀јто* (во гевгелискиот, кукушкниот), *бр'áгувéту*, *појасéту*, *образéту*, *сфáтуфцéту* (во сушковисочкиот говор), *гостето*, *градóвéто* (во серските, драмските, гоцеделчевските говори), *воловéту*, *градинáрету* (Разлог), а во некои говори таа се проширила и на именките од ж. р. што образуваат множина со наставката *-е*, сп. *кóзе* – *кóзето* покрај *мажéто*, *л'у̀дето*, *си́новéто* (Петрич), *о́фцето*, *кóзето*, *ра̀ц(е)то*, *но̀јз(е)то* (Кукуш). Во малешевските говори процесот на аналогијата се запрел само на именките од м. р., сп. *рибарéто*, *орачéто*, *мажéто* – *мажјéто*, но *ра̀це* – *ра̀цете*, *нозéте* (Берово, Пехчево).

Во одделни говори, исто така по морфолошки пат, се наложил членот *-ти* место *-те* кај именките што образуваат множина со наставките *-и*, сп.: *брегóви* – *брегóвити*, *л'у̀ди* – *л'у̀дити*, *де́ци* – *де́цити*, *офчáри-ти*, но: *ни́ве* – *ни́вете*, *годíне* – *годíнете* (во нестрамскиот и костенарискиот говор во Костурско), *бу̀бреци* – *бу̀брецити*, *венци́* – *венци́ти*, и во ж. р. *ра̀ки* – *ра̀кити*, *сáлзити*, на дури и *сáрци* – *сáрцити* (од *сáрце*, веројатно со редукција на *e* во *и*) (с. Дервишан, Зилјаховско).

Во некои говори по морфолошки пат е истиснат членот *-то* и заменет со *-те* во формите на збирната множина, сп. *гробје* – *гробјете*, *колјете*, *камењете*, *лисјете*, *снопјете*, или *камењене*, *камењеве*, *трњене* (во скопскоцрногорскиот, МЈ V 169), *лисјете*, *снопјете* (Вратница, Челопек – Тетовско), *камењете*, *снопјете* (: *рибе* – *рибете*, Кумановско, сп. [Видоески 1962: 149]), и во некои локални говори во Серско, Драмско и Гоцеделчевско: *гостете*, *волóвете* [Иванов 1972, карта 85].

Тенденцијата членската морфема да се управува спрема завршокот на неопределената именка уште подоследно е изразена во горанскиот говор, сп.: *мужи* – *мужити* / *муживи* / *мужини*, *ножои* – *ножоити* / *ножоиви* / *ножоини*, *очи* – *очити* / *-ви*, *-ни*, *камење* – *камењете* / *-ве* / *-не*, *жене* – *женете* / *-ве* / *-не*, датив: *сестрити* / *-ви* / *-ни*, *добројзи* – *добројзити* / *-ви* / *-ни*, дат. мн. *старцитим* / *-вим* / *-ним*, *сестретем*, итн., како и во бобоштенскиот говор, сп.: *старци́ти* – *големити* – *старци́тим*, *сестри́ате* – *сестри́атем*, *големја́те* – *големја́тем*, и др.

3. Нашата цел во овој прилог е да го претставиме целокупниот репертоар на членските морфемии во македонскиот дијалектен јазик и нивната географска и морфолошка дистрибуција а за потребите на Македонскиот дијалектен атлас.

Забелешка: Во текстот ги употребувам следните знаци: /ǎ/ – преден низок фон, /ǎ̃/ – низок лабијализиран фон, /ǎ̃/ – среден не низок фон (=ǎ); точката под самогласките означува дека се тие редуцирани (ǎ̃, ǎ̃̃, ǎ̃̃̃); палатализираноста на согласките ја означуваме со запирка во горниот агол (л', н', т', к', г').

Скратеници

Алексиев 1931	Н. А л е к с и е в. Разлошкият говор // МП, VI, 3, 1931.
Белиќ 1905	А. Б е л и ћ. Дијалекти Источне и Јужне Србије. Београд, 1905.
БДА	Български диалектен атлас, III: Югозападна България. София, 1975.
Видоески 1954	Б. В и д о е с к и. Северните македонски говори // МЈ, V, 1, 2, 1954.
Видоески 1961	Б. В и д о е с к и. Кон разграничувањето на положките говори // Зборник за филологију и лингвистику, IV–V. Нови Сад, 1960–1961.
Видоески 1962	Б. В и д о е с к и. Кумановскиот говор. Скопје, 1962.
Видоески 1963	Б. В и д о е с к и. Македонските дијалекти во светлината на лингвистичкама географија // МЈ, XIII–XIV, 1962–1963.

- Видоески 1982 Б. Видоески. Преспанските говори // Прилози ОЛЛН. МАНУ, VII, 2, 1982.
- Видоески 1984 Б. Видоески. Фонолошкиот систем на говорот на селото Езерец // МЈ, XXXV, 1984.
- Видоески 1985 Б. Видоески. Кон разграничувањето на говорите во Скопско // Прилози ОЛЛН. МАНУ, X, 1, 1985.
- Видоески 1985/1 Б. Видоески. Битолскиот говор // Прилози ОЛЛН. МАНУ, X, 1, 1985.
- Видоески 1986 Б. Видоески. Горанскиот говор // Прилози ОЛЛН. МАНУ, XI, 2, 1986.
- Видоески 1989 Б. Видоески. Говорот на селото Нестрам (Костурско) // Прилози ОЛЛН. МАНУ, XIV, 2, 1989.
- Видоески 1989 Б. Видоески. Петричкиот говор // Прилози ОЛЛН. МАНУ, XIV, 1, 1989.
- Видоески 1990 Б. Видоески. Говорот на селото Секавец // Прилози ОЛЛН. МАНУ, XV, 1, 1991.
- Видоески 1992 Б. Видоески. Говорот на селата Плевна и Горно Броди, Драмско // Прилози ОЛЛН. МАНУ, XVII, 2, 1992.
- Видоески 1993 Б. Видоески. Фонолошкиот и прозодискиот систем на говорот на селото Негован (Солунско) // Прилози ОЛЛН. МАНУ, XVI, 2, 1993.
- Видоески 1994 Б. Видоески. Македонските дијалекти во Егејска Македонија // Македонските дијалекти во Егејска Македонија. Скопје, 1994.
- Голомб 1963 З. Голомб. Два македонски говора (на Сухо и Висока во Солунско) // МЈ, XIII—XIV, 1—2, 1962—1963.
- Иванов 1972 Ѓ. Н. Иванов. Български диалектен атлас. Български говори от Егејска Македонија. Т. I. Сјарско, Драмско, Валовишко и Зиляховско. Софија, 1972.
- Иванов 1977 Ѓ. Н. Иванов. Български преселнически говори. Говорите от Драмско и Сјарско. Софија, 1977.
- Мазон 1936 A. Mazon. Documents, contes et chansons slaves de l'Albanie du Sud. Paris, 1936.
- Малецки 1933 M. Matecki. O różnicowaniu gwar Bogdańska w. pd.-wschodniej Macedonji // Lud słowiański, III, I, 1936.
- Малецки 1934 M. Matecki. Dwie gwary macedońskie. Sucho i Wysoka w Sofuńskim. Część II. Słownik. Kraków, 1936.
- Мирчев 1936 К. Мирчев. Неврокопскиот говор // Годишник на Софийскиот универзитет, XXXII, 1. Софија, 1936.
- Мирчев 1958 К. Мирчев. Историческа граматика на българскиот јазик. Софија, 1958.

Пеев 1979	К. Пеев. Дојранскиот говор // Македонистика. 2. Скопје, 1979.
Пеев 1987	К. Пеев. Кукушкиот говор. I. Скопје, 1987.
Поповски 1970	А. Поповски. Македонскиот говор во гостиварскиот крај. Гостивар, 1970.
Селишчев 1929	А. М. Селишчев. Полог и его болгарское население. София, 1929.
Стоилов 1904	Хр. П. Стоилов. Горно-Джумайски говор. Звукове, форми и образци // СБНУ. София, 1904, кн. 20.
Шклифов 1979	Б. Шклифов. Долнопреспанскиот говор. София, 1979.
МЈ	Македонски јазик. Скопје.
МП	Македонски преглед. София.
Прилози ОЛЈН. МАНУ	Прилози на Одделението за лингвистика и литературна наука. МАНУ. Скопје.
СБНУ	Сборник за народни умотворения, наука и книжнина. София, 1889—. Кн. 1—.

B. Vidoeski

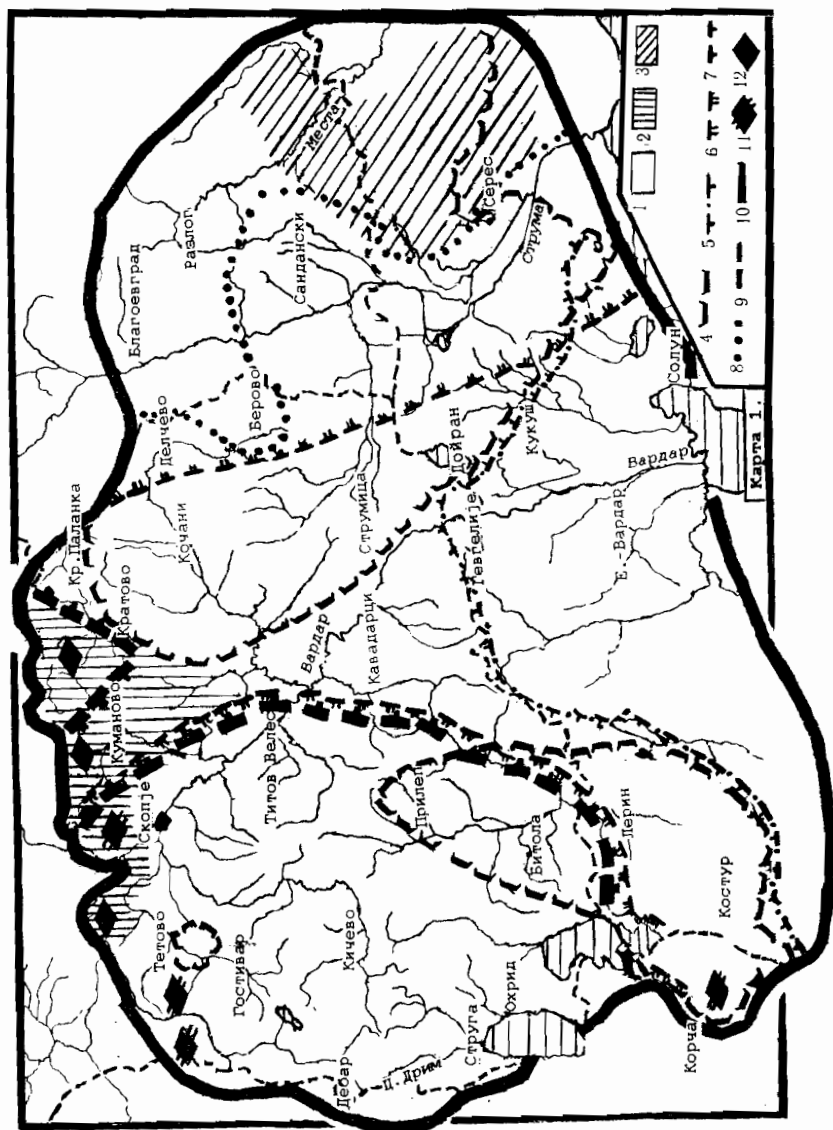
Morphological Variation of the Definite Article in Macedonian Dialects

The author presents the geography of the morphological variation of the definite article in Macedonian dialects.

The Macedonian article is a postpositive bound clitic form which is being attached to the first orthotonic word of the corresponding noun phrase. Depending on the phonological structure of the word involved (its ending on a consonant, a consonant cluster, a vowel) the addition of the article results in numerous changes and may lead to a complete rearrangement of the morphological pattern of whole word classes.

Легенда

1 — <i>-o(m)</i>	7 — <i>-ов, -он, -o(m)</i>
2 — <i>-ǎ(m)</i>	8 — <i>-o/ǎ(m) : -e(m)</i>
3 — <i>-ǎ(-a)</i>	9 — државна граница
4 — без <i>-m(-o, -ǎ, -a, -e)</i>	10 — јазична граница
5 — <i>-y(m)</i>	11 — <i>-того/-тому</i>
6 — <i>бел-j-o(m)</i>	12 — <i>-тога</i> .



Л. В. Вялкина (Москва)

Мотивационные признаки одной лексико-семантической группы (По материалам ОЛА)

Работа с материалами славянских диалектов, собранными для Общеславянского лингвистического атласа (ОЛА), показала, что, кроме интерпретационных карт, предусмотренных программой создания ОЛА, эти материалы содержат интересные данные для так называемых мотивационных карт, позволяющих раскрыть «внутреннее значение», которое мотивирует их конкретную номинативную отнесенность. Таким образом, «...на мотивационной карте картографируются не этимоны в строгом смысле слова, а их мотивации в зависимости от того, насколько они прозрачны и не представляют трудностей» [1].

Идея создания мотивационных карт впервые была осуществлена в Лингвистическом атласе Европы (ЛАЕ). В этом отношении ЛАЕ, по свидетельству М. Алинеи, «представляет собой новшество значительной важности, т. к. в него включены так называемые мотивационные карты, в действительности являющиеся картами сопоставительной семасиологии» [1], поскольку некоторые этимологически различные наименования могут иметь одну и ту же семантическую мотивацию. Создание мотивационных карт возможно только при семантической ясности большинства данных.

Мотивационные карты раскрывают новое перспективное направление для лингвогеографического изучения отношений между диалектами и языками и особенно между большим количеством языков и диалектов различных групп и семей [2]. Мотивационные карты имеются уже в первом томе лексико-словообразовательной серии «Животный мир». Это карты по вопросам 'головастик', 'кузнечик', 'божья коровка', 'светлячок', где наряду со словообразовательным анализом явлений представлены и особенности мотивации. Интересный материал для мотивационных

карт содержится в находящихся в печати следующих томах ОЛА, в частности, в томе «Растительный мир».

Работа по подготовке к печати VI т. лексико-словообразовательной серии «Домашнее хозяйство. Пища и ее приготовление» и связанное с этим изучение ответов на вопросы по славянским диалектам позволили говорить о возможности подготовки мотивационных карт не только по отдельным вопросам, но и по комплексу вопросов, включающих слова одной лексико-семантической группы (ЛСГ). Речь пойдет о вопросах № 1197 'завтрак', № 1198 'обед', № 1200 'еда между обедом и ужином', № 1201 'ужин'. Названные слова входят в ЛСГ, в основе которой лежит обозначение времени, и, в свою очередь, образуют подгруппу, которую можно охарактеризовать как «слова, обозначающие временные отрезки, связанные с принятием пищи».

Среди особенностей данной ЛСГ можно выделить такие, как 1) закрытость, 2) отнесенность почти всех слов к общеславянскому лексическому фонду, 3) известность всем или почти всем современным славянским языкам и диалектам, 4) большое разнообразие по говорам славянских языков [3].

Что касается особенностей семантики, то обращает на себя внимание тот факт, что подавляющее большинство слов этой группы многозначно: в их значениях присутствует и обозначение времени, и сам процесс принятия пищи в определенное время, а иногда и пища, предназначенная для еды в то или иное время. При этом следует отметить, что все значения так или иначе связаны с определенным временным отрезком. Например, русское *обед* может обозначать: 1) обеденное время, 2) процесс принятия пищи в определенное (обеденное) время, 3) еда, предназначенная для обеда.

Другой отличительной особенностью слов этой ЛСГ является то, что в них отразилось взаимовлияние лингвистических и экстралингвистических факторов, а именно: различия по славянским диалектам связаны с климатическими условиями того или иного региона, которые влияют на продолжительность светового дня, на распределение и продолжительность в течение дня сельскохозяйственных работ. В зависимости от времени года и погодных условий интервалы между работой и приемом пищи могут быть разными [4].

Обратимся непосредственно к материалам ОЛА. В основе мотивации слов рассматриваемой ЛСГ могут быть, прежде всего, темпоральные и процессуальные (или предметно-процессуальные признаки: еда — 'пища' и 'процесс еды') признаки, соотносимые с корнями **utr-* (**jutr-*), **ran-*,

dьn-*, **večer-*, **už-* (juž-*), с одной стороны, и **ěd-*, **kqs-* — с другой. Кроме того, выделяются и другие мотивационные признаки, отмеченные в названиях *roč-ьk-ъ*, и производные (условно их можно назвать соматическими), *svač-in-a*, *svojač-in-a*, зафиксированные в чешских и лужицких диалектах и имеющие связь со **svat-*, и, наконец, заимствования.

Следует, однако, отметить, что при общности мотивации слов этой группы несколько выделяются названия вечернего приема пищи — ужина, которые имеют только темпоральную мотивацию. Во всех славянских диалектах употребляются слова с основами *už-* (*juž-*) или *večer-* : *večer* (луж.), *večer-a* (во всех славянских диалектах), суффиксальное *večer-ic-a* (рус.); *už-in-ъ* (рус., бел.), *už-in-a* (рус.), *už-ьn-a* (рус.) [5]. Кроме того, известны заимствования — из латинского: (*vigili*)-*j-a* (польск.), (*kolaci*)-*j-a* (польск.), из итальянского: (*è'è:na*) (с.-хорв.).

В названиях трех других приемов пищи находим противопоставление темпоральной и предметно-процессуальной мотивации. В названиях 'завтрака' связь со временем отражена в *utr-in-a* (макед.), *za-utr-ьk-ъ* (рус., укр., бел.), *za-itr-ik-ъ* (рус.), *jutr-in-a* (с.-хорв.), *za-jutr-ьk-ъ* (слвн., с.-хорв.), *ran-ъ-a-j-ьk-y* (слц.). В названиях 'обеда' — во всех образованиях с *dьn-ь-*, *pol-ъ-dьn-ь*, *pol-u-dьn-ь*, зафиксированных во всех славянских диалектах, кроме словенских и сербскохорватских. Ср.: *pol-ъ-dьn-ь* (рус.), *pol-u-dьn-ь* (укр., бел.), *pol-ъ-dьn-e* (слц., рус.), *pol-u-dьn-ьk-y* (слц., укр.), *pol-u-dьn-ik-ъ* (польск.), *pol-ъ-dьn-ik-ъ* (рус.), *pol-dьn-in-a* (макед.), а также с *už-* (*juž-*), отмеченных в словенских, сербскохорватских и русских: *juž-in-a*, *už-in-a* (слвн., с.-хорв.), *pa-už-ьn-a* [6], *pa-už-in-a* (рус.).

В названиях 'полдника' ('еда между обедом и ужином'): *juž-in-a* (слвн., с.-хорв., макед., польск.), *už-in-a* (слвн., с.-хорв.), *mala už-in-a* (с.-хорв.), *mala juž-in-a* (слвн., с.-хорв.), *mala už-ьn-a* (рус.), *už-in-ьс-е* (с.-хорв.), а также многочисленные приставочные образования в русском. Например, *pa-už-in-ьk-a*, *pa-už-in-ьk-ъ*, *podъ-už-in-a* и др. [7].

Основа **dьn-* известна в македонских и восточнославянских диалектах: *pol-ъ-dьn-ь* (бел., рус.), *pol-ъ-dьn-e* (рус.), *pol-ъ-dьn-ikъ* (бел., рус.), *pol-ъ-dьn-ev-ik-ъ* (рус.), *pol-dьn-in-a* (макед.), *pol-u-dьn-ik-ъ* (рус., укр., бел.) и др.; основа **večer-* — в польских и восточнославянских: *pozdъ-veser-ьk-ъ* (польск.), *podъ-večer-ьk-ъ* (рус.). Темпоральная мотивация и в польск. *pozd-ьn-ik-ъ*.

Предметно-процессуальная мотивация представлена в словах с корнями **ěd-* и **kqs-*. Для названия завтрака основа **ěd-* отмечена во всех славянских диалектах, кроме словенских и сербскохорватских. Это, прежде

всего, *sъn-ěd-a-n-ъj-e* (рус., укр., бел., чеш., слц., луж., польск.), а также *sъn-ěd-a* (рус.), *sъn-ěd-a-n-ъ* (чеш., луж.), *sъn-ěd-a-n-ъj-a* (чеш., польск.), *sъn-ěd-a-n-ъk-ъ* (укр., рус.), *ob-ěd-* (бел., укр., рус.), *po-ěd-ъk-ъ* (макед.), а также словосочетание *ррѵ-ъ ob-ěd-ъ* (рус.). Для названия 'обеда': *ob-ěd-ъ* (во всех славянских диалектах). Для названия 'полдника': *ob-ěd-ъ* (макед., рус.), *podъ-ob-ěd-ъ* (бел.), *po-j-ěd-an-ъk-ъ* (макед.), *medj-ъ ěd-ъn-ik-ъ* и др.

Основа **kqs-* — только в русских диалектах: *kqs-ov-ъn-ik-ъ*, *za-kqs-ъk-a*, *per-kqs-ъk-a*, *per-kqs-ъč-ъk-a*.

Другие мотивационные признаки:

1) связь с **rǫk-* — только в южнославянских диалектах, ср. 'завтрак': *rǫč-ъk-ъ* (слвн., с.-хорв.), *po-rǫč-ъk-ъ* (макед.), *do-rǫč-ъk-ъ* (с.-хорв.), *rǫč-en-ъj-e* (с.-хорв.), *podъ-rǫč-ъk-ъ* (с.-хорв.), *perǫd-rǫč-ъk-ъ* (с.-хорв.), 'обед': *rǫč-ъk-ъ* (с.-хорв.); 2) *sv-ač-in-a* (чеш., луж., польск.), *sv-ač-ъn-j-a* (чеш.) 'полуденный прием пищи'; 3) в южнославянских диалектах (в основном в сербскохорватских), а также в лужицких, польских, русских, украинских для обозначения завтрака известны заимствования, имеющие, как правило, единичные употребления: из немецкого — (*frühstück*)-ъ (слвн., с.-хорв., слц., польск., укр., рус.), (*frühstück*)-a (луж.), (*frühstückel*)-ъ (с.-хорв.), из итальянского — (*colation*)-ъ (слвн., с.-хорв.), (*merend*)-a (с.-хорв.); 4) кроме того, отмечены *per-xvat-ъk-a* (рус.), *per-xop-ъk-a*, *po-xap-ъk-a* (с.-хорв.).

В заключение следует сказать, что классификация явлений по общности мотивации позволяет рассматривать и картографировать разные названия как соотносительные. В качестве иллюстраций высказанных положений приводятся фрагменты мотивационных карт для разных славянских территорий по вопросам № 1198 (обед) и № 1200 (еда между обедом и ужином).

Примечания

- [1] М. А л и н е и. Лингвистический атлас Европы: принципы создания, проблемы, перспективы // ОЛА. Мат-лы и иссл. М., 1989, с. 75.
- [2] Общеславянский лингвистический атлас. Серия лексико-словообразовательная. Вып. I. Животный мир. М., 1988, с. 9.
- [3] Подробнее: Л. В. В я л к и н а. Об одной лексико-семантической группе в славянских языках (слова, обозначающие временные отрезки, связанные с приемом пищи) // ОЛА. Мат-лы и иссл., 1975.

- [4] На такую взаимосвязь указывают многие исследователи. Из последних работ можно назвать статью: О. Е. Кармакова. Лексические карты: методика составления и интерпретация // Русские диалекты. Лингвогеографический аспект. М., 1987, с. 187. Подтверждение высказанных выше положений находим и в материалах ОЛА. Так, лексема *ob-ěd-ъ* в славянских диалектах употребляется в значениях 'завтрак', 'обед' (на всей территории Славии) и 'полдник', *juž-in-a* значит не только 'ужин', но и 'полдник', *pol-ъ-dъn-ik-ъ* и производные имеют значение не только 'еда между обедом и ужином', но и 'обед' и т. д. (см. ниже).
- [5] Здесь и далее все примеры даются в так называемой обобщающей транскрипции, разработанной специально для ОЛА. См.: Общеславянский лингвистический атлас. Общие принципы. Справочные материалы. Вступительный выпуск. М., 1994.
- [6] В русских говорах на компактной территории это слово дается с пометкой 'еда на **позних** днем'.
- [7] Показательно, что в словах данной ЛСГ вообще очень распространены приставочные образования, в которых приставки служат целям темпоральной мотивации. Это особенно характерно для слов-обозначений 'полдника'. Это или время после обеда: *pa-ob-ěd-ъ* (русские), или **перед ужином**: *perđ-večer-ъk-ъ* (польские).

L. Vyalkina

Motivational Features of one Lexical-semantic Word-group (On the Material of the Slavic Linguistic Atlas)

The article is based on the concept of compiling motivational maps for the Slavic Linguistic Atlas. The possibility of using unified methods of cartographing of word-groups with differing semantics is shown on the material of words referring to the lexical group having common motivation (breakfast, dinner, meal between dinner and supper).

Пояснения к картам

КАРТА 1

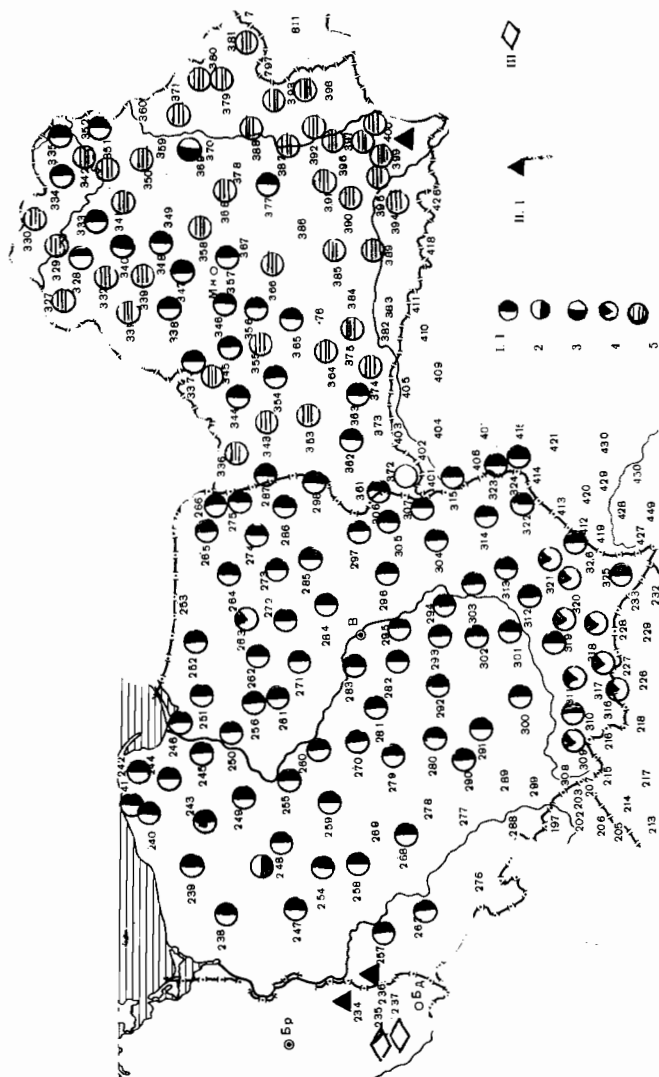
- I. Темпоральная мотивация: 1. *juž-in-a*, 2. *už-in-a*, 3. *pol-dъn-in-a*.
- II. Процессуальная мотивация: 1. *ob-ěd-ъ*, 2. *kps-i-dl-o*.
- III. Иная мотивация: 1. *grč-ъk-ъ*.

КАРТА 2

- I. Темпоральная мотивация: 1. *podъ-večer-ъk-ъ*, 2. *perđ-večer-ъk-ъ*, 3. *podъ-večer-a*, 4. *juž-in-a*, 5. *pol-ъ-dъn-ъ* и производные.
- II. Процессуальная мотивация: I. Образования с корнем * *ed-*.
- III. Иная мотивация: I.

КАРТА 2

Фрагмент мотивационной карты по L 1200 'еда между обедом и ужином'
(говоры Беларуси, Польши, Лужицы)



J. Dudášová-Kriššáková (Prešov)

Jazyk Slovákov v Pol'sku

-

1.1. Slováci v Pol'sku obývajú dve rozlohou nevel'ké, kompaktné oblasti — Oravu a Spiš, ktoré oddel'uje historicky pol'ské Podhalie (pol'ské Tatry a okolie). Celkove ide o územie na rozlohe 583 km², na ktorom žilo podľa výsledkov prvého povojnového sčítania obyvateľ'stva v Pol'sku z r. 1921 22.684 obyvateľ'ov [1].

Pol'skú časť Oravy tvorí 13 dedín a pol'skú časť Spiša tvorí 14 dedín (porov. mapku goralských nárečí).

Dejiny Slovákov v Pol'sku sa začali písať pomerne neskoro. Ich začiatok spadá do obdobia vzniku prvej Československej republiky r. 1918 a bezprostredne súvisí s úpravou hraníc r. 1920 na tzv. sporných územiach, zahrňujúcich okrem Těšínska aj Oravu a Spiš. Spor o uvedené územie medzi Pol'skom a Československom trval takmer dva roky. Vo všetkých troch prípadoch Pol'sko presadzovalo svoje územné nároky vojensky: Těšínsko obsadilo začiatkom novembra 1918 a severné časti Oravy a Spiša koncom roka 1918. Preto do vojnového konfliktu medzi Československom a Pol'skom zasiahli dohodové veľmoci, ktoré stanovili novú demarkačnú líniu a ktoré zároveň rozhodli, že spor sa dostal na program rokovania mierovej konferencie v Paríži [2].

A tak 28. júla 1920 konferencia veľvyslancov, ktorá bola medzinárodným výkonným orgánom mierovej konferencie v Paríži, prijala rozhodnutie o priebehu novej československo-pol'skej hranice na Těšínsku, Orave a Spiši. Na základe tohto rozhodnutia bola pričlenená k Pol'sku severovýchodná časť Oravy a severozápadná časť Zamaguria na Spiši. (Na Těšínsku bol priebeh československo-pol'skej hranice stanovený tak, že zabezpečoval hospodárske záujmy Československa).

Tým sa natrvalo (s výnimkou krátkych šiestich rokov za trvania prvej Slovenskej republiky 1939–1945) spečatil osud týchto oravských a spiš-

ských Slovákov, ktorí sa na samom prahu národnej slobody, ktorým zrod prvej Československej republiky pre Slovákov nepochybne bol, dostali do postavenia národnostnej menšiny v Poľsku. Smutné na tom je to, že títo Slováci ani nemali možnosť uplatniť svoje sebaurčovací právo, keď sa v rokoch 1918–1920 rozhodovalo o ich osude, lebo plebiscit sa nekonal. Je viac ako isté, že keby sa plebiscit na spornom území Oravy a Spiša bol konal, hlasovanie by bolo skončilo v neprospech územných nárokov Poľska.

1.2. Aká je genéza tohto oravsko-spišského problému? O ktoré fakty sa opierali poľskí predstavitelia, keď zdôrazňovali poľský charakter Oravy a Spiša? Boli to predovšetkým jazykové fakty, ktoré obratne a proti historickému pravde stotožnili s otázkou národnej príslušnosti oravského a spišského obyvateľstva.

Totíž v severných regiónoch Spiša, Oravy, ako aj Kysúc a v enklávach na Liptove a Gemeri sa vyskytujú goralské nárečia, ktoré majú poľský základ, čo slovenská jazykoveda nikdy nepopierala. Avšak goralské obyvateľstvo hovoriace týmto pôvodne poľským dialektom (na slovenskom i poľskom území) má slovenské národné povedomie, ktoré sa vyvíjalo v úzkej symbióze s národným povedomím slovenského obyvateľstva.

Ako je známe, historicko-spoločenský, politický a kultúrny vývin goralských oblastí a goralského obyvateľstva neprebíhal izolovane od historicko-spoločenských, politických a kultúrnych dejín Slovenska a slovenského národa, lebo tieto regióny v priebehu celých dejín Slovenska až do r. 1920 tvorili jeho integrálnu súčasť. Preto aj otázku formovania slovenského národného povedomia goralského obyvateľstva treba skúmať v kontexte dejín slovenského národa. Riešenie tejto otázky mimo uvedeného kontextu, opierajúce sa iba o genézu goralských nárečí a pôvod goralského obyvateľstva z obdobia pred kolonizáciou goralských oblastí, vyznieva nevedecky.

Z tohto hľadiska pristupujeme aj k hodnoteniu staršej poľskej literatúry, vrátane tej, ktorá vznikla na spoločenskú objednávku v rokoch 1918–1920, resp. tesne predtým, a ktorá politicky zneužila jazykové fakty, zamlčiac, resp. ignorujúc údaje o slovenskom národnom povedomí goralského obyvateľstva.

1.3. Avšak ani téza o poľskom jazykovom charaktere Oravy a Spiša, ktorá je dodnes živá v poľskej jazykovede, nie je úplne jednoznačná. Je pravda, že goralské nárečia majú poľský jazykový základ, čo nemusíme nejakým zvlášť dokazovať. Ale je tiež pravda, že výraznú súčasť systému goralských nárečí tvoria zmeny, motivované alebo stimulované vonkajším vplyvom slovenských nárečí. V dôsledku týchto zmien sa goralské nárečia na jednej strane vývinovo priblížili k slovenským nárečiam a na druhej strane sa vývinovo vzdialili od poľských nárečí, s ktorými geneticky súvisia.

Čím sa goralské nárečia líšia od slovenských nárečí a čo ich spája s pol'skými nárečiami? Na túto otázku možno odpovedať z diachrónneho hľadiska, pretože v priebehu vývinu goralských nárečí v podmienkach slovensko-pol'ských jazykových kontaktov a slovensko-pol'ského bilingvizmu sa na seba navrstvili dve zásadne sa od seba odlišujúce skupiny javov. Staršiu, geneticky pol'skú vrstvu javov tvoria tie zmeny, ktorí sa vykonali aj v ostatných pol'ských nárečiach v období ich interného vývinu, t. j. do 15. stor. V období po 15. stor. v goralských nárečiach ďalšie zmeny, smerujúce k ich vnútornej diferenciacii, nevznikajú, ale doznievajú vývinové tendencie z predchádzajúceho obdobia.

Keďže goralské nárečia sa po kolonizácii goralských oblastí (zhruba medzi 14.–18. stor.) vyvíjali v podmienkach slovensko-pol'ského bilingvizmu a slovensko-pol'ských jazykových kontaktov, vývin goralských nárečí sa v novšom období, t. j. približne po 15. stor. uberal smerom k integrácii so slovenskými nárečiami.

Pretože v procese slovensko-pol'skej jazykovej interferencie ako modelový systém pôsobili slovenské nárečia, vývin sa uberal podľa slovenského modelu. Tým sa začala utvárať druhá vrstva zmien, vývinovo mladšia, ktorá sa navrstvila v procese dlhodobých a intenzívnych slovensko-pol'ských jazykových kontaktov na staršie, geneticky pol'ské zmeny. To je vlastne tá druhá osobitosť goralských nárečí, čím sa odlišujú od pol'ských nárečí a čo ich spája so slovenskými nárečiami. Na jednej strane je to pol'ský jazykový systém, na druhej strane sú to výrazné zmeny v tomto pol'skom systéme, spôsobené vonkajším vplyvom slovenských nárečí. Štúdium týchto javov má veľký význam tak pre slovenskú dialektológiu a dejiny slovenského jazyka, ako aj pre pol'skú dialektológiu a dejiny pol'ského jazyka. Vývinové tendencie smerujúce k integrácii goralských nárečí so slovenskými nárečiami sú veľmi výrazné a nemožno ich nebrať do úvahy [3].

2.1. V ďalšej časti uvedieme prehľad najdôležitejších pol'ských znakov goralských nárečí vo zvukovej a morfologickej rovine, ako aj systémových zmien slovenskej realizácie, ktoré sa navrstvili na pôvodný pol'ský základ v procese slovensko-pol'skej jazykovej interferencie.

2.1.1. Pol'ská realizácia metatézy likvid psl. skupín *tort, toll*, napr.: *glova (hlava), broda (brada), zloto (zlato), vlos (vlas), zdroy (zdravý)*. Je to jeden z najstarších diferenčných javov, odlišujúcich celú severnú (východolehickú a lužickosrbskú) oblasť od česko-slovenskej oblasti západoslovenského makroareálu. Tvary so slovenskou realizáciou *trat, tlat* sa v goralských nárečiach vyskytujú sporadicky a majú charakter lexikálnych výpožičiek.

2.1.2. Poľská dispalatalizácia psl. samohlások predného radu a mäkkých slabičných sonant *ž, e, ɛ, r', l'* v pozícii pred predojazyčnými *t, d, n, r, l, (l)* *l, s, z* na 'a, 'o, ɔ, ɛ, ɪ. Dispatalizácia sa pokladá za jeden z najcharakteristickejších znakov lechickej podskupiny a predpokladá sa, že sa vykonala ešte pred 10. stor., t. j. pred zánikom a vokalizáciou jerov. Jej trvalým dôsledkom sú morfonologické alternácie, napr.: *ú^lara* – *ú^lerić* (*viera* – *verit'*), *bi^lly* – *bi^ll'ic* (*biely* – *bielit'*), *kośc^ol* – *f^okośc^el'e* (*kostol* – *v kostole*), *pscola* (*včela*), *colo* (*čelo*), *twardy* – *t^lierżić* (*tvrдый* – *tvrđit'*), *corny* – *ocyrñic* (*čierny* – *očiernit'*), *pi^lyc* – *pi^lonty* (*pät'* – *piaty*), *Ś^lontki* (*sviatky* – *názov Turíc*). Vplyvom tvaroslovnej analógie mnohé alternácie v poľských nárečiach podobne ako v goralských dialektoch zanikli, napr.: *hes^e*, *hesym* – *hes^es*, *bi^le-re*, *bi^lerym* – *bi^leres*, *ú^lesna*, *m^letla* a pod.

2.1.3. Pôvodná opozícia *g – ch*, ktorá je charakteristická pre poľštinu a väčšinu poľských nárečí, sa vyskytuje iba v časti goralských nárečí (v oravských na slovenskom území, v kysuckých a v nárečiach enkláv). V spišských a oravských goralských nárečiach na poľskom území, ako aj v Rabči, Rabčiciach, Hladovke a Suchej Hore (na slovenskom území), sa vykonala zmena *ch > h*, ktorá sa rozšírila v procese slovensko-poľskej jazykovej interferencie zo spišských slovenských nárečí. Uvedená zmena bola štruktúrne podmienená tým, že hláska *ch* má v goralských nárečiach oslabenú pozíciu (v morfológických pozíciách podlieha zmene na *-k* alebo *-f*: *o bratak*, *śostrak*, *żecak*, *bylek*, *volalak* (o bratoch, sestrách, det'och, bol som, volala som – v oravských nárečiach), *o brataf*, *śostraf*, *żecaf*, *bylef*, *volalaf* (v spišských nárečiach), napr.: *x^hożić* // *hożić* (chodiť'), *x^hory* // *hory* (chorý), *x^hodñik* // *hodñik* (chodník), *muxa* // *muha* (*mucha*), *gory* (hory), *godac* (hovoriť'), *goly* (holý), *grabić* (hrabat').

V nárečiach goralských enkláv enklav sa v dôsledku slovensko-poľskej jazykovej interferencie vyvinula nová opozícia typická pre slovenské nárečia *h – ch*, napr.: *hora* (*hora*, *les*) – *xora* (*chorá*), *hore* (*hore*) – *xore* (*choré*), *hożić* (*hodit'*) – *xożić* (*chodit'*).

2.1.4. Konsonantická mäkkostná korelácia je základnou črtou konsonantického systému goralských nárečí, čím je podmienený pomerne vysoký počet spoluhlások. Preto sa goralské nárečia tak ako poľština a poľské nárečia zaradujú k tzv. konsonantickému typu, v ktorom sa systematicky rozlišujú tvrdé a mäkké spoluhlásky vo všetkých artikuláčnych radoch.

Vplyvom slovenských nárečí ustupuje táto výrazná diferenčná črta konsonantického systému goralských nárečí, čo spôsobuje zjednodušovanie spoluhláskového systému i znižovanie počtu foném. Depalatalizácia v goralských nárečiach má ohraničený charakter, lebo sa spravidla vzťahuje na la-

biály i veláry a prebieha len v pozícii pred vokálmi predného radu *e*, *y* < \bar{e} , *i*. Jej nerovnaký priebeh v jednotlivých skupinách goralských nárečí je podmienený odlišnou jazykovou situáciou v jednotlivých goralských regiónoch i odlišnou intenzitou slovensko-pol'ských jazykových kontaktov.

Depalatalizačné zmeny zasiahli najmä nárečia enkláv a južné časti kompaktných goralských oblastí na Kysuciach, Orave (Hladovka) a Spiši (v poriečí Popradu a vo viacerých zamagurských obciach), napr.: *pec*, *svečka*, *piť*, *pamjat'*, *robjo*, *pjasæk* (Pohorelá – je to jediná obec, v ktorej zanikli mäkké pernice v každej pozícii), *vyra* – *veríc*, *peklo*, *cebe*, *ze žyme* (*Huty*), *slotke* – *slotkego*, *droge grul'e*, *cukerki*, *gel'ata* (Slovenská Ves), *ogyň*, *slotki* – *slotkigo*, (Ošadnica – v kysuckých goralských nárečiach a v enklávach s kysuckou genézou [Pohorelá, Liptovská Teplička] sa uskutočnila depalatalizácia mäkkých pernic i velár).

2.1.5. Opozícia *i* – *y*, pričom hláska *y* je samostatnou fonémou, ktorá sa ako striednica za *psl. y* a staropol'ské \bar{e} vyskytuje po tvrdých aj mäkkých spoluhláskach, napr.: *mlody* (*mladý*), *vygnać* (*vyhnať*), *syr* (*syr*), *hl'yp* (*chlieb*), *ml'yko* (*mlieko*), *vyter* (*vietor*). Fonéma *y* pomerne dobre odoláva vonkajšiemu vplyvu slovenských nárečí, čo je štruktúrne podmienené tým, že pre konsonantický systém je charakteristická tvrdostno-mäkkostná korelácia. Jednako aj táto opozícia začína podliehať zmenám, ktoré sú motivované vonkajším vplyvom slovenských nárečí a ktoré vedú k zjednodušeniu vokalického systému. Zmena *y* > *i* sa uskutočnila v každej pozícii iba v nárečí Podsadku, kým v nárečí susednej Starej L'ubovne sa tendencia k redukcii *y* prejavuje v zmenách *y* > *i* a *y* > *e*.

2.1.6. Ďalšou typickou pol'skou črtou goralských nárečí je tzv. mazurenie, t. j. zmena tupých sykaviek na ostré: *š*, *ž*, *č*, *ž* > *s*, *z*, *c*, *z* napr.: *syrok'i* (*široký*), *zolondek* (*žalúdok*), *copka* (*čiapka*), *drozže* (*droždie*). Iba v goralskom nárečí v okolí Starej L'ubovne nie je mazurenie, čo je výsledkom pol'sko-slovenských jazykových kontaktov. Starol'ubovniansky hrad, ako je známe, bol niekoľko storočí sídlom pol'ského gubernátora, ktorý odtiaľ spravoval celé založené územie na Spiši, čo zanechalo viaceré stopy v starol'ubovnianskom dialekte.

2.1.7. Frikatívne *ř* ako relikť staropol'skej zmeny *r'* > *r* z 13. stor. sa vyskytuje v oravských, spišských (na Zamagurí) goralských nárečiach a v Skalitom na Kysuciach, napr.: *řezać* (*rezať*), *střyl'ać* (*striel'at'*), *řepa* (názov zemiakov na Orave), *řyka* (*rieka*), *řotk'i* (*riedky*).

V južných častiach kompaktných oblastí na Spiši, Kysuciach a v nárečiach enkláv fonéma *ř* zanikla a splynula s *r*. Vplyv slovenských nárečí ako pôsobiaceho systému sa prejavil jednak v tom, že stimuloval vnútornú vývinovú tendenciu k zániku *ř*, jednak v tom, že pôsobil na výber jazykových

prostriedkov, čo v danom prípade viedlo k defonologizácii vlastnosti sykavkového šumu fonémy *r̥* a k splynutiu *r̥* s *r*.

2.1.8. Nosovky sa v goralských nárečiach nezachovali ako samostatné fonémy, pretože sa vyskytujú iba v pozícii pred úžínovými spoluhláskami, kým v pozícii pred záverovými spoluhláskami alebo na konci slova podľahli rozkladu na spojenia vokál + nazála, prípadne stratili vlastnosť nazálnosti, napr.: *gyś*, (*hus*), *gysty* (*hustý*), *kõsek* (*kúsok*), *kõžyl'* (*kúdel'*), *zomb* – *zymby* (*zub* – *zuby*), *kont* – *f* *kõce* (*kút* – *v kúte*), *pynta* (*päta*), *pyć* – *pynty* (*pät'* – *piaty*), *mome glymboko stũdhe* (*máme hlbokú studňu* – v oravských nárečiach), *ũzym mojom mame* (*vidím moju mamu* – v spišských nárečiach), s tom dobrom babom (s tou dobrou ženou – vo všetkých goralských nárečiach).

Tvary typu *bede*, *ide*, *hesē* (1. os. sg.), *bedo*, *ido*, *hesō* (3. os. pl.), *ũze mojo mame* (akuz. sg.) sú charakteristickou črtou oravských goralských nárečí a vyvinuli sa v dôsledku straty nosovosti pôvodných nosoviek. Proces rozkladu nosoviek na spojenia vokál + nazála vo väčšej miere zasiahol spišské a kysucké goralské nárečia, kde sa vyskytujú tvary typu *bedom*, *hesom*, *idom* (3. os. pl.), kým tvary *bedym*, *hesym*, *idym* (1. os. sg.) nevznikli procesom rozkladu nosoviek, ale v dôsledku vonkajšieho vplyvu slovenských nárečí a rozšírenia jednotnej osobnej prípony *-m* v 1. os. sg. všetkých typov slovík.

V nárečiach enkláv však vývin pokročil najďalej a nosovky podľahli rozkladu na spojenia vokál + nazála aj v pozícii pred úžínovými spoluhláskami. Preto v tejto časti goralských nárečí nosovky úplne zanikli a boli nahradené bifonémickými spojeniami, napr.: *kõsek* (*kúsok*), *cynsto* (*často*), *mynso* (*mäso*), *gynś* (*hus*). V nárečí Pohorelej a Liptovskej Tepličky sa denazalizácia vykonala podľahlo slovenského modelu a pôvodné nosovky *ɛ*, *o* boli nahradené striednicami *u*, *'a*, *a*, napr.: *ruka*, *mu'tit'*, *hr'ada*, *pamjat'*, *svjatak*.

2.1.9. Goralské nárečia nepoznajú kvantitu, ktorá podobne ako v poľštine a poľských nárečiach zanikla v 15. stor., a pôvodne dlhé samohlásky podľahli kvalitatívnym zmenám. Priamym dôsledkom tohto prechodu kvantity na kvalitu bol vznik tzv. zúžených samohlások *ạ*, *ẹ*, *ọ*. Z uvedených troch samohlások sa vo všetkých skupinách vyskytuje iba zúžené *ọ*, ktoré tvorí so samohláskou *y* opozíciu, a zúžené *ẹ* iba v nárečí Pohorelej. Zúžené *ạ* splynulo s hláskou *o*, napr.: *stõl* (*stõl*), *kõh* (*kõh*), *dom* (*dom*), *dobro baba* (*dobrá žena*), *trova* (*tráva*), *copka* (*čiapka*), *mom* – *mos* – *mo* (*mám* – *máš* – *má*).

V dôsledku intenzívnych slovensko-poľských jazykových kontaktov však v nárečiach enkláv a v južných častiach kompaktných goralských oblastí ustúpila staropoľská zmena *ạ* > *o* a hlásky *o* ako striednica za zúžené *ạ* bola nahradená fonémou *a*. Východiskom tejto zmeny je analogické vyrovnávanie tvarov typu

dobro baba > *dobra baba*, odkiaľ sa rozšírila aj do fonologických pozícií typu *trava, svak, (mom) – mas – ma*.

2.1.10. Labializované ^u*o* ako výrazná diferencná črta vokalickeho systému goralských nárečí sa vyskytuje iba v oravskej skupine, kým v iných skupinách goralských nárečí zaniklo v dôsledku slovensko-pol'skej jazykovej interferencie. Labializované ^u*o* zaniklo v dôsledku delabializácie čiže oslabenia dištintívneho príznaku labializovanosti. Uvedený jav možno hodnotiť spolu so zmenou *a* > *o* > *a* (3.3.9.) ako tendenciu k delabializácii samohlások zadného radu, motivovanú vonkajším vplyvom slovenských nárečí.

2.1.11. Opozícia *l – l'*, ktorá sa vyskytuje v prevažnej väčšine goralských nárečí, je tiež výsledkom intenzívnych slovensko-pol'ských jazykových kontaktov. Uvedená opozícia nahradila pôvodnú trojčlennú opozíciu laterál, ktorá je charakteristická pre pol'stinu a väčšinu pol'ských nárečí *l – l – l'* (*skala – skale – skal'isty*), napr.: *plakać* (plakat'), *skala* (skala), *łoži* (vlani), *pl'uca* (pl'úca), *l'ato* (leto), *l'uže* (l'udia).

2.1.12. V morfológickom systéme goralských nárečí sa vplyv slovenských nárečí prejavuje predovšetkým v analogickom vyrovnávaní tvarov. K typickým tvaroslovným slovakizmom patrí rozšírenie tvarov typu *bedym, idym* namiesto pôvodných tvarov *bede, ide*. Tvary s jednotnou osobnou príponou *-m* v I. os. jedn. č. sa vyskytujú nielen v prevažnej väčšine goralských nárečí, ale aj v susedných pol'ských nárečiach (podhalských, živeckých, južných sliezskych a lašských), takže izoglosa tohto javu zaberá pomerne rozsiahly areál na slovensko-pol'skom a slovensko-česko-pol'skom jazykovom pomedzí. (V prípade južných sliezskych a lašských nárečí tvary *bedym, hesym* mohli vzniknúť rozkladom nosovky *-ę* > *-ym*, pretože v tejto oblasti sa vyskytujú tvary s rozloženou nosovkou aj v akuz. sg. podst. m. žen. a str. r. *krovym, cel'ym*).

Tvary s pôvodnou osobnou príponou *-e* v I. os. jedn. č. (*bede, ide*) sa zachovali v oravských goralských nárečiach (najmä na slovenskom území) a ako relikty v šiestich obciach na Spiši (Vyšné Ružbachy, Nižné Ružbachy, Lacková, Forbasy, Pílhov, Kače). Pre oravské goralské nárečia na pol'skej strane sú charakteristické obidva tvary a pôvodné tvary s osobnou príponou *-e* používajú príslušníci staršej generácie a tvare s osobnou príponou *-m* príslušníci mladšej generácie.

2.1.13. So všeobecným rozšírením osobnej prípony *-m* súvisí aj analogické vyrovnávanie koreňovej morfémy slovies typu *mozym – mozymy – mozom*. Uvedený jav sa vyskytuje na tej istej oblasti goralských nárečí, na ktorej funguje jednotná osobná prípona *-m*. Neprítomnosť tohto analogického vyrovnávania je charakteristická pre tie goralské nárečia, v ktorých sa udržala pôvodná osob-

ná prípona *-e*. V oravských goralských nárečiach na poľskom území, v ktorých fungujú dvojtvary *bede // bedym*, *ide // idym*, je situácia nejednotná. Popri tvaroch s jednotnou koreňovou morfému *moz-*, *p^{ie}c-* (Jablonka, Chyžné, Malá Lipnica, Podvlk, Pekelník) fungujú tvary *moge*, *p^{ie}ke* – *mogymy // mogyme*, *p^{ie}ekymy // p^{ie}ekyme* – *mogo*, *p^{ie}eko*. (Z hl'adiska slovensko-poľských jazykových kontaktov je zaujímavé, že v podhalských nárečiach, ktoré sú v bezprostrednom kontakte so spišskými a oravskými nárečiami, je rozšírená osobná prípona *-m* v l. os. jedn. č. a ako variantná prípona *-me* v os. mn. č., ale analogické vyrovnanie koreňovej morfémy sa vykonalo podl'a tvarov v l. os. jedn. č. a 3. os. mn. č., napr.: *mogym – mogymy // mogyme – mogom*).

2.1.14. Osobná prípona *-me* v l. os. mn. č. je tiež rozšírená vo väčšine goralských nárečí: v kysuckých, oravských nárečiach (vo všetkých obciach na slovenskej strane a v troch obciach [Chyžné, Oravka, Podvlk] na poľskej strane), v nárečí enkláv a v časti spišských nárečí. Výskyt tvarov *bedyme*, *idyme* v spišských goralských nárečiach je územne diferencovaný. Kým na poľskom území izoglosa tohto javu zaberá kompaktnú oblasť (Čierna Hora, Durštin, Falštin, Fridman, Lapsanka, Nedeca, Nová Belá, Tribš, Vyšné Lapše), na slovenskom území dominujú tvary s pôvodnou osobnou príponou *-my* a tvary s osobnou príponou *-me* sa vyskytujú sčasti v poriečí Popradu (Malý Slavkov, Jurské, Krížová Ves, Kolačkov, Podsadek) a sčasti v tatranskej oblasti a v Zamagurí (Javorina, Haligovce).

2.1.15. Tendencia k uniformite tvarov sa najvýraznejšie prejavila v spišských goralských nárečiach (najmä v južnej časti), ktoré zarad'ujeme medzi prechodné slovensko-poľské nárečia. Preto táto časť spišských nárečí pozná aj také zmeny, ktoré sa neuskutočnili v ostatných goralských regiónoch. Sú to predovšetkým zmeny v gramatických tvaroch, súvisiace s nerozlišovaním kategórie rodu. Vplyvom okolitých východoslovenských spišských a šarišských nárečí zaniklo rozlišovanie kategórie rodu pri číslovke *dva* v spojení s podstatnými menami všetkých rodov (Podsadek, Stará L'ubovňa, Krížová Ves, Malý Slavkov, Slovenská Ves, Vojňany, Vyšné Ružbachy). Preto sa v uvedených obciach ležiacich v poriečí Popradu používa jednotný tvar číslovky *dva* (*dva // dvojmí hlopi*, *dva stoly*, *baby*, *japka*), kým v ostatných goralských nárečiach sa udržal pôvodný stav (*dva hlopi // xlopi*, *japka*, *d^uie baby*).

Do tejto skupiny zmien patrí aj nerozlišovanie menného rodu pri tvorení tvarov préterita v množnom čísle, napr.: *hlopi*, *baby*, *žeci rob'il'i*, ktoré sa vyskytujú tiež len v južnej časti spišských goralských nárečí. V ostatných spišských nárečiach, ako aj iných skupinách goralských nárečí sa kategória menného rodu v uvedených tvaroch rozlišuje (*hlopi rob'il'i*, *baby*, *žeci robily*), čo patrí tiež k dôležitým diferenčným črtám morfológického systému.

2.1.16. Napokon k morfológickým slovakizmom, vyskytujúcim sa vo všetkých goralských nárečiach s presahom do podhalských nárečí, patrí vnútroparadigmatické vyrovnanie dat. – lok. sg. v skloňovaní životných podstatných mien, napr.: *ku svagroví, o bratoví, dej učiteľ'ovi, o Jōskoí*. V paradigme neživotných maskulín sa v goralských nárečiach na rozdiel od poľštiny a poľských nárečí pádová prípona – *ovi* nevyskytuje, napr.: *idym ku ofsu, pož bli-zi ku vozu, zyl'i o hl'eb'e a vože, na kořcu žežiny, ku jarcu – o jarcu*.

2.2. Okrem týchto zmien, ktoré sú rozšírené systémovo, sa vo všetkých skupinách goralských nárečí vyskytuje celý rad fonologických a morfológických zmien rozšírených fakultatívne. Fakultatívne javy, ktoré majú paralelnú realizáciu poľskú a slovenskú, svedčia o tom, že proces slovensko-poľskej jazykovej interferencie v goralských nárečiach pokračuje.

3.1. V našom príspevku sme sa snažili predstaviť problematiku goralských nárečí, vnímanú slovenskými očami a interpretovanú z pohľadu slovenskej jazykovedy. Poľskí bádatelia položili základy výskumu goralských nárečí, zameriavajúc svoju pozornosť na opis ich poľskej štruktúry. Na rade sú slovenskí bádatelia, aby vniesli nový pohľad do výskumu goralských nárečí a goralských regiónov a aby doplnili jestvujúce údaje o výskum slovenských javov, ktoré sa tu v hojnej miere vyskytujú.

Zoznam obcí a ich skratky

Bukovina	B	Kolačkov	Ko
Čierne	Č	Krempach	K
Čierna Hora	ČH	Krížová Ves	KV
Červený Kláštor	ČK	Lacková	Lá
Durštín	Du	Lapšanka	La
Dolná Zubrica	DZ	Lendak	Le
Falštín	Fa	Lechnica	Lch
Forbasy	Fo	Lesnica	Ls
Fridman	Fr	Liptovská Lúžna	LL
Hágy	Hy	Liptovská Teplička	LT
Haligovce	Hg	Lysá nad Dunajcom	LnD
Harbakúz	Ha	Lom nad Rimavicou	LnR
Hladovka	Hl	Majere	Mj
Horelica	Ho	Matiašovce	Mt
Huty	H	Mutné	Mu
Horná Zubrica	HZ	Malé Borové	MB
Chyžné	Ch	Malá Franková	MF
Jablonka	J	Malá Lipnica	ML
Javorina	Ja	Malý Slavkov	MS
Jezersko	Jo	Mníšek nad Popradom	MnP
Jurgov	Jr	Nedeca	Ne
Jurské	Ju	Nová Belá	NB
Kacvín	Ka	Nová Ľubovňa	NL'
Kače (časť Mnišku nad Popradom)	Kč	Nižné Lapše	NL

Nižné Ružbachy	NR	Skalité	Sk
Oravka	O	Svrčinovec	Sv
Ošadnica	Oš	Slovenská Ves	SV
Oravská Lesná	OL	Spišské Hanušovce	SpH
Oravská Polhora	OP	Spišská Stará Ves	SSV
Oravské Veselé	OV	Stará Ľubovňa	STL'
Pekelník	Pk	Tribiš	Tr
Pilhov	Pi	Vojňany	Vo
Podsklie	Psk	Veľké Borové	VB
Podsranie	Ps	Veľká Franková	VF
Podvľk	Pv	Veľká Lesná	VL
Pohorelá	Po	Veľká Lipnica	VLi
Rabča	Rb	Vyšné Lapše	VLa
Rabčice	Rč	Vyšné Ružbachy	VR
Rel'ov	Re	Zákamenné	Zá
Repiská	R	Zálesie	Zál
Sihelné	Si	Ždiar	Žd

Poznámky

- [1] J. Čongva. K dejinám Slovákov v Poľsku a k ich kultúrnemu vývinu. In *Zahraničení Slováci a národné kultúrne dedičstvo*. Matica slovenská, 1984, s. 91.
- [2] J. Klimko. Politické a právne dejiny hraníc predmníchovskej republiky (1918—1938). Bratislava, 1986, s. 34—39, 50—61.
- [3] J. Dudášová-Kriššáková. Goralské nárečia (Odras slovensko-poľských jazykových kontaktov na fonologickej rovine). Bratislava, 1993, 169 s. (V monografii je podrobná bibliografia slovenskej a poľskej literatúry o goralských nárečiach, preto ju neuvádzame v tomto zozname.) J. Mistrík a kol. *Encyklopédia jazykovedy*. Bratislava, Obzor 1993, 513 s.; S. Urbaničzyk a kol. *Encyklopedia wiedzy o języku polskim*. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk. Zakład Narodowy im. Ossolińskich — Wydawnictwo 1978, 449 s.

J. Dudášová-Kriššáková

The Language of the Slovaks in Poland

The Slovaks in Poland live in two, fairly small in size, compact areas — the Orava and Spiš regions, which were annexed to Poland following a decision at the peace conference in Paris on July 28, 1920. In those regions the Goral dialects, which have a Polish basis, exist. This has never been denied by Slovak linguistics. However, the Goral population, speaking the originally Polish dialect (both in the Slovak and the Polish territories) retains a Slovak national consciousness which has been developed in close symbiosis with the national awareness of the Slovak population. But even the thesis about the Polish language character of the Orava and Spiš regions, which is still alive in Polish linguistics, is not fully unequivocal because a substantial part of the system of the Goral dialects is represented by changes motivated or stimulated by the external influence of Slovak dialects. Thus a second stratum of changes has commenced. From the point of view of the development, these changes are younger, stratified in the process of long-term and intensive Slovak-Polish language contacts on older, genetically Polish changes. That is actually the other peculiarity of the Goral dialects, which makes them different from Polish dialects and relates them to Slovak dialects.

А. Ф. Журавлев (Москва)

Лексикографические фантомы.

1. СРНГ, А—З

Искусство составления словарей принадлежит к сложнейшим областям лингвистики. О трудностях и опасностях, на каждом шагу поджидающих лексикографа, говорились очень много, однако представляется нелишним обратить специальное внимание на тот их род, который иной раз приводит к появлению в диалектных словарях лексических единиц, реально не существующих.

Мне уже приходилось писать о словах-фантомах, фиксация которых в диалектных лексиконах (и атласах) вызвана неверным чтением полевых эксплораторских записей. Наличие в подмосковных говорах наречия *нелупёшкой* '(о вареной картошке) в мундире', свидетельствуемое материалами из пяти деревень в Дмитровском, Шаховском и Солнечногорском районах [1, с. 32], позволяет предположить, что за формой синонимичного наречия *лупеликой*, отмечаемого в «Словаре говоров Подмоскovie» [2], а также в «Лексическом атласе Московской области» того же автора [1, с. 32, 43] может стоять ошибочное прочтение ручной записи слова *лупёшкой*, когда написание *ш* было воспринято как *ли*. Множественность таких прочтений (а наречие *лупёшкой* в упомянутом атласе отмечается для семи пунктов Дмитровского, Загорского, Каширского и Серебрянопрудского районов) может объясняться инерцией сознания составителя словаря и атласа, однажды допустившего такое чтение и затем распространившего его на аналогичные случаи. Я отнюдь не настаиваю на том, что А. Ф. Войтенко (Иванова) совершила ошибку, мои суждения о данном примере носят предположительный характер, однако деривационная затемненность формы *лупеликой* и ее изолированность, отсутствие в русском языке (в народных говорах в том числе) лексических образований с подобным строением [3], см. также: [Reverse Index, p. 192] заставля-

ют отнести к обсуждаемой диалектной форме с некоторой настороженностью — как к сомнительному свидетельству, нуждающемуся в дополнительной проверке.

В настоящей работе я предлагаю несколько десятков конъектур, появившихся у меня при сплошном чтении сводного «Словаря русских народных говоров» [СРНГ]. Как и в уже затронутом случае, я не считаю свое чтение всегда бесспорным: моя цель состоит в том, чтобы сомнительные словарные единицы были выделены из массы надежного диалектного лексического материала; их уточнение в данной работе большей частью гипотетично.

Здесь мои наблюдения касаются лишь формальных (графических, «орфографических», словообразовательных и под.) отождествлений и не затрагивают диалектной лексической семантики, как она реконструирована и описана в словаре: это совершенно особая (и чрезвычайно важная) проблема.

Батман <...> [удар.?). Единица веса в 10 фунтов, обычно для взвешивания соли <...>. Костром., Бурнашев [опечатка?]. — Ср. Батман (в 1-м знач.) ([вып. 2, с. 168]; здесь и далее первая цифра обозначает выпуск СРНГ, вторая — страницу; название данного словаря более не повторяется). Ср. *батман* 'единица измерения веса различной величины' [вып. 2, с. 143], среди прочего — «10 фунтов <...>. Костром.». Рукописное *м* прочитано как *ш*; наличие *г* непонятно.

Безрешенье <...>. То же, что безременье. Кунгур. Перм. [вып. 2, с. 198]. Ср. перм. *безрёменье* 'несчастье', мезен. арх. *безрёмённице* 'то же' [там же], перм. *безрёменье* 'беда, несчастье или болезнь' [вып. 2, с. 183], тамб., нижегор., перм., том., алт. *безврёмьянье* 'то же' [вып. 2, с. 184]. Как и в предыдущем случае, рукописное *м* прочитано как *ш*.

Битоок <...>. Вошь. Оренб. [вып. 2, с. 298]. Ср. исык-кульск. *биток* 'вошь' [вып. 2, с. 303]. Небрежное рукописное *ю* прочитано как *оо*. Слово является суффиксально оформленным заимствованием из тюркских языков, ср. тюрк. *bit*/*bit* 'вошь' [4].

Бодануть <...>. 3. Плеснуть воды на банную каменку. Усол. Перм., Муллов [вып. 3, с. 55]. В тех же говорах и у того же собирателя взято и значение '2. Больно ударить', которое близко первому из фиксируемых в данной словарной статье — 'ударить рогами'. Однако и 2-е значение, по-видимому, следует присоединить к 3-му: оба они составляют план содержания севернорусского (преимущественно уральского, в том числе усол. перм.) глагола *бздануть*, фонетический вариант *баздануть*, несов. в.

б(а)здавать ([вып. 2, с. 287], см. также [5]). Вероятно, з прочитано как *о*, возможно, даже при отчетливости написания.

Борисок. *Бориска женят*. Род игры <...>. Никол. Волог. [вып. 3, с. 99]. Не исключено, что неверно «восстановлена» словарная форма имен. п., может быть, *Бориско* м. р.? Ср. *дедко*, *борафейко*, *буданко* и под.

Буером <...>. [удар.?] То же, что *буераг* (в 1-м знач.). Дон. [вып. 3, с. 252]. Ср. *буераг* '1. Овраг' (в заголовке статьи опечатка — *буерга*, — что устанавливается местом статьи в алфавитном списке). Рукописное начертание *аг* (или *ак*?) воспринято как *ом*.

Булárка <...>. Козьявка. Енис. [вып. 3, с. 267]. По-видимому, неправильно прочитанное *букарка* или *бухарка*. Ср. севернорус., сиб. *букарка* 'насекомое', 'жесткокрылое насекомое, жучок', шуйск. иван. 'личинка стрекозы', далее яросл. *букара* 'насекомое; букашка', *букарака* 'то же', черепов. волог., боров. новг. *букараха* 'то же' [вып. 3, с. 263] и под. или же сиб. *бухарка* 'букашка, козявка, насекомое', 'земляной клоп', 'жук, жучок', 'жесткокрылое насекомое — вредитель растений' [вып. 3, с. 320], далее *бухара* рыб. яросл. 'пчела', пошех. яросл. 'шмель' [вып. 3, с. 319]. К варьированию *к* — *х* ср. *лахудра* — тамб., курск. *лакúдра* 'не-ряшливая женщина, растрепá' [вып. 16, с. 251], пенз. *ерыкалка* 'озорник; озорница' — пск., осташк. твер. *ерыхала*, *ерыхалка* 'непоседа' [вып. 9, с. 26, 38] и т. п.

Бусрага <...>. Сильный ветер; вьюга. Пск. Пск. [вып. 3, с. 307]. Небрежное строчное *е* прочитано как *с*: ср. петерб., пск. *буерага* 'бу-ря', 'сильный ветер', 'метель' [вып. 3, с. 351], пск. *буерага* 'ненастная погода с сильным ветром', 'вьюга, метель, буран' [6].

Буфага <...>. Сильный ветер, вьюга. Пск. [вып. 3, с. 317]. Слово, как видим, сильно не везет. Сочетание рукописных букв *ер* читается как *ф*.

Буфеково. «Название пустоши». Черепов. Новг. [вып. 3, с. 317]. Зная о вызывающей скорбь лексикографической участи слов *буераг(а)*, *буерак* (см. также следующее), можно предположить, что в данном случае неправильно прочитано название *Буераково* (к описанным сбоям в чтении добавляется восприятие небрежного *а* как *е*).

Буфон <...>. Влажный ветер. Стариц. Твер. [вып. 3, с. 317]. Ср. *буераг*, *буерак* (см. выше). По-видимому, эксплоратор отличался чрезвычайно небрежным или корявым почерком. В чтении записи сделаны две ошибки: *ер* прочитано как *ф*, а *аг* (менее вероятно *ак*) — как *он*. Невезение слову просто фатальное.

Ваванок <...>. Напиток из вошины с хмелем. Обоян. Курск. [вып. 4, с. 44]. Из расположения вокабулы в этом выпуске между статьями *варанить* и *варанут* можно констатировать заурядную опечатку; следует: *варанок*, производное от *варить*. Ср. еще названия напитков, производные от того же глагола, *варенец*, *вареника*, *варенюха*, *варенюха* [вып. 4, с. 50–51] и особенно южнорус., в том числе курск., *воронок* 'напиток из сотового меда, воды, дрожжей или хмеля, иногда с пряностями' [вып. 5, с. 116], орфография которого связана с неосознанием эксплораторами его этимона, а возможно, отчасти и с влиянием приводимого здесь же значения *воронок* калуж. 'черное пиво'.

Верешёна <...>. Насекомое [какое?]. Орл. Вят. [вып. 4, с. 143]. Результат неверного чтения рукописного трехлинейного *т* как *ш*; следует: *веретёна* (может быть, множ. ч.), ср. севернорус., в том числе орл. вят., *веретено* 'стрекоза' [вып. 4, с. 137].

Вондаты <...>. Знать. Шенк. Арх. 1905–1921 [вып. 5, с. 30] и **Вондаты** <...>. Знать. *Вондашь?* Шенк. Арх., 1854 [вып. 5, с. 90]. Трудный казус: понятно, что одно из этих слов – фантом, но какое именно? В Архангельском областном словаре [АОС, вып. 5, с. 29, 80] эти слова не фиксируются, как и не удалось мне найти ничего близкого одновременно фонетически и семантически ни в нем, ни в самом СРНГ. Фантомность обеих вокабул маловероятна: предположить, что рукописный «ять» в начертании слова *вдаты* мог быть прочитан разными (что ясно из Предисловия к выпуску) составителями как *ои* и *он* и при этом оба ложных чтения случились с шенкурскими записями, означало бы допущение исключительно редкого случая. Может быть, заимствование? Ср. финск. *voida* 'мочь, быть в состоянии'. Неясно, однако, в чем состояли причины заимствования такого слова.

Волдаты <...>. 1. Солдат. Ряз., 1858. 2. Сорванец, своевольник. Ряз., 1858 [вып. 5, с. 37]. Оба значения записаны, судя по тождественным да-там, одним собирателем. Можно предположить, что его почерку были свойственны слишком круглые загибы концов буквы *с*, сблизившие ее с рукописным строчным *в*. Ко 2-му значению слова ср. *казак* 'о смелом, храбром, удалом человеке' [вып. 12, с. 306], ср. аттестацию этим словом Наташи Ростовской в устах Марьи Дмитриевны Ахросимовой («Война и мир»).

Всилянь <...> [удар.?]. То же, что всклень. *Всилянь налить*. Касим. Ряз. [вып. 5, с. 199]. Ср. *всклень*, *всклянь* 'очень полно, доверху, вровень с краями' [вып. 5, с. 201, 202]. Несомненно, что бегло написанное *к* воспринято составителем статьи как *и*. Об этом же свидетельствует отмеченное составителем отсутствие знака ударения.

Выватия <...>. Женщина, которая выводит невесту на смотр жениху. Обоян. Курск. [вып. 5, с. 252]. Может быть, слово должно читаться как **выводня* (существенно менее вероятно **вывотня*, с утратой внутренней формы), ср. арх. *выводница* 'одна из двух женщин, большей частью близких родственниц невесты, выводящая невесту из угла к жениху' [вып. 5, с. 256], *выводнюха* 'икона, предназначенная для невесты при ее отъезде в дом жениха (мужа)' [АОС, вып. 6/7, с. 143]. Впрочем, Даль дает курск. *выводчя* 'женщина, выводящая невесту на смотре жениху' [Даль, т. I, с. 281], что для нашего случая, более приемлемо: можно представить себе почерк, написание которым буквенного сочетания *одче* допустит ошибочное прочтение *ати* (хотя, нужно заметить, структура далевского *выводчя* едва ли не уникальна, см. [Reverse Index, p. 510], где *ч* в словах с подобным исходом всякий раз, кроме случая *ловчя*, принадлежит корню).

Вбрутить <...>. Выбросить седока из седла (о коне). <...> Олон., Рыбников [вып. 6, с. 14]. Рукописное *ш* прочитано как *т*. Ср. онеж. олон. *вбрушить* 'выбросить (из седла)' из записей Гильфердинга [там же]. *Lapsus legendi* перенесен сюда из словаря Даля (см.: [Даль, т. I, с. 311]). Ср. *рушить*, помимо прочего — 'ниспровергать, <...> низвергать' [Даль, т. IV, с. 116], *рухнуть*.

Гамбока <...>. Ветка дерева. Курск., 1848 [вып. 6, с. 132]. Ошибочное чтение слова *галюка*, ср. курск. *галюка* 'ветка дерева', 1848 [вып. 6, с. 123; возможно, из того же источника, если принимать во внимание дату фиксации], белор. диал. (рогачев. гомель.) *галюка* 'то же' [7], — слова, принадлежащие гнезду праслав. **golъ(jь)* (см. [ЭССЯ 7, с. 14–15]), ср. далее южнорус. *голька* 'ветка дерева', белор. *галіна* 'сук, ветка', *галлѣ* 'сучья', укр. *гілка* 'ветка', *гілля* 'ветки, сучья' и т. д.

Гапельник <...>. Сквородник. Комарич. Брян. [вып. 6, с. 137]. Несомненное *чапельник*, с чтением рукописного *ч* как *г*, ср. *чапельник*, *чапальник*, *чаплинник*, *чапляник*, *чаплик*, *чапярник*, *цапельник*, *цапальник* 'сквородник' [Даль, т. IV, с. 570, 582], также: [1, с. 11, карта 33].

Гоёт, [описка? гнёт?] <...>. Жердь, положенная на соломенной крыше, чтобы не сносило ее ветром. Слобод. Вят. [вып. 6, с. 276]. Сомневаться в правильности составительской конъектуры излишне.

Голошедь <...>. «Гололедица». Иркут., Якут. [вып. 6, с. 330]. Вероятно, в написании *л* имеется лишняя вертикаль, заставившая принять букву за *ш*. Ошибка могла появиться и на этапе машинописных работ: литера *Л* на клавиатуре «русскоязычной» пишущей машинки находится рядом с *Ш*. Слово *гололёдь* [вып. 6, с. 318] известно практически повсеместно, в том числе и в сибирских говорах (нерч. забайк., енис.).

Гоуе <...>. Насекомое — разновидность мухи. Сиб. [вып. 7, с. 100]. Скорее всего, как о прочитано н: *гнус*. Ср. выше *гоёт*. Наличие ударения в односложной форме смущать не должно.

Гря <...>. Для. Сиб. [вып. 7, с. 181]. Можно, конечно, предположить, что не слишком аккуратное начертание рукописных *дл* читается как *гр*. Однако широко, в том числе и в Сибири, распространенный фонетический вариант *гля* (см.: [вып. 6, с. 225–226]) значительно ослабляет, хотя и не устраняет вполне, подозрения в фантомности данной формы.

Гудить <...>. Соблазнять; обманывать. Новг. [вып. 7, с. 202]. Связь с этимологическим гнездом *гуд*- вполне возможна (ср. новг. *(о)гудала* 'плут, мошенник, ловкий обманщик' [Даль, т. I, с. 405]), но нельзя, на мой взгляд, решительно отвергнуть другое допустимое чтение — *чудить*, ср. *чудиться* 'представляться, мерещиться, видеться, казаться, мниться; быть под обаянием, видеть или слышать мару́, мороку; блазнить' [Даль, т. IV, с. 612].

Должежник <...>. Прозвище жителя города Новгорода. Тихв. Новг. 1857 [вып. 8, с. 115]. Несомненное *долбежник*, см. *долбежник* 'прозвище жителя г. Новгорода', тихв. новг., 1848 [вып. 8, с. 103], *долбежники* в знаменитом зачине «Истории одного города». Ошибочное чтение *ь* вместо *б* либо опечатка (по причине соседства литер *Б* и *Ь* на машинной клавиатуре).

Домонально <...>. Обстоятельно, точно. Волог. [вып. 8, с. 123]. Сочетание рукописных букв *ск* в слове *досконально* прочитано как *м*.

Доревянный <...>. *Доревянный халат*. Гроб. Вят. [вып. 8, с. 130]. Правильно ли? Если так, то случай исключительно интересный.

Дрёмово <...>. *Дрёмово задать*. Испугавшись убежать. Кашин. Твер. Смирнов, 1904 [вып. 8, с. 184]. Ср. кашин. твер. *дрáлово задать* 'убежать от кого-либо' (Смирнов, 1897), покр. и александр. влад. *дрáлова* то же, что *драле* («употребляется по смыслу глаголов *удрать*, *убежать*») [вып. 8, с. 171]. Сочетание рукописных букв *ал* воспринято как *ем*, диакритика к *e*, по-видимому, добавлена составителем словарной статьи.

3. Дрозд <...>. 1. Колос овса. Семен. Нижегород. <...>. 2. Головка репчатого лука. Костром. [вып. 8, с. 198]. Слово взято из словаря Даля, с его же примечанием «грозд?». Впрочем, может быть, В. И. Даль ищет этимологию (ср. *гроздок* 'несколько еросшихся головок лука', вят., сарат. 'пучок зеленого лука, выросшего из одной луковиды' [вып. 7, с. 148]; далее праслав. **grozdъ*/**grozdь* [ЭССЯ 7, с. 142]), не сомневаясь в фонетической стороне самой (вторичной, испорченной) диалектной формы.

Дрянница <...>. Лихорадка. «Добрава, лихоманка, сумоха, тетка, лихорадка». Симв., Даль. Ставроп. Самар. [вып. 8, с. 229]. Ниже, на той же странице, приводится ставроп. самар. (1898) *дрянища* 'то же, что дрянница'. Не может ли одна из этих форм быть неверно прочитанной? В названиях лихорадки суффикс *-щ(а)* встречается очень часто (ср. *бедница, безбытница, веретенница, осенница, вёшница, гнетница, гнетуница, гнитница, желуница, комошица* и т. п., см. СРНГ, соответствующие словарные позиции), хотя встречаются и образования с суффиксом *-щ-* (*комошище, кумошища*...; вполне ли надежны записи?).

Еле [удар.?). Нечистая сила. Костром. Буслаев, 1852 [вып. 8, с. 339]. Вне всяких сомнений, *с* в исходе слова прочитано как *е*, чем и обусловлено недовольство составителя отсутствием знака ударения в «двухсложном» слове. Нас скорее должно смущать отсутствие диакритических точек над начальным *е* (*ě*). Ср.: кинеш., солигал., костром. костром., углич. яросл. *ѐлс* 'леший, черт', *елсѡвка* 'чертовка', иркут. *Елѣсиха* [вып. 8, с. 348; Даль, т. I, с. 518; Фасмер, т. II, с. 17], см. также [8]. Слово и его производные связываются с *Велес* (Зеленин, Фасмер, Иванов—Топоров, Успенский; вряд ли надежно), с эст. *bēlus* 'черт' (Черепанова; неудовлетворительно по лингвогеографическим причинам).

Елибица <...>. Злая женщина. Черепов. Новг., Герасимов, 1853 [вып. 8, с. 341]. Рукописное *г* прочитано как *л*, ср. черепов. новг. *егѣбица* 'прозвище: злодейка, ведьма', вят., олон. 'баба-яга', 'злая женщина', 'прозвище старух', а также вят. *егѣбисна* 'дочь бабы-яги', *егѣбиха* 'баба-яга', вят., арх. *егѣбшина* 'баба-яга', вят., яросл. *егѣбоба* 'баба-яга', 'злая женщина', белозер. новг. *егѣбова* 'о пожилых женщинах: ведьма', сев.-двин. *егидична*, *егична* 'дочь бабы-яги', перм. *егѣшина* 'сварливая, злонаправная женщина' [вып. 8, с. 315—316]. Не возможна ли, впрочем, sporadическая, вызванная какими-то ложноэтимологическими сближениями, мена [г] → [л]?

Ерхакук <...>. Оболочка. Ветл. Костром., 1907 [вып. 9, с. 36]. Ср. ветл. костром. *ерхалук* 'одежда', 1905—1921, 'плохонькая верхняя одежда', 1911 [там же], преобразованное в диалекте *архалук*. Заголовочная вокабула вызвана к жизни ложным чтением рукописного *л* как *к*. Слово *оболочка* в толковании, — скорее всего, диал. (в том числе костром.) '(верхняя) одежда' [вып. 22, с. 168].

Жадовник (в статье *Жадомор* [вып. 9, с. 60] — как отсылочное слово). Видимо, опечатка, статьи с таким заголовочным словом в СРНГ нет; следует: *жадовик*, ср. олон. *жадовик* 'жадный человек' [там же].

Жпóдка <...>. Кофта на вате. Грязов. Волог. [вып. 9, с. 218]. Несомненное неправильно прочитанное *исподка*, с восприятием рукописного *ис* как *ж*. Ср. севернорус., в том числе волог., *испóдка* в значениях, объединяемых родовым 'нижняя (женская) одежда' [вып. 12, с. 232].

Забегник <...>. Длинная веревка у верхних «ушей» невода. Тобол. [вып. 9, с. 249]. Подозрительно нарушение в слове морфонологических норм. Вместо *з* читать *ч*? Но это не объясняет корня.

2. Заболóшный <...>. Отдаленный от крупных населенных пунктов. *Живешь тут в заболошной стороне*. Талицк. Свердл. [вып. 9, с. 266]. Может быть, с чтением *ш* на месте рукописного *т*, *заболотный*? Ср. [вып. 9, с. 265] — 'лежащий за болотом, по ту сторону болота'; тобол. *заболóтные татары*.

Закуртеветь <...>. Заиндеветь. Тобол. [вып. 10, с. 180]. Несомненное *закуржеветь*, с чтением рукописного *ж* как трехлинейного *т*. Ср. севернорус., сиб. *закуржа́веть*, *закуржаять*, *закуржеват(ся)*, *закурже́веть*, *закуржевить*, *закуржить* 'покрыться инеем, заиндеветь' [вып. 10, с. 177–178], соответствующие бесприставочные формы — *куржеветь*, *куржак* 'иней' и под. [вып. 16, с. 123–125].

Заку́ша <...>. Старая дева, оплакивающая невесту за день до свадьбы. Черепов. Новг., Герасимов [вып. 10, с. 187]. В высшей степени вероятно неправильное чтение слова *зыкуша*, производного от *зыкать* новг., волог., влад. 'плакать в голос, навзрыд' [вып. 12, с. 35]; ср. черепов. новг. *зыку́ша* 'в свадебном обряде — плакальщица (обычно старая дева), оплакивающая невесту за день до свадьбы)', 1910 [вып. 12, с. 37]; (источник слова, судя по дате и сходству толкований, тот же — череповецкий словарь М. К. Герасимова). Возможность отражения реального перехода [ы] в [а], с переосмыслением слова как приставочного, в данном случае ничтожна.

Заломéл <...>. [Знач.?]. *Первая кликуха коров закликала, Вторая — заломел во ржи ломала*. Пск. [вып. 10, с. 219–220]. Нелепость этой вокабулы неочевидна, видимо, лишь для составителя словарной статьи. За нею стоят широко известные *залóмы*, ср. южно- и среднерус. *залóm* 'несколько перевитых стеблей растущей ржи или другого хлеба с целью колдовства (злого)' [вып. 10, с. 219]. Небрежное рукописное *ы* составителем прочитано как *ел*. Ударения (на флексии!), с уверенностью можно полагать, в оригинальной записи нет, и оно проставлено автором статьи, которого не остановила не отмеченная сознанием ритмическая структура использованного поэтического фрагмента.

Запа́рес <...> [?]. *Игра запáресом*. Игра в мяч. Соликам. Перм. [вып. 10, с. 302]. Сильно испорченная форма. Можно осторожно предпо-

ложить, что она отражает подлинное *запуск(ом), где небрежно написанное *ус* прочитано как *ар*, а *к* раскрыто как *ес*. Ср. грязов. волог., рыб. ярсл. *запуски* 'игра [какая?]' [вып. 10, с. 369], далее *взапуски* и под.

Запра́шкий <...>. *Запра́шкое лекарство*. Хорошо сделанное, «хитрое» лекарство. Олон., Барсов. [вып. 10, с. 354]. Достаточно вероятно, что здесь мы имеем дело с неверным чтением слова *заправское*. Ср. *запра́вский* волог. 'зажиточный, живущий в достатке', вят., костром., ярсл., олон. 'хорошего качества, прочный, исправный', покр. влад. 'верный, заслуживающий доверия' [вып. 10, с. 353], еще ярсл. *по-запра́вски*, *запра́ске* 'по-настоящему' [там же]. Перед суффиксом прилагательного *-кий(ий)* в русских говорах фонема *ш* большая редкость, в изданных выпусках СРНГ это, кроме рассматриваемого слова, лишь *мáлешкий*, *мáлѹсеикий*, *грѹикий*, *крѹикий* и *неслѹикий*, да и то первые два — скорее всего фантомы, подменяющие на самом деле прилагательные с суффиксом *-еньк(ий)*.

Захво́й <...>. *Хвастун*. Моск. Моск. [вып. 11, с. 146; с примечанием: «Ср. *Захѣза*, *Захлѣста*»]. Скорее всего это слово *захвост или *захваст, у которого беглое написание буквенного сочетания *ст* с одной вертикалью и «оторванной» горизонтальной чертой у *т* прочитано как *й*. Ср. фолькл. олон. кольск. *захва́стливый* 'хвастливый' [вып. 11, с. 144], моск. *балахво́ст* 'беспутный человек' [вып. 2, с. 74; Даль, т. I, с. 42] и мн. под.

Зѣлеки <...>. *Глаза. Протри свои зелеки*. Смол. [вып. 11, с. 246]. В этом примере можно усмотреть ошибочное чтение слова *зѣнки*. Ср. арготич. (из диалектной речи) *зѣнки* 'глаза' (например, [9]), диал. (широко, в том числе, естественно, смол.) *зѣнки́*, *зѣньки* 'глаза', 'зрачки', новг. *зѣнка* множ. ч., ед. ч. орл. *зѣнко*, твер. *зѣнок* [вып. 11, с. 263; Даль, т. I, с. 680]. По акцентологическим и лингвогеографическим причинам менее вероятно, что заголовочная форма тесно связана с вытегор. олон. *зеленки́* 'глаза; зенки': *Отворь зеленки́-то, дак увидишь сама!* [вып. 11, с. 248], в конечном счете, видимо, принадлежащим тому же гнезду.

2. Зѣнь [зѣпь?]. Карман. Нижегород., 1850. Карман у шаровар. Бунашев [вып. 11, с. 264]. Скорее всего, действительно *зѣпь*. Ср. широко (в говорах обоих великорусских наречий) распространенное *зѣпь* 'карман', 'пазуха', также *зѣп* [вып. 11, с. 264–265], ср. еще *зѣпь* — «так в некоторых местах России называют карман у шароваров», Бунашев [вып. 11, с. 242]. Тюркизм, может быть, если учитывать фонетику начала слова, с финно-угорским посредством (см.: [Фасмер, т. II, с. 95; БЕР, т. I, с. 365–366 (*дзѹб*), с. 376 (*дзѹпка*)]. Фантом имеет причиной сходство начертаний и рукописных, и печатных *п* и *н*.

Зерковать <...>. Играть в карты. *До утра зерковали*. Сиб., Черепанов [с примеч. «вероятно, существовала игра в зерки»] [вып. 11, с. 267] и **Зерновать** <...>. Играть в карты. *До утра зерновали*. Сиб., 1854. Играть в карты на деньги. Сиб., Даль, **Зерноваться** <...>. То же, что зерновать. *До утра зерновались*. Сиб., Слов. Акад., 1907 [вып. 11, с. 268]. Идентичность территориальных помет и однотипность иллюстраций наталкивают на мысль о едином источнике для этих трех словарных фиксации. В таком случае один из фиксируемых вариантов основы (с *к* или *н*) — призрачен. Нереальна, скорее, форма *зерковать*, ср. *зернь* 'игра в кости или в зерна, которые употребляются в мошеннической игре на деньги, в чет-и-нечет' [Даль, т. 1, с. 681], ст.-русск. *зернь* 'игра в кости' [10].

Знык <...>. Знак [?]. *Их и зныку нет, где они*. Жиздр. Калуж., Слов. Акад. 1907 [с вопросом к знач.]; **Знычит**. Значит. Ряз., Саратов., 1911. Ветл. Костром., Новос. Тул., 1900 [вып. 11, с. 320]. Чтение *ы* вместо *а* не исключается, однако множественность фиксации таких форм значительно охлаждает подозрения в их фантомности. Во всяком случае для второго слова, в силу его принадлежности служебным элементам и поэтому до известной степени — лексико-грамматической периферии, можно допустить сильную редукцию ударного гласного.

Зоила, *ы*, м. [удар. ?]. Работник, занимающийся сбивкой войлока. Казан. [вып. 11, с. 326]. Наличие слова *сбивкой* в толковании подталкивает к усмотрению здесь неверного чтения формы **збила* (**сбила*), хотя и ненадежной: подобные слова чаще образуются от глагольных основ несовершенного вида.

Примечания

- [1] А. Ф. Войтенко. Лексический атлас Московской области. М., 1990 [на обложке — 1991, *копирайт* — 1989].
- [2] А. Ф. Иванов. Словарь говоров Подмосковья. М., 1969.
- [3] Обратный словарь русского языка. М., 1974, с. 261.
- [4] Э. В. Севортян. Этимологический словарь тюркских языков. Общетюркские и межтюркские основы на букву «Б». М., 1978, с. 151—152.
- [5] Словарь говоров Соликамского района Пермской области / Составитель О. П. Беляева. Пермь, 1974, с. 43; Словарь русских говоров Среднего Урала. Свердловск, 1964, т. 1. А—И, с. 45.
- [6] Псковский областной словарь с историческими данными. Л., 1973, вып. 2, с. 199.

- [7] Слоўнік беларускіх гавораў паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча. Мінск, 1979, т. 1, с. 416.
- [8] Д. К. Зеленин. Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии. Часть 2. Запреты в домашней жизни // Сборник Музея антропологии и этнографии. Л., 1930, т. 9, вып. 2, с. 99; Загадки / Издание подготовила В. В. Митрофанова. Л., 1968, с. 22; В. В. Иванов, В. Н. Топоров. Исследования в области славянских древностей. Лексические и фразеологические вопросы реконструкции текстов. М., 1974, с. 200; Б. А. Успенский. Филологические разыскания в области славянских древностей. (Реликты язычества в восточнославянском культе Николая Мирликийского). М., 1982, с. 47; О. А. Черепанова. Мифологическая лексика Русского Севера. Л., 1983, с. 86.
- [9] В. Быков. Русская феня. Смоленск, 1994, с. 89; Толковый словарь уголовных жаргонов / Под общ. ред. Ю. П. Дубягина и А. Г. Бронникова. М., 1991, с. 72; В. С. Елистратов. Словарь московского арга: Материалы 1980—1994 гг. М., 1994, с. 172; Ж. Росси. Справочник по ГУЛАГу. М., 1991, ч. 1, с. 131.
- [10] Словарь русского языка XI—XVII вв. М., 1978, вып. 5, с. 385.

Сокращения

АОС	Архангельский областной словарь. М., 1980—, вып. 1—.
БЕР	Български етимологичен речник. София, 1971—1986, т. I—III.
Даль	В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955, т. I—IV.
СРНГ	Словарь русских народных говоров. М.; Л., СПб., 1965—1994—, вып. 1—28—.
Фасмер	М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. М., 1967—1974, т. I—IV.
ЭССЯ	Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. М., 1974—, вып. 1—.
Reverse Index	Reverse Index to the Dictionary of Russian Dialekts. Preliminary Version, vols. 1—25. Urbana, Illinois, 1991.

A. Zhuravlev

Lexicographical Phantoms. I. SRNG, A—Z

Lexicographical phantoms — vocables, owing their existence to the wrong reading of the manuscript fixations of dialectal texts and separate words — are not uncommon in dialectal dictionaries of the Russian language. The present work has for an object the elucidation of such cases in a composite *Dictionary of Russian Popular Dialects*.

Я. Закревська (Львів)

На західному пограниччі української мовної території

Об'єктивна характеристика мовного пограниччя завжди належала до складних проблем, незалежно від того, якої мови воно стосується. Особливо складністю відзначається ця проблема у відношенні до української мови, оскільки, як відомо, українська етнічна межа не збігається з державними кордонами України.

Українсько-західнослов'янське, тобто українсько-польське і українсько-словацьке мовне пограниччя здавна привертало увагу дослідників, які з різною долею об'єктивності і наукової аргументації підходили до його висвітлення.

Найрельєфніше вирисовується західне пограниччя української мови у працях лінгвогеографічного характеру – у першу чергу фундаментальних загальномовних діалектологічних атласах: словацькому [1], який на спеціальній діалектологічній карті Словаччини, вміщеній в I і IV томах, виразно виділяє ареал українських говірок, і, особливо, в Атласі української мови [2], другий том якого вперше представляє західне (як і інші) мовне порубіжжя на території Польщі і Східної Словаччини невід'ємно від усієї української мовної території, починаючи від північно-українських говірок на Підляшші, охоплюючи надбужанські (холмські), надсянські і північнолемківські говірки на території Польщі, і закінчуючи південнолемківськими на терені Східної Словаччини. Це зумовлено типом Атласу української мови як загальнонаціонального, об'єктом якого є мова в усіх її територіальних виявах, незалежно від історичних чинників і від меж функціонування цієї мови в її стандартизованій позатериторіальній формі. На цій основі АУМ послідовно відбиває українські говори, які історично сформували єдиний мовний масив як у межах України, так і на суміжних з нею територіях інших держав.

Надзвичайно цінні матеріали містять давніші і сучасні регіональні атласи, такі як: атласи Ю. Гарнацького [3], М. Малецького і К. Нічша [4], Мовний Атлас давньої Лемківщини [5], Атлас бойківських говірок [6], Атлас східнослов'янських говорів Білосточчини [7], Атлас українських говорів Східної Словаччини [8], а також проблемні атласи, зокрема Загальнокарпатський діалектологічний атлас [9], Загальнослов'янський лінгвістичний атлас [10] та ін.

Шляхи формування українських говірок на західному пограниччі, умови їх функціонування, тенденції розвитку, так само як і доля їх носіїв, дуже різні і неоднозначні. Адже сьогодні у Польщі не існує вже компактного україномовного ареалу, оскільки українці з цього терену були насильно виселені в 1947 р. у результаті горезвісної акції «Вісла». У цьому плані важко переоцінити значення давніших лінгвогеографічних праць типу регіонального атласу З. Штібера [11], укладеного на основі матеріалів, зібраних автором у 1934–1935 рр. у 80-ти населених пунктах (72 – у Польщі і 8 у Словаччині), де зафіксовані лемківські говірки за станом до 1947 р., тобто до часу, коли цей регіон був ще суцільним. Виняток становлять українські говірки у Польщі на Північному Підляшші між р. Бугом на півдні і Нарвою на півночі, тобто південна частина білостоцького воєводства, мешканці яких не були виселені із своїх родинних місць.

Історію дослідження цих говірок, починаючи з другої пол. XIX ст., різні тенденції в їх характеристиці, так само як і в етнічній ідентифікації їх носіїв (українській чи білоруській) детально висвітлює в одній із своїх праць проф. Люблінського університету М. Лесів [12], звертаючи увагу на те, що більшість дослідників (К. Михальчук, В. Курашкевич, Ю. Гарнацький та ін.) вважають ці говори українськими. Цю думку переконливо підтверджують карти Атласу української мови, т. 2, за матеріалами всіх рівнів мовної структури.

Варто звернути увагу на нову хвилю щодо зацікавлення своєю рідною говіркою, давніми звичаями, традиціями, зрештою національною приналежністю мешканців цих теренів, яке посилилось останнім часом серед молодшого покоління інтелігенції, яка у створеному в 1991 р. українському часописі «Над Бугом і Нарвою» задекларувала: «Ми є підляськими українцями, це значить людьми, свідомими свого руського, тобто українського походження, свідомими факту, що культура та історія Підляшшя є також частиною української історії і культури [13]. Така позиція сприяє глибшому зацікавленню «мовою своїх предків, мовою, що їх навчила рідна мати», тобто своєю північноукраїнською говір-

кою, якою навіть пишуть художні твори окремі поети (І. Киризюк, З. Сачко, Ю. Гаврилюк), не ставлячи, однак, питання про кодифікацію місцевої говірки, що має місце в інших регіонах.

По всьому дальшому порубіжжі на території Польської Республіки українська мова на сучасному етапі засвідчена тільки острівними ареалами. Але і в цій ситуації переважна більшість ізоглос мовних явищ усіх структурних рівнів, представлених, наприклад, на 400 лінгвістичних картах Атласу української мови, має безпосереднє продовження в українських говорах на території Польщі. Пор., наприклад, ареали: берестейсько-поліські (АУМ, т. 2, карти № 267, 277, 318, 306), поліські (карти № 162, 183, 221, 208, 251), волинські (карти № 126, 340, 339, 327), бойківсько-закарпатські (карти № 23, 111, 382, 129, 324) та ін. Що ж до продовження поза межі України бойківських ареалів унікальний матеріал подає згадуваний вище семитомний «Atlas gwar bojkowskich», на якому представлена значно ширша територія, особливо у західному напрямку, у порівнянні з установленими в українській діалектології межами сучасних бойківських говірок.

По-іншому вирішується у світі лінгвогеографічних праць ареал українських говірок Східної Словаччини, який є компактним, однак визначення його межі досі є проблематичним, хоч це питання здавна привертало увагу багатьох дослідників (В. Гнатюка, Г. Геровського, І. Панькевича, С. Томашівського, С. Цамбеля) і зокрема Василя Латти, який найдокладніше у порівнянні зі своїми попередниками визначає українсько-словацьку мовну межу на основі суто лінгвістичних критеріїв, залучаючи величезний фактичний матеріал (23 фонетичні, 20 морфологічних і близько 30 лексичних рис) [14] і одночасно незаперечно стверджує, що ці говори (які мають різні назви – західнокарпатські, лемківські (за науковою дефініцією), русинські чи руснацькі (за локальною традицією) є «окраїнними українськими говорами, які в порівнянні із загальноукраїнськими мовними відмінностями зберігають своєрідні архаїчні та інші особливості, однак повністю зберігають загальні риси, якими визначається їх спільність з українськими діалектними системами і відмінність від мовних систем сусідніх східнославацьких і горальських говорів» [15]. Там же В. Латта цілком об'єктивно висвітлює функціонування на території Східної Словаччини назви носіїв цих говорів – *руснак*, *русин*, *рутен* і новішої *українець*, кожна з яких у різні періоди була більш чи менш поширеною, але завжди стосується населення, яке є незаперченою генетичною гілкою українського (історично – руського) народу.

Ці думки В. Латти, який, до речі, традиційно називав себе русином, особливо актуальні сьогодні, коли представники неорусинізму пропагують ідею «деукраїнізації русинів», які нібито є окремим слов'янським народом, відмінним від українців у мові, релігії, побуті, і тим самим протиставляють русинів і українців, і навіть зробили спробу (у січні 1995 р.) кодифікувати русинську мову, надрукувавши перед тим відповідні публікації, наприклад, Правила русинського правопису, номри русинського правопису і т. п., правда, здійснили це на аматорському рівні без участі фахівців з наукових і вузівських осередків Словаччини.

Погляди В. Латти про приналежність «русинських» говорів Східної Словаччини до української мови поділяє ряд сучасних дослідників – як україністів, так і славістів взагалі [16]. Про це переконливо засвідчують і матеріали опублікованого «Атласу української мови».

На основі карт П т. АУМ ми відібрали 18 ізолекс, які дозволяють виділити три умовні пучки, що засвідчують, з одного боку, органічний зв'язок українських говірок Східної Словаччини з українським мовним масивом, зокрема з говорами карпатської групи, до яких вони традиційно відносяться, з другого – виявляють специфіку аналізованих говорів.

I. Перший пучок (див. карту № 1) об'єднує ізолекси, спільні для українських говірок Східної Словаччини і більшості українських говорів карпатської групи – бойківських, закарпатських, гуцульських, буковинських, охоплюючи їх з різною мірою повноти. Карта репрезентує лексеми різні за характером, за часом виникнення, а також за своєю вагомістю у словниковому складі діалекту: *білен'* 'коротка частина ціпа', *газда*, *газдін'а* 'господар, господиня' (і відповідно низка дериватів – *газдіўствó*, *газдіўський*, *газдувати...*); під 'горище', *жоўна́* (*жоўна*) 'дятел', *н'ан'о*, *н'ан'ко* 'батько' та ін.

II. Другий пучок ізолекс (див. карту № 2), найбільш чітко виражений, об'єднує українські говірки Східної Словаччини з закарпатськими говірками, охоплюючи їх повністю або частково: *ймі́ти* (*йма́ти*) 'ловити', *сва́д'ба* (*сва́л'ба*) 'весілля', *тенгері́ця* (*кендері́ця*) 'кукурудза', *хві́л'а* 'гарна погода', *хі́жа* 'хата', *йар* 'весна' та ін.

III. Третій пучок ізолекс (див. карту № 3) засвідчує діалектизми, специфічні саме для українських говірок Східної Словаччини, типу *банду́рка* 'картопля', *барз* 'дуже', *кёрпці́* 'постоли', *фа́лат*, *фа́латок* 'кусок', *цан'і́стра* 'торба', *шумний* 'гарний' та багато інших.

За своїм характером наведені ізолекси різні – вони представляють як давні лексеми типу *йар* 'весна' *сва́д'ба* 'весілля', *ймі́ти* 'піймати, зловити', так і пізніші іновативні структури як, наприклад, *тенгері́ця* 'а

'кукурудза', *банду́рка* 'картопля' та ін. На їх основі можна прослідкувати шляхи та способи проникання іншомовних запозичень як безпосередньо з вихідної мови (наприклад, із словацької *барз* 'дуже', *шумний* 'гарний', *планка* 'яблуня-дичка, яблуко'...) або й з двох контактуючих мов, наприклад, *кошл'а*—*кошел'а*, географія яких чітко вказує на джерело запозичення першого з них з польської мови, другого — із словацької [17], так і посереднім шляхом, наприклад, за допомогою словацької мови з угорської (*облак* 'вікно', *байуци* 'вуси'...), румунської (*бача* 'старший пастух', *спуза* 'попіл'), німецької (*фрайір*, *фрайірка* 'кавалер, залицяльник', *бетег* 'хвороба') і т. п. Слід, однак, відзначити, що у ряді випадків визначення вихідної мови як джерела пов'язане з певними труднощами, і тому впливи польських і словацьких говорів на українські західнокарпатські говірки треба розглядати спільно, на що неодноразово звертали увагу дослідники цього питання [18].

Лінгвогеографічне дослідження стічно-мовного пограниччя з точною локалізацією мовних явищ і встановленням меж їх поширення в діалектах контактуючих мов внесе ясність не тільки у визначення джерел безпосередніх і посередніх запозичень, але й допоможе чіткіше розмежовувати незаперчні іншомовні запозичення від паралелей, до яких можна зарахувати, наприклад, лексеми *гудак* 'музикант', *лавка* 'кладка', *пішник* 'стежка', *солоніна* 'свиняче сало', можливо, *н'ан'(к)о* 'батько', про які Й. О. Дзензелівський говорить як про можливі спільні словацько-українські, чи польсько-словацько-українські утворення [19].

Представлений у П т. АУМ фактичний матеріал різних мовних рівнів, який дає основу для накреслення ізоглос різної конфігурації і різних напрямків (зразки їх подають додані карти), дозволяють ґрунтовніше висвітлити динаміку сучасного стану говірок аналізованого регіону і показати спрямування цих ізоглос, поширених у переважній більшості з півночі на південь, що вказує одночасно на проникання словацького і польського мовного впливу у південному напрямку, спричиненому значною мірою природними бар'єрами (вододіли рік, гірські хребти тощо).

Вони засвідчують також значну лінгвогеографічну здиференційованість українських говірок Східної Словаччини, що знайшло переконливе підтвердження у згаданому вище «Атласі українських говірок Східної Словаччини» В. Латти, у якому відображено територіальне поширення більше тисячі ізоглос фонетичних, морфологічних, синтаксичних та лексичних явищ і рис, що базується на максимально густій сітці населених пунктів, яка охоплює 92% сіл з україномовним населенням [20].

Вихід у світ загальнонаціональних атласів – словацького (в першу чергу т. IV ASJ – Лексика) і українського (зокрема, II т. АУМ) дозволяють нарешті ширше висвітлити двосторонній процес міжмовних взаємозв'язків і взаємовпливів на діалектному рівні, тобто докладніше проаналізувати не тільки безпосередні і опосередковані запозичення із західнослов'янських мов – словацької (менше чеської) і польської українськими говорами, а й з української мови – західнослов'янськими і, зокрема, словацькими говорами. Прикладом таких запозичень можуть бути лексеми *vesele* 'пошлюбна учта', *hrečka* 'гречка', *čertaž*, *čiertaz* 'поле на місці вирубаного лісу', *čereslo* 'частина плуга' та ін.

Спеціальної уваги у світлі даних лінгвогеографічних досліджень вимагають спільні елементи в неконтактних, відокремлених діалектних ареалах, у нашому випадку, наприклад, у закарпатських говірках української мови і середньословацьких говірках, роз'єднаних зоною східно-словацьких говірок, у тому числі й українських, у яких функціонує інший лексичний репрезентант. Пор., наприклад: закарпатське *шестинеділка* 'породілля' (див. АУМ, II, к. № 365), середньословацьке *šestonediel'ka* (*šestined'iel'ka* (див. ASJ IV, р. VIII, карта 51) і східно-словацьке *položnica*, а в українських говірках Східної Словаччини ще *полош'кин'а*.

Таким чином, значення лінгвогеографічних досліджень для висвітлення міжмовних і міждіалектних контактів і взаємовпливів, для вивчення шляхів, форм і результатів міждіалектної інтерференції надзвичайно велике.

У цьому плані Атлас української мови (зокрема II т. АУМ, з уваги на східно- і західнослов'янське мовне пограниччя) поруч з існуючим уже Атласом словацької мови, Малим атласом польських говорів і регіональними атласами української, польської і словацької мов, дає новий багатий фактичний матеріал для порівняльно-типологічних досліджень.

Нові лінгвогеографічні праці розкривають дальшу перспективу досліджень мовних погранич, у зв'язку з чим доцільно було б створити спеціальний проблемний атлас території східно-західнослов'янського мовного пограниччя, спрямований на вияв інтерференції, продовжити видання серії тематичних атласів, а також лексикографічне опрацювання говірок цих регіонів з використанням архівних лексикографічних праць і сучасних матеріалів, оскільки значення українських окраїнних говірок треба оцінювати не тільки з погляду однієї мови, а й з погляду славістики взагалі.

Примітки

- [1] Atlas slovenského jazyka. I. Vokalizmus a konsonantizmus. Bratislava, 1968; IV. Lexika. Bratislava, 1984 (ASJ).
- [2] Атлас української мови. Волинь, Наддністрянщина, Закарпаття і суміжні землі. Київ, 1988, т. 2 (АУМ).
- [3] J. Tarnacki. Studia porównawcze nad geografią wyrazów (Polesie — Mazowsze). Warszawa, 1939.
- [4] M. Małeckie, K. Nitsch. Atlas językowy polskiego Podkarpacia. Kraków, 1934.
- [5] Z. Stieber. Atlas językowy Dawnej Łemkowszczyzny. Z. 1—8. Łódź; Wrocław, 1956—1964.
- [6] Atlas gwar bojkowskich. Opracowany głównie na podstawie zapisów Stefana Hrabca przez Zespół Instytutu Słowianoznawstwa PAN pod kierunkiem J. Riegera. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1980—1987, t. I—VII.
- [7] Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostoczczyzny. Pod redakcją S. Glinki. T. I, II. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1980, 1989.
- [8] В. Латта. Атлас українських говорів Східної Словаччини. Наукове і картографічне опрацювання З. Ганудель, І. Ріпка, М. Сополіга. Братислава, 1991.
- [9] Общкарпатский диалектологический атлас. Кишинев, 1989, вып. 1; Москва, 1994, вып. 2.; Warszawa, 1992, вып. 3.; Київ, 1993, вып. 4.
- [10] Общеславянский лингвистический атлас. Серия лексико-словообразовательная, вып. 1. Животный мир. Москва, 1988.
- [11] Z. Stieber. Atlas językowy...
- [12] M. Łesiów. Gwary ukraińskie między Bugiem i Narwią // Białostocki Przegląd kresowy. T. 2. Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe i kulturowe w badaniach lingwistycznych. Białystok, 1994, s. 117—137.
- [13] Над Бугом и Нарвою. Українське письмо Podlasia. R. 1. Bielsk Podlaski, 1991, № 1, s. 1.
- [14] В. Латта. Словацько-українська мовна межа // Діалектологічний бюлетень. Київ, 1962; Він же. Атлас українських говорів Східної Словаччини. Вступ.
- [15] В. Латта. Атлас українських говорів..., с. 10.
- [16] Пор. праці: М. Штець, Ю. Муличак. Аналіз норм правопису т. зв. русинської мови. Пряшів, 1992; З. Ганудель. Поспішиш — людей насмішиш // Додаток до газети «Нове життя», № 41, 1994 р.; М. Мушинка. Русинізм на антиукраїнській основі // Перша книжка «русинської оброди». Пряшів, 1992 та ін.
- [17] Пор. ареали *кошуля*—*кошеля* // Атлас української мови, т. 2, карта № 293; ASJ, IV, розділ VII, карта № 12.
- [18] Див. наприклад: Й. О. Дзендзелівський. Українсько-західнослов'янські лексичні паралелі. Київ, 1969; Z. Stieber. Problem pochodzenia dialektów

wschodniosłowiańskich // Świat Językowy Słowian. Warszawa, 1974, s. 191—203;
 J. Rieger. Problemy interferencji językowej w ukraińskich gwarach karpackich w
 zakresie leksyki. Drogi przenikania zapożyczeń // Z polskich studiów slawistycznych,
 seria VI. Warszawa, 1983, s. 303—312.

- [19] Й. О. Дзендзелівський. Українсько-західнослов'янські лексичні паралелі...,
 с. 82, 105, 126, 150.
- [20] В. П. Латга. Принципи картографування і побудови Атласу українських гові-
 рок Східної Словаччини // Українська лінгвістична географія. Київ, 1966, с. 85.

J. Zakrewska

Zur westllchen Grenzzone des ukanischen Sprachgeblets

Die Materialien zu Projekten linguogeografischen Charakters, die bei der Erarbeitung so-
 wohl gesamtnationaler als auch regionaler Sprachatlanten gewonnen werden, bilden die
 Grundlage vertiefter konfrontativ-typologischer Forschungen. Sie eröffnen die Perspektive für
 eine präzise Analyse der Sprache in den Grenzgebieten, speziell im ukrainisch-slowakischen.
 Sie ermöglichen eine objektive Untersuchung des Charakters der betreffenden Dialekte, der
 Modalitäten ihrer Entstehung sowie ihrer Verbindung mit dem gesamtukrainischen Sprachter-
 ritorium. Die Analyse stützt sich auf linguistische Fakten, die z. T., auf linguogeografischen
 Karten dargestellt sind.

Пояснення к картам

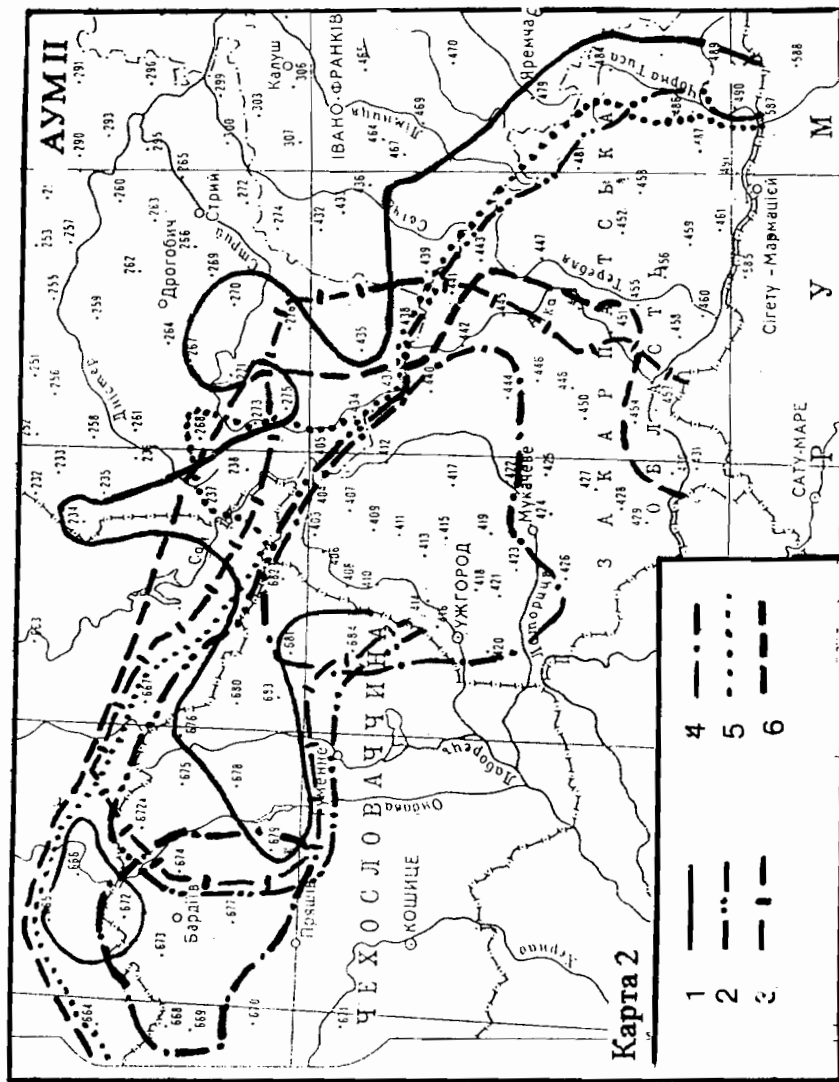
КАРТА 1

1. *білен'* 'частина ціпа' (АУМ, 146)
2. *газдин'а* 'господиня' (АУМ, 361)
3. *жобуна* 'дятел' (АУМ, 337)
4. *корито* 'ночви' (АУМ, 285)
5. *н'ан'о, н'ан'ко* 'батько' (АУМ, 367)
6. *під* 'горіще' (АУМ, 279).

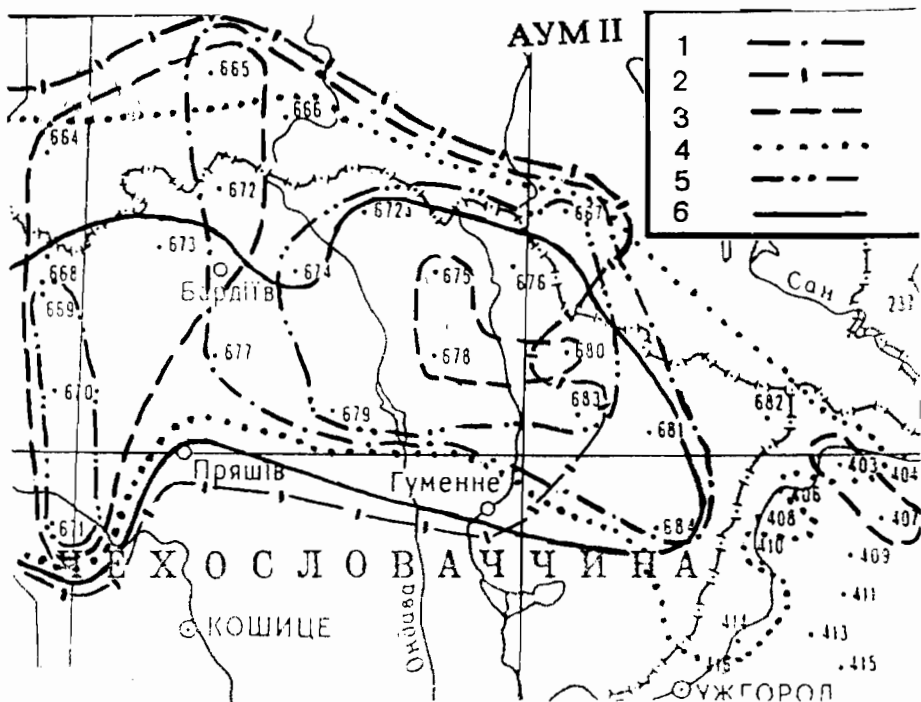
КАРТА 2

1. *ійміти, йміати* (АУМ, 382)
2. *свэд'ба, свал'ба* (АУМ, 362)
3. *тенгеріц'а, кендеріц'а* (АУМ, 327)
4. *хвіл'а* 'погода' (АУМ, 354)
5. *хіжа* 'хата' (АУМ, 278)
6. *йар* 'весна' (АУМ, 352).

КАРТА 2



КАРТА 3



1. бандурка 'картопля' (АУМ, 323)
2. барз 'дуже' (АУМ, 374)
3. кёрці 'постоли' (АУМ, 294)
4. фалат, фалаток 'кусок' (АУМ, 322)
5. цаністра 'торба' (АУМ, 298)
6. шумний 'гарний' (АУМ, 373).

К вопросу о новых польских говорах

1. В польской диалектологии существует термин «новые польские говоры» для обозначения двух диалектных разновидностей польского языка: 1) говоров, формирующихся на землях, вошедших в состав Польши после Второй мировой войны (таких, как Западная Силезия, Западное Поморье и т. д.) и 2) говоров, функционирующих в регионах, которые с востока примыкают к этнически польской территории (здесь не рассматривается вопрос о говорах вдоль южной границы Польши, например в районе польско-словацкого пограничья).

Первую разновидность обычно называют «новыми смешанными говорами» (см., например: [1]); вторую — периферийными польскими говорами, или говорами восточных «кресов» (см., например: [2]). В данной работе речь пойдет о второй диалектной группе, т. е. о той разновидности польской языковой системы, которая сложилась на иноязычном субстрате (белорусском, украинском, литовском). Имеются в виду польские говоры, сформировавшиеся и функционирующие за пределами этнической польской территории [3].

2. В отношении польского языка жителей этих регионов в полной мере мотивированным представляется название «новые польские говоры». Г о в о р ы — потому, что имеют территориально ограниченную сферу распространения, используются в среде сельского населения, обслуживая определенный и обозримый коллектив людей в рамках внутренней жизнедеятельности этого коллектива (семейно-бытовые, производственные отношения внутри деревни). Поэтому говор конкретной деревни может рассматриваться как единая, далее неделимая языковая система, как частная диалектная система в рамках более широкой диалектной системы, представленной в данном регионе. Далее, это — п о л ь с к и е говоры, так как здесь реализуется п о л ь с к а я языковая система, имеющая, однако, специфи-

ческие местные характеристики, обусловленные конкретной ситуацией языковых контактов и вследствие этого дифференцированные территориально. Но в ы м и эти польские говоры могут быть названы в сопоставлении с исконными польскими говорами, представленными на этнической польской территории.

Для этих говоров представляется нежелательным использование определений «смешанный говор», «переходный говор». Думается, что ситуация смешения говоров возникла и существует в определенных социальных условиях на западных польских землях и в отношении этих регионов можно говорить о формировании смешанных говоров. В рассматриваемом же здесь языковом феномене речь не идет о взаимовлиянии двух (или нескольких) разновидностей польской языковой системы, а о контактировании польской и иноязычных систем. Скорее, здесь применим термин «переходные говоры». Однако и это весьма неточно, поскольку обычно переходными говорами считаются, в частности, те, которые функционируют на пограничье двух этнических территорий и обнаруживают в своей системе диалектные черты из г о в о р о в, соседствующих с ними по обе стороны этнической границы. А, как показали многочисленные исследования (например, на Виленщине), интересующие нас польские говоры по своему происхождению связаны, в основном, не с польскими говорами, а с литературным языком (точнее, с его региональным культурным диалектом). Вместе с тем, на синхронном уровне данные говоры обнаруживают такое своеобразие своей системы, которое указывает на существенное влияние другого (т. е. не-польского) языка. Однако утверждение о переходном характере такого языкового идиома представляется нецелесообразным, поскольку результаты интерференции могут в неодинаковой степени проявляться на разных языковых уровнях и по разным идиолектам. Поэтому весьма трудно определить необходимость и достаточность критериев оценки и установить на структурном уровне ту грань, за которой следует говорить уже не об отдельных элементах влияния, например, белорусского языка на польскую языковую систему, а констатировать переходный характер говора. А сам факт языковой интерференции, как известно, еще не равнозначен возникновению переходной языковой системы.

Вместе с тем, необходимо отметить, что языковое смешение и переходность могут рассматриваться традиционно как разные стадии развития диалектов на стыке разных языков или разных диалектов одного языка; окончательная победа одного из языковых идиомов зависит от социальных и политических факторов [4]. Высказывалось также мнение, что говоры восточных «кресов» — это переходные говоры [5].

3. Новые польские говоры представлены в зоне польско-литовского, польско-белорусского и польско-украинского этноязыкового пограничья не только к востоку от нынешней государственной границы, но и в восточных регионах современной Польши (например, в Сувалкском, Белостокском, Люблинском воеводствах). Но если польские говоры на территории Литвы, Белоруссии и Украины уже достаточно давно находятся в поле зрения диалектологов, то аналогичные говоры в восточной Польше исследованы значительно меньше.

4. В сравнении с исконными польскими говорами специфика новых польских говоров состоит в том, что они формируются и функционируют в ситуации билингвизма, в условиях активно протекающих процессов интерференции. Это определяет системное своеобразие конкретных говоров, которое заключается в том, что они могут содержать элементы (например, фонетические, морфологические), заимствованные из другого языка, с которым польский находится в контакте в данной местности. Так, в польском говоре дер. Орняны (Литва) на базе литовско-польского билингвизма у имен существительных женского рода в дательном падеже единственного числа может появляться окончание *-aj* (*mojej matk-aj*, *c'ahux-aj dac'*), что соотносится с соответствующим окончанием в литовском; в польском говоре дер. Студзянки (Белостокское воеводство) на базе белорусско-польского билингвизма зафиксированы случаи произношения дифтонгов в польской речи (*muna źyęka*, *p'leg'i*) в соответствии с местным белорусским *s"lëno*, *kuxarŭe*, *brŭęxa kiŭn'*).

Далее, такие говоры могут содержать элементы, сформировавшиеся вследствие внутрисистемного развития говора в специфических условиях его функционирования. Например, в польском говоре дер. Орняны отсутствуют формальные показатели, маркирующие имена существительные в литературном языке как принадлежащие к среднему роду (ср.: в литературном языке — *(to) okno, pole*, а в говоре — *(ta) okna, pola*). Однако на парадигматическом уровне выясняется, что такие существительные не могут быть отнесены ни к мужскому, ни к женскому роду. В этих условиях констатируем, что в говоре функционирует своеобразная модификация родовой системы, существенно отличающаяся от общепольского языка [6]. Наконец, новые польские говоры могут утрачивать некоторые элементы, присущие польской языковой системе. Одним из наиболее ярких примеров является утрата вокальной назальности, утрата категории мужского лица.

5. Полевые исследования новых польских говоров по обе стороны от государственной границы позволяют делать вывод о принципиаль-

ной близости их языковых систем, функционирующих в сходных условиях языкового контакта. Так, в польских говорах дер. Мстибово в Белоруссии (Волковысский р-н Гродненской обл.) и дер. Студзянки в Польше (гмина Васильков Белостокского воеводства), сформировавшихся в контакте с белорусскими говорами юго-западного типа, обнаруживается, по нашим наблюдениям, почти полное тождество их фонетических систем.

6. Яркой особенностью обоих этих говоров является широкая вариативность в рамках фонетической системы.

Так, в говоре дер. Студзянки гласный *e* варьируется с гласными верхнего подъема *y*, *i* как под ударением, так *ÿ* в безударной позиции (например: *šyžeŷ* // *šežeŷ*, *tyras* // *teras* (// *tŷeras*), *ʼeda* // *b'ida*, *pojechał* // *pojichał*), а в безударном положении *e* варьируется также и с *ä*, *a* (*tes'c'ova* // *tas'c'ova*, *jezen'a* // *jäzen'a*, *p'ontek* // *p'ontak*).

Однако функционирование разнообразных вариантов не означает разрушения и хаоса в польской фонетической системе. Стабильность польской фонетики в этих условиях базируется на осознании говорящими существования польской языковой нормы в противоположность, например, белорусской (по формуле: по-польски говорят так, а по-белорусски иначе). Поэтому стабилизирующим фактором для говоров, функционирующих в условиях контакта с другими языками, является осознанное желание строить речь в соответствии с польской языковой нормой, представленной в данном диалектном регионе (проблемы языковой нормы в данных говорах здесь мы не рассматриваем). Но с таким социологическим обстоятельством, касающимся самого факта существования диалекта, сочетается действие собственно лингвистических стабилизирующих факторов в польской языковой системе. Приведем пример из вокализма. В островном польском говоре дер. Мстибово случаи аканья выступают как вариант наряду с произношением гласных *e*, *o* в тех же фонетических позициях. Думается, что замене гласных *e*, *o* > *a* в безударной позиции препятствует иная, чем в белорусском языке, программа фонетического слова. Ослабление экспирации и интенсивности в конечном сегменте слова делает этот сегмент более податливым на воздействие со стороны белорусской системы. Поэтому возникает произношение типа *žyt-a*, *pol-a* (при литер. польск. *žyt-o*, *pol-e*), что закрепляется на эмическом уровне и получает морфологические последствия, но в характеристику польского безударного вокализма входит лишь на уровне варианта. В отношении говоров дер. Мстибово и Студзянки следует констатировать, что на современном этапе существования этих польских говоров предупредительный и частично заударный вокализм, в основном, сохраняет дистрибуцию гласных *e*, *o*, *a*, присущую общепольскому языку.

7. Новые польские говоры функционируют в сложной языковой ситуации, что, как правило, осознается носителями говоров.

В соответствии с теорией языковых контактов развитие взаимоотношений двух контактирующих языков проходит несколько этапов. На первом этапе – четкое разграничение в функционировании обеих языковых систем: первичная используется дома, в семье, среди соседей в деревне, а вторичная – только как средство коммуникации с другой этноязыковой общностью. Далее следует этап активной интерференции, которая обуславливает взаимопроникновение элементов обеих языковых систем. При наличии соответствующих экстралингвистических условий, обеспечивающих «давление» вторичной языковой системы, происходит переход к общению на втором языке. На завершающей стадии происходит полная идентификация со вторичной языковой системой, изменение этнического сознания.

С этой точки зрения языковая ситуация в польских говорах по разные стороны от государственной границы принципиально различается. В дер. Студзянки (Белостокское воеводство) польский язык (вторичная языковая система) с течением времени усиливает свои позиции, расширяя сферу своего употребления в языковом коллективе деревни. В нынешних социально-политических условиях потребность в знании белорусского языка (первичная языковая система) сокращена до минимума. Сфера его употребления ограничивается обычно семьей, деревней, церковью. С уходом из жизни старшего поколения резко сузился коллектив говорящих по-белорусски и пользующихся этим языком в каждодневном общении. Можно прогнозировать, что, при сохранении существующих социально-политических условий, польский язык вскоре окажется доминирующим в языковом коллективе дер. Студзянки и для следующих поколений жителей деревни он может стать единственной первичной языковой системой, вытеснив постепенно белорусский и из сферы бытового общения.

Синхронное описание этого говора может дать представление о состоянии польской языковой системы в период активного контакта с белорусской системой и в условиях высокого социального престижа польского языка и нарастающего регресса белорусского языка. Языковая ситуация в дер. Студзянки отражает те языковые процессы, которые происходят по всей Белостокщине и, по-видимому, на всем протяжении польско-восточнославянского пограничья на территории современной Польши.

В дер. Мстибово (Гродненская обл.) для польскоязычных жителей первичной является польская языковая система, а белорусская система – вторичной. Здесь, однако, социальная база для использования польского языка резко сокращена. Этот язык используется только в сфере бытового об-

щения — внутри семьи и при контактах с соседями, говорящими по-польски. За пределами деревни (а также и внутри деревни) обычно говорят по-белорусски (либо на русском языке, в котором отчетливо проявляется сильное белорусское влияние). Польский язык быстро выходит из употребления и при сохранении нынешних социально-политических условий может быть вытеснен восточнославянской (скорее всего — белорусской) языковой системой.

Таким образом, ситуация билингвизма, которая является неотъемлемым компонентом характеристики новых польских говоров, представляется весьма неустойчивой по обе стороны границы, однако тенденции во взаимодействии контактирующих языков прямо противоположны.

Примечания

- [1] J. Reichan. W sprawie nowego syntetycznego ujęcia dialektów polskich // Z polskich studiów slawistycznych. Ser. 8. Warszawa, 1992, s. 202, 205.
- [2] Польские говоры в СССР. Минск, 1973, т. I, II.
- [3] J. Reichan. W sprawie nowego...
- [4] M. Karas. Z problematyki gwar mieszanych i przejściowych // Język polski. XXXVII. Warszawa, 1965.
- [5] K. Dejna. Z metodologii badań gwar peryferyjnych i wyspowych // Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, t. XXV. Łódź, 1979, s. 35.
- [6] Мы сопоставляем говор с общепольским языком как с языком-эталоном на том основании, что говор является разновидностью польской языковой системы и поэтому может быть соотнесен с польской кодифицированной нормой.

L. Maslennikova ...

To the Problem of New Polish Dialects

The term «New Polish dialects» existing in the Polish dialectology may be completely applied to those polish dialects which have been formed on the basis of the Lituianian, Byelorussian and Ukrainian substratum and are spread on both sides of the contemporary eastern Polish state boundary. Such dialects function upon bilingual conditions only. They are characterized by wide variability in limits of the phonetic system. On both sides of the Polish boundary the dialects are principally much alike, nevertheless the dynamic of their development makes the opposition — those on the Polish side have a tendency to strengthening as outside Poland the dialects are going on to weaken.

З. Михаил (Бухарест)

Методология лингвистической географии в сравнительном изучении языков Юго-Восточной Европы

Появление в 1926 г. книги К. Сандфельда «Balkanfilologien» (*Linguistique balkanique*, 1930) утвердило основы новой дисциплины сравнительно-лингвистических исследований, которая завоевывает все больше и больше приверженцев. После Второй мировой войны для нее было предложено название «юго-восточноевропейская сравнительная лингвистика», наряду с которым продолжает использоваться и прежнее — «балканская лингвистика». Если предмет исследования четко определен, прогресс познания зависит от адекватности исследовательских методов.

Современная стадия исследований находится под знаком двух императивных задач: 1) уточнение методов — ввиду обнаружения более глубокого и детального объяснения лингвистических процессов, которые привели к созданию в языках различных семей большого числа соответствий; 2) применение в рамках сравнительных штудий возможно большего количества методов из других областей знания, т. е. внедрение междисциплинарных исследований.

Академик В. Георгиев посвятил первую главу одной из своих последних книг методологии лингвистических исследований. Методологический аспект, присутствующий в исследованиях уже на предварительном этапе (=документация), определяет и выбор позиции исследователя по отношению к изучаемому явлению. В. Георгиев, в частности, утверждает: «Ние, езиковедите, както това е изобщо обикновено в науката, работим предимно емпирически. Впрочем обикновеният подход на изследователя към въпросите на неговата наука е емпиризм: събирайки и класифицирайки факти, ние правим изводи, теглим заключения. Това са резултатите, хипотезите или теориите... Оптималното решение на дадена проблема е постигнато, ако изводите обхващат обяснението на всички кате-

гории факти или поне най-големия брой факти» (Проблеми на българския език. София, 1985, с. 7–8). Таким образом, правильное решение задач зависит от того, как сформулированы гипотезы. Что же касается сравнительной лингвистики юго-восточноевропейских языков, то мы должны в первую очередь учитывать устную природу межязыковых (resp. межэтнических) контактов в этом регионе. В связи с этим проф. Г. Ивэнеску предложил в подобных исследованиях использовать специфические методы, применяемые при изучении «устной речи».

Лингвистическая география, основанная Ж. Жильероном, изучает территориальные варианты языка с помощью лингвистических карт. Мы присоединяемся к тем ученым, которые считают лингвогеографию методом, а не разделом языкознания.

В ряду современных методов изучения устной речи, целью которых является определение ареалов языковых явлений, лингвогеография характеризуется тем, что в основе ее лежит прямой сбор устных форм путем анкетирования непосредственно в селах. Напомним, что первый атлас, «Atlas linguistique de la France», был опубликован в 1902–1910 гг., а «Sprach- und Sachatlas Italiens und Südschweiz» К. Яберга и Й. Юда – в 1928–1940 гг. «Румынский лингвистический атлас» (Atlasus lingvistic român [ALR]), инициатором создания которого был С. Пушкарю, а составителями С. Поп и Э. Петрович, выходил в 1938–1942 гг. (ALR I, II) и в 1956–1986 гг. (ALR, serie nouă). Публикация лингвогеографических материалов продолжается, недавно был издан Вопросник ALR (Cluj; Нароса, 1986). О типологическом разнообразии румынских атласов свидетельствует появление в последние десятилетия «Нового румынского атласа областей» (Noul atlas lingvistic român pe regiuni [Oltenia. 1967–1980; Maramureş. 1969–1973 и др.]). В Болгарии создан «Български диалектен атлас» (1964–1981) [БДА], а также атласы И. Иванова (1972) и Р. Божкова (1986). Для сопоставительных исследований языков Юго-Восточной Европы важны и данные «Общеславянского лингвистического атласа» [ОЛА], первые тома которого уже вышли из печати.

Напомним здесь и некоторые принципы интерпретации лингвистических карт, позволяющие углубить понимание структуры и динамики диалектных ареалов. Первые два принципа были сформулированы еще Ж. Жильероном, они касаются миграции слов и их конкуренции (= борьбы): 1) Слова мигрируют на уровне р е ч и из региона (зоны) в регион. Румынский ученый И.-А. Кандря полагал, что миграция происходит в виде радиации, инфильтрации, «разлива», наложения. Радиация имеет место вокруг центров инноваций; инфильтрация отмечается на территориях, ле-

жащих вблизи зоны, где используется определенная реальия (или фиксируется какое-либо явление). Языковой факт мигрирует вначале незаметно, путем инфильтрации или радиации, впоследствии он может широко распространиться, «затопляя» обширные регионы; результатом миграции является обычно наложение лингвистических черт. 2) Говоря о борьбе (конкуренции) лексических элементов, следует учитывать прежде всего идею «болезни» отдельных слов, в основе которой могут быть такие причины, как омонимия, полисемия.

М. Бартоли, создатель пространственной лингвистики, уделил особое внимание хронологии языковых фактов, исходя из расположения (=конфигурации) диалектных ареалов, вследствие чего его метод называется также «ареальной лингвистикой». Учитывая распространение явлений на территории романских языков, он предложил еще пять принципов («норм») интерпретации карт: а) изолированный ареал, б) периферийный ареал, в) большой по величине ареал, г) поздний ареал, д) исчезнувший ареал. По его мнению, (а) из двух языковых фаз изолированная является более старой; (б) фаза в периферийном ареале архаичнее фаз в центральном ареале, откуда началась радиация (миграция) термина; (в) фаза в большем по величине ареале более старая, чем в меньшем; (г) иногда лингвистические явления в более новых ареалах могут быть архаичнее, чем в более старых; (д) менее устойчивая фаза, имеющая тенденцию к исчезновению, является более старой, хотя иногда эти особенности могут отличаться и чрезвычайной стабильностью, сохраняясь на небольших территориях и являясь «свидетелями эрозии», — с их помощью можно реконструировать целую зону. Эти своеобразные «отпечатки» истории имеют большую научную ценность, они говорят о том, что прошлое никогда не умирает полностью. Конечно, перечисленные выше принципы не имеют универсального характера, тем не менее ученые не могут пройти мимо них; к сожалению, еще не изучен вопрос, в какой мере эти принципы целесообразно использовать в сравнительных исследованиях языков Юго-Восточной Европы.

Создание важнейших рабочих инструментов, каковыми являются атласы, показало значение говоривших как свидетелей истории любого языка. До утверждения лингвогеографии как исследовательского метода, считалось, что только письменные свидетельства являются источником данных об историческом развитии языка. Атласы стали надежным фундаментом исследований, базирующихся на «относительной хронологии» этапов развития языка. Они показывают ценность фактов, полученных из повседневной, живой речи, для определения языковых ареалов (в

том числе, например, лексических). Это значительно расширило горизонт исследований, ранее ограниченный письменными памятниками или возможностями реконструкции старых форм. Лингвистические карты позволили проводить сравнительное изучение диалектных ареалов. Учет сравнительно-исторического метода сделал возможным развитие лингвистической геологии, которая устанавливает стратиграфию диалектных фактов, возраст языковых слоев, их развитие и др. В качестве примера стратиграфической интерпретации карты ниже предлагается рассмотрение терминов, обозначающих «ткацкий станок» и отраженных в БДА [БДА I, 1964, к. 207; БДА II, 1966, к. 222; БДА III, 1975, к. 239; БДА IV, 1981, к. 306]. Вопрос был сформулирован следующим образом: «...каково е общото название на домашния тъкачен стан — *стан*, *дюзен*, *креватини*, *разбой* и др.?» (следует обратить внимание, что такого рода вопросы не позволяют собрать информацию о самой реалии). Карты содержат 8 синонимов — при ограниченности сведений о типологии предмета (выявляется три типа станков). Некоторые термины используются на крайне ограниченной территории. Наиболее распространенным общим термином является *стан*. Мы считаем, что этот термин наиболее старый (он, по-видимому, общеславянский и имеет одинаковое значение во всех славянских языках). Другим термином славянского происхождения является *разбой* со следующей конфигурацией ареалов: в юго-восточной Болгарии термин зарегистрирован в 11 нас. п. к западу от Крумовграда и в 26 — к югу от р. Тунджа. На юго-западе все ответы зафиксированы в небольшом ареале между Ботевградом, Петричем и Пазарджиком. На северо-востоке термин отсутствует, там представлены *стан*, *дюзен* и *креватини*. На северо-западе ареал термина *разбой* — от границы до Белоградчика, Берковицы и Софии, также в нескольких нас. п. между Дунаем и Ломом. Интересно, что и «Этнография Болгарии» дает следующее распространение наиболее репрезентативных терминов: *стан* (р-н Силистры, Толбухин, Варна, Сливен, Ст. Загора, Пловдив) и *разбой* (р-н Софии, Перник, Кюстендил, Я. Сандански, а также Галичник). В целом количество пунктов, где зафиксирован последний термин в БДА, меньше, чем пунктов, где представлены термины *дюзен* или *креватини*. Остальные термины имеют различное происхождение, что является следствием разнообразных хозяйственных и культурных взаимоотношений на территории Болгарии.

Карта является синхронным изображением индивидуальной речи на определенной территории. Этот горизонтальный языковой срез может регистрировать и исчезающие элементы (как правило, это редкие сло-

ва), элементы, которые только начинают входить в обиход и наиболее употребительные термины (пласт языковых явлений в период их максимальной употребительности и распространения). Стратиграфические исследования, основанные на методе лингвистической геологии, могут быть предприняты как для каждого языка в отдельности, так и применительно к нескольким разным языкам, когда те или иные термины имеют общее происхождение. Так, в нашей работе «Terminologia portului popular românesc în perspectivă etnolingvistică comparată sud-est europeană» (București, 1978) мы установили соответствия, имеющиеся в языках Юго-Восточной Европы, на основе лингвистических атласов. Полагаем, что такой путь, т. е. создание сравнительных монографий для как можно большего числа ономаσιологических полей, позволит определить в будущем общие лингвистические элементы для языков указанного региона. Мы считаем также, что сравнение ареалов отдельных слов (терминов) является источником ценных данных для установления этимологии и выявления контактных зон — путем совмещения данных как можно большего числа лингвистических карт.

В адрес лингвогеографии высказываются и критические замечания. Большинство их вызвано определенной ограниченностью материалов атласов. Так, считается, что лингвогеография не позволяет исследовать все особенности диалектных ареалов. Действительно, она может изучить лишь часть словарного состава диалекта; обычно исследования касаются главным образом «объективной» лексики и за пределами их остаются многочисленные слова эмоционального характера; на основе одних только атласов затруднено изучение диалектного синтаксиса. Наконец, лингвогеография делает слишком большой упор на разнообразие языковых фактов, взятых в отдельности, что дает своего рода «атомистскую» картину языка. Существуют и другие замечания. Вместе с тем, как известно, дополнение атласов глоссариями и сборниками диалектных текстов в значительной мере устраняет отмеченные недостатки.

Привлечение ряда междисциплинарных методов, таких, как этнолингвистика, предполагает расширение исторического исследования от единичных слов — к группе слов, являющихся компонентами определенного терминологического разряда (что реализуется при ономаσιологическом подходе, при параллельном изучении самой р е а л и и как объекта материального мира), который имеет собственную историю и эволюцию. Изучение всей совокупности обозначений какого-либо предмета (понятия) дает возможность установить причину изменений. А использование ономаσιологического метода, с учетом данных «лингвистической геологии», позволяет при-

лизиться к пониманию критериев, которыми руководствовались носители языка, когда они давали то или иное название, а также проследить семантическую эволюцию той или иной лексемы.

Разумеется, подобная комплексная методология успешно может быть применена при наличии атласа языков Юго-Восточной Европы, выполненного по примеру ОЛА, Лингвистического атласа Европы или Атласа романских языков, работа над которым уже началась. На Втором конгрессе по изучению Юго-Восточной Европы В. Георгиев представил проект Балканского топонимического атласа, а Г. Магас на заседании Комиссии по этнографическим атласам (Хельсинки, 1972 г.) предложил создать Балканский этнографический атлас. Напомним, что еще в 1926 г., на I съезде румынских лингвистов, Т. Папахаджи выдвинул идею Балканского этнолингвистического атласа. С тех пор предпринято немало шагов в поддержку этой идеи и ее реализации. Я хочу верить, что молодое поколение языковедов проявит необходимую активность и сплоченность, чтобы создать бесценный рабочий инструмент, каким явился бы «Этнолингвистический атлас Юго-Восточной Европы».

Z. Michail

Methodology of Linguistic Geography in Comparative Study of the Languages of South-Eastern Europe

Linguistic geography is considered to be one of the vital and effective methods of study of territorial variants of a language on the one hand and of comparative study of several languages including those of South-Eastern Europe — on the other. According to the authors it is equally important to imply some other methods — e. g. interdisciplinary, ethnolinguistic ones first of all. This allows to widen the field to be studied, starting with separate words and in the direction to the groups of words (terminological groups of words, etc.). The combination of linguistic and ethnolinguistic methods in the areal studies will help to work over "South-East European Ethnolinguistic Atlas".--

О. Н. Мораховская (Москва)

Значение лексико-семантических карт для исследований структуры диалектного языка

Становление системного подхода к языку в значительной мере стимулировало осознание новых проблем, которые встали перед диалектологами в связи с созданием национальных лингвистических атласов, — таких, как проблемы соотношения языка и диалектов, диалектного членения и его единиц, классификации говоров, приложимости к диалектному материалу математических методов, проблемы синхронии и диахронии применительно к лингвистической карте и др. Это, в частности, и проблема изучения системы русского языка и его говоров не только в территориальном, но и в собственно лингвистическом, структурном аспекте.

Эта проблема возникла в русском языкознании в период подготовки к картографированию в связи с необходимостью правильно определить его объект. Теоретическую основу системного подхода к диалектному языку составляет учение о диалектных различиях (ДР), разработанное на русском материале Р. И. Аванесовым и его последователями. Кроме общей типологии, выделяющей противопоставленные (соответственные) и непротивопоставленные ДР, одночленные, двучленные и многочленные ДР, одноплановые и многоплановые ДР, простые и сложные ДР, на основе конкретных исследований диалектных явлений разрабатывались типологии ДР разных уровней [1]. Без таких наработок вряд ли можно было бы обосновать понятие диалектного языка, понять столь сложное явление, как национальный язык — макросистему, включающую несколько подсистем разной значимости [2].

Типология ДР лексико-семантического уровня привлекала внимание многих авторов [3]. На первых этапах значительные трудности для исследователя представляла недостаточная изученность лексики диалектов, отсутствие данных о многих словах — собственно диалектных и особенно

тех недиалектных, которые органически входят в лексико-семантические системы говоров, а следовательно, и в структуры ДР. Благодаря широко развернувшейся работе по диалектной лексикографии, а также накоплению опыта картографирования лексических, семантических и сложных лексико-семантических ДР разных структур оказалось возможным прояснить многие детали и предложить новый вариант типологии ДР лексико-семантического уровня. Этому вопросу мы уже посвятили некоторые свои публикации [4]. Но сам объект настолько сложен, что требует осмысления с самых разных сторон. 1) Прежде всего напомним два основных типа диалектных различий лексико-семантического уровня: а) лексические, или ДР плана выражения и б) семантические, или ДР плана содержания. 2) Типологию признаков, по которым соотносятся и противопоставляются члены ДР*, не отождествляем с типологией самих ДР, как это делалось на предшествовавших этапах: большинство ДР лексико-семантического уровня, как лексических, так и семантических, будучи многочленными и многоплановыми, состоит из членов, соотносительных на основе тождеств и различий большого числа признаков. 3) Многие ДР являются сложными: структурными или лексико-семантическими (см. Г. П. Клепикова о сема-ономасиологическом аспекте [5]). Члены таких ДР сопоставляются и по признакам плана выражения, и по признакам плана содержания, что проявляется по-разному в разных диалектных системах. 4) Особый тип составляют так называемые смешанные — лексико-внеязыковые ДР: их создают либо различия этнографического характера, либо различия в природных условиях и других сферах внеязыковой действительности. 5) Вычленим также и сложные ДР, осложненные различиями в объектах наименования.

Все эти типы описаны в литературе, некоторые из них нашли графическое выражение путем построения моделей семантических отношений для семантических ДР, максимальных моделей сложных ДР и ДР, осложненных внеязыковыми различиями [6]. Специфику последних составляет расчлененность максимальной модели в соответствии с разновидностями семантических пространств (групп именуемых объектов) [7]. В результате мы уже имеем общее представление о собственно лингвистическом, структурном аспекте системы диалектного языка.

Исследование территориального аспекта — выделение наречий и групп говоров на лингвистической карте — уже прошло на русском ма-

* Напомним, что это те самые признаки, по которым различаются отдельные слова и варианты слов (формальные и семантические).

териале несколько этапов: а) опыт составления карты диалектов, б) диалектное членение по комплексам признаков на материале карт ДАРЯ [8] и в) опыт составления карт типологической классификации, выполненной на базе автоматизированного варианта ДАРЯ с применением математической статистики [9].

На каждом из этих этапов лексико-семантические явления привлекались в той или иной мере и степень их привлечения сильно влияла на лингвистический ландшафт. От чего это зависит? В первую очередь, от принципа, положенного в основу диалектного членения или классификации. Но и от степени изученности лексики диалектов, от возможности представить правдивую картину распространения явлений лексико-семантического уровня на лингвистической карте. Картографированием, основанным на понятии диалектного различия, достигается, видимо, на данном этапе наибольшая степень приближения к реальности.

При изучении конкретных структур ДР лексико-семантического уровня внимание исследователя может быть обращено не на диалектное различие в целом как на структурный элемент диалектного языка, а на тот или иной член или группу членов ДР. Для разных целей членимость ДР может использоваться по-разному: в одних случаях выделяют отдельные слова или однокоренные члены ДР, в других — слова, имеющие одинаковую словообразовательную структуру или сходные мотивационные признаки и т. п. Но для таких проблем, как диалектное членение, классификация диалектов, структура диалектного или национального языка и под., безусловно важна вся полнота информации, все детали структур лексико-семантических ДР разных типов: именно ДР этого уровня значительно усложняют лингвистический ландшафт, давая множество ареалов, не совпадающих с ареалами явлений других уровней. В диалектное членение, выполненное на принципе совпадения ареалов, лексика вошла в той мере, в какой лексические (редко семантические) ареалы совпадали с ареалами явлений других языковых уровней. Для создания использованного в типологии русских говоров автоматизированного варианта ДАРЯ были привлечены полностью карты лексического раздела III-го выпуска, в условных обозначениях к которым отражены практически все те признаки, по которым выделены члены лексических, семантических и структурных ДР.

Рассмотрим несколько примеров.

На картах, посвященных названиям участка земли, на котором находится дом, хозяйственные постройки, возделываемая земля при доме, или отдельных частей этого участка [10], выделяется много ареалов,

различающихся по компактности распространения того или иного слова, по величине — от весьма обширных до микроареалов. Среди них очень немногие могли быть использованы в установлении диалектного членения по комплексам признаков. Например, слово *одворок* распространено почти исключительно в пределах ладого-тихвинской группы северного наречия, другие префиксальные образования этого корня с тем же суффиксом (*издворок, удворок, подворок* и др.) характеризуют новгородские говоры и северо-западную часть псковской группы, тогда как центральную часть этой группы занимает совсем другое слово — *печина*, а в восточной части дают ареалы еще и такие слова, как *оседлость* и *оседланность, усёлок*. Для многих говоров владимирско-поволжской группы, включая горьковскую подгруппу, характерно слово *усад*, но всего их ареала оно не занимает. Большинство лексических единиц — слов и вариантов (их на двух картах более 50) — при большей или меньшей компактности распространения образуют ареалы, не совпадающие с единицами диалектного членения; часто они «связывают» смежные части соседних группировок. Например, слово *осырок* занимает восток костромской и юго-восток вологодской групп северного наречия. Слово *позьмо* локализовано в отделе В восточных среднерусских акающих говорах и в примыкающих районах рязанской группы южнорусского наречия и т. п. Таким образом, для диалектного членения по комплексам признаков значимы только сравнительно немногие лексические единицы. Для типологической классификации и ее проекции на картах, осуществленной Н. Н. Пшеничновой с учетом каждой частной диалектной системы, характер ареала (величина, компактность) и его роль в диалектном членении по комплексам признаков роли не играют. Но каждый член ДР, независимо от того, каким вариантом того или иного слова он представлен (например, *оседлость, обседлость, оседланность, обседланность...*), значим для типологической классификации.

На карте 23, посвященной названиям посуды, в которой замешивают тесто, представлены два обширных ареала, один из которых — слова с корнем *-деж-* (*дежа, дежка, дежница* и др.), хорошо очерчивает южнорусское наречие, а другой — с корнем *-кваш-* (*квашня, квашонка, квашиница*), объединяют северное наречие и среднерусские говоры. Это отражено в диалектном членении. Для типологической классификации та же карта представляет 15 членов диалектного различия: кроме слов с корнями *-деж-* и *-кваш-*, еще слова с корнем *-кад-* (*кадка, кадушка, кадулька*), с корнем *-хлеб-* (*хлебня и хлебница*) и с корнем *-пар-* (*опарница, опарник*). Некоторые из них могут быть использованы в ди-

алектном членении для дополнительной характеристики частей ареалов групп говоров. Например, ареал слова *кадка* занимает юго-восточную половину ладого-тихвинской группы северного наречия, а слова *опарница*, *опарник* выделяют чухломской акающий остров в составе костромской группы северного наречия. Но для диалектного членения по комплексам признаков это лишь дополнения, тогда как для типологической классификации, представляющей классификацию «большого числа объектов по большому числу признаков» [11], не только слова, дающие ареалы, но и все перечисленные, любого характера распространения, в том числе и в единичных ЧДС, играют свою определенную роль на разных уровнях классификации.

Еще один пример. На карте 53 представлены значения слова *жито*. Слово это в значении 'рожь' выделяет юго-западную зону, где оно в этом значении распространено наиболее компактно. В значении 'ячень' оно характеризует северо-запад с далеким заходом на север вологодской группы северного наречия. Этим ареалам противопоставлено пространство, охватывающее южную половину вологодской и костромскую группы северного наречия, владимирско-поволжскую группу, включая горьковскую подгруппу восточных среднерусских окающих говоров, и частичное отдел В восточных среднерусских акающих говоров. На этой территории распространены более общие значения, такие, как 'хлеб в зерне', 'хлеб на корню', 'яровые хлеба', 'хлебные и зернобобовые' и др. — повсеместно перемежающимися небольшими ареалами [12]. Для типологической классификации сыграло роль каждое из этих значений.

Подобное соотношение явлений, значимых для диалектного членения и для типологической классификации, находим и на других картах (не только лексико-семантического уровня, но и многих, относящихся к другим уровням). Поэтому совершенно очевидно, что проекция типологической классификации на лингвистических картах ни в коей мере не должна повторять картину диалектного членения по комплексам признаков, специально отобранных по территориальному совпадению. Уже по схемам, приведенным в исследовании Н. Н. Пшеничновой [13], видно, насколько усложняется картина в результате классификации большого числа ЧДС по всей полноте признаков, отраженных в ДАРЯ. Такая классификация могла быть осуществлена только по специально разработанной методике с применением ЭВМ, и только благодаря этому вся полнота лексических данных ДАРЯ, хотя среди них и нет типобразующих признаков, нашла свое отражение в типологической классификации.

Примечания

- [1] Вопросы теории лингвистической географии. М., 1962 (далее: ВТЛГ).
- [2] О. Н. Мораховская. Системный подход к языку и диалектология // ОЛА. Мат-лы и иссл. М., 1984.
- [3] Ф. П. Филин. Несколько замечаний о характере лексических диалектизмов // Вопросы славянского языкознания. Львов, 1944, кн. I (Уч. зап. Львов. гос. ун-та. Сер. Филол., т. VII, вып. 3); Л. П. Жуковская. Типы лексических различий // ВЯ, 1957, № 3; Р. И. Аванесов, Л. П. Жуковская. Лексические диалектные различия и их картографирование // ВТЛГ, с. 147—174; О. И. Блинова. Введение в современную региональную лексикологию. Томск, 1973; Она же. Русская диалектология: Лексика (Учебное пособие). Томск, 1984.
- [4] О. Н. Мораховская. Типология диалектных различий лексико-семантического уровня. Структурный аспект // ОЛА. Мат-лы и иссл. М., 1988 (с литературой).
- [5] Г. П. Клепикова. Сема-ономастиологический аспект в исследовании некоторых лексических групп (на материале карпато-украинских диалектов) // ОЛА. Мат-лы и иссл. М., 1977.
- [6] Н. И. Толстой. Из опыта типологических исследований славянского словарного состава [1] // ВЯ, 1963, № 1; [2] // ВЯ, 1966, № 3; Г. П. Клепикова. Из опыта картографирования славянской лексики (в связи с проблемой семантического микрополя) // Материалы и исследования по общеславянскому лингвистическому атласу. М., 1968; Она же. Изучение лексико-семантических явлений в единичной языковой системе и в совокупности систем // Сов. славяноведение, 1980, № 2; В. Е. Гольдин. К методике отграничения соответственных лексико-семантических групп // Очерки по русскому языку и стилистике. Саратов, 1967; В. К. Павел. Терминология агрокол молдовеняскэ (Студиу де жеография лингвистика). Кишинэу, 1973; П. Ю. Гриценко. Моделирование системы диалектной лексики. Київ, 1984; Он же. Ареальные варьирования лексики. Київ, 1990; В. В. Корчмарь. Молдавская пастушеская терминология. Кишинев, 1989 и др.
- [7] О. Н. Мораховская. Проблемы варьирования словарного состава русского языка в его территориальных диалектах и лингвистическая география // Актуальные проблемы лексикологии и лексикографии. Пермь, 1972; Она же. К методике картографирования сложных лексико-семантических различий // Лингвогеография, диалектология и история языка. Кишинев, 1973; Она же. Критерий сопоставимости лексико-семантических групп слов в диалектном языке // ОЛА. Мат-лы и иссл. М., 1975.
- [8] Диалектологический атлас русского языка. Центр Европейской части СССР. Вып. I. Вступительные статьи. Справочные материалы. Фонетика / Под ред. чл.-корр. АН СССР Р. И. Аванесова и к. ф. н. С. В. Бромлей. М., 1986; вып. II. Морфология / Под ред. чл.-корр. АН СССР Р. И. Аванесова и к. ф. н. С. В. Бромлей. М., 1989; вып. III. Синтаксис. Лексика (в печати).

- [9] [Н. Н. Дурново, Н. Н. Соколов, Д. Н. Ушаков.] Опыт диалектологической карты русского языка в Европе с приложением очерка русской диалектологии. М., 1915 (Труды МДК, вып. 5); К. Ф. Захарова, В. Г. Орлова. Диалектное членение русского языка. М., 1970; Н. Н. Пшеничнова. Типология русских говоров. Докт. дисс. М., 1994; Она же. Применение метода таксономического анализа к классификации говоров // Диалектологические исследования по русскому языку. М., 1977; Она же. Диалектологический атлас русского языка и его автоматизированный вариант // ОЛА. Мат-лы и иссл. М., 1989.
- [10] ДАРЯ, вып. III. Лексика, карты 1, 2 (в печати).
- [11] Н. Н. Пшеничнова. Типология русских говоров...
- [12] Подробнее см.: О. Н. Моракховская. К вопросу о семантических диалектных различиях // ОЛА. Мат-лы и иссл. М., 1985.
- [13] Н. Н. Пшеничнова. Типология русских говоров...

Сокращения

ВЯ	Вопросы языкознания. М., 1952—.
ОЛА.	Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. Мат-лы и иссл. М., 1965—.
Труды МДК	Труды Московской диалектологической комиссии.

O. Morakhovskaya

The Significance of Lexical-Semantic Maps for Research of the Structure of the Dialectal Language

This paper analyses, on the basis of the maps of the Atlas of Russian dialects, the role played by lexical, semantic and structural lexico-semantic differences of dialects according to two different classifications: the territorial principle — correlation of areals of different phenomena (diversity of dialects) and extraterritorial — classification of all systems of dialects according to the complete set of differential characteristics (typological classification).

It is shown that a projection of the typological classification on the map cannot reflect the diversity of dialects with all its characteristics.

Структурно-типологическая классификация говоров и диалектное членение русского языка

Структурно-типологическая и ареальная классификации языковых систем проводятся, как известно, с разными целями и оперируют разными единицами деления. В диалектологии ареальная классификация, иначе диалектное членение языка (далее ДЧ), или группировка говоров, имеют дело с лингво-территориальными единицами (разных уровней деления, или рангов); в русской диалектологии это наречия, группы и подгруппы говоров, межзональные, в том числе переходные, говоры. Следовательно, цель диалектного членения состоит в том, чтобы выделить эти единицы как территориальные объединения близких между собой говоров. Мысль о создании лингвистической карты, «на которой место границ политических, религиозных и всяких других занимают границы лингвистического разнообразия народов», т. е. о диалектном членении русского языка, была высказана И. И. Срезневским еще в 1851 г. [1], а первые попытки осуществить ДЧ русского языка относятся к еще более раннему времени [2]. Однако только на лингвистических данных, кроме очень обобщенной классификации говоров М. В. Ломоносова [3], построены лишь три классификации русских говоров: В. И. Даля [4], Н. Н. Дурново–Н. Н. Соколова–Д. Н. Ушакова [5], К. Ф. Захаровой–В. Г. Орловой [6]. Две последние представлены на лингвогеографических картах, и именно они, с разной степенью условности, могут быть названы ареальными классификациями.

Специфика «Диалектологического атласа русского языка» (ДАРЯ) [7], с одной стороны, использование для анализа материала математических методов и его компьютерная обработка – с другой, обусловили возможность классификации говоров в новом для диалектологии аспекте: была проведена структурно-типологическая классификация русских говоров [8] (территории наиболее старых русских поселений, входящей в ДАРЯ) как

частных диалектных систем (далее ЧДС) по всем основным языковым показателям (именно они представлены в ДАРЯ) вне территории (учтено 4195 ЧДС, 4416 признаков). В отличие от ДЧ, единицами полученной структурно-типологической классификации являются совокупности говоров как целостных языковых систем [9]. Одни из этих совокупностей представляют собой однородные группы говоров, другие – совокупности переходных говоров, третьи – смешанные совокупности разнородных говоров. Единицы структурно-типологической классификации русских говоров состоят или из ЧДС какого-либо одного диалектного типа (того или иного ранга, иначе уровня деления) – как правило, это однородные группы говоров, – или из говоров, которые к одному какому-либо диалектному типу отнести нельзя [10]. В результате классификации было выделено 34 диалектных типа разных рангов [11]. Вопрос относительно классификационной принадлежности каждого говора как целостной языковой системы, который в ДЧ не ставится, в новой классификации – структурно-типологической – получает свое решение. Результаты классификации, проведенной вне территории, отражаются на лингвогеографической карте [12].

Для полной характеристики русского диалектного языка – как в территориальном, так и в структурно-типологическом аспектах – важны как сходства, так и различия между классификациями, проведенными на основе разных принципов и разными методами [13]. Это определяет необходимость сравнения территориальной проекции структурно-типологической классификации с ареальной классификацией русских говоров, прежде всего с ДЧ К. Ф. Захаровой и В. Г. Орловой, построенным на том же материале. Сравнение карт позволяет выявить, как соотносится территория распространения говоров определенного типа, переходных говоров и разнородных говоров смешанных совокупностей с лингво-территориальными единицами ДЧ той же территории.

Карта, отражающая структурно-типологическую классификацию (далее СТК), в общих чертах близка схеме ДЧ. Это, в частности, позволяет присвоить многим единицам СТК те же названия, какие даны близким им по территории единицам ДЧ. Главное сходство между сравниваемыми картами (а также с картой Н. Н. Дурново, Н. Н. Соколова и Д. Н. Ушакова [далее «Опыт»]) – выделение на первом классификационном уровне севернорусских (С), южнорусских (Ю) и среднерусских (переходных) говоров, ареалы которых сходны на всех трех картах. Это сходство естественно, так как карты отражают структурно-типологическую и ареальную классификации одних и тех же говоров, которые максимально близки друг другу генетически и типологически, по основанию, в значительной части

совпадающему в обеих классификациях. Кроме того, сходство результатов разных классификаций одних и тех же говоров связано с тем, что в них используется один и тот же принцип определения классификационной значимости признаков, лежащих в основании классификации, – важность признака зависит от того, каков его вклад в деление (при этом в СТК классификационная значимость признака учитывается автоматически [14]). Тому же принципу в оценке классификационной существенности признаков следуют и Н. Н. Дурново, Н. Н. Соколов, Д. Н. Ушаков. Таким образом, сходство карт, отражающих СТК, ДЧ, и карты в «Опыте» объяснимо и вместе с тем является их убедительной взаимопроверкой. В то же время между рассматриваемыми картами есть и существенные расхождения.

Главное различие между сравниваемыми картами, как было сказано выше, – в содержании представленных на этих картах единиц деления. Основные причины наиболее существенных расхождений между территориальным распределением говоров разных единиц СТК и лингво-территориальными единицами ареального ДЧ состоят в следующем: 1) ДЧ проводилось не по всем признакам, представленным в ДАРЯ (в характеристику выделенных единиц признаки входят все), а лишь на основании таких, которые в сумме выделяют достаточно определенные ареалы; в отличие от этого, СТК осуществлялась по всем отраженным в ДАРЯ (4416) признакам; 2) СТК проведена по единому (многопризнаковому) основанию для всех ЧДС, участвовавших в делении, в отличие от этого, в ДЧ на основании одних признаков получена одна группировка, основная, по другим признакам – другая (зоны), которая является как бы дополнительной; 3) ДЧ представляет собой схему деления, на которой границы до некоторой степени условны, карты же СТК показывают наиболее вероятную классификационную принадлежность каждой отдельной ЧДС, участвующей в делении, в связи с чем единицы ДЧ разделены четкими границами, а карты, отражающие СТК, являются более «пестрыми».

В ДЧ по пучкам изоглосс почти все подгруппы наречий получены на втором уровне, межзональные, в том числе среднерусские, говоры имеют три уровня деления. СТК представлена последовательно как четырехуровневое деление, что позволяет более детально показать неодинаковую степень близости между синхронно существующими ЧДС разных классификационных единиц. Группы говоров разных диалектных типов в СТК, близкие по территории к группам говоров ДЧ, во многих случаях отличаются от последних классификационным рангом, в результате чего проведенная нами четырехуровневая классификация позволяет выявить степень близости между говорами разных групп иную, чем та, которая показана в ДЧ [15].

Классификация русских говоров по всем основным языковым показателям проведена как деление с наиболее вероятными границами между единицами классификации. В связи с этим наиболее вероятную классификационную характеристику получают и такие говоры, относительно классификационной принадлежности которых существуют разногласия.

Одно из главных отличий карты, которая отражает СТК, проведенную по всем основным элементам языковой системы в их материальном воплощении и структурных отношениях, от ареального ДЧ – выделение зоны западнорусских говоров (карта № 1).

На карте СТК полоса **западнорусских говоров** проходит с севера на юг главным образом вдоль русско-белорусской и частично русско-украинской государственных границ (единичными разрозненными вкраплениями они отмечены также на других участках территории ДАРЯ). Говоры этой полосы выделились на первом уровне СТК как смешанная совокупность разнородных говоров и отнесены к Западнорусскому диалектному типу [16].

В ДЧ, дополнительном, не представленном на основной карте, выделяется «западная диалектная зона», которая существенно отличается от территории распространения западнорусских говоров на карте СТК: по сравнению с последней она охватывает значительно большую территорию за счет расширения на север и северо-восток [17]. В ДЧ, основном, такая зона отсутствует, а относящиеся к ней по СТК говоры частично определяются как среднерусские, частично входят в южное наречие: по ДЧ это северная часть Гдовской группы и большая часть Псковской (кроме ее восточной и юго-восточной частей) среднерусских; почти вся Западная группа, большая (западная) часть Верхне-Деснинской, большая часть межзональных говоров типа «А», юг Курско-Орловской группы южного наречия. Говоры западной Брянщины (вокруг Новозыбкова) в ДЧ не учитываются, так как считаются белорусскими [18]. Между тем проведенная нами классификация показала, что эти говоры, если их сравнивать как целостные ЧДС по всем основным языковым признакам, близки говорам, распространенным к востоку и северу от них: на втором уровне СТК эти говоры объединяются в однородную группу и относятся к говорам Юго-западного диалектного типа; на четвертом – выделяется группа еще более близких между собой говоров, которые занимают, естественно, меньшую и еще более компактную территорию, – по СТК они выделяются как группа говоров Новозыбковского диалектного типа.

В выделении полосы западнорусских говоров как таких, которые на первом классификационном уровне образуют смешанную совокупность разнородных говоров, карта СТК близка диалектологической карте рус-

ского языка в «Опыте». На карте 1915 г. рассматриваемые говоры не входят в состав чисто русских. Одни из этих говоров квалифицируются как переходные к белорусским на северновеликорусской основе (Псковская группа I), другие — как говоры севернобелорусские. Большая часть первых на втором уровне СТК выделилась как группа говоров Псковского диалектного типа; вторые на четвертом уровне — как группа говоров Новозыбковского диалектного типа.

К наиболее существенным расхождениям между территориальным распределением говоров в СТК, ареальным ДЧ К. Ф. Захаровой — В. Г. Орловой и «Опытном» относится неполное совпадение на этих трех картах полосы среднерусских говоров (карта № 2).

Территория среднерусских говоров на карте СТК не является сплошной. В ней есть отдельные вкрапления говоров, относящихся к другим классификационным единицам (С или Ю). Особенно значительны эти вкрапления в восточной части территории, на участке Н. Новгород—Чебоксары—Саранск, а на территории южнее Н. Ломова переходные говоры сами являются отдельными вкраплениями в массиве говоров южнорусского типа. Отдельными точками переходные говоры «разбросаны» и на остальной территории, причем среди говоров севернорусского типа чаще, чем среди говоров южнорусского типа. Среди таких единичных вкраплений наиболее значительными являются небольшие ареалы переходных говоров у Солигалича и Чухломы (в так называемом Чухломском акающем острове).

Средневеликорусские говоры в «Опыте» занимают территорию, очень близкую той, на которой распространены говоры, выделившиеся по СТК как переходные, или среднерусские. Основное различие состоит в том, что северная граница полосы средневеликорусских говоров на карте 1915 г. проходит севернее, чем среднерусских на карте СТК: Владимирско-Поволжская группа северновеликорусского наречия «Опыт» в СТК разделена на две примерно равные части — северную, говоры которой в СТК относятся к севернорусскому диалектному типу, и южную, говоры которой относятся к переходным. Южная граница среднерусских говоров СТК, в ее восточной части, проходит севернее, чем в «Опыте». Обратим при этом внимание на следующее: в юго-восточной части территории, относящейся, по «Опыту», к средневеликорусским, а по СТК — к южнорусским говорам (южнее, западнее, севернее и северо-восточнее Пензы), есть много вкраплений среднерусских (по СТК) говоров, в северной части территории среднерусских говоров СТК (севернее и северо-восточнее Владимира), принадлежащей, по «Опыту», северновеликорусским говорам, заметны значительные ареалы севернорусских говоров. Таким образом, участки территорий,

относительно которых в «Опыте» и на карте СТК есть расхождения в определении их диалектной принадлежности, не представляют единства — здесь отмечены вперемешку говоры, относящиеся к разным единицам деления. Если учесть, что карта в «Опыте» — схема с ее четким, но условным делением, а карта СТК отражает место в ней говора каждого отдельного нас. п., то данное расхождение становится вполне объяснимым.

Полоса среднерусских говоров на карте СТК не полностью совпадает и с территорией среднерусских говоров ДЧ: первая из них существенно уже, чем вторая. На карте СТК северная граница среднерусских говоров проходит южнее, чем в ДЧ. По СТК, севернорусскими являются следующие говоры из числа тех, которые по ДЧ относятся к среднерусским: говоры южной части Гдовской группы, почти все Новгородские говоры, говоры северной части Селигеро-Торжковских, северной половины Владимирско-Поволжской группы и северо-восточной части Горьковской подгруппы Владимирско-Поволжской группы.

Южная граница среднерусских говоров на карте СТК проходит севернее, чем в ДЧ. Так, говоры, относящиеся в ДЧ к восточным среднерусским акающим — южная половина отдела «А», почти весь отдел «Б» (исключая его северо-западный участок — к востоку от Москвы) и большая часть отдела «В» (за исключением его северо-западной части), — в СТК являются южнорусскими.

Среднерусские говоры на первом уровне СТК не могут быть отнесены к одному диалектному типу: в характеристике их сопоставительной системы нет типопределяющих признаков [19]. На следующих уровнях в них выделяются группы говоров следующих диалектных типов. На третьем уровне — группа говоров Центрального среднерусского диалектного типа, близкая по территории распространения входящих в нее говоров к отделу «А» восточных среднерусских акающих говоров ДЧ, и группа говоров Восточного среднерусского диалектного типа, которые распространены небольшими ареалами в восточной половине среднерусских говоров. На четвертом уровне СТК выделились группы говоров Юго-восточного диалектного типа, распространенных также небольшими ареалами в пределах территории, относящейся по ДЧ к отделу «В» восточных среднерусских акающих говоров, а также группа говоров Тверского диалектного типа, близкая по территории Калининской подгруппе Владимирско-Поволжских ДЧ, и Верхневолжского диалектного типа, занимающая территорию почти совпадающую с восточной половиной Селигеро-Торжковских ДЧ. Другие среднерусские говоры (на карте № 2 они все показаны крапом) отнести к какому-либо одному диалектному типу нельзя: это говоры, переходные между

говорами разных диалектных типов, или разнородные говоры, образующие так называемые смешанные совокупности разных классификационных рангов (подробно об этом см. в работах, указанных в примеч. [10 и 11]).

Деление среднерусских говоров СТК и в ареальном ДЧ существенно различно, главным образом за счет расхождений в определении общей совокупности среднерусских говоров, а это связано с тем, что в рассматриваемых классификациях не совпадает классификационная принадлежность Владимирско-Поволжских говоров (это показывают схемы деления — см. примечание [14]).

Говоры, относящиеся по ДЧ к Владимирско-Поволжской группе среднерусских, по СТК не представляют единства: на первом классификационном уровне их северная половина входит в группу севернорусских говоров (С), а южная относится к переходным, или среднерусским. На следующем, втором, уровне большая часть входящих в С составляет группу говоров, относящихся к диалектному типу, который и есть собственно Владимирско-Поволжский; на третьем уровне в этой группе выделяется подгруппа говоров Ивановско-Нижегородского типа; на четвертом уровне выделяется ядро говоров Владимирско-Поволжского диалектного типа — группа говоров Нижегородского диалектного типа, которая по территории близка к Горьковской подгруппе Владимирско-Поволжской группы ДЧ. Часть говоров, из числа относящихся по ДЧ к Владимирско-Поволжской группе среднерусских, а по СТК — к севернорусским, на втором уровне вошла в состав смешанной совокупности разнородных говоров, из которой на четвертом уровне выделилась однородная группа — говоры, распространенные на южной периферии территории, относящейся к говорам Владимирско-Поволжского диалектного типа (тип второго ранга).

Южная половина говоров Владимирско-Поволжской группы ДЧ в СТК, как и в ДЧ, относится к среднерусским (или переходным). Часть из них образует две однородные группы четвертого уровня: 1) группа среднерусских говоров Тверского диалектного типа, территория распространения которых примерно совпадает с Калининской подгруппой Владимирско-Поволжской группы ДЧ, 2) группа, близкая по территории распространения составляющих ее говоров к юго-восточной части Горьковской подгруппы ДЧ. Подавляющая же часть говоров из числа относящихся по ДЧ к Владимирско-Поволжской группе среднерусских и к среднерусским переходным по СТК составляет смешанные совокупности разнородных говоров, не относящихся к какому-либо одному диалектному типу (на карте № 1 они, как и другие говоры, которые к одному какому-либо типу отнести нельзя, показаны крапом).

Таким образом, СТК по основным элементам языковой системы выявила неоднородность говоров, известных как Владимирско-Поволжские.

Территория распространения говоров севернорусского диалектного типа близка северному наречию ДЧ и северновеликорусскому наречию в «Опыте». Различия между ними связаны с разной классификационной характеристикой в трех классификациях Владимирско-Поволжских говоров. Деление говоров севернорусского диалектного типа в СТК более сложно, чем деление северного наречия в ДЧ (см. [15]). Все группы говоров северного наречия, указанные в ДЧ, выделяются и в СТК, но классификационный ранг групп этих классификаций чаще всего не совпадает. Так, например, Вологодская группа говоров в ДЧ выделяется на втором уровне; в СТК ей соответствует группа говоров Вологодско-Вятского диалектного типа, а на четвертом уровне выделяется как ее ядро группа говоров Вологодского диалектного типа. Ладого-Тихвинская группа в ДЧ получена на втором уровне, близкая ей по территории группа говоров Ладого-Тихвинского диалектного типа в СТК выделяется на четвертом уровне – это центр группы Новгородско-Ладожского диалектного типа (третьего ранга) и группы Новгородского диалектного типа (второго ранга). В ДЧ из межзональных говоров северного наречия выделена Онежская группа; близкая ей по территории группа говоров Онежского диалектного типа в СТК получена на четвертом уровне из смешанной совокупности разнородных говоров, относящихся к Новгородскому диалектному типу второго ранга.

Говоры, относящиеся по ДЧ к Костромской группе северного наречия, в СТК почти все выделяются на втором уровне как совокупность переходных между группами говоров Вологодско-Вятского и Владимирско-Поволжского диалектных типов. На третьем уровне в них выделяется однородная группа, говоры которой относятся к Костромскому диалектному типу (они занимают центральную, большую, часть территории Костромских говоров), на четвертом уровне в группе говоров Костромского диалектного типа выделяется ее ядро – группа, ареал которой составляет центр территории говоров Костромского диалектного типа. Западную часть территории, относящейся по ДЧ к Костромской группе северного наречия, занимают говоры, которые по СТК представляют собой большую «пестроту»: здесь отмечены говоры, принадлежащие разным классификационным единицам разных уровней деления (многие из них относятся к переходным: одни – между говорами Новгородского и Владимирско-Поволжского диалектных типов, другие – между говорами Новгородского, Владимирско-Поволжского и Вологодско-Вятского диа-

лектных типов), в этой пестроте выделяется однородная группа четвертого уровня — говоры Ярославского диалектного типа.

В ДЧ в пределах Костромской группы северного наречия выделен ареал акающих говоров, названный Чухломским островом. Авторы ареальных классификаций относят эти говоры к среднерусским. Характеристика говоров Чухломского острова как среднерусских обоснованна [20], но она базируется не на всех основных языковых признаках, а на пучке изоглосс, выделяющих Чухломский остров, и относится не к каждому отдельному говору, входящему в этот остров, а к сопоставительной системе, которая может быть построена для всех говоров, образующих данный ареал. Если же каждый говор Чухломского острова рассматривать как отдельную целостную языковую систему и как таковую сравнивать ее по всем основным элементам языковой системы с остальными говорами, для которых проводится СТК, то следует констатировать, что говоры Чухломского акающего острова достаточно разнородны: в пределах относящейся к ним территории распространены говоры, входящие в разные единицы СТК.

Говоры, относящиеся к южнорусскому диалектному типу, занимают территорию, более продвинутую на север и восток, чем южное наречие ДЧ, а их западная граница, по сравнению с соответствующей границей ДЧ, отступает на восток.

В СТК деление говоров южнорусского диалектного типа также является более сложным, чем в ДЧ, при этом группы говоров того или иного диалектного типа, близкие по территории распространения единицам ДЧ, отличаются от последних своим классификационным рангом. Так, например, Курско-Орловская группа выделена в ДЧ на втором уровне, а близкая ей по территории группа говоров Курско-Орловского диалектного типа — на третьем. В СТК получена группа говоров Юго-восточного диалектного типа. Эти говоры занимают территорию, которая по ДЧ относится к среднерусским. На третьем уровне СТК в этой группе выделяется группа говоров Пензенского диалектного типа (по территории близка отделу «В» среднерусских акающих говоров ДЧ).

Между территориями Западного южнорусского и Юго-восточного диалектных типов находится ареал южнорусских переходных говоров, в которых на четвертом уровне выделились группы говоров Тульского, Рязанского и Тамбовского диалектных типов. Говоры Тульского диалектного типа почти совпадают по территории распространения с Тульской группой ДЧ. Сходство этих единиц деления состоит также и в том, что в обеих классификациях они выделяются как группы говоров из переходных южнорусских. Таким образом, сравнение говоров по всем основным языковым по-

казателям позволило с наибольшей вероятностью отнести Тульские говоры к говорам Южнорусского диалектного типа; на втором уровне Тульские говоры вместе с Рязанскими входят в совокупность переходных между говорами Западного южнорусского и Юго-восточного диалектных типов; на третьем уровне Тульские говоры выделяются из переходных южнорусских как отдельная подгруппа, диалектный тип которой выражен очень слабо; на четвертом уровне выделяется ядро Тульских говоров, или их центр, — группа говоров Тульского диалектного типа. Такое деление является наиболее вероятным.

Структурно-типологическая классификация и ареальное диалектное членение с разных сторон характеризуют русский диалектный язык. ДЧ по пучкам изоглосс отражает историю сложения наречий и среднерусских говоров (и их подразделений): границы единиц ДЧ близки к границам феодальных княжеств, что указывает на формирование единиц ареального ДЧ в основном в период относительной разобщенности этих княжеств [21]. Синхронное сопоставление ЧДС по всем основным элементам в их материальном воплощении и структурных отношениях показывает, что эволюция диалектных систем привела их к тому состоянию, которое, будучи отраженным на лингвогеографической карте, не обнаруживает такого единообразия говоров, какое предстает в пределах единиц ДЧ. ДЧ схематически представляет прошлое русских говоров. Проведенная нами СТК отражает синхронное состояние русских говоров как единых и целостных языковых систем середины XX в. Комплексное использование рассмотренных карт открывает некоторые новые перспективы дальнейших исследований как в области исторической диалектологии, так и связанных с анализом современного состояния говоров, так как позволяет анализировать языковые факты и закономерности не только на фоне территориальных единиц ДЧ, но и в связи с территориальным распределением самих языковых систем (ЧДС) в целом, т. е. сравнительно с территорией, соответствующей тем диалектным типам, какие сложились в русском языке к середине XX в.

Примечания

- [1] И. И. Срезневский. Замечания о материалах для географии русского языка // ВРГО, 1851, ч. 1, кн. 1, с. 2.
- [2] См. историю вопроса в: И. А. Оссоветский. Начальные этапы развития русской диалектологии // История русской диалектологии. М., 1961; С. С. Высотский. Развитие русской диалектологии в конце XIX в. и в начале XX в. // там же.
- [3] М. В. Ломоносов. Материалы к Российской грамматике // М. В. Ломоносов. Полн. собр. соч. М., 1952, т. VII, § 112.

- [4] В. И. Даль. О наречиях русского языка. По поводу «Опыта областного великорусского словаря», изданного Вторым отделением имп. Академии наук // ВРГО, 1852, ч. VI, кн. I, отд. IV; перепечатано в: В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Изд. 2. СПб., 1880, т. 1.
- [5] [Н. Н. Дурново, Н. Н. Соколов, Д. Н. Ушаков.] Опыт диалектологической карты русского языка в Европе с приложением очерка русской диалектологии. М., 1915 (Труды МДК, вып. 5).
- [6] К. Ф. Захарова, В. Г. Орлова. Диалектное членение русского языка. М., 1970.
- [7] См., например: С. В. Бромлей. Теоретические основы русского лингвистического атласа и его карты // Диалектологический атлас русского языка. Центр Европейской части СССР. Вып. I. Вступительные статьи. Справочные материалы. Фонетика / Под ред. чл.-корр. АН СССР Р. И. Аванесова и к. ф. н. С. В. Бромлей. М., 1986.
- [8] Необходимо дать некоторые пояснения по поводу названия классификации «структурно-типологическая»: 1) в отличие от типологической классификации языков, в СТК говоров определяется тип не языковой системы, а тип диалекта как макросистемы, или системы частных диалектных систем; 2) в русских говорах, как в языковых системах, генетически и типологически очень близких друг другу, мало собственно типологических признаков, таких, как, например, количество фонем, различающихся в той или иной позиции, наличие или отсутствие в определенных грамматических подсистемах дополнительных грамматических средств — чередование, подвижное ударение, различия по количеству форм словоизменения и т. п. В связи с этим классификация по таким признакам была бы неинформативной и не ответила бы на вопрос, группируются ли, и, если группируются, то как, русские говоры середины XX в. по основным языковым показателям, или признакам. Поскольку каждый признак, участвующий в СТК, с одной стороны, является элементом частной диалектной системы, а с другой — входит в число элементов, образующих вариативное звено системы диалектного языка, т. е. находится в структурных отношениях с другими элементами того же вариативного звена (это относится и к признакам, представляющим собой лишь разное материальное воплощение одного и того же звена языковой системы — напр., различие в I-м предударном слоге фонем /o/ и /a/ в гласных [o] — [a]: в[o]да — тр[a]ва и т. п. или в [oʲ] — [a]: в[oʲ]да — тр[a]ва и т. п.), постольку классификацию, основанием которой являются вариативные звенья системы диалектного языка, правомерно называть структурно-типологической.
- [9] Описания ЧДС, моделируемых по данным ДАРЯ, до некоторой степени условно можно считать полными. См. об этом, например: Н. Н. Пшеничнова. Типология русских говоров. Автореф. дисс. докт. филол. наук. М., 1994, с. 12.
- [10] Н. Н. Пшеничнова. Типология русских говоров. Докт. дисс. М., 1994; Она же. Типология русских говоров. Автореф. дисс. докт. филол. наук. М., 1994; Она же. Структурно-типологическая классификация русских говоров // ОЛА. Мат-лы и иссл. 1988—1991. М., 1995.
- [11] Определение диалектного типа, или типа диалекта см. в работах, указанных в примечании [10], а также: Н. Н. Пшеничнова. Тип диалекта (славянский диалектный континуум) // Славянское языкознание. XI Международный съезд славистов. Доклады российской делегации. М., 1993.

- [12] Обобщенная карта СТК, на которой отражены 34 диалектных типа, дана в кн.: Русский язык. Энциклопедия. Изд. 2 (в печати). Классификацию полностью отражают семь карт в: Н. Н. Пшеничнова. Типология русских говоров. Докт. дисс. М., 1994. В данной статье приводятся две карты, на которых показаны те говоры, относительно классификационной принадлежности которых существует более всего разногласий.
- [13] Проблема соотношения традиционного подхода к классификации говоров и нового — с применением статистики — очень интересовала Р. И. Аванесова. В своем письме к автору данной статьи он, в частности, пишет: «...надо распространить Вашу методику исследования на всю территорию сводного нашего атласа... надо показать, что дает этот метод во изменение или уточнение той классификации, которая существует» (20.04.1977).
- [14] Метод классификации изложен в: Н. Н. Пшеничнова. Типология русских говоров. Докт. дисс. М., 1994; Она же. Типология русских говоров. Автореф. дисс. докт. филол. наук. М., 1994.
- [15] Схемы, отражающие СТК русских говоров и ДЧ, см. в: Н. Н. Пшеничнова. Типология русских говоров. Докт. дисс. М., 1994, с. 48—49, 91—95, 330—331; схемы СТК приведены также в работах, указанных в примечаниях [10 и 11].
- [16] Обоснование того, что говоры этой совокупности относятся к одному (Западнорусскому) диалектному типу, дано в: Н. Н. Пшеничнова. Типология русских говоров. Докт. дисс., с. 86—87; характеристика Западнорусского диалектного типа — признаки типопределяющие и сопутствующие двух видов (там же, с. 256—266).
- [17] К. Ф. Захарова, В. Г. Орлова. Диалектное членение русского языка..., с. 82—85.
- [18] Говоры Западнорусского диалектного типа, распространенные на территории восточной части бывших Смоленской и Полоцкой земель, имеют много общих черт с соседними восточными белорусскими. В то же время, поскольку эти говоры долгое время находятся под воздействие русского литературного языка (так как относятся к территории России), в классификации они участвуют как русские. Следует, однако, заметить, что для определения действительной русско-белорусской языковой границы на диалектном уровне необходимо специальное, в том числе и лингво-статистическое, исследование.
- [19] См. работы, указанные в примечаниях [10 и 11].
- [20] [Н. Н. Дурново, Н. Н. Соколов, Д. Н. Ушаков.] Опыт диалектологической карты..., с. 36 и карта; К. Ф. Захарова, В. Г. Орлова. Диалектное членение русского языка // Русская диалектология. М., 1989, с. 217 и карта; Е. Г. Булова, Л. Л. Касаткин. Чухломское аканье // Диалектологические исследования по русскому языку. М., 1977; Л. Л. Касаткин. Современная русская диалектная фонетика как источник для истории русского языка. Автореф. дисс. докт. филол. наук. М., 1985, с. 32.
- [21] К. Ф. Захарова, В. Г. Орлова. Диалектное членение русского языка. М., 1970, с. 30.

Сокращения

ВРГО	Вестник Имп. Русского географического общества. СПб., 1851—1860, ч. 1—30.
ОЛА.	Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. М., 1965—.
Мат-лы и иссл.	
Труды МДК	Труды Московской диалектологической комиссии

N. Pshenichnova

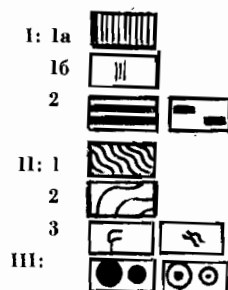
Structural and Typological Classification of the Dialects and Dialectal

Distribution of the Russian Language

The article deals with some results of the structural and typological classification of Russian dialects which was carried out from positions new for dialectology. The territory of spreading dialects related to different units of the structural and typological classification is compared to linguistic and territorial units of the areal and dialect classification of the same dialects. The compared classifications characterize the Russian dialect language from different aspects, and the complex use of the maps presenting these classifications clear new ways to future dialectological researches.

Пояснения к картам

КАРТА 1



I. Говоры Северо-Западного ДТ:

1) говоры Псковского ДТ:

а — говоры Южнопсковского ДТ,

б — другие говоры Псковского ДТ

2) другие говоры Северо-Западного ДТ

II. Говоры Юго-Западного ДТ:

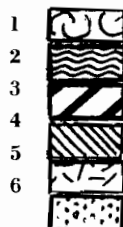
1) говоры Брянского ДТ

2) говоры Новозыбковского ДТ

3) другие говоры Юго-Западного ДТ

III. Другие говоры Западнорусского ДТ.

КАРТА 2



1) говоры Центрального среднерусского ДТ

2) говоры Восточного среднерусского ДТ

3) говоры Тверского ДТ

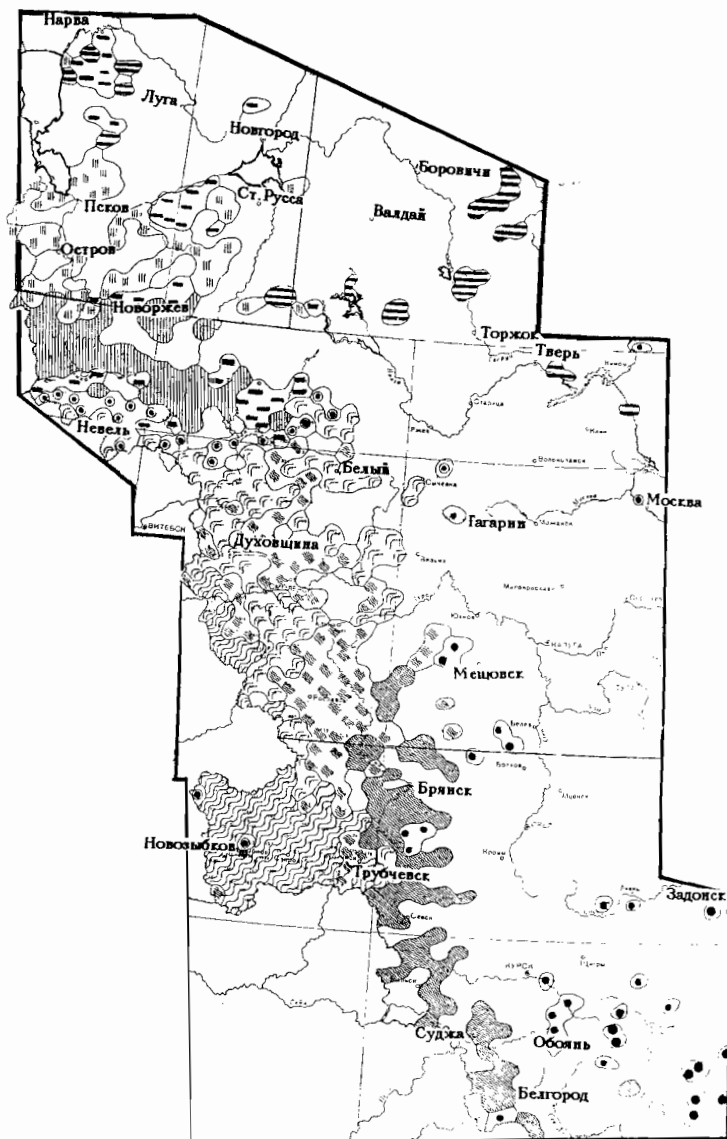
4) говоры Верхневолжского ДТ

5) говоры Юго-Восточного среднерусского ДТ

6) другие среднерусские говоры.

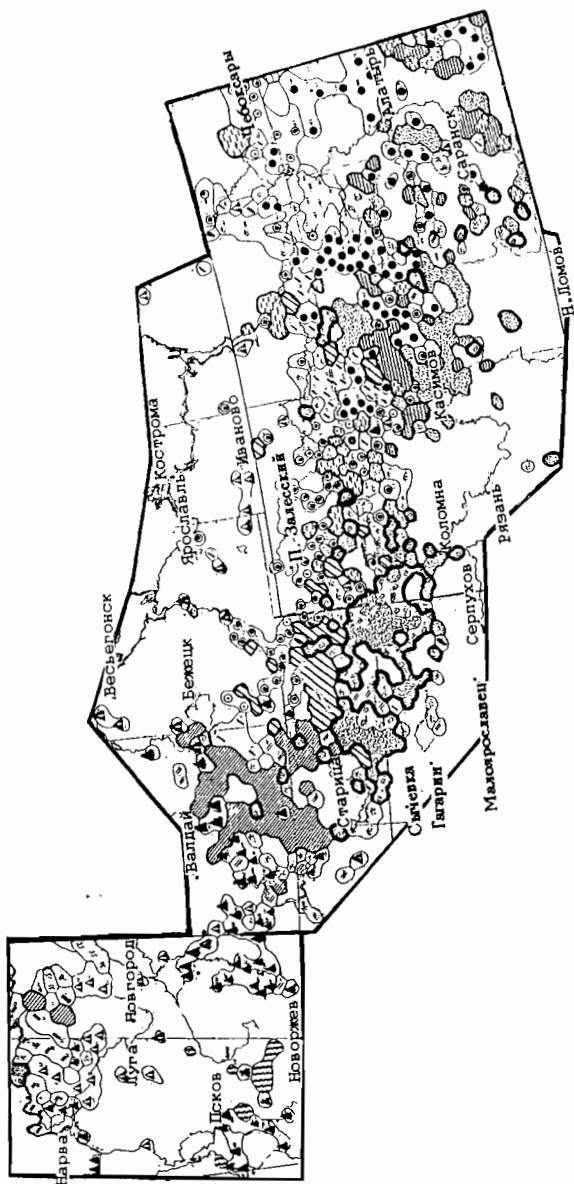
КАРТА 1

Горы Западнорусского диалектного типа (ДТ):
территория преимущественного распространения



КАРТА 2

Среднерусские (переходные) говоры: территория преимущественного распространения



В. А. Пыхов (Москва)

Глаголы со значением 'режет (хлеб)' в славянских языках

(По материалам Общеславянского лингвистического атласа)

Как свидетельствуют данные Общеславянского лингвистического атласа (ОЛА) — ответы на вопрос L 1087 'режет (хлеб)' VIII раздела «Домашнее хозяйство и приготовление пищи» Вопросника ОЛА [1], в славянских диалектах в указанном значении употребляются глагольные образования от девяти корней славянского происхождения: *rěž-, *kro-, *kra-, *sěč-, *kyd-, *lom-, *križ-, *rqb-, *ruš-.

Наиболее широко распространены формы с корнем *rěž- (*rěž-e-tь*, *rěž-i-tь* [2]) — македонские говоры (на территории Северной Греции), словенские говоры (включая нас. пункты на территории Италии, Австрии и Венгрии), говоры на северо-западе и юге Хорватии, на территории Сербии, Боснии и Герцеговины, а также на северо-востоке Словакии (окр. Бардейов, Гуменне) [3], в говорах центральных и восточных областей Белоруссии и Украины (в том числе в пределах Молдавии), в русских говорах. Отмечены и приставочные образования с этим корнем, например: *ot-rěž-etь* (Хорватия), *raz-rěž-a-j-e-tь* (Московская обл.), *na-rěž-a-j-e-tь* (Курская обл.).

Образования с корнем *kro- (*kro-j-i-tь*) представлены в центральных и восточных говорах Польши, в западных и южных областях Белоруссии, на севере и юге Украины (Ровенская, Ивано-Франковская, Черновицкая обл.), в русском говоре на территории Эстонии (Тартуский р-н). Единичные формы с корнем *kro- встречаются в польских (*u-kro-j-i-tь* — Краковское воев., повят Н. Тарг) и белорусских (*kro-j-e-tь* — Брестская обл., Ганцевичский р-н, *kro-j-a-j-e-tь* — Минская обл., Воложинский р-н).

Форма с корнем *kra- (с продленным корневым гласным от *kro- [4, вып. 12, с. 86–87]) распространена в сербскохорватских говорах на территории Венгрии, в чешских, словацких и лужицких говорах, на западе,

юге и в центре Польши (при этом в ряде пунктов отмечается употребление форм как с корнем **kra-*, так и **kro-*), в западных и центральных областях Украины, а также в отдельных говорах восточной ее части, где формы с корнем **kra-* фиксируются наряду с формами с корнем **rěž-*. Отметим, что в отдельных из указанных сербскохорватских, словацких, лужицких и польских говорах употребляется и форма *kra-j-a-j-e-tb*.

Диалектные образования с корнем **sěč-* (*sěč-e-tb*, *sěč-i-tb*) характерны для сербскохорватских (включая нас. пункты на территории Венгрии и Румынии) и македонских (включая пункты на территории Греции) говоров. В ряде сербскохорватских говоров формы с указанным корнем встречаются наряду с формами с корнем **rěž-*. Это же явление представлено и в отдельных македонских говорах (Сев. Греция, например, р-н Фессалоник).

Форма с корнем **kyd-* (*kyd-a-j-etb*) образует микроареал в сербскохорватских говорах (Черногория, р-н Тиват и Цетинье). Другой микроареал образует сербскохорватская форма с корнем **križ-* (генетически связан с **kro-* и **kra-* [4, вып. 12, с. 181]) — *križ-a-j-etb* (на территории Боснии и Герцеговины — р-н Крешево, Власеница).

Форма с корнем **rqb-* (*rqb-a-j-etb*) образует микроареал на юге Украины (Ивано-Франковская обл., Надворнянский р-н, Закарпатская обл., Раховский р-н, Черновицкая обл., Глыбокский р-н), та же форма известна и в украинских говорах на севере Румынии (обл. Марамуреш) и Молдавии (Бричанский р-н).

В различных областях Славии отмечены единичные формы с корнем **lom-*: *lom-i-tb* (сербскохорватские говоры на территории Черногории [р-н Титограда — наряду с обычным *sěč-e-tb*]), *lom-a-j-e-tb* — севернорусские (Архангельская обл., р-н Пинеги, параллельно с формой *ruš-i-tb*). Форма *ruš-i-tb* зафиксирована еще в двух севернорусских нас. пунктах (Архангельская обл., Няндомский р-н, и Вологодская обл., Сокольский р-н [где известна также форма *rěž-e-tb*]).

Прилагаемая карта-схема в обобщенном виде отражает распространение корневых морфем глагольных форм, имеющих значение 'режет (хлеб)' на всей территории Славии [5].

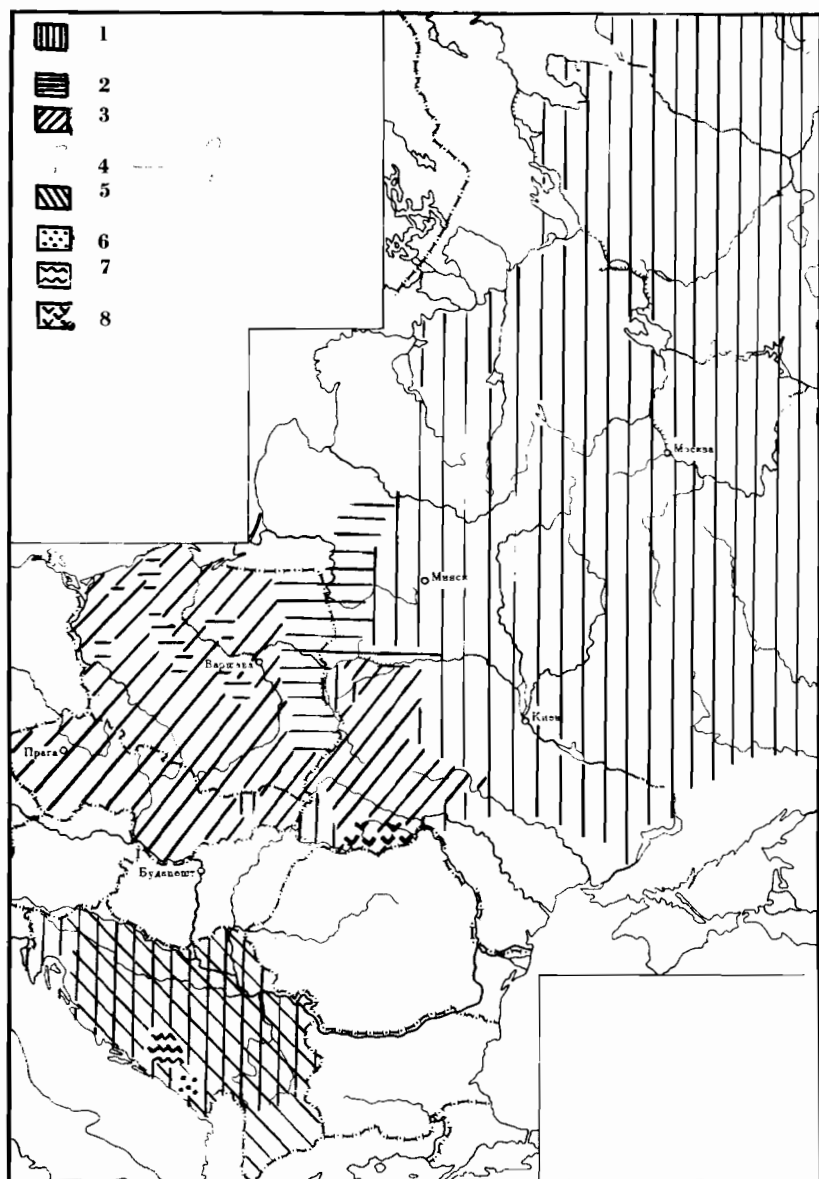
Пояснения к карте

1 kr
2 ks
3 ks
4 ks

- 1 — *rěž-e-tb*, *rěž-i-tb*
2 — *ro-j-i-tb*
3 — *ta-j-e-tb*,
4 — *ra-j-a-j-e-tb*

- 5 — *ěč-e-tb*, *sěč-i-tb*
6 — *yd-a-j-e-tb*
7 — *riž-a-j-e-tb*
8 — *qb-a-j-e-tb*

1 S
2 K
3 K
4 K



Примечания

- [1] Вопросник Общеславянского лингвистического атласа. М., 1965, с. 115.
- [2] Материалы приводятся в форме обобщающей транскрипции, принятой в ОЛА, см.: Общеславянский лингвистический атлас. Вступительный выпуск. Общие принципы. Справочные материалы. 2-е изд. М., 1994, с. 55—59.
- [3] Названия административных единиц как правило приводятся по изданию: ОЛА. Вступительный выпуск..., с. 60—163.
- [4] Этимологический словарь славянских языков. Прагославянский лексический фонд / Под ред. О. Н. Трубачева. М., 1985, вып. 12.
- [5] Фрагмент карты ОЛА, посвященной данной теме, см. также в: Общеславянский лингвистический атлас. Серия лексико-словообразовательная. Т. VI. Домашнее хозяйство и приготовление пищи. Проспект. М., 1995, с. 5, 15.

V. Pykhov

Verbs Meaning 'cut (bread) (3 sg)' in Slavic Languages (According to the OLA Materials)

In this paper on the basis of the All-Slavic Linguistic Atlas materials the author examines a group of verbs with a meaning 'cut (bread) (3 sg)' in Slavic languages. As a result of the examination the macroareas of dialect formations with a radix **rěž-* (Slovenian, Serbo-Croatian, Slovak, Byelorussian, Ukrainian and Russian dialects), with a radix **kro-* (Polish, Byelorussian, Ukrainian and Russian dialects), with a radix **kra-* (Serbo-Croatian, Czech, Slovak, Serbian, Polish and Ukrainian dialects), with a radix **sěč-* (Serbo-Croatian, Macedonian dialects) have been fixed; and microareas were marked: with radices **kyd-*, **križ-* (Serbo-Croatian dialects), **rpb-* (Ukrainian dialects).

Vnútroslavná antonymia v nárečiach karpatskej oblasti

1. Termínom antonymiá (opozitá) sa v literatúre označujú slová s protikladným významom (so vzájomným protirečením); spolu so synonymami sú najdôležitejšími systémovotvornými činiteľmi v slovnej zásobe. Antonymia sa v každom jazyku prejavuje špecifickým spôsobom. Pri (teoretických) sémantických analýzach protikladnosti v lexike z hľadiska štruktúrnej klasifikácie sa zvyčajne [1] vyčleňujú tri typy antonym: 1. lexikálne antonymiá s rozličným koreňom (*mladý – starý, deň – noc, svetlo – tma*); 2. gramatické antonymiá so spoločným koreňom, pri ktorých sa význam protikladnosti vyjadruje rozličnými afixálnymi morfémiami (*zlepiť – rozlepiť, pribehnúť – odbehnúť*); 3. vnútroslavná antonymia alebo enantiosémia (t. j. protikladnosť významov vyjadrená vnútri jedného slova). Na tomto mieste chceme pripomenúť niektoré prípady zemepisne determinovanej vnútroslovnej antonymie (resp. enantiosémie) známe a doložené v nárečiach karpatskej oblasti. Materiálovo vychádzame najmä z celonárodného «Slovníka slovenských nárečí» (I, 1994; ďalej SSN). Zemepisnú oblasť rozšírenia niektorých slovenských (nárečových) vnútroslavných antonym i vzájomnú súvislosť ich významových štruktúr v širších slovanských reláciách konfrontujeme s údajmi, zistenými pri výskumoch súvisiacich s prípravou «Celokarpatského dialektologického atlasu» (CKDA). Tento významný projekt karpatskej jazykovedy sa sústreďuje na synchronne štúdiu tých lexikálno-sémantických elementov, ktoré sa formovali v procese dlhodobých kontaktov a interferencií jazykov (dialektov) karpatského areálu.

2. Vnútroslavná antonymia (enantiosémia) je vlastne schopnosť slova vyjadrovať dva polárne, protikladné významy. V «Českej lexikológii» [2] sa enantiosémia (spolu s konverzívnosťou) pokladá za špecifický druh protikladu, a to protiklad dvoch rozličných významov viacvýznamovej lexémy.

Konštatuje sa, že významový protiklad v hraniciach jednej lexémy je v súčasných (spisovných) jazykoch zriedkavý a hodnotí sa ako neželateľný. Konverziivnosť a enantiosémia sa hodnotia ako dva typy antonymie; prvému podtypu sa priznáva syntaktická relevantnosť, enantiosémia sa hodnotí ako celkom periférny jav. Je zrejmé, že problematika vnútroslovnej antonymie nepatrí k dominantným sémantickým javom, no s tézou o jej úplnej periférnosti sa z hľadiska dialektológie nemožno úplne stotožniť. V slovenských nárečiach možno nájsť viaceré príklady (doklady) vnútroslovnej antonymie viacvýznamových slov. Pri určovaní oblasti výskytu jednotlivých semém a lokalizovaní konkrétnych dokladov v zásade využívame lexikografickú prax SSN. Zaužívané skratky základných slovenských nárečových makroareálov (strsl – stredoslovenský, zsl – západoslovenský, vsl – východoslovenský) sú preukazné; v štúdiu tieto skratky nerozpisujeme. Okresy uvádzame podľa staršieho administratívneho členenia z r. 1948 (zákon č. 280/1948).

3. Prídavné meno *čerstvý* (v nárečiach doložené aj v podobách *črství*, *čřství*) má v SSN vyčlenené štyri významy, a to 1. čiastočne strsl a zsl – práve alebo pred krátkym časom získaný, vyrobený, vzniknutý: *Dám ti čerstvého masla* (Kal'amenová, Martin); *Ja som v janke mala zeleňinu a bola čerstvá, jak kebi hu zo zemi vi'iahov* (V. Maňa, Vráble); *čerství putr* (Skalica); *čerstvá tráva* (Bošáca, Trenčín) 2. zsl, čiast. strsl a vsl – plný sily, svieži, osviežený: *Čože tej bolo, bola vispatá, čerstvá, nuž mohla robiť ako drak!* (Kláštor pod Znievom, Martin); *Mladé ženi utekali do potoka sa umúvat, abi boli čerstvé celí rok* (Hrnčiarovce, Trnava); *Do furi preprahl'i čerstve kože a hñed' ju pohli* (Kľčov, Levoča) 3. čiast. strsl, zsl – osviežujúci, chladivý, ostrý (o vzduchu, vode, počasí): *V Bučináh je črstuo povetré* (Dol. Lehota, Dol. Kubín); *Ale je čřstva tá voda!* (Bobrovec, Lipt. Mikuláš); *Fúka čerství vietor, oblec ci kabát!* (Návojevce, Topolčany); *Pot Surovimi je taka vod'ička čerstva, taka je stud'ena, a sa s ñiej iskri* (St. Bystrica, Kysucké Nové Mesto); *Jakiska čerství viter poduva!* (Prešov); 4. vsl – odstáty, stvrdnutý, zostarnutý (obyč. o chlebe): *Da-li nam chl'eba, aľe taki buľ čerství, das tižzeñ stari* (Prešov); *Ch'ib ma-me uš kus čerství* (Remeniny, Giraltovce).

3. 1. Slovo *čerstvý* má teda dva významy (1. a 4.) opozitné; v rámci jednej lexémy sa v slovenských nárečiach manifestuje protikladnosť vyjadrená v spisovnej slovenčine antonymami *čerstvý* (nedávno vyrobený, vzniknutý) – *zostarnutý* (dávno získaný, vyrobený). Opozitné významy prídavného mena *čerstvý* sú zreteľné v hodnotiacom prívlastku podstatných mien (na východnom Slovensku najmä v spojení s podstatným menom *chlieb*). Vnútroslavná antonymia lexémy *čerstvý* (významy 'nedávno urobený, nový,

a preto mäkký' a 'pred istým časom urobený, zostarnutý, starý, a preto tvrdý') sa v geografickej projekcii premieta do protikladu stredné a západné Slovensko – východné časti Slovenska. V opozitnom (antonymnom) vzt'ahu nie je v tomto prípade dvojica slov vzt'ahujúca sa na pojmy spojené určujúcou vlastnosťou, ktorá vymedzuje dvojčlenné pojmové pole (vzt'ahujúce sa na 'vek' produktu nezodpovedajúci priemeru), ale dvojica významov (vyjadrená totožnou zvukovou formou) jednej lexémy [3].

3. 2. Uvedená vnútroslovná antonymia je známa aj v širších slovan-ských reláciách. Ide tu o tzv. medzijazykovú enantiosémiu; spoločný praslovanský základ slova sa v jednotlivých jazykoch vo vývine príslušným spôsobom hláskovo modifikoval. V. Machek spracúva dva polarizované významy praslovanského slova *čerstvý [4, s 98]. Význam 'čulý, svižný' poznajú západoslovanské jazyky, bulharčina a slovinčina, význam 'pevný, tvrdý' (frekventovaný najmä pri označovaní dávnejšie upечeného chleba) je doložený v ruštine, ukrajinčine a v pol'stine (vel'kopol'ská lexéma *czerstwy* má však aj význam 'upečený pred krátkym časom').

4. Na celom území Slovenska známa lexéma *chudoba* (vo východoslovenských dialektoch býva aj hlásková podoba *hudoba*) má v SSN vyčlenených päť významov: 1. csl – nemajetnosť, nedostatok, bieda: *Mi zme bol'i doma traja bra'tia, chudoba, psota v dome* (V. Lom, Modrý Kameň); *Chudoba taka, čo aňi – aňi post'ele, aňi stola, aňi hrnca, ňiš som tam ňevid'el* (Riečnica, Kysucké Nové Mesto); *Tam u ňih vel'ka chudoba* (Dlhá Lúka, Bardejov) 2. csl hromad. – nemajetná, chudobná vrstva obyvateľstva: *Tu je moc chudobi* (Mošovce, Martin); *Viečinu tam chudoba bívaŷa* (Kunov, Senica); *Bula psota, o chudobu še ňestarl'i* (Fintice, Prešov) 3. zried. – kapustovitá rastlina, bot. chudóbka (Draba): *chudoba* (Sotina, Malacky) 4. vsl – majetok všeobecne: *Dobre še vidala, tam hudobi!* (Kľčov, Levoča); *Teraz už maž dom a hudobi doc, statek, koňe i peheži, ta gazduj sebe* (Bertotovec, Prešov); *Prišol o sicku chudobu* (Studenec, Levoča); *Ta vera vecej ten bitang ňekradnul l'udzom jich chudobu* (Niž. Šebastová, Prešov) 5. vsl – dobytok: *Idu karmic chudobu* (Dlhá Lúka, Bardejov); *chudoba* (Richvald, Bardejov).

4. 1. Zemepisný kvalifikátor csl použitý vo výklade 1. a 2. významu slova *chudoba* v SSN naznačuje, že tieto dva významy sú známe na celom území Slovenska. Doklady v kartotéke slovníka však dokazujú, že vo východoslovenských nárečiach sú tieto významy zriedkavé a nové. 5. význam (t. j. 'dobytok, statok'), ktorý je doložený najmä v šarišských nárečiach, korešponduje s významom 'majetok' (vlastníctvo dobytko ako istý atribút a výraz majetnosti) známym vo východoslovenských nárečiach. Podobne možno interpretovať aj ďalšie

význam slova *chudoba*, zistený v tejto oblasti, a to význam 'obilie', doložený napr. v Cejkove, okr. Trebišov.

4. 2. Opozitný význam 'majetok, imanie' má aj zdrobnená podoba *chudôbka*, ktorá sa v SSN prihniezdúva k heslu *chudoba*: *Každí se stara o svoju chudopku* (Studeneč, Levoča); *Ozdaj mi zavidíš totu moju bidnu chudopku?* (Prešov). Je to expresívny výraz. Ostatné odvodené slová (*chudobný, chudobniet', chudobina*) majú v kartotékach SSN doložený už len význam 'bieda, nedostatok'.

5. Organizáciu nárečovej lexiky v karpatskom areáli inštruktívne skúma «Celokarpatský dialektologický atlas»; pri heuristickom výskume i spracúvaní materiálu spája onomaziologický i semaziologický prístup. V dotazníku CKDA sú otázky, skúmajúce sémantickú štruktúru lexémy **dobytok* (otázka 537) i názvy, ktorými sa pomenúva rožný statok (otázka 539). Získaný materiál v zásade potvrdzuje staršie poznatky, že lexéma *chudoba* sa vo význame 'rožný statok' (príp. hovadzí dobytok) vyskytuje na súvislom areáli v severovýchodných oblastiach Slovenska, na príľahlom území Poľska (v niektorých iných lokalitách je doložená aj vo význame 'majetok všeobecne') a najmä v ukrajinských karpatských nárečiach. Oblasť výskytu možno ohraničiť izosémou.

5. 1. Literatúra o slovanských názvoch dobytky je bohatá. Na tomto mieste možno vari zaznamenať etymologické výklady V. Machka [4, s. 33]. Ten uvádza, že dobytok i hydina bývajú nazývané aj podceňujúcimi (dehonestujúcimi) slovami ako *háved'*, *hyd* (o hydine) i *chudoba* (dobytok). Pripomína názor Brücknera, podľa ktorého poľskí sedliaci nazývajú dobytok *chudobou* preto, aby ho neuriekli, t. j. aby náležitým príp. pochvalným slovom nespôsobili hynutie zvierat.

A. Habovštiak v špeciálnej štúdií (vychodiacej z materiálu získaného pre iný medzinárodný atlasový projekt – «Slovanský jazykový atlas» (SJA) [5] skúma slovenské názvy dobytky v slovanskom kontexte. V poľštine (v poľských nárečiach) sa pomocou dotazníka SJA získali viaceré synonymické názvy (napr. *dobytek, dabytek, bydło, statek* a pod.), ale lexéma *chudoba* medzi nimi nie je. Autor tiež konštatuje, že na území Slovenska sa ako názov dobytky zaznamenalo aj slovo *chudoba* (obyčajne popri názve *statok*), ale iba z okrajových miest východoslovenských nárečí. Ide o jednotlivé údaje z obcí na okolí Stropkova a Sobraniec, ktoré bezprostredne súvisia s ukrajinskými nárečiami, a pre tie je tento názov charakteristický [6].

6. Medzijazykovú enantiosémiu možno ilustrovať aj na lexéme *voňat'*. Vo východoslovenských jazykoch *voňat'* znamená 'vydávať' nepríjemný zápach, zapáchat', kým v češtine a v spisovnej slovenčine má sloveso *vonětí/*

voňat' protikladný (opozitný) význam, a to 'vydávať', šíriť príjemnú vôňu'. V slovenských nárečiach sa zasa polarizovali významy jeho (spisovného) antonyma, t. j. slovesa *páchnuť*'. Popri 1. význame 'vydávať' charakteristichý (obyč. nepríjemný) pach' (tak najmä o veciach), napr. *Víno páchne sudom* (Bošáca, Trenčín); *Bol'i aj menšie krpki, čo sa choď'ilo po medokúš a po l'eplicu, ta pachne vajcom* (Sliače, Ružomberok); *Sut páchne octom* (Staré Hory, Banská Bystrica), je v zásade na rovnakom zemepisnom areáli (t. j. na strednej a západnej časti Slovenska) doložený aj 2. význam 'vydávať nepríjemný pach, smrdieť, zapáchat'' (najmä o ľuďoch alebo zvieratách): *Fuj, ist'e sa heumeu pol roka, ve'l'mi páchne* (Návojevce, Topolčany); *Páchne ot strebanice* (Lukáčovce, Hlohovec); *Pobití Němci začali páchnuť'i* (Bánovce nad Bebravou); *Strašne páchlo to meso* (Bobrovec, Lipt. Mikuláš) a i. Vo východoslovenských nárečiach má sloveso *páchnuť'* (v príslušných hláskových variantoch) kontrárny (kontrastný) význam, a to 3. 'vydávať' príjemnú vôňu, *voňat'* (najmä o kvetoch): *Pahajce tote kvetki, jak šumhe pahnu!* (Spiš. Štvrtok, Levoča); *Tak šumhe pachna tote kvitki* (Dlhá Lúka, Bardejov); *Najkrajše pachnu l'el'ije* (Ratvaj, Sabinov) a pod. Rovnako je to aj v ruštine, teda je tu podobný stav ako pri slovách *vôňa*, *voňat'*.

6. 1. Rovnaké areály výskytu enantiosémie má aj podstatné meno *pach* (porov. [7]) a prídavné meno *páchnuci* (vo východoslovenských nárečiach v príslušných hláskových a slovotvorných variantoch). 'Záporné' významy slova *páchnuci* sú známejšie, a preto na tomto mieste uvádzame iba doklady z východného Slovenska s významom 'voňavý': *Al'e ňihda take kolače pahnuce hebul'i, jak v pekarňiku* (Nemešany, Levoča); *L'ipa ma taki pachhaci kvet / Pokrop še s pachhacu votku* (obidva doklady z Dlhej Lúky, Bardejov); *Umiva še s pachnućim midlom* (Žakarovce, Gelnica); *pachnuce koreňe* (Studenec, Levoča) a pod.

7. Prítomnosť jazykovozezempisného diferencujúceho činiteľa determinuje teoretické aj praktické riešenie otázok základných sémantických kategórií, medzi ktoré patrí aj antonymia. Analýza niekoľkých prípadov vnútrošlovej antonymie na nárečovom materiáli ukázala, že enantiosémia je tu produktívnejšia než v spisovnom jazyku. Významové protiklady v hraniciach nárečových lexém sú výsledkom historického vývinu slov a nepretržitého pohybu či dynamiky v slovnej zásobe. Vnútrošlovnú antonymiu necharakterizuje vždy iba 'čistá' absolútna kontrastnosť (polárnosť) významov, ale mnohoaspektová projekcia logického základu antonymie, t. j. komplementárneho vzťahu pojmov.

Poznámky

- [1] Л. А. Новиков. Антонимия в русском языке. М., 1973, с. 159.
- [2] J. Filípec, F. Čermák. Česká lexikologie. Praha, 1985, s. 129—132.
- [3] I. Rípková. Enantiosémia v nárečovej lexike // Kultúra slova, 26. Bratislava, 1992, s. 144—151
- [4] V. Machek. Etymologický slovník jazyka českého. 3 vyd. Praha, 1971.
- [5] A. Habovštiak. Slovenské názvy dobytky v slovanskom kontexte // Slavica slovača, 26. Bratislava, 1991, s. 62—67.
- [6] A. Habovštiak. Slovenské názvy dobytky..., s. 65.
- [7] M. Pisárčiková. Vnútroslovná antonymia // Jazykovedné štúdie. 15. Bratislava, 1980, s. 213—218.

И. Рипка

Внутрисловная антонимия в говорах карпатской области

Автор рассматривает некоторые проблемы диалектной антонимии на материале фундаментального «Словаря словацких наречий» (Slovník slovenských nářečí. I, 1994) и в широком региональном (карпатском) лингвистическом контексте. В качестве иллюстраций анализируется семантика лексем *čerstvý*, *chudoba*, *voňat'*, *pach*.

Т. М. Судник (Москва)

Об одной литовско-белорусской
семантической параллели**
(*oras* : *надвор'е* 'пространство', 'погода')

...Какова *погода*? — каково на дворе, какое время стоит?

В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка

По характеру семантической мотивировки славянские названия погоды можно разделить на два типа, отвечающих двухмерности, хронотопичности этого понятия, — пространственный («каково на дворе») и временной («какое время стоит»). При этом оказывается, что пространственный тип представляет единственно белорусское *надвор'е*, тогда как все другие наименования 'погоды' в славянских языках связаны или совпадают с обозначениями времени, таковы лексемы, восходящие к **vertmę*, **god-*, **čas-*, ср. болг., макед., сербохорв. *вре́ме*, словен. *vrete*, укр. (гуцульск.) *вѣрем'(н')а*, сербохорв. (зап. Хорватия, Дубровник) *gòdina*, укр. (гуцульск. и покутск.) *годи́на*, западнополесск. *годы́на* [1], польск. *rogoda*, рус., укр. *погода*, блр. (блр.-укр. полесские говоры; центр. Полесье) *погода* (наблюдения Н. И. Толстого), чеш. *čas*, *ročasí*, словц. *čas*, *ročasie*, польск. диал. *cas*; ср. также укр. (с. Бараницы Ужгородского р-на Закарпатской обл.) *хвіл'а* [2].

Наряду с метеорологическим блр. *надвор'е* выступает и в пространственных значениях: 'дворище' (и 'чистый воздух, погода') в «Словаре белорусского наречия» И. И. Носовича [3]; *padwódrje*, *padwódrjejko* 'podwórze, podwórko' у М. Федеровского [4]; 'месца на сялянскім двары паміж пабудовамі', 'месца па-за жылымі пабудовамі, вольная прастора' [5]. Это словообразовательно и семантически прозрачное слово обозначает, таким образом, не только ограниченное и близкое пространство ('двор'), но и бесконечно широкое и далекое — пространство в не

дома, под открытым небом; в записанной же нами свадебной песне из дер. Турейск Щучинского р-на Гродненской обл. [6]:

*Пашло слоняйка
Па надвѡр'яйку,
Пашла Ганначка
Па застѡльяйку... –*

его значение приближается, по-видимому, к «поднебесью», «небесной вышине» [7] (ср. в подобном зачине: «*Паішло сонейка па захмар'ейку...*» [8]).

В пространственных значениях, сохраняя и свой отвлеченный семантический потенциал, слово употребляется на обширном ареале восточно- и западнославянских языков: укр. *надвір'я* 'двор' [9], рус. *надвѡрьѣ* 'двор' и 'пространство вне жилых помещений, улица' [10], чеш. *nádvofí* 'двор' [11], словц. *nádvorie* 'двор' [12], польск. *nadworze* 'przestrzeń otaczająca dom, podwórze', 'miejsce pod gołym niebem, otwarta przestrzeń' [13]. Ср. также сербохорв. *nádvѡrje*, *nádvorje* 'двор' [14]. Той же семантической тенденции отвечают и южнославянские образования, использующие модель *на + двор(-)* для выражения понятий 'вне, снаружи', 'внешний, наружный', ср. болг. *надвор*, *надворен* [15], макед. *надвор*, *надворен*, сербохорв. *на́двѡр* и *на́двѡр*, *на́двѡран*. Можно предположить, что в древнюю эпоху **nadvorije* могло быть одним из обозначений пространства у славян.

Белорусское наименование погоды *надвѡр'е*, таким образом, совпадает с обозначением пространства, подобно тому как, скажем, южнославянское *време* или западнославянское *čas* совпадают с обозначением времени.

География этого слова, насколько нам известно, не изучалась. «Инструкция по збiранню матэрыялаў для скадання лексічнага атласа беларускай мовы» в разделе «Надвор'е» [16] не содержит вопроса о нейтральных обозначениях погоды, так что вряд ли интересующие нас сведения будут картографироваться. Но об ареале блр. *надвѡр'е* вполне можно судить по данным лексикографии. Прежде всего, это слово является основным термином для 'погоды' в литературном языке. «Глумачальны слоўнік беларускай мовы» [17] включает наряду с ним и слово *пагѡда* в значениях: 1) стан атмасферы ў пэўнай мясцовасці, 2) добрае надвор'е, однако при всей его расхожести оно сомнительно (если говорить о первом значении) с точки зрения исконности и укорененности в диалектах. Приоритет, бесспорно, остается за *надвор'е*, о чем свидетельствует и толкование его лексического дублета. В метеорологическом значении слово фиксирует словарь Носовича,

материалом для которого служили, как известно, говоры Могилевской, Витебской, Гродненской губ., а также «некоторых окраин губерний Привисленского края». Диалектные словари отмечают его на северо-западе, юге и востоке Белоруссии, а также в соседних псковских и смоленских говорах: *надвóр'е* и словообразовательный вариант *надвóрка* – дер. Поречье Гродненской обл. [18]; *надвóр'е* – дер. Погост Житковичского р-на Гомельской обл. [19]; *надвóр'я* [20]; псковск., смоленск. *надвóрье* [10], ср. в «Смоленском областном словаре» В. Н. Добровольского: *Выйду на ганки, пасматрю, якая сьводни надвóрья; сьводни надвóрья красивыя: солнышка усходить дужа харашо, ти ни дась Гаспоть пагодку* [21]. В область распространения этого термина определенно не входит лишь западное Полесье, где Ф. Д. Климчуком отмечено *годы́на*.

Изолированное на славянской почве, блр. *надвóр'е* находит параллель в семантическом содержании литовского *óras* 'воздух; пространство под открытым небом; погода' [22]. При лтш. *laiks* 'время; погода' литовский в свою очередь оказывается изолированным на современном балтийском ареале, и, таким образом, речь идет об исключительно литовско-белорусской семантической изоглоссе, которую образует общая мотивационная модель обозначения погоды: *óras* 'пространство вне дома' → 'воздух' → 'погода' [23], *надвóр'е* 'пространство вне дома' → 'погода'.

Белорусскому слову недостает центрального звена в развитии смысла 'погода' – в отличие от *óras* оно не имеет значения 'воздух'. Это понятие в белорусском выражается самостоятельными лексемами, чаще всего словом *павéтра*, которым кодируются и 'воздух', и 'пространство' – 'свободная прастора над зямлёй' [17, с. 474]. Соотношение денотатного и лексического ряда в литовском и белорусском можно представить в таблице:

	'открытое пространство'	'воздух'	'погода'
<i>óras</i>	+	+	+
<i>надвóр'е</i>	+		+
<i>павéтра</i>	+	+	

На литовско-белорусском пограничье, в зоне живых и тесных контактов с литовским, где конвергенция происходит на наших глазах, обе пусто-

ющие клетки таблицы заполняются — устанавливается семантическое тождество белорусских слов и литовского *oras*. Эти явления мы наблюдали на Гродненщине, в районах реликтовых литовских островов, уцелевших в славянской языковой среде. На протяжении столетий в этих местах сохраняется литовско-белорусское двуязычие, участником языковой ситуации остается и язык церкви — польский, который еще недавно играл здесь более активную роль (литовско-белорусско-польское трехязычие или польско-белорусское двуязычие до войны). Белорусский, естественно, служит средством межъязыкового общения и в устах носителей неслучайно именуется языком *прóстым*: он давно приспособился к роли посредника, вводя инновации в одних случаях и сохраняя архаизмы в других. На фоне спорадических и узко локальных явлений, здесь складываются черты, распространяющиеся и на более широкий континуум диалектов, поэтому сквозь призму ближних связей отсюда можно увидеть и более далекую перспективу.

В говоре дер. Пеляса Вороновского р-на и примыкающих к ней двуязычных деревень в междуречье Дитвы и Пелясы *надвор'е* или чаще употребляемое *надворка* (именно этот словообразовательный вариант, записанный в Старых Смильгинях близ Пелясы, фиксирует «Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча») отражает полную семантическую парадигму лит. *oras*, в том числе и значение 'воздух'. Интенсивностью этого значения, скорее всего, и объясняется господство диминутивной формы: слово становится в ряд других гипокористик, которые в пеляском узусе традиционно используются для именованья элементов мироздания: *зямёлка, вадуйка, óгнік, слóнянька, мёсячык*. Ср.: *чыстая надворка; свежая надворка; мне вясковая надворка даражэй горада, там няма як дыхаць — ня стае надворка! (n'astavojo oro!); мiргациць надворка на пагоду (mirga oras an raados); працьні акно, зімнейшаго надворка пусці ў хату*. Взаимоориентация языков проявляется в противопоставлении по признаку *внешний/внутренний* понятий *надворка — дух, oras — dikas*. Ср. пояснение информанта: *надворка — за чалавекам і за хатаю, а ў чалавеку і ў хаця — дух. Дух там, дзе вецяр ня ходзіць; як дзе ў сярэдзіне, то кажуць дух, а надвор'я — як на дварэ. Мы гаворым: у таёй хаця лёні дух, tuoį rik'oį langvas dikas. Ніхто ня скажа, што трэба надворка нагнаць у ровара кола, бо як жа там будзя надворка — у сярэдзіне! Але скажа, што дух с кола выйшаў, трэба духу нагнаць у кола*. Слово *павётра* употребляется в говоре, но в специальных значениях — 'смрад', 'поветрие': *павётра — па-нашаму смурод*

ці, крый Божа, хвароба якая, што ветрам ходзіць. Бывая, хто на злосьці кляне: каб цябе якая наветра! *kad tave kok'a rav'atrà!* В следующих примерах *надвор'е/надворка* обозначает, скорее всего, 'открытое пространство': *на ранку звонкая надворка — далёка чуваць, izgirytu zvankús óras — tolí girdz'éc'*; *серад дня глухоя надвор'я (vidúdzienei kúrc'as óras) — ня так чуваць, бо слонянька цяплом залівая надворка. А як слонца зойдзя, то таксама бывая звонкі вечар — от, як тэраз: ціха, буры няма, Божая надворачка ціхая, далёка чуваць, як пятах заспявая ці конь заржэ.* Эти примеры, строго говоря, недостаточно диагностичны, и все же смысл 'пространство' (а не 'воздух'), возможно, подтверждается формально аналогией *звонкая надворка — звонкі вечар* (общая характеристика времени и пространства).

Наконец, это слово служит нейтральным наименованием погоды (*пагода*, лит. *paada*), в говоре обозначает ясную погоду, ведро: *выдзі надвор, паглядзі, якая дзись надворка (išeik oran, padabiuk, kokis nupai óras); будзя перамена надвор'я (p'artaina oro bus).* Соответственно лит. *ogaí* употребляются формы множественного числа: *зімнья надворкі (šal'cí ogaí); як стануць ламацца зімою надворкі, тады мне нядобра.*

Другой вариант семантической конвергенции в пределах данного семантического поля представлен в говоре дер. Гервяты Островецкого р-на (лит. *Gervėčiai*) и соседних островных деревень (их пятнадцать). Там слово *наветра* может выступать в значении 'погода' (хотя параллельно и чаще используется в этом смысле *надвор'е*), совпадая, таким образом, с семантическим спектром лит. *óras*, ср.: *якая сяоння наветра — дошч чы пагода? (kokis šundz'a óras — ar lietus ar paada?); усюды дажджы, мала дзе ёсць добрая наветра — мусі, народ зарабіўшы кару ў Бога; на дварэ дрэнная наветра (ory drennas óras) — сцюжа, плюхата.* Там же по-польски: *jakie dzisiaj poweǳe? słonca niema, dobrego poweǳa niema.* Ср. подобное употребление у А. Мицкевича: «То pewna, że powietrza zmiany zna dokładnie | I częściej niż kalendarz gospodarski zgadnie» (из шестой книги «Пана Тадеуша»; в белорусском переводе Б. Тарашкевича: «То пэўне, што змены надвор'я дакладна ён знае | І за каляндар гаспадарскі часцей іх згадае...» [24]. Словарь языка А. Мицкевича отмечает для лексемы *powietrze* весь набор значений, характерный для лит. *óras* [25]. Впрочем, такова вообще была в прошлом семантика этого слова, если судить по данным исторической лексикографии [26].

Следовательно, диахронически изоглосса совмещения в одном слове смыслов 'пространство', 'воздух', 'погода' охватывала и сопредельный польский ареал. Та же семантическая модель была представлена и в прус-

ском, ср.: *wins* 'воздух', *winnen* Acc. sg. 'погода', *winna* 'наружу, вон' [27]. По ареальной логике остается допустить то же самое и для балтийских диалектов, некогда существовавших на территории Белоруссии. Учитывая общебелорусское распространение слова *надвор'е*, можно предположить субстратное происхождение для его пространственно-метеорологической семантики, а в дальнейшем – поддержку со стороны лит. *oras* в условиях изоглосно-конвергентной близости. Утрата одной из семантических составляющих – значения 'воздух' – проявляется из актуального усвоения семантики лит. *oras* контактными белорусскими говорами: перекрывая частные значения ('пространство', 'воздух', 'погода'), на первый план выдвигается объединяющий их признак «внешний», при этом значение 'воздух' оказывается слабым звеном, выпадающим из цепочки, поскольку оппозиция «внешний – внутренний», раздробляет его, порождая в его рамках лексические различия, в частности: *надвор'е/надворка, паветра* (в специальном значении) – *дух*.

К семантическому сближению *надвор'е*: *oras* подключаются и факты морфологического подравнивания, каковыми, по всей видимости, следует считать онареченные образования *знадворку* (*знадворья* – у Носовича) 'снаружи, извне', *надвор* 'наружу, вовне', *на дварэ* 'снаружи, вне, на улице', эквивалентные лит. *iš oro, oraĩ, orė, oriẽ*. Носители языка отчетливо осознают идиоматичность этих форм, неслучайно наречия *знадворку, надвор* фиксируются диалектными и нормативными словарями. В то же время застывшей локативной конструкции *на дварэ* (собственно, *надварэ*, ср. *навёрх, навёрсе*) в словарях нет, тогда как для признания ее есть не только семантические, как в случае *знадворку, надвор*, но и формальные основания. В частности, Академическая грамматика указывает на варьирование локативных окончаний в слове *двор* в зависимости от семантики: *на двары* 'месяца каля будынкаў', но *на дварэ* 'не ў хаце', 'на адкрытым паветры', 'у прыродзе' [28], ср.: *на двары трава* и *на дварэ вясна*. То же различие проводится и в последнем нормативном словаре [29]. Кроме того, наречная (или полунаречная) лексема *на дварэ* выявляет себя в той «аномалии» парадигмы слова *двор*, которую отметили исследования по диалектологии и лингвистической географии: «Сярод назоўнікаў на зацвядзелы зычны вылучаецца слова *двор*, якое амаль ва ўсіх гаворках мае форму меснага склону з канчаткам -э (на дварэ), нават у тых выпадках, калі іншыя назоўнікі выступаюць з іншым канчаткам: *у кашу, на ключу, на дажджы, у канцы*, але *на дварэ...*» [30]. «Дыялекталагічны атлас беларускай мовы» содержит отдельную карту «Окончание местного падежа слова *двор*» (№ 76), удостоверяющую распространение формы *на дварэ* на всей бело-

русской территории, исключая юго-западные районы Брестской обл. (где, кстати говоря, отсутствует и слово *надвор'е*). Как сказано в комментарии к карте [31], вопрос на эту тему был сформулирован следующим образом: «Якія склонавыя канчаткі маюць у месным склоне адзіночнага ліку назоўнікі мужчынскага і ніякага роду з зацвярдзелай асновай пад націскам: *на двары, на дварэ ці на двару...?*». Вполне естественно, что в ответ собиратели получали именно окаменевшую, онареченную форму *на дварэ*, тогда как парадигматический локатив от слова *двор*, который, возможно, и соответствовал морфологическому ландшафту, оставался при такой постановке вопроса невыявленным (или выявленным лишь отчасти — поскольку редкие или спорадические отклонения от сплошного *-э* карта все же отмечает). Так или иначе, вряд ли можно найти другое объяснение указанной «аномалии». Балтийский колорит этих онареченных форм особенно ощущается в клишированных фольклорных текстах, когда они последовательно выступают в качестве эквивалента литовских локативных наречий, ср., например: *Varõnas vidurū, o ragaĩ ori* [32] — *Баран у хляве, яго рогі на дварэ* (записано нами в тех же Лаздунах Ивьевского р-на Гродненской обл. [33]).

Примечания

- [1] Ф. Д. Климчук. Специфическая лексика Дрогичинского Полесья // Лексика Полесья. М., 1968, с. 28.
- [2] См. подробный обзор и анализ диалектного материала в статье Н. И. Толстого, посвященной моделированию семантического поля *дождь — погода — время — год — час* в славянских языках: Из опытов типологического исследования славянского словарного состава // ВЯ, 1963, № 1; а также в выполненной по той же методике работе: М. М. Онышкевич. Лексико-семантическая дифференциация слов, обозначающих погоду, в славянских языках // Карпатская диалектология и ономастика. М., 1972; «Карпатский диалектологический атлас» (сост. С. Б. Бернштейн, В. М. Иллич-Свитыч, Г. П. Клепикова и др. М., 1967) включает специальные вопросы о названиях погоды (№ 40, 41), в «Общекарпатском диалектологическом атласе» предполагается карта на эту тему. См. также выводы о лексических изоглоссах в исследовании: Л. Р. Супрун-Белевич. Метеорологическая лексика в славянских языках. Автореф. канд. дисс. Минск, 1987.
- [3] И. И. Носович. Словарь белорусского наречия. СПб., 1870 (2-е изд. — Минск, 1983).
- [4] См.: Н. Turška. Słownik trudniejszych wyrazów białoruskich w tomie V i VI «Ludu białoruskiego» M. Federowskiego // M. Federowski. Lud białoruski. Warszawa, 1969, t. VII, s. 244.

- [5] І. Я. Яшкін. Беларускія геаграфічныя назвы. Мінск, 1970.
- [6] О говорах этих мест см. работу автора: Т. М. Судник. К изучению следов древних пруссов на территории Белоруссии // Конференция «Этнолингвистические балто-славянские контакты в настоящем и прошлом. Предварительные материалы. М., 1978, с. 131—133.
- [7] См. к этому в словаре Ширвида (уроженца восточной Литвы): «*Nadworze / vid. Podniebie. <...> Podniebie, nadworze / Diem, subdialis locus. Oras.*» (Pirmasis lietuvių kalbos žodynas. Konstantinas Širvydas. Dictionarium trium linguarum. Vilnius, 1979, p. 286, 408).
- [8] Вяселле. Песні / Склад. Л. А. Малаш. Мінск, 1983, кн. 3, с. 131—133 (сер.: «Беларуская народная творчасць»).
- [9] Словник української мови. Київ, 1974, т. 5.
- [10] Словарь русских народных говоров. Л., 1983, вып. 19.
- [11] Příruční slovník jazyka českého. V Praze, 1938—1940, díl III.
- [12] Slovník slovenského jazyka. Bratislava, 1960, II. diel.
- [13] Słownik języka polskiego / Red. W. Doroszewski. Warszawa, 1962, t. IV.
- [14] Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Београд, 1988, књ. XIII.
- [15] Н. Геров. Речник на българския език. София, 1977, ч. 3 (1-е изд. — Пловдив, 1899).
- [16] Інструкцыя по збіранню матэрыялаў для складання лексічнага атласа беларускай мовы. Мінск, 1973.
- [17] Тлумачальны слоўнік беларускай мовы. Мінск, 1979, т. 3.
- [18] Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча / Уклад. Ю. Ф. Мацкевіч, А. І. Грынавецкене, Я. М. Рамановіч і інш. Мінск, 1982, т. 3.
- [19] Тураўскі слоўнік / Склад. А. А. Крывіцкі, Г. А. Цыхун, І. Я. Яшкін. Мінск, 1984, т. 3.
- [20] І. К. Бялькевіч. Краёвы слоўнік усходняй Магілёўшчыны. Мінск, 1970.
- [21] В. Н. Добровольский. Смоленский областной словарь. Смоленск, 1914, с. 436.
- [22] Lietuvių kalbos žodynas. Vilnius, 1970, t. VIII, p. 1011—1013.
- [23] Термин *погода* определяется как «непрерывно меняющееся состояние атмосферы» (см.: С. П. Хромов, Л. И. Мамонтова. Метеорологический словарь. Л., 1974, с. 348).
- [24] А. Міцкевіч. Пан Тадэуш / Перакл. Б. Тарашкевіч / Рэд. навук. А. Обрэмска-Яблоньска. Ольштын, 1984, с. 132.
- [25] Słownik języka Adama Mickiewicza / Red. K. Gorski, S. Hrabec. Wrocław, 1969, t. IV, s. 510—512.
- [26] Ср., в частности: Słownik staropolski / Pod red. S. Urbańczyka. Wrocław, 1973, t. VI, z. 7, s. 520—521; S. B. Lind e. Słownik języka polskiego. Lwów, 1857, t. III; Słow-

- nik języka polskiego / Pod red. J. Karłowicza, A. Kryńskiego, W. Niedźwiedzkiego. Warszawa, 1904, t. III, s. 59.
- [27] R. T r a u t m a n n. Baltisch-Slavisches Wörterbuch. Göttingen, 1923, S. 360.
- [28] Беларуская граматыка / Рэд. М. В. Бірыла, П. П. Шуба. Мінск, 1985, ч. 1, с. 79.
- [29] Слоўнік беларускай мовы. Арфаграфія, арфаэпія, акцэнтацыя, словазмяненне / Пад рэд. М. В. Бірылы. Мінск, 1987, с. 209.
- [30] Нарысы па беларускай дыялекталогіі / Пад рэд. Р. І. Аванесавы. Мінск, 1964, с. 159.
- [31] Дыялекталогічны атлас беларускай мовы. Уступныя артыкулы, даведачныя матэрыялы, каментарыі да карт / Пад рэд. Р. І. Аванесавы, К. К. Крапівы, Ю. Ф. Мацкевіч. Мінск, 1963, с. 500.
- [32] J. P e t r a u s k a s, A. V i d u g i r i s. Lazūnų tarmės žodynas. Vilnius, 1985, p. 179.
- [33] См. также: Загадкі / Склад. М. Я. Грынблат, А. І. Гурскі. Мінск, 1972, № 649 (сер.: «Беларуская народная творчасць»).

T. Sudnik

On a Lithuanian-Byelorussian Semantic Parallel (*óras* : *надвор'е* 'space', 'weather')

The names of weather in Slavic languages are connected or coincides with the concept of time. The exception is Byelorussian *надвор'е* coinciding with the concept of space. This semantic pattern which finds its parallel in Lithuanian *óras* may be explained by the Baltic substratum.

Я. Сятковский (Варшава)

О влиянии русского языка на лексику силезских произведений Хорста Бинек^а

Известный немецкий писатель Хорст Бинек (род. 7 мая 1930 г. в г. Гливице, ум. 30 ноября 1990 г. в Мюнхене) является автором целого цикла произведений, посвященных Силезии (см. список в конце статьи). В них он объективно изобразил существовавший некогда на этих землях польско-немецкий симбиоз, способствуя взаимопониманию между поляками и немцами после Второй мировой войны. О том, какую цель преследовал Х. Бинек, создавая этот цикл, он написал после выхода в свет первой из этих повестей: «Я не чувствую себя изгнанником или беглецом — ведь детство навсегда остается с нами. Все мы изгнанники в том смысле, что нас „изгнали“ из детства, „вгоняя“ во „взрослость“». Он хотел бы, чтобы книга так и была воспринята: не как оплакивание того, что Верхняя Силезия уже не является немецкой, а как воспоминание о том, что когда-то было и чего теперь уже нет [Beschreibung, S. 79, Opus, s. 55].

В свои силезские произведения Х. Бинек, естественно, включает многочисленные полонизмы, но встречаются в них и некоторые русизмы. Х. Бинек столкнулся с русским языком во время пребывания в Воркуте (1952–1955), на принудительных работах, к которым он был приговорен советской военной прокуратурой в Берлине по ложному обвинению в шпионаже. Несмотря на пережитые им незаслуженные страдания, Бинек писал: «Русский язык! Сколько я выстрадал, слушая русскую речь! Приговор, грубые окрики, брань, приказы — в тюрьме, в лагере. И все же — как я люблю этот язык!» [Beschreibung, S. 185, Opus, s. 130].

Я ограничусь здесь анализом языка силезских произведений Х. Бинек^а, хотя русские элементы выступают и в других произведениях этого автора, между прочим, и слова, засвидетельствованные только в «Beschreibung» и «Reise».

Примеры русского влияния на лексику силезского творчества Бинека можно разделить на две группы. С одной стороны, это заимствования, употребление которых вызвано изображением ситуаций, связанных с русской действительностью, с другой же — это русские слова, употребляемые — иногда неправильно — немецким населением, в описании событий, происходящих в Верхней Силезии.

Приведу несколько случаев, относящихся к первой группе:

1) в воспоминаниях одного из персонажей, Георга Монтага, о его предках, происходивших из Одессы. Здесь можно упомянуть такие слова, как *Kopeke* 'копейка' [Polka, S. 12, 73] и *Pogrom* 'погром' [ibid, S. 74]. Оба эти слова встречаются, однако, у Х. Бинека также в произведениях, посвященных немецкой действительности: «Arbeit, für die sie am Ende keine *Kopeke* mehr bekam» [Beschreibung, S. 102], — в польском переводе слово *копейка* заменено словом *grosz*: «pracę za którą nie dostała ani *grosza*» [Opis, s. 71], «seit jener *Pogromnacht* von 1938» [Birken, S. 15] — в польском переводе «od owej *nocy pogromu* z 1938» [Brzozy, s. 13], *Pogrom-Situation* [Beschreibung, S. 148] — в польском переводе *pogromy* [Opis, s. 103];

2) в описании представляемых во время свадьбы Ирмы Пионтек живых картин по «Бурлакам на Волге» И. Репина, в котором многократно повторяется *ej uchnjem* [Polka, s. 206–207];

3) в рассказе о контактах местного населения с «восточными рабочими», которых называли *Steppensöhne* 'сыновья степей' [Zeit, S. 310]; при слуга Галина называет знакомого украинца *Koljetschka* [Erde, S. 47], он же говорит ей *Poschalista*, т. е. пожалуйста [Zeit, S. 97];

4) в описании наступления советских войск в Верхней Силезии и взятия ими г. Гливице (в последней из силезских повестей «Erde und Feuer») автор поместил много русских слов, таких, как *Balalaika* 'шутливое название пистолета-автомата' [S. 252, 253], *Bolschewiki* 'большевики' [S. 320], *Gopak* 'гопак, украинский танец' [S. 208], *Katjusches* 'катюши (вид ракетного оружия)' [S. 211]; также в [Reise, S. 152, Birken, S. 98], *Kolchosa* 'колхоз' [S. 162], *Raskolniki* 'раскольники, староверы' [S. 262], *Steppe* 'степь' «Das ist der Aufstand der Steppe, der Aufstand der Barbaren» [S. 75], *Starik* 'старик' — в тексте приказа, который дается русскими: «...und der *Starik*, der Älteste <...> Jacob <...> müsse morgen mittag eine Liste sämtlicher Bewohner <...> anfertigen» [S. 255]. Встречаются и целые предложения, например *Govorit Moskva* 'Говорит Москва (первые слова радиопередач из Москвы)' [S. 319], а также *Da zdrastvujet Towarischi. Ja tosche Towarisch* — в речи жителя г. Гливице, пытающегося говорить по-русски [S. 217,

218]. Число примеров можно было бы увеличить. Х. Бинек цитирует также тексты украинских песен, которые он получил от Светланы Гей-ер, ср. [Beschreibung, S. 249, Opus, s. 175];

5) в повествовании о событиях, происходивших в замке Кёнигсвальд в Западной Чехии, в котором последние дни войны застали группу беженцев из Германии, принадлежавших к высшим слоям общества. Так, графиня Воронцова говорит: *Slawa Bogu* [Königswald, S. 82]; обитатели замка выражают свою благодарность по-разному, в зависимости от своего происхождения: *Danke, Merci, Spassiwo* (sic!), *Grazie* [S. 16–17]. И здесь выступают уже упоминавшиеся русизмы *die Bolschëwiken* [S. 30], *die Steppe* [S. 55], а также *Fischpirrogen* 'пирог с рыбой' [S. 46].

Особого внимания заслуживают русизмы, которые Х. Бинек употребил неправильно, — в описании ситуаций, имевших место в Верхней Силезии. Сюда относятся некоторые уменьшительно-ласкательные. Употребление уменьшительно-ласкательного *Mamotschka* 'мамочка' постоянно отмечается у детей и мужа Анны Оссадник, а также в авторской речи, к ней относящейся [Septemberlicht — 29 раз, Zeit — 22 раза, Erde — 26 раз], кроме того, Валеска Пионтек говорит, что, когда она жила в приграничном городке, то так называла свою мать [Septemberlicht, S. 217]. Встречается также обращение *Papotschka, Papuschka* 'папочка' — так называют своих отцов Котик Оссадник (*Papotschka* [Erde, S. 261]) и Йосель Пионтек (*Papuschka* [Septemberlicht, S. 72]). Упомянутые формы, с точки зрения морфологии, являются русскими, причем *Mamotschka* и *Papotschka* — это непосредственные заимствования из русского языка, отсутствующие как в литературном польском языке, так и в его говорах. Сюда же можно отнести уменьшительно-ласкательное *Andotschka* от *Andi* 'Антон'.

Русским влиянием следует объяснить наличие слова *Kartoschki* 'картофель'. Это заимствование, которое Х. Бинек ошибочно считает искусственной формой, образованной от немецкого *Kartoffel* при помощи славянского элемента *-(s)ki*, он упоминает дважды, включив его в список слов, которые он собирался использовать в своих силезских повестях [Beschreibung, S. 52, 60, Opus, s. 37, 42]. Это слово Х. Бинек включил в список немецких слов, употреблявшихся в Верхней Силезии, составленный героем повести «Polka» Георгом Монтагом: «*Kartoschki — Kartoffeln*» [Polka, S. 254], а также ввел в авторскую речь наряду с несомненными полонизмами: «Franz Ossadnik hatte nichts dagegen, wenn seine Kinder im Herbst *Kartoschki, Kapusta* oder *Klacken* von den Gutsfeldern klauten» [Septemberlicht, S. 51]. Слово *kartoszki* встречается, правда, в польских говорах (в «Малом атласе польских говоров» оно отмечено как спорадическое в окрестностях г. Ко-

ло [I, t. XI, s. 545]), но не зафиксировано ни в силезских, ни в соседствующих с ними говорах [ibid], [2], [3, t. II, s. 14].

Время от времени Х. Бинек употребляет при описании силезского быта еще два русизма. Это прежде всего *Samowar* 'самовар' [Zeit, S. 220] – слово, расценивающееся как иностранное, не вошедшее в немецкую лексику, ср. [4, S. 15], [5, S. 45], [6, S. 65], [7, S. 37]. Второй из этих русизмов – это вульгарное *Dschoppa*: «die Milka, die mit einer Gräfin verkehrte, auch wenn sie ihr manchmal die Nase oder den *Dschoppa* putzen mußte» [Zeit, S. 220]. Данное заимствование иллюстрирует стремление Х. Бинека употреблять вместо немецких вульгаризмов славянские – это касается в особенности слов польского происхождения, так как их немецкие соответствия в немецких говорах Верхней Силезии звучали гораздо более вульгарно, ср. [8, S. 55, 66–76].

В рассматриваемых здесь произведениях Х. Бинека отмечено также несколько заимствований из русского языка, которые употреблялись повсеместно и поэтому не могут рассматриваться как силезские регионализмы. Сюда относятся: *Kraftdroschke* 'такси' [Septemberlicht, S. 202, 268] от рус. *дрожки*, *Zobel* 'шуба из собольего меха' от рус. *соболь* (также в сложных словах *Zobelpelz*, *Zobelmantel*, *Zobelfell* [Erde, S. 49, 57, 270–271, 286, 313]) и, наконец, особенно часто встречающееся *Wodka* от рус. *водка* – в описаниях как русской среды [Beschreibung, S. 146, Opis, s. 102, Erde, S. 204–206, Königswald, S. 46], так и немецкого быта в Верхней Силезии [Polka, S. 213, Septemberlicht, S. 215], а также в рассказе о посещении Верхней Силезии после войны [Reise, S. 164–165, Podróż, s. 328].

Х. Бинек использовал для создания местного колорита не только славизмы, но и заимствования из английского, французского, итальянского языков. Рассматриваемые русизмы свидетельствуют, что Х. Бинек не всегда использовал их удачно, так как подчас не отличал их от полонизмов.

Примечания

- [1] Mały atlas gwar polskich // Opracowany przez Pracownię Atlasu i Słownika Gwar Polskich Zakładu Językoznawstwa PAN w Krakowie pod kier. K. Nitscha, t. III–VIII pod red. M. Karasia i Z. Stamirowskiej, od t. IX pod kier. M. Karasia. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1957–1970, t. I–XIII.
- [2] K. N i t s c h. Dialekty polskie Śląska. Wydanie drugie. Kraków, 1939, cz. I.
- [3] A. Z a r ę b a, Atlas językowy Śląska. Kraków, 1969–1989, t. I–VII.

- [4] Ph. Wick. Die slavischen Lehnwörter in der neuhochdeutschen Schriftsprache. Marburg, 1939.
- [5] W. Steinhauser. Slawisches im Wienerischen. Wien, 1962.
- [6] W. Steinhauser. Slawisches im Wienerischen. Wien, 1978, 2. Aufl.
- [7] H. Bielfeldt. Die Entlehnungen aus den verschiedenen slavischen Sprachen im Wortschatz der neuhochdeutschen Schriftsprache [1965]; переиздание в: Die slawischen Wörter im Deutschen. Ausgewählte Schriften 1950—1978. Leipzig, 1982, S. 21—29.
- [8] N. Reiter. Die polnisch-deutschen Sprachbeziehungen in Oberschlesien. Wiesbaden, 1960.

**Список использованных произведений Хорста Бинека
(в скобках — первое издание)**

Beschreibung	Beschreibung einer Provinz. Aufzeichnungen. Materialien. Dokumente. München, 1983.
Birken	Birken und Hochöfen. Eine Kindheit in Oberschlesien. Berlin, 1990.
Brzozy	Brzozy i wielkie piece. Dzieciństwo na Górnym Śląsku / Перевел Wilhelm Szewczyk. Gliwice, 1991.
Erde	Erde und Feuer. München, (1982) 1985.
Königswald	Königswald oder Die letzte Geschichte. München, 1984.
Opis	Opis pewnej prowincji / Перевел Bolesław Fac. Gdańsk, 1994.
Podróż	Podróż w kraję dzieciństwa. Spotkanie ze Śląskiem / Перевела Maria Podlasek-Ziegler. Gliwice, 1993.
Polka	Die erste Polka. München, (1975) 1987.
Reise	Reise in die Kindheit. Wiedersehen mit Schlesien. München, 1988.
Septemberlich	Septemberlicht. München, (1977) 1987.
Zeit	Zeit ohne Glocken. München, (1979) 1982.

J. Siatkowski

Russische sprachliche Einflüsse in den Schlesienromanen Horst Bienek

In seinem schlesischen Themen gewidmeten Romanzyklus bediente sich Bienek vieler Slawismen. Nebst zahlreicher Polonismen tritt dort auch eine Anzahl von Russismen auf. Die Russismen lassen sich in zwei folgende Gruppen einteilen: einerseits handelt es sich um Wortentlehnungen aus dem Russischen, die situationsbezogen beim Anknüpfen an russische Verhältnisse gebraucht werden (z. B. in Zusammenhang mit den Erinnerungen eines der Romanhelden an seine Vorfahren aus Odessa, mit Kontakten der schlesischen Bevölkerung mit Zwangsarbeitern aus dem Osten, mit den nach Schlesien heranrückenden russischen Truppen u. ä.), andererseits sind es falsch gebrauchte russische Wörter beim Beschreiben der Handlung, die unter der deutschen Bevölkerung in Oberschlesien spielt.

С. М. Толстая (Москва)

Диалектные ареалы литературных слов

(Заметки на полях

«Лексического атласа белорусского языка»)

Отношения между литературным языком и диалектами интересовали исследователей главным образом в связи с проблемой диалектной основы литературного языка. При этом в поле внимания оказывались прежде всего фонетические и морфологические особенности, лексика же в этом аспекте систематически не изучалась. Причина этого кроется не только в трудностях сбора и систематизации огромного лексического материала, в отсутствии исчерпывающих или хотя бы достаточно репрезентативных для всей территории распространения языка диалектных словарей, но и, в первую очередь, в особом характере, неопределенности и расплывчатости самой лексической нормы литературного языка, в разных для разных языков пределах допустимости употребления «народной» лексики в качестве стилистических вариантов литературных слов. Словари литературных славянских языков в этом отношении обнаруживают очень большие различия: достаточно сравнить, например, Загребский словарь сербскохорватского языка с его обилием диалектизмов и 17-томный Словарь современного русского литературного языка или Словарь польского языка под ред. В. Дорошевского, которые значительно более ригористичны в разграничении литературной и диалектной лексики. По-своему решают эту проблему на практике диалектные словари дифференциального типа, однако, исключая литературную лексику, они тем самым лишают исследователей возможности определить ее географическое распространение. Между тем презумпция «повсеместного» распространения литературной лексики оказывается справедливой далеко не для всех литературных слов (особенно если учесть семантические отличия, сочетаемость, коннотации и т. п.); достаточно широкий круг слов литературного языка оказывается связанным с определенными диалектными ареалами. Определить эти ареалы могут только лексические

атласы, дающие «независимую» (от литературного языка) картину распространения лексических единиц.

Появление новых национальных атласов славянских языков, «Общеславянского лингвистического атласа», региональных атласов и особенно специальных лексических атласов открывает новые возможности и новые аспекты изучения проблемы взаимоотношения литературных языков и диалектов на лексическом уровне (не говоря обо всех прочих ареалогических, типологических и т. д. аспектах и возможностях).

Недавно вышедший в свет первый том «Лексического атласа белорусских народных говоров» [1] заслуживает внимания с разных точек зрения — не только как первая географическая проекция основного корпуса белорусской диалектной лексики, не только как источник для изучения ареального варьирования способов номинации одних и тех же реалий и концептов, типологии самих лексических ареалов, их сопоставления с другими языковыми ареалами, с историческими, археологическими, этнографическими картами и т. п., но и как ценный опыт нового осмысления лексического материала и новых подходов к лингвистическому картографированию. Однако в настоящих заметках речь пойдет лишь об одной из многих возможностей, предоставляемых атласом, а именно — о возможности проследить на его основе диалектные ареалы литературных слов и самым предварительным образом охарактеризовать их, оставляя на будущее их более глубокую содержательную интерпретацию и оценку. Первый том атласа картографирует лексику растительного и животного мира. «Номенклатурность» этой лексики в данном случае оказывается благоприятным обстоятельством, в определенной степени упрощающим задачу из-за четкой семантической очерченности названий растений и животных и связанных с ними технических терминов. Однако критерии литературности слова и здесь остаются условными. Литературным можно считать слово, вынесенное в заглавие карты (в ряде случаев в атласе в качестве заглавия приводятся описательные толкования); необходима также проверка по словарям литературного белорусского языка, из которых в данном случае использовались лишь «Белорусско-русский словарь» 1962 года [2] и словарь Я. Станкевича [3].

Прежде всего бросается в глаза резкая неоднородность литературных лексем в том, что касается их представленности на картах. В качестве крайних случаев можно принять, с одной стороны, полное отсутствие или спорадичность литературного слова на диалектной карте, с другой — повсеместное, практически не ограниченное распространение слова, при котором другие диалектные лексемы оказываются лишь вкраплениями или же

их ареалы накладываются на сплошной ареал литературного слова. Оба крайних случая реально представлены в атласе. Так, например, на карте 3, показывающей диалектные названия для стада овец, литературное обозначение *статак* вообще не фиксируется, а на карте 1, посвященной названиям стада коров, оно отмечено всего в 6 пунктах из 142. Единичными фиксациями представлены также литературные лексемы *страўнік* 'желудок' (карта 24), *святаяннік* 'зверобой' (карта 234), *каласоўнік* 'бот. костер' (карта 250), *агаткі* 'бот. кошачьи лапки' (карта 256), *катахі* 'сережки вербы и др.' (карта 275) и др. Значительное число лексем, наоборот, отмечено практически на всей территории Белоруссии: *авеца* (карта 36), *баравік* (карта 279), *жаба* (карта 345), *божа кароўка* (карта 253) и многие другие. Остальные литературные слова имеют ту или иную географическую привязку и разные по своим размерам, конфигурации и размещению ареалы. При этом, как показывает предварительный просмотр карт, литературная лексика отличается в ареальном отношении очень большим разбросом, не позволяющим пока что говорить о какой бы то ни было закономерности ее географического распределения: литературное слово может занимать на карте как северные, так и южные области, как западные, так и восточные, может вклиниваться на карту с востока, юго-востока, северо-востока, может иметь разорванный ареал и т. п.

Среди лексем, представленных в атласе значительными ареалами (приближающимися к половине всей территории), сравнительно немного таких, которые тяготеют к южной границе распространения белорусского языка. Примерами таких лексем могут служить: *седала* 'насест' (карта 106), *чэрава* 'брюхо, утроба' (карта 23), *палонка* 'прорубь' (карта 339), *лотаць* 'бот. калужница *Caltha palustris* L.' (карта 230), глагол в выражении *павук снуе* 'паук плетет паутину' (карта 358), а также *масляк* 'гриб масленок' (карта 284; имеются и немногочисленные фиксации слова на севере Белоруссии). Близкими к ним, но несколько урезанными с северо-востока ареалами представлены слова *хвоя* 'сосна' (карта 138), *шыпшына* 'шиповник' (карта 221), *здрок* 'овод' (карта 350; слово дано в заглавии карты, но в БРС оно снабжено пометой обл.). См. рис. 1. Юго-западную половину территории занимают такие лексемы, как *качаня* 'утенок' (карта 116), *галіна* 'ветка' (карта 175), *бервяно* 'бревно' (карта 182) и др. См. рис. 2. К западной границе Белоруссии тяготеют ареалы таких слов, как *кветка* 'цветок' (карта 228; ареально противопоставленная ему лексема *краска* 'цветок' имеет в БРС помету разг., т. е. 'разговорное'), *канюшына* 'клевер' (карта 246), *галінка* 'веточка' (карта 177). См. рис. 3.

К северной границе Белоруссии, с большим или меньшим смещением в сторону северо-запада, примыкают ареалы лексем *бадзеца* 'бодается (о корове)' (карта 48), *сячы* (лес) 'рубить (лес)' (карта 193; слово распространено фактически по всей территории, кроме Полесья и восточного пограничья), *гняздо* (бусла) 'гнездо (аиста)' (карта 119; вся Белоруссия, кроме юго-восточного угла — Гомельщины), *цапля* 'цапля' (карта 122), *збіраць* (грибы) 'собирать (грибы)' (карта 294). См. рис. 4.

Большее число литературных слов имеет восточные (с возможным продолжением на северо-восток или юго-восток) ареалы. Восточное распространение характерно для слов *ляда* 'лесная вырубка' (карта 192), *тхор* 'хорек' (карта 81), *хлыст* 'бревню' (карта 189; БРС не фиксирует этого значения; Станкевич — слово отсутствует), *суніцы* 'земляника' (карта 225), *браць* (ягоды) 'собирать (ягоды)' (карта 227), *кывайнік* 'бот. тысячелистник' (карта 241), *адуванчык* (карта 244), *раска* 'ряска' (карта 271), *крыга* 'брედень' (карта 332), *жак* 'вентерь, мережа' (карта 335; БРС — с пометой обл.; Станкевич — нет слова), *сараканожка* (карта 364). См. рис. 5. Значительно меньшие ареалы на юго-востоке образуют лексемы *буякі* 'голубика' (карта 224), *нізка* (грибоў) 'нанизанные на шнурок грибы' (карта 296), *вусень* 'гусеница' (карта 356). См. рис. 6.

Лексемы, занимающие северо-восточную половину белорусской диалектной территории: *кнігаўка* 'чибис' (карта 121), *куст* (карта 203), *ва-сілёк* (карта 229), *трыпутнік* 'подорожник' (карта 251), *клоп* (карта 359). Меньшие ареалы на северо-востоке характерны, например, для прилагательного *бадлівая* (карова) (карта 47), тогда как глагол *бадзеца* 'бадается' (карта 48) отмечен на всей северной половине территории; еще более узкую северо-восточную локализацию имеет название медунницы *зя-бер* (карта 238). См. рис. 7.

Часть литературных слов имеет более узкие центральные ареалы, образующие полосы в направлении с запада на восток или юго-восток. К ним относятся: *бусел* 'аист' (карта 118), *кмен* 'тмин' (карта 235), *драсён* 'бот. горец' (карта 236), *плюшчай* 'бот. ежеголовник' (карта 273). См. рис. 8.

Клинообразные ареалы разного размера и направления — с юго-востока или востока на северо-запад или запад — характерны, в частности, для лексем *лоўж* 'куча хвороста' (карта 191), *лузаць* (арэхі) 'грызть, лущить (орехи)' (карта 220), *джала* 'пчелиное жало' (карта 299); с юга на северо-запад: *чарга* 'очередь (пасти скот)' (карта 64); с северо-запада на юго-восток: *бакас* 'бекас' (карта 130), *пілаваць* 'пилить (дрова)' (карта 194); с юго-запада на восток: *лопух* (карта 254); с юга на север: *мыса* 'морда (коровы)' (карта 10; Станкевич — нет); с севера на юг: *яжджаль*

'вид осоки' (карта 267; БРС и Станкевич не фиксируют). Наконец, для ряда слов характерны разорванные ареалы — северо-восточный и юго-восточный: *абабак* 'подберезовик' (карта 283); северо-восточный и юго-западный: *касцёр* (дроў) 'поленница (дров)' (карта 207). См. рис. 9 и 10.

Изложенные здесь наблюдения, конечно, недостаточны для сколько-нибудь серьезных выводов о перспективах и значении картографирования литературной лексики вообще, и белорусской в частности. И все-таки, как кажется, они дают основания для некоторых размышлений. Во-первых, более систематическое картографирование исконной литературной лексики способно подтвердить или опровергнуть имеющиеся общие и достаточно приблизительные, нередко противоречивые суждения о ее диалектных источниках. Для белорусского языка может быть проверено и уточнено представление о большем удельном весе в лексическом составе литературного языка слов западнобелорусского происхождения [4, с. 140] или о преобладающей роли центральнобелорусских говоров [5, р. 229], так же как и ценные наблюдения о роли инновационных ареалов в формировании литературного языка [6]. Во-вторых, в разных пластах лексики соотношение диалектного и литературного элемента различно; особенно по-разному ведут себя конкретная и абстрактная лексика, что не раз отмечалось исследователями литературных языков. Конкретная, особенно предметная, лексика в значительно меньшей степени, чем абстрактная, служит объектом сознательного выбора нормализаторов литературного языка и в меньшей степени допускает свободу нормы и варьирование. Тем объективнее должны быть ареальные характеристики этой лексики, свидетельствующие о диалектных предпочтениях литературного языка на стадии его формирования. Содержащаяся в первом томе «Лексического атласа белорусских говоров» ботаническая и зоологическая лексика как раз относится в большинстве случаев к той ядерной части словарного состава, которая меньше всего должна была испытать сознательный контроль со стороны кодификаторов, так же как и влияние соседних языков (в первую очередь — русского и польского), и которая «изначально» и «стихийно» вошла в состав литературного языка. Как видим, эта лексика обнаруживает многообразные ареальные приурочения, но в большинстве случаев ее достаточно обширные ареалы так или иначе покрывают область центральной Белоруссии. Труднее объяснить вхождение в литературный язык тех диалектных слов, которые имеют локальное распространение; в этих случаях выбор диалектного слова может объясняться его позицией в лексическом ряду диалектных синонимов, индивидуальной судьбой слова в истории белорусской литературы и другими объективными и субъективными причинами.

Проблема диалектной основы и ее роли в формировании литературных языков, интересующая всех специалистов по истории славянских литературных языков, см. [6, там основная литература вопроса], до сих пор решалась на ограниченном, выборочном материале отдельных черт и фактов литературного языка, для которых прослеживались их диалектные ареалы. Между тем для более строгого и надежного решения вопроса следовало бы попросту создавать атласы литературных языков (сколь непривычно это ни звучит), в которых каждое явление, каждая черта литературного языка получали бы свою ареальную характеристику. Такую возможность дают в наше время общезыковые диалектные атласы и, в частности, если речь идет о лексике, лексические атласы славянских языков, первым из которых явился «Лексический атлас белорусских народных говоров» (русский и украинский лексический атласы пока еще находятся на стадии сбора материала).

Примечания

- [1] Лексічны атлас беларускіх народных гавораў. У пяці тамах / Пад рэд. М. В. Бірылы і Ю. Ф. Мацкевіч. Т. I. Раслінны і жывёльны свет. Мінск, 1993.
- [2] Беларуска-рускі слоўнік / Пад рэд. К. К. Крапівы. М., 1962 (далее — БРС).
- [3] Я. Станкевіч. Беларуско-рускі (Великолитовско-рускі) слоўварь / Беларуска-расійскі (Вяліколітовско-расійскі) слоўнік / Byelorussian-Russian (Greatlitvan-Russian) Dictionary by Dr. J. Stankevich. New York, [б. г.] (далее — Станкевич).
- [4] І. І. Крамко, А. К. Юрэвіч, А. І. Яновіч. Гісторыя беларускай літаратурнай мовы. Мінск, 1968, т. II.
- [5] A. McMillin. The development of the Byelorussian literary lexicon in the nineteenth century // The formation of the Slavonic literary languages / Ed. by G. Stone and D. Worth. Columbus, Ohio, 1985, p. 225—232.
- [6] Г. Цыхун. Арзальныя аспекты фарміравання славянскіх літаратурных моў. Мінск, 1993 (XI Міжнародны з'езд славістаў. Доклады).

S. Tolstaya

Dialect Areal of Literary Words

Areal characteristics of the words seem to be relevant not only for dialectology but also for historical studies of Slavic literary languages. Publication of new Slavic lexical atlases gives an opportunity to trace the dialectal sources of many standard words. The paper aims to demonstrate some Byelorussian instances of the kind.

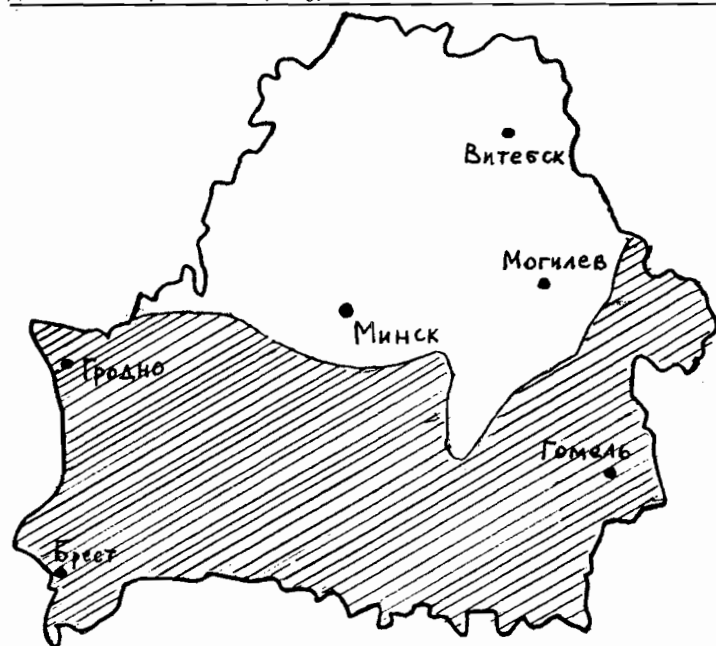


Рис. 1.
Южный ареал: лотыць
'бот. калужница *Caltha palustris* L.'
(на основе карты 230)

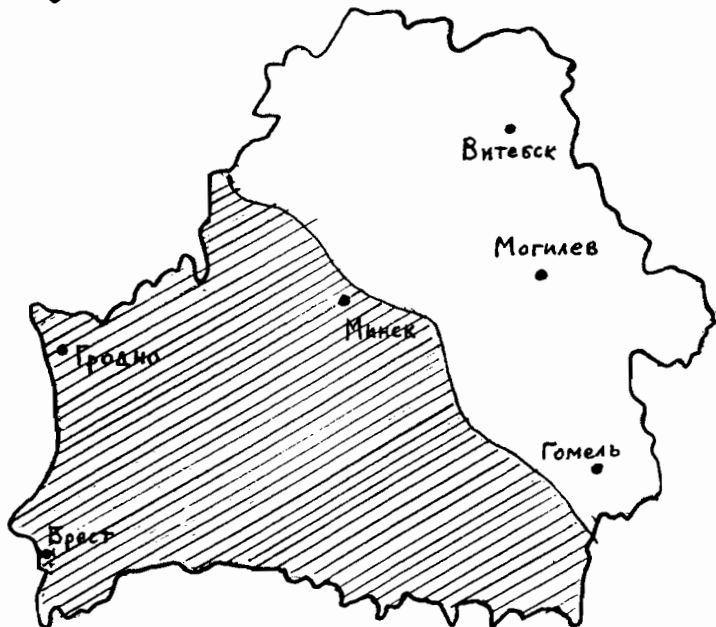


Рис. 2.
Юго-западный ареал:
жабурынне (БРС: жабурынне)
'лягушачья икра' (на основе карты 247)

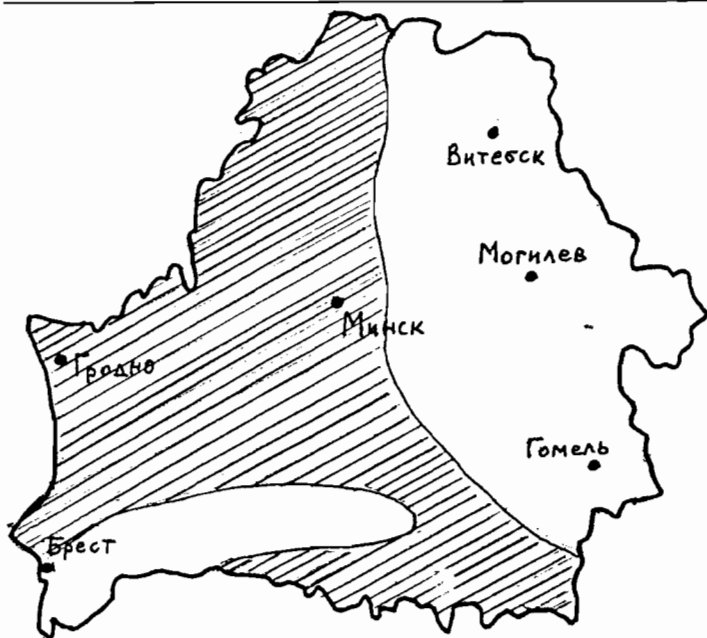


Рис. 3.
Западный
ареал: *лан-*
цуг 'цепь'
(на основе
карты 53)



Рис. 4.
Северный
ареал: *бад-*
зецца 'бода-
етсяя (о ко-
рове)'
(на основе
карты 48)

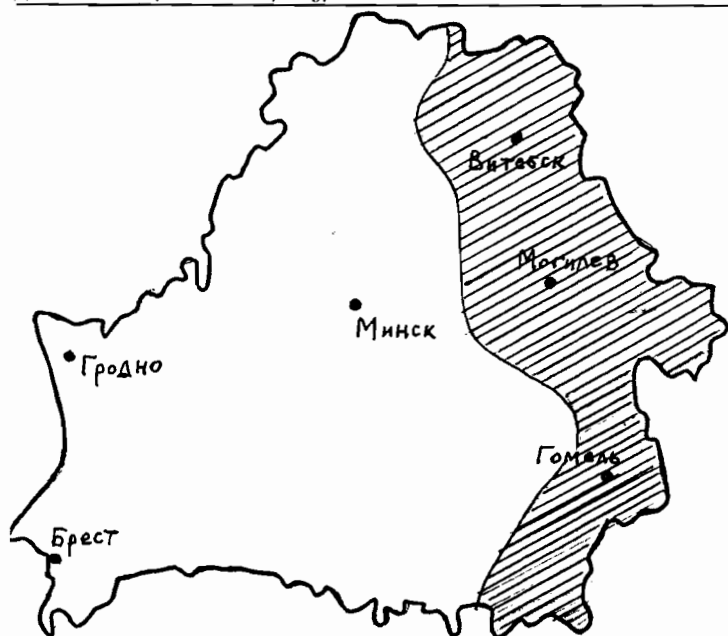


Рис. 5.
Восточный
ареал: *ляда*
'лесная вы-
рубка'
(на основе
карты 192)



Рис. 6.
Юго-восточ-
ный ареал:
буякі 'голу-
бика'
(на основе
карты 224)



Рис. 7.
Северо-восточный ареал: *книгайка* 'чибис'
(на основе карты 121)

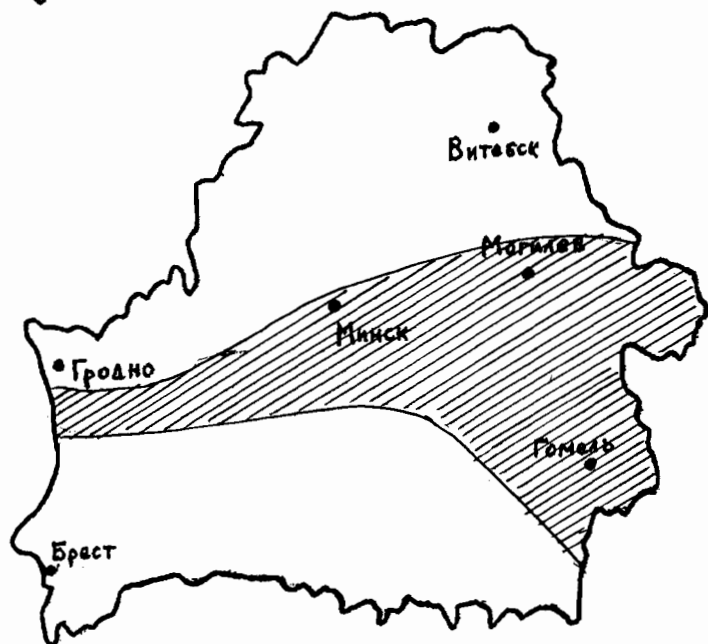


Рис. 8.
Центральный ареал: *плющай* 'бот. ежеголовник'
Sraganium L. (на основе карты 273)



Рис. 9.
Клинообразный ареал:
лож 'куча
хвороста'
(на основе
карты 191)



Рис. 10.
Разорван-
ный ареал:
касцёр
(дроў)
'кладка
(дров), по-
ленница'
(на основе
карты 207)

Т. В. Цивьян (Москва)

Мотив движения гор в балканославянских пастушеских песнях

Здесь разбирается южнославянский пасторальный сюжет локального распространения: в нем участвует *Шар планина*, и все оказавшиеся доступными нам тексты записаны соответственно в Македонии. Это пастушеские песни о том, как упала/сдвинулась гора, придавив/заперев троих пастухов, которые не могут возвратиться домой, к семье и просят гору отпустить их. В собрании Шапкарева [Шапкарев 1972] этих песен три: № 699 «Шар планина и тройца овчари» (Битола), № 701 «Шар планина и три овчари» (Дебърско), № 1292 «Три овчари и Стара планина» (Солунско) [1]. На них мы и опираемся, хотя вообще этот сюжет известен во многих вариантах [2]. По жанру песня относится к бытовым, с введением морализирующего элемента [3]:

*Попаднала Шар планина,
леле, попаднала Шар планина,
потиснала три овчари.
Първи овчар ѝ се молит:
— Ой планино, Шар планино!
Ай пущи ме, да си одам; —
имам майка, шчо ме жалит!
Майка жалит, дур ѝе жѝва. —
Втори овчар ѝ се молит:
— Ой планино, Шар планино!
Ай пущи ме да си одам!
Имам сестра, шчо ме жалит;
сестра жалит до година! —
Сетен овчар ѝ се молит:*

– Ой плàнино, Шар плàнино!
 Ай пѹшчи ме, да си одам!
 Имам жèна, шчо ме жàлит;
 жèна жàлит, дур сум дòма!

(№ 699)

В № 701 мать горюет до самой смерти, сестра – пока не выйдет за-муж, возлюбленная – шесть недель [4]. В № 1292 совпадают «сроки» для матери и сестры, жена горюет до полудня [5]. При этом остается не вполне ясным, кто определяет/объявляет эти сроки, сам герой (и тогда это монолог) или кто-то другой (и тогда это диалог) [6]. В варианте [БНТ 1962, с. 321] отвечает сама Шар планина [7]: это объяснение того, почему она не хочет отпустить пастухов вообще или, во всяком случае, сразу:

– Пусни мене, Шар планино,
 Имам майкя да ме жали! –
 Отговаря Шар планина:
 – Майка жали дор е жива!

 Отговара Шар планина:
 – Сестра жали до година!

Т. е. время еще есть, спешить некуда. И тогда третий пастух сам объясняет неотложность своего возвращения домой:

Пусни мене, Шар планино,
 имам жена да ме жали;
 а жена жали ден до пладне,
 ден до пладне до мрѣкнало.

Перед нами хрестоматийный мотив «испытания любви» и сравнения, «кто любит больше, вернее (и соответственно дольше)». В южнославянской традиции он, пожалуй, особенно ярко и эффектно воплощен в сюжете «Змея за пазухой» [8]. На этнокультурном уровне здесь эксплицируются прежде всего оппозиции мужской/женский, дом/не-дом (свой/чужой; близкий/далекий), далее оценочная иерархия родства (по крови и по свойству) [9], отмеченное число 3 и др.

Несколько иной вариант, с более детальной проработкой структуры семьи (но без сравнения «кто горюет дольше») приведен в сборнике Миладиновцев [БНП 1861, № 207]; здесь пастух молит об избавлении Бога, хотя обращается он к Шар планине:

Ох! падна, падна Шар планина, де моме, де [10],
 Та притисна три овчара...
 Първи овчар богу ся моли:
 «Дигни ся, дигни Шар планина,
 Имам майка, имам баща,
 По мене ще жалат, Шар планина».
 Втори овчар богу ся моли;
 «Дигни ся, дигни Шар планина,
 Имам баща, имам майка, по мене ще жалат;
 Имам булка, имам сестра, по мене ще жалат».
 Трети овчар богу ся моли:
 «Дигни ся, дигни Шар планина,
 Имам майка, имам татко, по мене ще жалат:
 Имам булка, имам деца, по мене ще жалат».

«Горный мотив» в сюжете отодвинут на второй план, он выглядит как бы простым зачином, предлогом-завязкой для испытания ближних, в принципе варьируемым: с героем может случиться и другое несчастье (ср. выше о змее). Учитывая «семейно-бытовой» характер песни, естественно проецировать этот мотив на реальность, считая, что здесь имеется в виду, например, обвал в горах, преградивший путь пастухам (примечательно, что в этом сюжете ничего не говорится о стаде, чем он и отмечен). Современный исследователь относит к кругу опасностей, которым подвергается пастух, «жртва и на планината или на други натприродни сили», и эту, приводя начало «известной песни», — *Се навали Шар Планина, / потиснала три овчари...* [Ристески 1974]. Действительно, то, что произошло в горах (с горой — *попаднала* и *потиснала*, *попагяла*, *падна* и *притисна*, *се навали* и *потиснала* и т. д., т. е. «упала», «навалилась» и «придавила»), вполне соответствует реальной ситуации, а употребление глагола *фати* (*потфатила*, *пофатила*) или *улови* 'схватить', 'поймать' выглядит обычным тропом, органично входящим в описание анимизированной природы. Топоним *Шар планина*, т. е. «привязка к месту», дополнительно подчеркивает реальность и достоверность происходящего. Все как будто подводит к тому, чтобы не искать здесь мифологии: это может показаться натяжкой.

Однако более внимательный взгляд выхватывает одну деталь, которая может переместить сюжет в мифологическое пространство. *Гора упала*: конечно, в этом видится прежде всего синекдоха — падение камня приравнивается к падению всей горы (или даже всего горного массива) [11]; пока это поэтическое изображение вполне реального явления природы, происхо-

дящего как будто помимо «воли» горы. Существенно, что тот же мотив в русской сказке выражен более прямо: в ней говорится не об обвале, а о *движении горы*, жертвами которой также оказываются пастухи: «...лог крутой, могучий. Там детишки коров стерегут. Вдруг *гора-то и здвинулась* [12] и подавила этих детишек» [РСИМ 1932, № 30] [13].

Но далее, в наших текстах, *гора схватила, поймала, гору* просят *подняться*, или *подвинуться (дигни ся)* [14], отпустить пастухов (*пушчи, пусни*), т. е. как бы расступиться, так сказать, «разжать объятия», которыми она их охватила. Это уже подразумевает активность, целенаправленные «двигательные» действия. Их умышленность подтверждается тем, как *гора* объясняет свой отказ отпустить пастухов («Ничего, подождут!», см. выше) [15].

В мифологическом словаре архетипической модели мира *гора* – символ устойчивости, неподвижности (хотя бы в связи со своей основной функцией соединения верха и низа, неба и земли). **Неподвижность** – вот основное свойство *горы*, и оно противопоставляет *гору* миру *живого* и *человеку*, что и отпечталось в формуле-пословице *планина с планина се не среца; планина с планина не ся събира* [Геров 1977, с. 39]; *гора с гора са не ставя, човек с човека са ставя, гора с гора са не събира, човек с човека са събира* [Славейков 1972, с. 139] [16]. *Гора*, таким образом, исходно некоммуникабельна, одинока как среди себе подобных, так и по отношению к остальному миру.

Но и: *планина со планина се ставува, камоли човек со човека!* [Речник 1965, с. 175], вариант *гора со гора се ставува, камули чоек со чоека* [Цепенков 1972, № 454], и такая «перевернутая» пословица, контрастно меняющая ситуацию, – что не только характерно, но и обязательно для любой народной традиции (и соответственно для менталитета человека), – не опровергает предыдущее, а побуждает посмотреть на предмет в несколько ином ракурсе, который обнаруживает, что потенциальная способность к **движению** заложена в *горе* изначально, и евангельское *верата планине преместуа / правина планина поместуат* [там же, № 314, 2022] [17] имеет корни в более архаичных представлениях [18]. Анализируя различные приемы анимизации природы, автор книги о символике *горы* напоминает: фольклор самых разных традиций изобилует сюжетами о том, как звуки магических песнопений двигали горы (ср. Орфея, к которому склоняли вершины Родопы, соседи Шар планины) [Жанцен 1988, с. 172].

В южнославянской традиции отпечаток представлений, связанных с движением гор, можно найти, в частности, в богомильских легендах о творении мира. – Когда, по недосмотру (или козням дьявола), земля оказа-

лась настолько больше неба, что оно не могло ее покрыть, *по съветите на таралежа трябвало дедо Господь да вземе и повдигне тук-тамя земята, а пък сам-там да я стъпче, та така се образуват долини и планини...* [Иванов 1970, с. 333–334]. Из этого следует, что рельеф и, прежде всего, горы образовались в результате движения. Ср. иное изложение процесса создания рельефа: [*Поверхността*] *на земята се разстъпила и се появили острови и планини от двете страни* [19] [Шестоднев 1981, с. 104]. Это «двигательное» образование гор [20] и долин (рек) [21] откликается в этиологических легендах, см., например, о происхождении озера Елидере: *ламия пробила път между двете планините, Къркария и Смилюви скали, отдето изтекло всичко езеро* [Горанов 1981, с. 77: текст из архива Верковича].

Отклики движения, находящегося в основе происхождения гор, можно видеть в литовских, украинских и белорусских преданиях о том, что горы возникли из камней, которые бросали великаны, в черногорских — что это были камни, вывалившиеся у Бога из прорвавшегося мешка, и т. п. и особенно в сербском предании (Левач): горы возникли после вознесения Христа, когда земля пошла за ним на небо [СД 1995, с. 520]; последнее отражено в таких повсеместно распространенных словесных формулах, как *горы поднимаются, возвышаются, растут* и под.

Образование рельефа на изначально плоской земле описывается, прежде всего, как внесение в ее структуру вертикали и установление при этом трехчастного членения мира (ср. структуру мирового дерева, аналога и космоса, и горы): бывшая ровная поверхность, т. е. *горизонталь*, остается как точка отсчета, *вверх* поднимаются горы, а *низ*, т. е. *выемки*, заполняются водой. Пара *горы* и *воды* столь же формульна, как *горы* и *долины*. Но если *горы* и *долины* противопоставляются исключительно по признаку *вертикаль/горизонталь* и/или *верх/низ*, то *горы* и *воды* противопоставляются еще и по признаку движения — это довольно очевидно — и одновременно объединяются этим признаком — что уже требует объяснения.

Мифологические словари приводят примеры из полинезийских сказаний о создании из песка скалы, из скалы — острова, из острова — горы, о плавучих горах и т. п. [МНМ 1980, с. 314]. Из воды в начале мира возникла мифическая гора Триглав (хорв.) или Козловая гора (пол.) [СД 1995, с. 520] [22]. Анимизированная гора уподоблена потоку, олицетворяющему движение («[гора] est un personnage, au même titre qu'un fleuve» [Жанцен 1988, с. 171]). Движение — столь же основоположный признак воды [23] («двигаться мы научились у воды» — vom Wasser haben wir's ge-

lehrt, вслед за пускающимся в путь шубертовским мельником), как *неподвижность* – горы, и гора, помещенная в воду (и тем самым ставшая островом), поневоле начинает двигаться, превращаясь в некий «природный» корабль [24].

Следующий пример напрашивается: известные, прежде всего, по путешествию аргонавтов Симплегады [25], или Кианейские острова-скалы, «Klappfelsen», сталкивающиеся горы, плавающие в море (кораблю аргонавтов удалось проскочить между ними, после чего Симплегады установились). В имени *Симплегады* (Συμπλεγάδες < πλῆσσω) отчетливо значение удара/сталкивания: это не просто свободно курсирующие по воде скалистые острова-корабли (ср. *Планкты*), но персонажи, вступающие в контакт/конфликт друг с другом. Нельзя сказать, что они, как Сцилла и Харибда, подстерегают неосторожных путников: для Симплегад сталкивание друг с другом – это форма существования, обеспеченная тем, что они находятся в воде, которая, в свою очередь, является своего рода гарантом их движения.

В нашем случае вода отсутствует. Однако важно то, что, будучи перенесенными на сушу, горы сохраняют стремление к движению, причем не к путешествиям (*Планкты*), а к целенаправленному движению по *горизонтали*, к встрече-соприкосновению друг с другом. Встреча может быть мирной (ср. выше *планина со планина се ставува*). Она может быть и конфликтной. Это отразилось, например, в следующем южнославянском сказочном сюжете: [БФП 1994, с. 148; 425 В IV] «с помощта на благодарна змия, освободена от затиснал я камък [26], невястата преминава през планини, които се бият» [27].

В этом отношении Шар планина в разбираемом сюжете «пошла дальше», обратив свою активность против человека, но изменив при этом характер движения на *вертикальное*: она загораживает путь пастухам, падая или каким-то иным способом, но не передвигаясь (об этом, во всяком случае, ничего специально не говорится). Тем не менее, можно повторить, что речь идет не просто об анимизации сил природы, но о концепте *движения*, которое оказывается имманентно присущим объекту, являющемуся символом устойчивой неподвижности (ср. выше *дигни ся*). То, что в этой роли выступает *Шар планина*, может быть, и не так случайно (хотя мифологическую подоплеку можно найти в любом «горном персонаже» – *Стара планина*, *Пирин планина* и т. п.). У нее древняя история, связанная с античной Македонией, и если специальных мифологических сюжетов, связанных с ней, не отмечено, все же само сохранение имени (попен отен) и его неоднократное упоминание в античных источниках представляется

достаточно важным. Это «Σκάρδον Όρος» (ороним иллирийского происхождения, см. [Мейер 1957, S. 311–312], ср. Σκερδά, Scerdis [там же, S. 313]), «гора в Иллирии, на границе Месии и Македонии, служит восточным продолжением бебийских гор, ныне Шар-даг» [Любкер 1885, с. 1204]; «Skardon Oros (Σκάρδον Όρος), h. Šarplanina oder eine ihr vorgelegerte Bergkette <...> W. der Thrak. Länder mit schwierigem Aufstieg. Südlich vom SO liegt Makedonien, o. Dardanien, w. Illirien. Einige Autoren machen ihn zum Quellgebiet des Drilon und Drinus, Pol. 28, 8, 3 ff. Liv. 43, 20, 44, 31. Strab. 7, 329, frg. 10» [КП 1979, 5, с. 223] [28].

Связь с античной традицией, сохраняющаяся и в хронологической «биографии» горы, и, как уже было сказано, в ее имени, может содержать своего рода подспудную мифологическую нагруженность, а концепт движения соответственно может указывать не только на архетипическую модель, но и на близкий территориально, а возможно, и родственный, античный сюжет, связанный с движущимися горами (упомянутые выше *Симплегады*). Трудно удержаться от того, чтобы в связи с этим не привести еще один балканославянский сюжет, идущий из античности. Это баллада о чудесном происхождении Марко-кравевича, помещенная в «пастушеский» контекст и носящая явные отпечатки мифа о Данае (можно сказать, что это балканославянская/македонская версия античного мифа; замена золотого дождя змеем, падающим из облака, при появляющемся затем солнце, — вполне в духе балканской традиции). Местом действия выбрана та же *Шар-планина!*

*Овце пасе Јана Македонска,
овце пасе горе Шар Планина.*

*Јане њ овце пособрале,
пособрале под зелени борои,
Јана ми га дремка оборило,
ми заспала под зелени борои.
Се создаде т'мното облаче,
У облаче змија тројноглава:
се потуљи Јана га пољуби.*

*На с'н Јана с'нце огрејало.
Тогaј Јана тешка останала,
ми породи едно мушко дете,
мушко дете незнано јуначе —
име ставиле Марко Кралевиќи...*

Примечания

- [1] Но, несмотря на название, и здесь речь идет о Шар планине.
- [2] Сочтено возможным ограничиться немногочисленными примерами-образцами, поскольку в данном случае нас больше интересует сама конструкция сюжета, чем его варианты.
- [3] Экспликация известного речения *либе жали до година, майка жали до амина*.
- [4] *Майка ти жалит дури да умрит,*
сестрата жалит дур да с'омажит,
любата жалит до шес недели.
- [5] *Жената жале, дур до пладнина.*
- [6] Так в № 701 — *Майка ти жалит...*
- [7] Действия горы, ее диалог с человеком — особая тема. В кругу южнославянского пастушеского текста ср. зачин родопской песни — *Сбогом, със здрава, Стара планино, / — Сбогом със здрава, млади овчерея...* [РК 1970, № 195] и др., см. хотя бы [БНТ 1962, с. 269, 270].
- [8] Герой последовательно просит мать, сестру и жену или возлюбленную вынуть змею, которая залезла ему за пазуху, и тем спасти его от укуса. Варианты могут быть разные, но чаще соглашается как раз возлюбленная; вместо змеи она вынимает золотое монисто и таким образом получает награду за свою самоотверженность.
- [9] В одних вариантах перечисляется родня по отношению к герою — его *родители, сестра, жена, дети*, — в других определяется он сам как *сын, муж и брат*.
- [10] Повторяется в конце почти каждой строки. — Текст дается в современной графике.
- [11] Что имеется в виду под обращением *Шар планина, Стара планина*. ср. русск. *Урал-батюшка* и под., весь массив или отдельная гора, — особый вопрос. Ср. в связи с этим комплекс значений для **grUN*: 1) гора (холм), покрытая лесом, 2) верхняя часть горного хребта, 3) склон горы, 4) горная цепь, 5) глыба, упавшая с горы, 6) пастбище в горах... [ОКДА 1987, № 730].
- [12] Шрифтовое выделение везде наше. — *Т. Ц.*
- [13] И здесь этот мотив — не главный, а побочный (сюжет «Шемякин суд»).
- [14] См. значения для *дигне, дигне се* в [РМНП 1987, с. 82—83]: I.1.a) *крене нешто угоре, во вертикален правец*; 2.a) *тргне, истави нешто од некаде*; б) (прен.) *урне, разурне*; 5) *стори да се крене*; II.2.a) *напушти место каде што наоѓа; отиде, замине* и т. д.
- [15] Такой «сдвиг» между пассивностью и активностью гор отразился в стихотворении «Босния» Алексея Дуракова (русский поэт; после революции эмигрировал в Югославию, участвовал в Соппротивлении, воевал в партизанском отряде и погиб в 1944 г.):
- Гор содвигнувшиися кряжи,*
Как чудовища, припавшие к земле,

*У ворот чистилища на страже,
Горбятся в кроваво-дымной мгле...*

- [16] Примеры по другим балканским традициям см. в [БНМ 1968, № 1743].
- [17] Ср. «отрицательный» вариант (Даль): *Бес качает горами, не только нами; Силен враг, и горами качает, а людьми, что вениками, трясет.*
- [18] То же самое и с коммуникабельностью. О диалоге с человеком было сказано выше. Распространенный мотив клефтских песен в новогреческой традиции — соперничество Олимпа и Кисава. И, наконец, наш, известный каждому еще из «детского чтения» *великий спор Казбека с Шат-горю.*
- [19] Ραστῆππ (συχιδεῖσα) [Шестоднев 1981, с. 328].-
- [20] Горы могут и исчезать, и, очевидно, в их «убирании» с лица земли также должно присутствовать движение, ср. в контексте балканского пастушества (из представлений о природе): «Die Gelehrten sagen, daß es irgendwelche Felsen und Bergen gegeben habe, die verstopft waren, aber jetzt sei diese Verstopfung verschwunden und die Winde haben sich frei gemacht» [Маринов 1976, с. 301].
- [21] Ср. не единожды встречающийся поэтический образ: *рекой раздвинутые берега.*
- [22] И Ницше в «Так говорил Заратустра» открыл для себя, что самые высокие горы появились из моря.
- [23] Противоположное состояние — маркировано, обычно с отрицательным оттенком: *стоячая вода.*
- [24] О связи острова с кораблем, о корабле как о плавучем острове см.: [Айрапетян 1992, с. 230].
- [25] Их помещают в разные места, но чаще всего — у входа в Понт Эвксинский [КП 1979, S. v].
- [26] Почти цитата из наших текстов. Из этого пассажа могут следовать существенные выводы о месте/роли пастуха в мифологических сюжетах, связанных с горой и скотом. Тема *Громовержец — змей — гора — скот* (ср. так называемый «основной миф») здесь не рассматривается, хотя и замыкание скота в горе, и освобождение его может в определенном смысле быть преобразено и в рассматриваемом сюжете, где место скота метонимически занято пастухами, а враждебные действия берет на себя сама гора.
- [27] К сожалению, мы не имели возможности познакомиться с этим текстом. Однако, даже если предположить, что имеется в виду сражение между горами, все равно, как и в рус. *биться*, сохраняется значение удара, сталкивания. — Не случайно этот глагол появляется в зачине варианта: *Бог да бие Шар планина, / що улови три овчара...* [БНТ].
- [28] Ср. упоминание Mount Scardus в связи с походами последнего македонского царя Персея, 170—169 гг. до н. э. [Делл 1977, с. 312]. — При весьма разноречивых сведениях, которые дают энциклопедические источники (двух одинаковых нам не встретилось, и эту неопределенность также можно прибавить к мифологическому досюе горы), некоторое представление о Шар планине можно получить: это горный

хребет в Македонии протяженностью 60—80 км, расположенный близ границы с Албанией (между Скопье и Призреном); высшая точка — гора Турчин, 2702 м.

Сокращения

- Айрапетян 1992 В. Айрапетян. Герменевтические подступы к русскому слову. М., 1992.
- БНМ 1968 Балканска народна мъдрост. София, 1968.
- БНП 1861 Български народни пѣсни собрани одъ братья Миладиновци. Загреб, 1861 (фототип. изд.: София, 1981).
- БНТ 1962 Българско народно творчество. София, 1962, т. 8: Трудово-поемични песни.
- БФП 1994 Л. Даскалова - Перковска, Д. Добрева, Й. Коцева, Е. Мицева. Български фолклорни приказки. Каталог. София, 1994.
- Геров 1977 Н. Геров. Речник на българския език. Фототипно издание. София, 1977, ч. 4.
- Горанов 1981 Б. Горанов. Легенди за митични същества в някои архивни фондове на Българската академия на науките // Български фолклор. София, 1981, год. VII, № 3.
- Делл 1977 Н. J. Dell. Macedon and Rome: the Illyrian Question in the early second century b. C. // Ancient Macedonia. Thessaloniki, 1977, II.
- Жанцен 1988 R. Jantzen. Montagne et symboles. Lyon, 1988.
- Иванов 1970 Й. Иванов. Богомилски книги и легенди. 2-е изд. София, 1970.
- КП 1979 Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike in fünf Bänden. München, 1979.
- Любкер 1885 Реальный словарь классических древностей по Любкеру. СПб., 1885.
- Маринов 1976 V. Marinov. Ueber einige schwach untersuchte Seiten der geistigen Kultur der beweglichen Schafhirten auf der Balkanhalbinsel // Одредбе позитивног законодавства и обичајног права о сезонским кретанима сточара у Југоисточној Европи кроз векове. Београд, 1976.
- Мейер 1957 А. Мейер. Die Sprache der alten Illyrier. Wien, 1957, Bd. 1.
- МНМ 1980 Мифы народов мира. М., 1980, т. 1.
- ОКДА 1987 Общекарпатский диалектологический атлас. Вступительный выпуск. Скопје, 1987.
- Пенушлиски 1983 К. Пенушлиски. Македонски народни балади. Скопје, 1983.
- Речник 1965 Речник на македонскиот јазик со српскохрватски толкувања. Скопје, 1965, т. 2.
- Ристески 1974 М. Ристески. Животот на овчари во некои македонски народни песни // Македонски фолклор. Скопје, 1974, год. VII, № 14.

- РК 1970 Н. Кауфман, Т. Тодоров. Народни песни от Родопския край. София, 1970.
- РМНП 1987 Речник на македонската народна поезија. Скопје, 1987, т. 2.
- РСИМ 1932 Русская сказка. Избранные мастера. Л., т. 2.
- СД 1995 Славянские древности: этнолингвистический словарь / Под ред. Н. И. Толстого. М., 1995, т. 1: А—Г.
- Славейков 1972 Български притчи или пословици и характерни думи събрани от Петко Р. Славейков. София, 1972.
- Цепенков 1972 М. К. Цепенков. Македонски народни умотворения. Скопје, 1972, кн. 8.
- Шапкарев 1972 К. А. Шапкарев. Сборник от български народни умотворения. София, 1972, т. 3: Песни из обществения, семейния и частния живот.
- Шестоднев 1981 Йоан Екзарх. Шестоднев. София, 1981.

T. Civjan

Das Motiv der Bewegung der Berge in balkanslawischen Hirtenliedern

In diesem Artikel wird die Aufmerksamkeit den balkanslawischen (mazedonischen) Liedern gewidmet, in welchen es sich um einen Berg (Šarplanina) handelt, der umgefallen ist oder verschoben worden ist und damit drei Hirten blockiert hat, die ihrerseits den Berg bitten, sie freizulassen. Als Genre gehören diese Lieder zu den alltäglichen. In diesem Fall aber werden sie *sub specie mythologiae analysiert*. Besonders bemerkenswert ist, daß *der Berg sich bewegt* und sein Hauptmerkmal verliert, und zwar seine Unbeweglichkeit und Stabilität. Man vermutet, daß die versteckte Fähigkeit, sich zu bewegen, im mythologischen Dossier des Berges enthalten sei. Als Beispiele werden einige Bogomilen-Sagen angeführt, welche über die Bildung der Berge durch eine Kompression (d. h. Bewegung der Erde) berichten, andere slawische ätiologische Sagen, Märchenmotive u. a. Am besten manifestiert sich diese Eigenschaft *des Berges* in dem altgriechischen Motiv von *Symplegaden* "Klappfelsen" und *Planktai* "Irrfelsen". Dieses Motiv wird hier als eine Parallele und vielleicht auch eine lokale Version betrachtet.

III

Г. К. Венедиктов (Москва)

Из архивных материалов к начальной истории болгарской диалектологии

В 1852 г. в «Памятниках и образцах народного языка и словесности», издававшихся в качестве «Прибавлений» к «Известиям Второго отделения Императорской Академии наук» в Петербурге, была опубликована известная в литературе чешская песня (поэма) о суде Любуши («Любушин суд») в двух болгарских переводах. Автором одного из этих переводов был Константин Дмитриев-Петкович (К. Петкович), студент Петербургского уни-

верситета (уроженец с. Башино село, р-н Велеса, Македония), имя другого переводчика указано не было. Публикуя эти переводы, И. И. Срезневский, редактор и издатель «Памятников и образцов народного языка и словесности», преследовал цель ближе познакомить русского читателя с болгарским языком, который он, согласно принятому в то время обычаю, называет и болгарским наречием. Представляя перевод К. Дмитриева-Петковича, И. И. Срезневский в своих «Замечаниях редактора к болгарскому переводу песни о суде Любуши» выражал надежду, что этот «опыт перевода ... на наречие болгарское» заинтересовал хотя бы «некоторых из любознательных читателей как образчик наречия, до сих пор еще очень мало исследованного и известного» [1]. Вместе с тем он понимал, что этого перевода для ознакомления с болгарским языком ввиду его территориальных различий было бы недостаточно, и потому рядом с ним он поместил другой перевод «Любушиного суда». «Этим одним опытом, — писал И. И. Срезневский, имея в виду перевод К. Дмитриева-Петковича, — нельзя было ограничиться: оттенок болгарского наречия, на котором г. Дмитриев-Петкович передал чешскую поэму, заметно отличен от многих других, сохранивших более чистый болгарский тип. Оттенок этот, господствуя в некоторых краях Македонии, в соседстве с сербами, отражает на себе влияние наречия сербского, как это видно из употребления звука *h* вместо *шт* и звука *h* вместо *жд*. Нельзя было не желать сообщить рядом с ним и еще один опыт перевода на какой-нибудь из говоров, господствующих в собственно Болгарии. Возможность представилась. Я воспользовался готовностью нескольких природных болгар (из Болгарии) принять участие в переводе — и перевод издается» [1].

Из приведенного фрагмента «Замечаний» И. И. Срезневского видно, что, по его мнению, болгарский язык, во-первых, распадается на множество местных говоров (у него — «оттенки болгарского наречия», но также и «говоры») и, во-вторых, говоры эти различаются степенью своей чистоты, критерием которой является отсутствие / наличие в них элементов иноязычного влияния. Опубликованные И. И. Срезневским переводы «Любушиного суда» представляют, таким образом, два из множества болгарских говоров («оттенков болгарского наречия»): один — македонский (в переводе К. Дмитриева-Петковича), испытавший сербское влияние и потому не относимый к говорам «более чистого болгарского типа», и второй (в переводе анонимного автора) — собственно болгарский («господствующий в собственно Болгарии»), который, надо полагать, И. И. Срезневский относил к говорам «более чистого болгарского типа».

Уже в наше время, через сто с лишним лет после публикации, указанные переводы «Любушиного суда» К. Дмитриева-Петковича и анонимного

автора и увидевший свет в 1863 г. перевод этого же произведения, исполненный Райко Жинзифовым (уроженец Велеса в Македонии) были подробно исследованы Н. И. Толстым как опыты литературной обработки местных говоров в середине XIX в. и создания на их основе литературного языка в Болгарии и Македонии. «Эти переводы, — пишет Н. И. Толстой, — представляют несомненный интерес, так как достаточно ярко демонстрируют основные фонетические, морфологические и лексические различия между македонским и болгарским литературными языками середины XIX в.» [2]. Вместе с тем Н. И. Толстой не исключает, что «конкуренцию между литературной обработкой македонских наречий и литературной обработкой восточноболгарских наречий (наряду с обработкой западноболгарских наречий) можно рассматривать не только порознь, но и совместно, представив ее в рамках одного процесса борьбы за один литературный язык Болгарии и Македонии» [2].

Между тем переводы «Любушиного суда», сделанные К. Дмитриевым-Петковичем и анонимным автором, уже сразу же после их публикации привлекли внимание одного образованного болгарина, который написал о них отзыв, оставшийся, к сожалению, в рукописи. Этот не публиковавшийся отзыв хранится ныне в богатейшем (в том числе и болгаристическими материалами) архивном фонде И. И. Срезневского [3]. Ниже следует полный текст этого отзыва, передаваемый здесь согласно правилам современной русской орфографии. Приводимые в отзыве болгарские слова и выражения передаются в написании автора отзыва.

«Язык нынешних болгар из всех прочих славянских наречий менее всего известен славянским филологам, менее всего обращается к нему славянская филология, хотя краеугольным камнем ее лежит древний язык этого же самого народа. Если это несколько странно, то виновата в этом отчасти сама судьба болгарского народа, отставшего от всех своих собратьев в образовании, хотя некогда он именно положил основание славянской цивилизации, виновата в том сама письменность болгарская, которая не имеет еще одного общего литературного языка, чтобы можно было легко знакомиться с ним. У болгар столько литературных языков, сколько книг напечатанных; у каждого автора есть не только свое особенное правописание, но своя этимология, свой синтаксис: от того в болг[арской] литературе, можно сказать, более грамматик, нежели другого рода сочинения.

Эти мысли невольно пришли мне в голову, когда я прочел помещенные в Известиях Императорской Академии наук два болгарские перевода Любушина суда. Если, по словам редактора, эти переводы не должны быть лишены интереса для любителей славянской словесности вообще, то еще жи-

вее возбуждают они этот интерес в сердце всякого болгарина, для которого приятно звучит отечественное слово, который любит и сочувствует своей народной письменности. И самое это сочувствие, с которым я, как болгарин, встретил упомянутые переводы, которое остановило на них мое пылкое внимание, вызвали во мне некоторые замечания. Они касаются языка этих переводов, оставляя в сторону вопрос (в оригинале: *въпросъ*. — Г. В.) об их художественности, так как этот вопрос, как видно, не занимал к сожалению ни самих переводчиков. Нет сомнения, что передавая на болг[арском] языке знаменитые произведения народной чешской поэзии IX в., переводчики имели целью не усвоить это произведение, сколько это возможно переводом, болгарской письменности, а только представить возможность на одном образчике сделать наглядное сравнение двух родственных наречий различных эпох. С этой же лингвистической стороны обращаю я внимание на эти переводы.

Может быть, ни один из славянских языков не распался на столько областных наречий, как язык болгарский, — кажется от того, что ни один из них не подвергался таким разнородным влияниям, как он; притом народ, говорящий этим языком, населяет если не самую гористую, то самую разнообразную по характеру своей природы из всех славянских стран. Но главным образом болгарский язык разделяется на два наречия: фрако-дунайское, которое господствует в собственно так называемой Болгарии и Фракии, и македонское, которым говорят болгаре в Македонии. Главными отличительными признаками этих двух наречий болгарских касательно произношения служит следующее:

1) любовь фрако-дунайского наречия к гортанному (иначе нельзя его назвать) гласному звуку, который в болг[арских] правописаниях изображается без разбора буквами *ā*, *ъ*, *ь*, *я*, хотя и произносится одинаково, а именно как сжатое *a*, в горло, и перемена этой гласной в макед[онском] наречии в *a*, *o*, *y*. Так в Фракии и Болгарии говорят: *мъжъ*, *вънъ*, *вътръ*, в Македонии: *мажъ* или *мужъ*, *вонъ*, *внatre* или *внупре*;

во 2) буква *ъ* в первом наречии произносится как русское *я*, иногда как *e*; во втором всегда как *e*. Так во Фр[акии] и Болг[арии]: *вѣра* (*вяра*), в Македонии: *вера*;

в 3) сложная буква *щ*, которая в фрак[ийском] и дунайск[ом] нар[ечии] сохранила свое древнее произношение, как *шт*, в македонском перешла в сербск[ое] *ћ*; от того здесь и *жд* произносится по-сербски, как *ћ*. В спряжениях и склонениях эти два наречия мало отличаются друг от друга; более расходятся они в лексической части, и в этом отношении можно сказать, что наречие макед[онское] более сохранило

в себе следов древности, нежели фрако-дун[айское], в котором многие болгарские слова заменены греческими, турецкими, валашскими.

Эти два перевода Любушина суда могут служить образчиками для того и другого из сказанных двух болг[арских] наречий, хотя не в одинаковой степени чистоты.

Анонимный перевод на странице (не указана. — Г. В.) сделан совершенно на фрако-дун[айском] наречии. Это, по-моему мнению, лучший перевод, как потому, что в нем чище сохранены дух и характер народной речи, так и потому, что автор его вернее дѣржался своих принятых орфографических правил. Можно не во всем соглашаться с этими правилами; но это дело, требующее особенных рассуждений. Что касается до отдельных слов, я замечу кое-что ниже.

Не в такой степени чистоты может представлять македонское наречие перевода г. Дмитриева-Петковича. Язык этого перевода есть только местное подречие одной македонской области, самой близкой к пределам Сербии, и потому он почти вполнину сербский. Притом, г. Дмитриев-Петкович еще более удалился от собственно болгарского языка, употребив несвойственные ему причастия, падежные окончания и отбросив члены, это отличительное свойство болг[арского] наречия. Это значит перечинить существующий язык, потому что он развился не по вкусу известного писателя, а по внутренним законам своего неизменного организма; жаль только, что от такой перечинки болг[арский] язык перестал быть болгарским, да притом и не сделался ни сербским, ни русским, ни словянским каким-то особенным, для которого еще нужно приискивать название. Но обратимся к частностям и рассмотрим некоторые отдельные формы и слова, которые, как я думаю, неправильно и неуместно употребил в переводах.

В I: *Стока*. Это слово в болг[арском] яз[ыке] почти совершенно соответствует русскому *товар*. Прежде всего оно означает вещь, ценность, назначенную для продажи, потом — скот, что иначе называется *добиткъ*, и редко имущество вообще. Потому ближе было бы к подлиннику и лучше по-болг[арски] слово *имотъ*, которое употреблено во II пер[еводe]. *Стока*, кажется, происходит от нем. *Stück*, потому что чаще всего употребляется для означения мануфактурных изделий, которые болгаре получают из Австрии. Вероятнее было бы производить его от гл[агола] *стѡитъ*, но этот глагол не употребителен в болг[арском] языке, а в его значении говорится *вреднье* (откуда *вреденъ* — годен, достоин) или *струва*.

Глава в обоих пер[еводах]. Слово подлинника *vojewoda* употребляется и у болгар, только в значении городского начальника, а в смысле владыка дому говорится *стѣпанъ* или *ступанъ*.

Маж в I, *мъжи* — в II. И то и другое с неправильным окончанием. В болг[арском] яз[ыке] односложные существ[ительные] никогда не оканчиваются в множ[ественном] ч[исле] на *и* (*разве* в некоторых отклонениях), а всегда на *ове*, *я*, *ица*, или, если существительное в един[ственном] ч[исле] имеет мягкое окончание, то на *ие*, *ье*. Так *сынъ* (*сын*) никак не *сини*, а *синове*; *сънъ* (*сон*) — *сънове* или *сънища* (сновидения); *цвѣтъ* — *цветове*, *цвѣтія*; *братъ* — *братія* и даже *братове*; *гробъ* — *гробове*, *гробица*; *дворъ* — *дворове*, *дворица* и т. д. Или: *царь* — *царіе*; *князь* — *князіе*; *конь* — *коніе*; так *мъжъ* — *мъжіе* и даже *мъжове*, как *ножь* — *ножове*, но никогда *мъжи*.

Оратъ — в I и во II. В Македонии окончание множ[ественного] числа 3-го лица так и произносится, как чистое *а*; но в Болгарии и Фракии это гортанная гласная, *о* произношении которой сказано выше. Потому здесь лучше писать *ж*, которое впрочем нет возможности употреблять, где следует, и в коренных слогах, потому что невозможно отличать звук его от звуков *ѡ*, *ѡ*. Так: *ръка* (*рѣка*), *трѣнь* (*трѣніе*), *слѣнце* (*слѣнцыце*) произносится одинаково в коренных гласных или полугласных.

Кой на сбори за печала ходи — в I, *Кой на сбори за користь ходи* — во II. И в том и в другом переводе выражено совсем не то, что в тексте. Здесь говорится: ходил на сеймы для пользы, для блага челяди, а по болг[арским] переводам выходит: ходить для торговли, для барыша и даже для добычи. И даже не на сеймы, а просто для собрания, потому что в смысле сейм по-болг[арски] говорится: *съборъ*, *сборище*, *скупище*, *скупщина*; *сборъ* же по-болг[арски] значит то же, что по-русски — сбор.

Кмети и леси — в I и II. Такие окончания множ[ественного] ч[исла] не болгарские, как мы заметили выше. Не по-болгарски также употребление в I: *владьки* вместо *владици*. Впрочем это, вероятно, творит[ельный] пад[еж] переводчика, к которому нужно приучать бол[гарский] язык.

Стаха. По пиитической вольности сокращено вместо бол[гарского] *станахъ*. Но и эта *poetica licentia* не извинительна, потому что у нас не стихи, а проза.

Зар! В обоих переводах, а в Болгарии и Фракии говорится *нимá*, слово славянское; *зар* есть турецкое.

Разборави — в I. Непонятно! В болг[арском] языке есть глагол *борави*, но он значит: быть твердым, держаться крепко. *Разборави*, может быть, вместо *разбори* — от *бори* (бороть). Во втором переводе *въздигнала*, книжное слово, вместо *подигнала*.

Истуравши. Если уж нравится причастие, то почему же не *изсипавши*. Есть, кажется, разница между *турамъ* (*ропо*) и *сипъж* (*fundо*), и

последнее недаром употреблено в подлиннике. Во II: *да извърже*. Кроме того, что форма славянская, вместо болгарской: *да исфърли*, слово неудачно выбрано; потому что извергать скорее значит выбросить (ывать) снизу вверх, нежели наоборот. А между тем гл[агол] *сипъж* так употребителен в болг[арском] наречии.

Навадивши — во II. Гл[агол] *навади* вовсе не значит наводнять, как хотел переводчик, разве если дать ему насильно это значение. Да и тогда он был бы действ[ительного] залога и требовал бы прямо вин[ительного] пад[ежа] без предлога *върху*. (Наводнить над горами?) В болг[арском] яз[ыке] гл[агол] *навади* имеет двойное значение: в I) проводить бразды и наполнять их водою для поливки в огороде (от *вада* — ручей, поток), и в 2) клеветать, изобличать (как в славянском), вероятно от *веду*; откуда: *изваждамъ* — вынимаю, вывожу; *обаждамъ* — объявляю (в опущено как в *облакъ* вместо *обвлакъ*, *обвясамъ*, от *объ* и *въсьж* и т. д.

Каратъ — в I, *караятъ* — в II. Хотя этот глагол употребляется в болг[арском] языке в смысле ссориться, но есть также гл[агол] *свадям-ся* с тем же значением, который был бы ближе к подлиннику, как ниже и употреблено во втором переводе *свади* — ссоры.

Родни — в I и в II. Слово русское, вместо прекрасного болгарского *същи*. Так: *същи братъ*, *съща майка* и т. д. Напрасно забыли его.

Плачит ся — в I. Я не понимаю, от чего здесь употреблена слав[янская] форма вместо болгарской: *плаче ся*. Но еще более недоумеваю, почему переводчики вместо болг[арского] гл[агола] *нарича*, кот[орый] так близко к чешскому *naricaje* и так прекрасно выражает то, что нужно здесь выразить, употребили совсем неуместное слово *извикува* и *извикуе*, т. е. вскрикивает! Не вспомнили? Но не жаль ли, что такой превосходный стих так испорчен в переводе!

Тамо де ся. Несколько раз напрасно повторено патетическое *тамо*, тогда как наречие *де-то* совсем бы соответствовало чешскому *ideže*.

Покарати — в I. Значит *двину...*, *подогна...* (не ясно. — Г. В.), а то ли в оригинале?

Ста. Здесь также стихотворный, должно быть, размер перечинил на свой лад слово, но так, что болгарин никогда бы не догадался, что это *стана*.

Измислихме — во II. Это значит выдумали, а нужно *обудмали*.

Зеленьхъ — во II. Переводчик, кажется, исключил из своего болгарского правописания букву *ы*, звука которой в самом деле нет в болг[арском] языке. Но здесь виновата форма славянская, которую, разумеется, не нужно бы употреблять.

Смирете ся в I и II. По-болг[арски] значит усмиритесь, успокойтесь, а помириться (так нужно) говорится: *помирявамса, одобрявамса, съживявамса*.

Все эти неточности в словах и формах, на которые я позволил себе указать, известны, я думаю, переводчикам так же хорошо, как и всякому болгарину; если же они допущены в переводах, то, может быть, авторы основывались на том, что язык болгарский, как необразованный и неустановившийся, сносит неточности.

В пояснение г. редактор говорит, что слова *дубрава, кметъ, влади-ка* теперь не употребительны в бол[гарском] языке. Что касается до слова *владыка*, то оно, правда, не означает у болгар начальника светского, а только епископа, как и в русском; но *кметъ, дубрава* сохранились и до сих пор в деревнях бол[гарских], хотя в городах эти слова заменены турецкими: *чорбаджі я* (кметъ) и *орманъ* (дубрава)».

Приведенный текст отзыва оканчивается внизу лицевой стороны л. 67; оборот листа чист. Намеревался ли анонимный рецензент переводов «Любушиного суда» что-либо еще добавить, сказать трудно. Кому именно принадлежит этот отзыв, сказать пока тоже трудно. Возможно, что это дело Найдена Герова. Подтверждающие это предположение соображения здесь за недостатком места опускаются. Естественно, что самым надежным доказательством этого предположения или его опровержением было бы сличение почерков Н. Герова и автора отзыва. Такое сличение в данный момент не представляется возможным. Отметим в этой связи только то, что, поскольку рукопись отзыва оказалась среди бумаг И. И. Срезневского, следует думать, что сама идея рецензирования рассматриваемых переводов была предложена И. И. Срезневским, который и сам писал и публиковал краткие отзывы о новинках болгарской литературы.

Приведенный отзыв примечателен во многих отношениях, но главным образом оценкой состояния формировавшегося нового болгарского литературного языка, сравнительной характеристикой особенностей языка обоих переводов «Любушиного суда» и изложенным мнением о диалектном членении болгарского языка с указанием некоторых различий между двумя выделенными наречиями. Опять же за недостатком места особо отмечу здесь только последний из названных моментов, важный для начальной истории болгарской диалектологии. Важность эта заключается в том, что неизвестный автор отзыва (Н. Геров?) одним из первых среди болгарских возрожденцев в середине XIX в. предложил двуделение болгарской языковой территории. Первым такое мнение высказал, как известно, в 1845 г. Хр. Си-

чан-Николов, который делил болгароязычную территорию на восточную и западную, но еще не называл сами наречия этих областей (западное и восточное или как-то иначе). Другим, кто указал на два болгарских наречия, был К. Дмитриев-Петкович — автор одного из рассматриваемых здесь переводов «Любушиного суда». В 1852 г. в его переводе на русский язык вышла «Фонетика болгарского языка» Фр. Миклошича, в примечаниях к которой он «множество разноречий» болгарского языка группирует в два наречия — юго-западное и северо-восточное [4]. На эту важную для истории болгарской диалектологии лишь совсем недавно обратил внимание М. Младенов [5]. И третьим болгарским возрожденцем, предложившим деление болгарской диалектной территории, является автор приведенного выше отзыва. Отзыв этот не датирован, поэтому трудно сказать, был ли он написан до того, как в 1852 г. увидело свет мнение К. Дмитриева-Петковича о делении болгарского языка на юго-западное и северо-восточное наречия, или позднее. В любом случае важно подчеркнуть, что автор оставшегося в рукописи отзыва был одним из первых образованных болгар, кто делили болгарский язык на два главных наречия, и первым из них, назвавшим одно из этих наречий македонским. Впоследствии мнение о двух главных наречиях болгарского языка высказывали и многие другие болгарские возрожденцы (подробнее см. [6]).

В заключение несколько слов об авторе анонимного перевода «Любушиного суда», опубликованного И. И. Срезневским. Сам И. И. Срезневский, как видим, имени его не называет. Анонимным называет его и Н. И. Толстой в цитируемой выше статье. В литературе, однако, уже высказывались мнения об авторстве анонимного перевода. Так, в 1861 г. Любен Каравелов утверждал, что перевод этот был сделан самим И. И. Срезневским [7]. В наше время известный специалист по литературе эпохи Возрождения Болгарии М. Стоянов высказал осторожное предположение, что анонимный перевод — дело, возможно, Найдена Герова [8]. В действительности же рассматриваемый анонимный перевод «Любушиного суда» в публикации И. И. Срезневского был сделан Иваном Шоповым (уроженец Калофера), бывшим студентом Московского университета. Как установил В. А. Францев, перевод этот И. Шопов сделал в Праге, куда он приехал из Москвы, по предложению В. Ганки; где и был напечатан в виде приложения к некоторым экземплярам «Полиглотты Краледворской рукописи» [9]. И. И. Срезневский, как полагает В. А. Францев, для своего издания получил отпечатанный в Праге перевод И. Шопова от В. Ганки и ввел в него «еще и свои редакторские поправки» [9]. Рукописный оригинал перевода И. Шопова хранится в Национальном музее в Праге [10].

Примечания

- [1] Памятники и образцы народного языка и словесности / Прибавления к Известиям Второго отделения Императорской Академии наук. СПб., 1852, стлб. 23.
- [2] Н. И. Толстой. Страничка из истории македонского литературного языка. (Переводы «Любушиного суда» из «Краледворской рукописи» на македонский язык) // Краткие сообщения Института славяноведения АН СССР. М., 1965, вып. 43, с. 18.
- [3] Петербургское отделение Архива Российской Академии наук, ф. 216, оп. 1, ед. хр. 436, лл. 63—67.
- [4] См.: К. Дмитриев - Петкович. Примечания переводчика // Журнал Министерства народного просвещения, 1852, № 10, с. 44.
- [5] М. Младенов. За една малко известна характеристика на българските диалекти от Константин Петкович през 1852 год. // Език и литература. София, 1985, № 1, с. 67—75.
- [6] Г. К. Венедиктов. Болгарский литературный язык эпохи Возрождения. Проблемы нормализации и выбора диалектной основы. М., 1990, с. 155 и сл.
- [7] Л. Каравелов. Памятники народного быта болгар. М., 1861, кн. 1, с. II.
- [8] М. Стоянов. Българска възрожденска книжнина. София, 1957, т. 1, с. 285. Здесь под № 6032 в скобках указана фамилия Н. Герова с вопросительным знаком.
- [9] В. А. Францев. Болгаро-чешские литературные связи в половине XIX столетия. (Страница из истории болгарского Возрождения) // Списание на Българската Академия на науките. София, 1928, кн. 38, с. 60.
- [10] Л. Минкова. О. М. Бодянски и Българското Възраждане. София, 1978, с. 126, сноска 61.

G. Venediktov

From the Records Concerning the Initial History of Bulgarian Dialectology

It is a publication of an anonymous (by N. Gerov?) review of two Bulgarian translations of a Czech song 'Lyubusha's Trial' (1852). In particular the review gives a brief account of a literary Bulgarian in the middle of the 19th century. The Bulgarian language is asserted to divide into two main dialects, namely Macedonian and Daco-Thracian, some peculiarities of these two dialects are adduced here.

В. П. Гудков (Москва)

К оценке вклада русских лингвистов в науку о диалектах сербскохорватского языка

В течение XIX и первых двух десятилетий XX в. русские слависты серьезно интересовались и много занимались вопросами истории сербскохорватского языка и содержащими свидетельства этой истории памятниками письменности. Еще участник румянцевского кружка археограф К. Ф. Калайдович показал в 1824 г. — за десять лет до П. Шафарика, — что в середине XIII в. сербский язык был существенно отличен от церковнославянского. Он считал недоказуемым распространенное в начале XIX в. мнение, будто «нынешний церковный наш язык есть старинное сербское наречие» [1, с. 7], и обоснованно утверждал, что в рукопись «Шестоднева» 1263 г. привнес сербизмы переписчик, «изменивший правописание болгарского подлинника на сродное его соотчичам наречие» [1, с. 62].

Первые российские слависты-профессионалы — О. М. Бодянский, И. И. Срезневский, В. И. Григорович — деятельно способствовали формированию обширного текстового корпуса, служащего базой для раскрытия и истолкования исторической эволюции сербскохорватского языка. И. И. Срезневский ввел в научный обиход филологии несколько древнейших сербских памятников. Он, в частности, сообщил основные сведения о хранящемся в Петербурге Вукановом евангелии начала XIII в., воспроизвел в печати находящийся там же один лист Мирославова евангелия. О. М. Бодянский издал с кратким комментарием в редактировавшихся им «Чтениях в Обществе истории и древностей российских» целый ряд старых сербских и хорватских текстов, в частности, например, Винодольский закон 1280 г., записки сербского паломника Ерофея Рачанина начала XVIII в. П. А. Лавровский опубликовал в тех же «Чтениях» фольклорное «Житие князя Лазаря». Т. Д. Флоринский напечатал документы правителя Стефана Душана с заметками об их языке.

Ученик Бодянского А. А. Майков выпустил в 1857 г. единственный в своем роде исторический и лингвистический труд «История сербского языка по памятникам, писанным кириллицею, в связи с историей народа», в котором исследован язык средневековой сербской деловой письменности, прослежена его эволюция. С. М. Кульбакин издал краткое и емкое описание языка Вуканова евангелия. М. Г. Долобко исследовал орфографию и язык боснийских грамот XIV в. и древнесербского требника, М. Н. Сперанский — сохранившийся фрагмент Мостарского евангелия XIV в. Г. А. Ильинский подготовил безупречное издание знаменитой грамоты бана Кулина 1189 г., сопроводив ее текст историческим, палеографическим и лингвистическим комментарием. Наконец, русские ученые П. А. Кулаковский и Н. А. Попов осветили существенные моменты и аспекты истории литературного языка у сербов и хорватов в XVIII и XIX вв.

Русские филологи XIX — начала XX в. сделали для изучения истории сербскохорватского языка больше, пожалуй, чем любого другого инославянского языка (не говоря о старославянском/церковнославянском) [2]. Скромнее их достижения в исследовании и описании диалектного разнообразия на территории обитания сербов, мусульман («муслиманов») и хорватов. Это объясняется разными обстоятельствами: более поздним развитием диалектологии, чем исторической фонетики и морфологии, а также истории письменности; территориальной удаленностью сербскохорватских диалектов от российских научных центров и, наконец, недоступностью или труднодоступностью некоторых элементов сербскохорватской фонетики, в первую очередь просодических явлений, для уверенного аналитического восприятия инославянина. Стабильный интерес русских славистов к истории сербскохорватского языка не мог при всем том не сопровождаться вниманием ученых к современному его диалектному воплощению. Это нашло выражение в ряде более или менее значительных публикаций.

Казанский славист Мемнон Петровский, ученик В. И. Григоровича, издавая компилятивный обзор диалектного членения славянских языков, подчеркивал, что без представления о диалектах и говорах «немыслима полная картина славянского языка» [3, с. 390]. Он ссылаясь притом на мнение О. М. Бодянского, писавшего: «...сколько приходится помучиться над разгадкой той или другой формы, между тем как ларчик просто открывается для знающего не одни лишь так называемые главные наречия!», а также на постулат Буслаева, который в трактате «О преподавании отечественного языка» заявлял, что «изучение народного языка и языка древних памятников само собою предполагает уже и изучение областных наречий» [3, с. 390–391].

Опираясь на сведения, почерпнутые из работ Дж. Даничича, Вука Караджича, В. Бабукича, М. Валявца и других филологов, М. П. Петровский выделил в сербскохорватском языке два диалекта — штокавский и чакавский, а кайкавский отнес к словенскому языку.

Широкую известность и уважительную оценку специалистов получила монография А. М. Лукьяненко «Кайкавское наречие» (Киев, 1905, более 300 стр.), содержащая обзор и обобщение данных, накопленных в литературе о кайкавских говорах, принадлежащих, по мнению автора (совпавшему с современными научными представлениями), к сербскохорватскому языку. Эта книга и ныне фигурирует в списках основополагающих трудов о кайкавском диалекте [4].

Обширные, накопленные за четверть века пребывания в стране сведения о говорах Черногории опубликовал в том же 1905 г. П. А. Ровинский. В его фундаментальном энциклопедическом труде «Черногория в ее прошлом и настоящем» более двухсот страниц занято описанием разных уровней их структуры: вокализма и консонантизма, акцентуации, морфологии, синтаксиса, лексики и фразеологии, включая данные по топонимике и патронимике и лексические параллели с русскими диалектами [5].

Оставшаяся в течение десятилетий «невостребованной» работа П. А. Ровинского имела во многом пионерский характер. Представляя вновь лингвистической общественности это незаурядное произведение, новосадский диалектолог Д. Петрович писал, что русский журналист и историк Ровинский, обращаясь к народным говорам в условиях, когда диалектология сербскохорватского языка находилась в процессе становления, а спектр интересов ученых был весьма узким, предвосхитил размахом своего исследовательского внимания науку будущего: «он в своих записях оставил первые данные о диалектном синтаксисе (что другие начали делать лет через тридцать); опубликовал богатый материал по фразеологии (что и теперь редкость в диалектных описаниях); регистрировал сведения по ономастике (чем наши ученые начинают живее интересоваться только в последние два десятилетия); опередил своим словарем почти на тридцать лет Глишу Элезовича...» [6].

Собранный и представленный Ровинским диалектный материал сохраняет ценность и ныне, хотя, конечно, нуждается в критическом профессиональном осмыслении. П. Ивич, обзревая историю изучения говоров Черногории, отмечал, что Ровинскому «не удалось овладеть языком в полной мере, его записи не безупречны, он не имел, к тому же, лингвистического образования. Поэтому каждому, кто обращается к его ма-

териалу, приходится, процеживая море фактов, выявлять и отбирать то, что зафиксировано достоверно и может способствовать дальнейшим исследованиям» [7, с. 232]. Недавно энциклопедический труд Ровинского издан в переводе на сербский, содержащееся в нем «море фактов» стало общедоступным для югославян и, полагаем, не останется втуне.

Исследование сербской диалектной речи представляло большие, подчас непреодолимые трудности не только для нефилолога Ровинского, но и для высокоодаренного лингвиста А. А. Шахматова.

А. А. Шахматов широко и эффективно пользовался данными сербско-хорватской диалектологии для реконструкции акцентной системы праславянского языка и ее позднейших преобразований. Он оперировал, в частности, акцентуированным материалом рукописей Ю. Крижанича и грамматики И. Брлича (Берлича). Во время поездки по югославянским землям Шахматов вслушивался в местную речь, делал записи. Некоторые из них он затем опубликовал в статье «К истории ударений в славянских языках» [8]. По заключению П. Ивича, они не безукоризненны: «фиксация ударения оказалась не вполне достоверной» [7, с. 229].

Участие русской филологической науки в становлении диалектологии сербскохорватского языка не свелось, однако, к непосредственному обследованию народной речи югославян отдельными учеными и к анализу, осмыслению ими и обобщению опубликованных другими авторами диалектных описаний. Большое значение имел для развития сербскохорватской диалектологии творческий импульс, исходивший из московской лингвистической школы конца XIX в., импульс, который способствовал формированию исследовательских пристрастий и методологической ориентации одного из ведущих деятелей югославянской лингвистики XX в. — Александра Белича.

До первых лет XX в. диалектология сербскохорватского языка находилась в стадии первоначального накопления материалов, выработки приоритетов и школы ценностей. «Наша диалектология как самостоятельная лингвистическая дисциплина, — писал Д. Брозович, — обособилась в начале XX столетия. Тогда она получила собственную научную задачу: всестороннее описательное и историческое изучение хорватско-сербских диалектов без какой-либо иной, внедиалектологической, цели. Полагаю, что определяющими стали годы 1905/1906 („Диалектологическая карта сербского языка“ Белича) и 1907 („Штокавский диалект“ Решетара)» [9, с. 56]. Брозович прибавил к этому, что М. Решетар увенчал своими работами достижения науки XIX столетия, а его младший современник А. Белич, «ученик лучших русских и немецких линг-

вистов, принадлежит целиком нашему веку, и можно даже сказать, что в первой половине XX в. сербская диалектология (и вообще наука о языке) несет на себе печать его личности...» [9, с. 56–57].

А. Белич (1876–1960) получил, как известно, филологическое образование в белградской «Великой школе», университетах России (в Одесском и Московском) и Германии (в Лейпцигском). Особенно значительным и результативным для формирования Белича-лингвиста было его двухлетнее (в 1897/1898 и 1898/1899 уч. г.) ученье на историко-филологическом факультете Московского университета, где одаренный студент осваивал древние и новые языки, овладевал концептуальными установками и методическим аппаратом сравнительно-исторических штудий.

Признанным лидером российских лингвистов-компаративистов был в то время профессор Московского университета Ф. Ф. Фортунатов. «До него, можно утверждать безоговорочно, — писал Белич впоследствии, — не существовало настоящей сравнительной грамматики славянских языков, не было верных представлений о ранних, очень длительных эпохах общеславянского языкового развития, а без этого невозможны правильное понимание и трактовка самостоятельной жизни и развития отдельных славянских языков» [10, с. 173].

Ф. Ф. Фортунатов реконструировал праславянский язык не как статичное явление, но как языковую структуру, имеющую свою длительную историю, и не вполне единообразную и однородную на всей территории ее бытования. Ученик Фортунатова С. М. Кульбакин во вступительной профессорской лекции говорил: «Ценный вклад в разработку праславянской эпохи представляют работы Фортунатова и Шахматова, вообще так называемой „фортунатовской школы“, причем основным принципом исследований этой школы является различение в праславянском языке периодов и перенесение в эту эпоху диалектических различий» [11]. В связи с этим актуализировалось изучение диалектного расслоения славянских языков в современном их состоянии и в ретроспективе.

Языкознание было для Фортунатова наукой преимущественно исторической. «Исследование того или другого языка, — говорил он, — является научным только тогда, когда изучается история этого языка...» [12].

Ранние публикации А. Белича демонстрируют вполне определенно научные приоритеты учившегося в Москве молодого ученого: язык в его историческом развитии и диалектном варьировании. Показательна рецензия Белича на «Граматику и стилистику хорватского или сербского литературного языка» Т. Маретича (1899), содержащую описание классических образцов современного сербскохорватского языка.

Уже в первых строках рецензии Беличем заявлено, что еще не пришло время для создания исторической и «лингвистической» грамматики, поскольку древние памятники не изучены, а диалектология не вышла из пеленок. «Без первого невозможно представить исторической грамматики, без второго — лингвистической» [13, с. 170—171]. Белич увидел в рецензируемом труде лишь добросовестное «описание одного из наираспространенных сербских диалектов по наилучшим текстам» и заключил: «В этом состоит значение книги Маретича» [13, с. 171]. Очевидно, что литературный язык и кодификация его норм не были актуальны для лингвистического сознания молодого А. Белича. Это типично для пройденной Беличем языковедческой школы. (Показательно, что другой ученик Фортунатова, А. А. Шахматов, представлял академический словарь как объединенное собрание народных слов из разных краев России и лексики литературных текстов. «Нормативность чужда всему лингвистическому мировоззрению А. А. Шахматова», — отметил С. Г. Бархударов [14].)

Главным исследовательским пристрастием Белича в течение первых десяти лет работы в Белградском университете (хронологически совпавших с первым десятилетием XX в.) была диалектология родного языка. В 1901 г. Белич приступил к изучению говоров юго-восточной Сербии, в 1903 г. опубликовал первые результаты исследования. Его труды пользовались стимулирующей поддержкой из России, со стороны, в частности, А. А. Шахматова, «уполномоченного Российской Академией наук способствовать реализации разнообразных языковедческих замыслов и планов» [10, с. 179].

В 1903 г. Шахматов предложил Беличу подготовить обзор диалектного членения сербскохорватского языка. Белич ответил, что это предложение «трудно выполнимо», поскольку диалектология разработана слабо [15], однако взялся за дело и успешно справился с ним: в 1905 г. в Петербурге была напечатана на русском языке его «Диалектологическая карта сербского языка».

«Специалист легко определит, — писал С. Б. Бернштейн, — что автор „Диалектологической карты сербского языка“ принадлежит к московской лингвистической школе акад. Ф. Ф. Фортунатова. И это так! Методические принципы автора, его отношение к диалектному материалу, наконец, анализ самого материала — все это выполнено так, как учил своих молодых учеников основатель московской лингвистической школы. Вот почему данная статья так близка во всех отношениях диалектологическим работам Шахматова: оба они в разное время прошли лингвистическую подготовку у Филиппа Федоровича Фортунатова» [16, с. 62].

Изданная в России «Диалектологическая карта» Белича принадлежит, по единодушному мнению авторитетных ученых, к работам, определившим начало нового этапа в развитии науки о диалектах сербско-хорватского языка [17; см. также 9, с. 56].

Побуждением к изготовлению и выпуску «Диалектологической карты сербского языка» не ограничивалось содействие российской Академии наук усилиям А. Белича в разработке проблем диалектологии. В «Известиях Отделения русского языка и словесности» появились в 1909 г. его обширные «Заметки по чакавским говорам», в 1913 г. — «Письмо к И. А. Бодуэну де Куртенэ о собирании диалектологического материала».

Последней публикации предпослано вступление адресата, в котором, в частности, говорится: «...несмотря на незатейливую форму, статья проф. Белича содержит весьма ценные и незаменимые указания и должна бы служить настольной книгой (*vademecum*) каждого диалектолога...» [18].

Работа Белича и ее оценка Бодуэном де Куртенэ выдержали испытание временем. По словам С. Б. Бернштейна, «многое изменилось в науке о славянских диалектах, в методике сбора диалектного материала, в его обработке, но письмо Белича до сих пор входит в список обязательной литературы всех начинающих диалектологов» [16, с. 61].

Научная биография А. Белича еще не написана. Но нет сомнений в том, что исследовательское дарование сербского ученого развертывалось под благотворным влиянием преимущественно московской лингвистической школы. Это следует учитывать, говоря о вкладе русской науки в сербокроатистику. В свою очередь, своими трудами, осмыслением собственного опыта полевой работы Белич способствовал совершенствованию методологии современной науки о народно-речевом варьировании и диалектном членении славянских и других языков.

Примечания

- [1] К. К а л а й д о в и ч. Иоанн, экзарх болгарский. Исследование, объясняющее историю словенского языка и литературы IX и X столетий. М., 1824.
- [2] Более обширные сведения см. в обзоре: И. Е. М о ж а е в а. Русское и советское славяноведение о сербохорватском языке // Исследования по сербохорватскому языку. М., 1972, с. 339—349.
- [3] М. П. П е т р о в с к и й. Материалы для славянской диалектологии // Ученые записки Казанского университета, [т. 33]. Казань, 1866, т. II.
- [4] D. B r o z o v i ć, P. I v i ć. Jezik, srpskohrvatski / hrvatskosrpski, hrvatski ili srpski. Izvadak iz II izdanja Enciklopedije Jugoslavije. Zagreb, 1988, s. 98.

- [5] П. А. Ровинский. Черногория в ее прошлом и настоящем. СПб., 1905, т. 2, ч. 3, с. 474—687 (Сборник Отделения русского языка и словесности Академии наук, 1905, т. 80, № 2).
- [6] Д. Петровић. Једна незапажена расправа о говорима Црне Горе // Зборник за језик и књижевност. Титоград, 1972, књ. 1, с. 71.
- [7] П. Ивић. Осврт на лингвистичке методе досадашњих проучавања црногорских народних говора // П. Ивић. Изабрани огледи. Књ. III. Из српскохрватске дијалектологије. Ниш, 1991.
- [8] Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук. СПб., 1898, т. III, кн. I.
- [9] D. Vgozović. Tri razdoblja u razvitku nase dijalektologije // Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru. Zadar, 1960, sv. 1, god. 1.
- [10] А. Белић. Руска лингвистичка школа // Јужнословенски филолог. Београд, 1921, књ. II.
- [11] С. М. Кульбакин. Историческое развитие и современное состояние славянского языкознания // Журнал Министерства народного просвещения. СПб., 1906, ч. 3, с. 61.
- [12] Ф. Ф. Фортунатов. Лекции по фонетике старославянского языка // Ф. Ф. Фортунатов. Избранные труды. М., 1937, т. 2, с. 9.
- [13] Летопис Матице српске. Нови Сад, 1899, књ. 200.
- [14] С. Г. Бархударов. Русская лексикография // Советское языкознание за 50 лет. М., 1967, с. 24.
- [15] Документы к истории славяноведения в России (1850—1912). М.; Л., 1948, с. 225.
- [16] С. Б. Бернштейн. Памяти академика Александра Белича // Зборник радова о Александру Белићу. Београд, 1976.
- [17] П. Ивић. Целокупна дела. III. Српскохрватски дијалекти. Нови Сад, 1994, с. 10.
- [18] Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук. СПб., 1913, т. XVIII, кн. I, с. 229.

V. Gudkov

Russian Science Contribution to Serbo-Croatian Dialectology

There are two major trends of the Russian linguists' contribution to the development of serbo-Croatian dialectology. One includes accumulation and analytical digestion of data, while the other involves strong conceptual and methodological influence of Moscow school of linguistics, and especially its leader F. Fortunatov, on Alexander Belitch, the founder of modern serbo-Croatian dialectology.

В. К. Журавлев (Москва)

Поиски оснований болгарской диалектологии

Самуил Борисович Бернштейн — ученый огромнейшей научной эрудиции и широких научных интересов. Однако, любимейшей областью приложения недюжинных сил всегда была диалектология вообще и болгарская — прежде всего. Первую диалектологическую экспедицию он совершил к ольшанским болгарам (Ольшанский р-н Одесской обл.). Видимо, здесь и зародилась мечта о великой жизненной задаче: создать Атлас болгарских говоров в СССР.

Наши студенческие годы совпали с интенсивной работой профессора над теоретическими и организационными проблемами в области болгарской диалектологии: «разведывательные» поездки по болгарским селам, осмысление международного и отечественного опыта лингвистической географии, подготовка кадров диалектологов. Вслед за первым «призывом» (Е. В. Чешко, И. К. Бунина) пошли курсовые и дипломные работы студентов-болгаристов (Н. В. Котова, Э. И. Полтораднева и др.). Апробировалась и совершенствовалась программа, тщательнейшим образом собирался и систематизировался материал Атласа. Относительно небольшое количество картографируемых явлений компенсировалось работой над монографическим описанием опорных говоров.

Так, отправляя меня летом 1950 г. в Инзовку (Приазовье), профессор сказал: «Соберите материал для Атласа по вопроснику, а затем, вообразив себя Кириллом и Мефодием, опишите хотя бы фонетику». Проработав в селе более месяца, я сдал осенью материал по Атласу, приложив некоторые таблицы по фонетике и морфологии. Самуил Борисович был удовлетворен материалами и предложил сделать монографическое описание говора в качестве курсовой работы IV курса. Вершиной комплексной работы была экспедиция в село Суворово летом 1951 г. В селе собралось более 20 диалек-

тологов – научных сотрудников, студентов и аспирантов из Москвы и Ленинграда. Всем большим коллективом описывалась фонетика и морфология говора, апробировался принцип «описания говора изнутри», «на основе существующих в нем самом закономерностей». Отчет о наблюдениях, по условию, мы должны были написать на месте, обсудить, обменяться опытом и материалами. В Суворове Самуил Борисович заговорил о моей курсовой работе, высоко оценив ее: «Описание фонетики сделано профессионально». И здесь же поставил задачу дипломной работы: «История ташбунарского говора». Столетье тому назад из села Ташбунар (Каменка) почти все жители переселились в Приазовье, образовав новые села – Инзовку и Преслав. Сравнив современное состояние говоров трех сел, можно выявить динамику говора за столетие.

А в селе Суворово пришлось заняться описанием глагола. Как описать сложнейшую глагольную систему «изнутри», как вскрыть живые отношения между разнообразными глагольными словоформами? Опыт русской диалектологии, провозгласившей устами Р. И. Аванесова принцип описания говора «изнутри», ничего не дает. Столь сложной глагольной системы в русских говорах нет. Более или менее последовательно проводят русисты этот принцип лишь при описании фонетики. Описание морфологии, как правило, отгалкивается от реконструированного древнего состояния: «следы основ на *й*-» и др. В селе была болгарская грамматика Л. Андрейчина с подробной классификацией глаголов в литературном языке. Но из лекций профессора Бернштейна мы усвоили, что опора на нормы литературного языка может дать лишь список отклонений от норм в исследуемом говоре. Была и рукопись диссертации И. К. Буниной о языке ольшанских болгар. И это описание глагола нельзя было использовать в качестве модели-эталона. Здесь же была и книга Н. С. Державина «Болгарские колонии в России». Державин придерживался классификации А. Лескина, знакомой нам из курса старославянского языка. Живой диалектный материал не укладывался в рамки пяти праславянских глагольных классов. Да и сам Державин отмечал, что остается неясным, от какой основы образуется та или иная глагольная словоформа.

Это и натолкнуло на поиск общей для всех словоформ глагольной основы, от которой образуются все словоформы данного глагола. В качестве объективного критерия «живых отношений» взята оппозиция, противопоставление словоформ с целью выявления общего и отличного между ними. Так, например, сопоставляя глагольные словоформы 2 л. ед. числа со словоформами 2 л. множественного, легко выявляется общее и отличное, специфическое данных словоформ:

<i>вóди-ш</i>	<i>пасé-ш</i>	<i>глёда-ш</i>
<i>вóди-те</i>	<i>пасé-те</i>	<i>глёда-те.</i>

Общее горизонтальных рядов *-ш*, *-те* будет показателем грамматических категорий лица и числа настоящего времени. Общее вертикальных рядов будет основой настоящего времени, к которой и присоединяются личные окончания.

Далее, можно заметить, что у одних глаголов глагольная основа оканчивается на согласный, а личные окончания, начинающиеся с согласной, присоединяются к глагольной основе посредством тематической гласной: *плет-é-ш* ~ *плет-* ['á] *-х* ~ *плét-о-х*. Такие глаголы называются тематическими. Если же глагольная основа оканчивается на [-j-] (*игрáя*, *знáя*, *цúя*), то некоторые словоформы образуются от усеченной основы (без *-j-*): *зна-х*, *игрá-х*, *чу-х* и т. п. Такие глаголы называются полутематическими.

В других случаях глагольная основа оканчивается на гласный и все флексии присоединяются непосредственно к глагольной основе и нет необходимости в тематической гласной: *глёда-м* ~ *глёда-ш* ~ *глёда-х* ~ *глёда-ше* и т. п. Это атематические глаголы.

Дальнейшее разбиение глаголов по спряжениям осуществляется на основании звукового качества тематической гласной основы настоящего времени: *-е* либо *-и* (*плет-é-ш*, *ков-é-ш*) и (*вóд-и-ш*). Звуковой вид тематической гласной аориста (*-а-*, *-и-*, *-о/е-*) определяет дальнейшее распределение глаголов на группы.

При такой классификации механизм глагольного формообразования чрезвычайно прозрачен: соответствующая основа (презентная, аористная, имперфектная) плюс соответствующие личные окончания дают любую глагольную словоформу. Последовательное проведение этих принципов формообразовательного анализа требует включения особой основы имперфекта, образуемой при помощи тематической гласной [-'а/е-]. Она служит для образования личных форм имперфекта (*плет'áх* ~ *плетéше...*) и имперфективного причастия (*плетéл*, *хóдел...*). Излагаемые принципы позволяют разглядеть живые процессы унификации глагольных основ и флексий.

Еще «на терене», в селе Суворове можно было убедиться, что такой подход позволяет разглядеть внутреннюю гармонию и динамику системы. Расписывая конкретные глаголы по разрядам и группам, мы заметили, что некоторые глаголы стремятся перейти из одной группы в другую, более продуктивную. Об этом свидетельствовали варианты отдельных словоформ, встречавшиеся в речи различных возрастных групп.

Отчет о глагольной системе был сдан Самуилу Борисовичу осенью 1951 г. уже в Москве. «Вкусно получилось», — сказал профессор. Этим отчетом заинтересовался Ю. С. Маслов. «Это что? Стихи?» — спросил он. Образцы парадигм были записаны, как стихотворные строфы. «Да, Юрий Сергеевич, это — поэзия, хотя и не совсем стихи», — ответил я.

Из Суворова я пошел в Ташбунар собирать материал для дипломной работы. Из всех жителей села я прежде всего нашел пять семейств, «дядовцы», которые оставались в селе, когда все другие переселились в Приазовье. Языковым критерием исконного ташбунарца была фонетическая характеристика речи, знакомая мне по Инзовке. Подсобным свидетельством «чистокровного» ташбунарца служили данные церковного архива: записи о крещении, венчании и т. п. В одном случае отклонение от традиционных произносительных норм у шестидесятилетней бабули объяснялись тем, что в раннем детстве нянькой ее была женщина из соседнего села...

Особенно богатый материал удалось собрать по глаголу. В зимние каникулы я ездил в Преслав. Дипломная работа о ташбунарском говоре приняла характер «ближней реконструкции» на основе сопоставления современного состояния говора трех сел. Самуил Борисович предложил опубликовать «Историю ташбунарского говора» целиком в «Статьях и материалах по болгарской диалектологии». Однако по не зависящим от нас причинам удалось опубликовать лишь одну главу, о глаголе (1953, вып. 4).

Весной 1952 г. состоялась конференция по проблемам болгарской грамматики. Центральным был доклад Ю. С. Маслова именно о морфологическом членении глагольных форм и морфологической классификации глаголов. По докладу Ю. С. Маслова выступил и я с изложением опыта решения этих проблем на материале суворовского и ташбунарского говоров. Тезисы этого выступления с четкими формулировками принципов морфологического анализа были опубликованы в «Кратких сообщениях Института славяноведения АН СССР» (1953, вып. 10). В том же году вышел из печати «Отчет о диалектологической экспедиции в село Суворово». К сожалению, раздел о глаголе был опубликован не полностью. Опущены теоретические принципы, остались лишь списки глаголов, разбитых на разряды и группы, соответственно предложенным принципам классификации.

1952 г. Защищена дипломная работа, окончил университет. С радостью принял приглашение на работу в Институт славяноведения. Запланировали индивидуальную монографию: «Структурная болгарская диалектология». Университет не отпустил в Академию, оставили в аспирантуре. Грустил. Самуил Борисович предложил не покидать болгарскую диалектологию и темой диссертации взять описание одного говора. Я усомнился: чем

же диссертация будет отличаться от дипломной? Профессор успокоил: «У Вас методика описания хорошо разработана, возьмите другой говор. Вы быстро напишете и успешно защитите диссертацию...». Я же понимал, что трудно и скучновато будет раскладывать материал по готовым, пусть даже своим полочкам... Надо будет искать какие-то иные подходы...

Пришла пора сдавать первую главу. Фонетика. Как описывать? Кажется, что все возможные пути и способы описания апробированы в курсовой и дипломной. Стал размышлять: почему все начинают описание фонетики с системы вокализма? А между тем, именно согласные несут основную информационную нагрузку в славянских языках. Начну-ка я описание с консонантизма. Так и сделал. Получилось любопытно и красиво: исчезла категория твердости-мягкости, но появилась лишняя фонема в вокализме при том же методе описания, которым я сам пользовался ранее!

С трепетом ждал отзыва профессора, рассчитывал на положительную оценку работы. В нее вложен не только добротный материал, но и результаты теоретического осмысления современного состояния фонетики и фонологии. «Я очень внимательно прочитал Вашу работу», — сказал профессор и несколько задумался, вглядываясь в мои глаза. «Написано профессионально, но... еще одна новая фонологическая концепция... Знаете, какую бурю поднял своей концепцией Шаумян... А что если нам апробировать концепцию Аванесова на болгарском материале?» Р. И. Аванесов только что опубликовал описание русского вокализма в качестве иллюстрации своей новой концепции...

Грустил. Но в конце концов описана фонетика. Принципы Аванесова оказались вполне приложимы и к болгарскому языку. Но вот что странно: исчезла лишняя гласная фонема прежнего описания, но восстановилась категория твердости-мягкости согласных. Один и тот же материал дал разные результаты при различных способах его описания... Встало множество проблем общетеоретического, философского и лингвистического характера. Несколько лет упорных поисков привели к идее о групповом сингармонизме — докладу на Софийском съезде славистов (1963) и докторской диссертации (1965).

Тем временем продолжалась работа над диссертацией. Каюсь, я не оправдал надежды своего профессора о быстрой защите. Мне все казалось, что, по сравнению с дипломной работой, я ничего не могу добавить в плане теоретическом. Продолжая искать новые и совершенствовать свои прежние методы и приемы «описания говора изнутри», вскрытия «живых отношений» его элементов, я пошел, пожалуй, самым трудным путем. Я решил последовательно провести своеобразную ревизию всех отмеченных в говор-

слов и языковых категорий. Каждое слово исследовалось относительно его употребления и значения, выяснялись все его формы и возможные варианты. И лишь при выявлении одинаковых форм и категорий на основании коррелятивно-опозиционного анализа делались выводы о наличии тех или иных категорий, их формальном выражении и лексическом наполнении.

Материал собирался за время трехкратного пребывания в селе общей продолжительностью более года. Словарь, как источник структурного описания говора, был полностью составлен на месте. Там же были составлены грамматические и фонологические таблицы. Это давало возможность еще и еще раз проверить каждый вывод. Словарь содержит более 5,5 тыс. словарных статей. Слово и его значения иллюстрированы фразами и словосочетаниями, даны грамматические пометы, основные грамматические формы изменяемых частей речи, отмечен вид глагола, подобрана видовая пара; приводятся грамматические и фонетические варианты слов. Отмечены слова, общие для говора и сыртских сел шуменского диалекта Болгарии.

При описании глагольного формообразования подтвердились надежность и продуктивность принципов, разработанных еще в селе Суворово (1951). В ташбунарском говоре проявилась наиболее последовательно тенденция унификации глагольной основы и формирования атематического спряжения. Из 1,5 тыс. зафиксированных глаголов 800 являются атематическими.

В атематический тип перешли все «полутематические» глаголы с прежней глагольной основой на [-j-]: *знам* - *знаш* - *знах...*, *игра́м*, *ката́м(са)*, *купа́м(са)*, *нужда́м(са)*, *умута́м*, *закупа́м*, а также *жува́́м*, *пубел'а́м*, *бул'а́м*, *в'а́м*, *гр'ам*, *л'ам*, *см'ам(са)* (около 80 глаголов). Процесс перехода уже закончен, подобных глаголов в тематическом спряжении уже нет. Сохраняются лишь некоторые следы былой принадлежности к иному спряжению. Нарушается единство основы в формах 3 л. мн. числа настоящего времени: *знам* - *знаш* - *знау*, но... *зньт*; *жува́́м* - *жува́́ш* - *жува́́у* - *жува́́а*, но... *жуви́т*. Изредка у старшего поколения можно услышать формы, напоминающие прежнюю принадлежность к полутематическому спряжению; *жува́́́м*, *жуве́́́ш*, *зна́́́т*. Такой переход в атематическое спряжение задерживается у глаголов с гласными -и- и -у- в основе. Однако и здесь чаще встречаются формы типа *миш*, *ишиш*, *душ*, *и́ми*, чем более архаические *ми́ши*, *и́иши*, *ду́ши* - *ду́ими*, *би́ши* - *би́и* - *би́ит*...

Другим источником атематических глаголов является второе спряжение с безударной тематической гласной -и-. В говоре не произошла общеполгарская «мена юсов», субституция юсов в 1 л. ед. и 3 л. мн. числа. В свя-

зи с этим отмечается: *върде* ~ *върдет* ~ *върдиш*; *ас спѣ* ~ *тиј спѣт* и *тој спѣ*; *гал'чѣ* ~ *гал'чѣш* ~ *гал'чѣт*.

Почти каждый глагол этого разряда переходит в атематическое спряжение: *върде-м* ~ *върде-ш*, *върде-т*. Отмечено множество вариативных словоформ *върдем* и *върде*, *кашле* и *кашлем*, *мъче* и *мъчем*, *грузе* и *грузем*, *квасе* и *квасем*, *праве* и *правем*, *праше* и *прашем*, *носе* и *носем* (1 л. ед. числа). Далее, соответственно и во 2 л. ед. числа наст. времени наблюдаются варианты: *върдиш* ~ *върдеш*, *мъчиш* ~ *мъчеш*. Этот процесс захватил и формы 2/3 л. ед. числа аориста: *кашли* и *кашлѣ*, *рѡви* и *рѡве* и т. п. Особенно показательны варианты форм повелительного наклонения: *руѡи* и *рѡвеј*, *праши* и *прашеј*, *нусѣ* и *носеј*. В некоторых случаях противопоставление *руѡи* ~ *рѡвеј* воспринимается как видовое: *руѡи* (сов. вид) ~ *рѡвеј* (нсв.).

Тенденция унификации глагольной основы привела к созданию «смешанной» парадигмы имперфекта, отличающейся от аористой лишь в формах 2 и 3 л. ед. числа: *мръзна* ~ *мръзнаши*. Нейтрализация (неразличение) форм аориста и имперфекта, а также аориста и наст. времени в формах 3 л. ед. числа во многих случаях компенсируется видовым противопоставлением: *мутá* ~ *умутá* (наст. нсв. ~ аорист сов. вид.). Формы аориста образуются как от глаголов совершенного, так и несовершенного вида. Имперфект характерен лишь для глаголов несовершенного вида. Слабо выражено противопоставление перфективных и имперфективных причастий прош. вр. действительного залога на -л. Предпочитаются образования от аористой основы: *рѡвил*, *брáла*, *разалу*. Отмечена тенденция унификации формантов причастий страд. залога прошедшего времени, беспорядочное употребление форманта -н/т-, множество вариативных словоформ: *уловен* и *уловет*, *пугасѣна* и *пугасѣт* и т. п. Пересказывательное наклонение в говоре не прослеживается.

Такой подход позволил вскрыть и некоторую специфику глагольного видообразования и функционирования категории вида. Тщательно описаны именные категории. Отмечено ослабление формального выражения категорий рода, числа и определенности и тенденция использования нескольких более четких формантов категории определенности для выражения категорий рода и числа. Расширение употребления форм определенности снижает четкость семантического противопоставления категории определенности – неопределенности. Например, *крѹше* (ед. = мн.), но *крушета* и *крушете*; *пáче ејчѣ*, *чáрга*, *кракá* (ср.р. = ж.р. = мн.ч.), но *пáчету* ~ *пáчета* ~ *пáчете*... В некоторых случаях вообще нечленная форма не употребляется, полностью отсутствует.

И наконец-то пришла награда за упорный труд, свидетелями которого, пожалуй, были лишь жители села... Наградой была не ученая степень. Защиту я очень, очень затянул, огорчая профессора. Наградой была и не публикация результатов труда. И в этом я не был достаточно настойчивым. *Многое так и осталось неопубликованным...* И все же я получил высочайшую награду... Пришел я однажды с очередным разделом диссертации к Самуилу Борисовичу. Он любил приглашать нас к себе на квартиру. И вижу: на полу огромного по тем временам кабинета разложена карта Болгарии. Самуил Борисович стоит на коленях и что-то чертит на карте. Приглядевшись — крупными буквами записаны фамилии моих однокашников и друзей по приазовским и бессарабским скитаниям: Котова, Толстой, Чешко, Бунина, Венедиктов, Попова, Клепикова, Сенкевич, Зеленина, Шведова... Где-то в районе г. Шумена стояла и моя фамилия! Вскоре состоялась и первая поездка в Болгарию Самуила Борисовича с группой выпестованных им диалектологов, началась работа над Болгарским диалектным атласом!

1958 г. Первый послевоенный Съезд славистов. К съезду был издан «Атлас болгарских говоров в СССР». Прекрасный доклад Самуила Борисовича «Лингвистическая география и структура языка»... (совместно с Р. И. Аванесовым). Каждое положение доклада, каждое слово мы многократно слышали из уст нашего профессора во время бесед и консультаций. Разработаны и многократно апробированы принципы лингвистической географии, подготовлен мощный отряд диалектологов, способных ставить и решать научные задачи, вскрывать структуру языка. Ученики проф. Бернштейна приняли активное участие в подготовке и проведении Московского съезда славистов, вполне квалифицированно выступали на дискуссиях по самым различным проблемам славистики. Таким образом, основанием болгарской диалектологии явилась забота о воспитании диалектологов. А сама же диалектология стала лабораторией отработки научных идей и кузницей славистических кадров.

V. Zhuravlev

In Search of the Grounds of Bulgarian Dialectology

The author speaks about his first steps in science as well as the investigation of the research methods in dialectology and the ways of indication of "natural relations" between the elements of language structure.

Л. Н. Смирнов (Москва)

К истории изучения словацких диалектов в дореволюционной России

В конце XVIII в. — середине XIX в., когда шел процесс становления славянского языкознания как важной отрасли отечественного славяноведения, русская научная и культурная общественность все большее внимание уделяла языковым проблемам зарубежных славянских народов. В частности, постепенно складывалась традиция исследования словацкого языка [1]. В данной статье освещается одно из направлений в развитии отечественной словакистики — изучение словацких диалектов.

Одним из первых русских ученых, который собирал и публиковал сведения о словацком языке, был П. И. Кеппен (1793—1864), известный статистик, этнограф и библиограф, соратник и друг А. Х. Востокова, проявлявший большой интерес к жизни и культуре славянских народов. В 1821—1824 гг. он совершил путешествие по ряду европейских стран, во время которого познакомился со многими славянскими учеными, писателями и общественными деятелями. Среди них было немало чехов и словаков. Вернувшись на родину, он стал издавать журнал «Библиографические листы» (1825—1826), сыгравший, несмотря на кратковременность своего существования, заметную роль в развитии российского славяноведения, в истории русско-славянских научных и культурных связей. На страницах этого издания читатель мог найти, в частности, хотя и достаточно скудные, но существенные сведения о языке словаков. Они были особенно ценными потому, что автор опирался не только на известную ему научную литературу, но и на высказанные ему лично мнения словацких и чешских ученых (П. Й. Шафарик, Я. Коллар, Ю. Палкович, Ф. Палацкий и др.), а также на свои непосредственные наблюдения и впечатления.

Прежде всего следует отметить, что Кеппен фактически признавал самостоятельность словацкого языка. Сообщая сведения о чешской («богемской») и словацкой литературе («Библиографические листы 1825 го-

да». СПб., 1826 — далее: БЛ), он писал: «Мы говорим здесь вместе о литературе двух языков: богемского и словацкого, которые по всем правам могут стоять один подле другого» [БЛ, стлб. 252]. Такая позиция была новой для русской печати: ведь еще в 1821 г. в журнале «Вестник Европы» была помещена статья «О богемской литературе», в которой словацкая литература рассматривалась как часть чешской.

Рассказывая на страницах своего журнала о культурной жизни словаков, Кеппен значительное внимание уделял языковым вопросам. Например, сообщая о языковой реформе А. Бернолака, он указывает, что Бернолак одним из первых стал писать «чистым словацким наречием» [БЛ, стлб. 361]. Затронул Кеппен и вопрос о диалектной дифференциации словацкого языка: «Известно, что и самое словацкое наречие не везде одинаково, ...и по оттенкам своим может быть опять разделено на поднаречия (частные наречия)» [БЛ, стлб. 361]. Говоря о «поднаречиях» словацкого языка, он основывался на классификации словацких говоров Шафарика и Коллара, представленной в изданном ими сборнике народных словацких песен (*Pisně swětské Lidu solwenského w Uhřjch. Swazek prwnj. Pesst*, 1823). Они выделяли следующие наречия словаков в Венгрии: 1) словако-чешское (имелся в виду чешский литературный язык, употребляемый словацкими протестантами); 2) собственно словацкое; 3) польско-словацкое; 4) русско-словацкое (русинско-словацкое); 5) сербско-словацкое; 6) немецко-словацкое; 7) венгерско-словацкое. К проблеме диалектного членения словацкого языка, как будет показано ниже, обращались и другие русские слависты.

После открытия в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Харькове университетских кафедр «истории и литературы славянских наречий» (1835) в русском обществе заметно возрос интерес к языкам зарубежных славян, в том числе и к словацкому.

Из плеяды первых русских славистов — университетских профессоров — наибольшее внимание словацкому языку уделял И. И. Срезневский (1812—1880). В 1832 г. он опубликовал «Словацкие песни», записанные им у бродячих словацких торговцев. Через десять лет во время путешествия по славянским странам он хорошо изучил словацкий и чешский языки, познакомился со многими видными общественными деятелями, учеными и литераторами, принимавшими активное участие в словацком и чешском национально-возрожденческом движении (П. Й. Шафарик, Я. Коллар, Л. Штур, Ф. Л. Челаковский и др.). В научных трудах Срезневского, а также в лекционных курсах, которые он читал в 40—70-х гг. в Харьковском, Петербургском университетах и в Главном педагогическом институ-

те, содержались сведения о месте словацкого языка в кругу славянских языков, об его характерных признаках, об истории и диалектном членении словацкого языка и др. Следует отметить, что взгляды Срезневского по вопросу о статусе словацкого языка претерпели определенную эволюцию. Если в 40–50-х гг. он признавал самостоятельность словацкого языка, то позднее, в 60–70-е гг., он уже считал его диалектом «чехословенского наречия». В интересующем нас аспекте важно подчеркнуть, что с именем Срезневского связан новый для отечественной славистики подход к изучению словацких диалектов. Дело в том, что при описании словацкого языка и его диалектов он мог опираться не только на предшествующую научную литературу словацких и чешских авторов, но и на богатый полевой материал словацких говоров, собранный им во время путешествий по словацким комитатам. К сожалению, почти весь этот ценный диалектный материал остался неопубликованным. Срезневский издал лишь купальскую песню шаршских словаков [2] и пословицы из Малого Гонта [3]. В рукописном наследии Срезневского, касающемся словацкого языка, выделяются две части. С одной стороны, это его собственные записи и заметки других лиц об отдельных словацких говорах (например, о фонетике и морфологии тренчинского говора, шаршского наречия, об особенностях муранского говора и др.), образцы разных говоров, записи сотацких песен, представляющих один из говоров восточнословацкого диалекта, словацких сказок, преданий и т. п. С другой стороны, это материалы для словаря наречий горных словаков, материалы являлись результатом обработки и систематизации собранной им диалектной лексики [4]. Названный словарь также не был издан, лишь часть его была опубликована в статье Н. А. Кондрашова [5].

Рукопись словаря состоит из пяти тетрадей, она написана на 135 больших листах, на каждом из которых словацкий материал расположен в три столбца. Источниками для словаря послужили, кроме собранных самим Срезневским полевых материалов, также диалектные записи из собраний Цт. Зоха, С. Халупки, Ш. Дакснера, Л. Рейса, А. Г. Шкультетого и др. и выписки из сборника словацких песен, изданного Колларом [6]. Всего в словаре зафиксировано около 7 000 словацких слов и свыше 700 выражений [5, с. 115], отражающих по преимуществу лексику среднесловацких говоров. Если учесть, что в середине XIX в. словацкая диалектология как особая лингвистическая дисциплина еще не сложилась, то станет особенно заметной роль Срезневского в изучении словацких диалектов.

Словацкий язык входил также в круг научных интересов филолога-слависта более молодого поколения — М. П. Петровского (1833–1912). В пятом разделе его труда «Материалы для славянской диалектологии» (1866)

был описан словацкий язык (в терминологии автора «словенское наречие» или «словенская речь»). Фактически это был первый целостный, обширный очерк словацкого языка, опубликованный русским ученым [7].

В отличие от Срезневского Петровский признавал самостоятельность словацкого языка. При характеристике его фонетических и морфологических признаков он опирался на лингвистические работы М. Гатталы, М. Годжи, А. Шемберы и др. Его сочинение явилось важным звеном в изучении словацких диалектов. Во-первых, давая описание особенностей словацкого языка вообще, он значительное внимание уделял типичным признакам отдельных говоров («поднаречий»). Во-вторых, по вопросу о диалектном членении словацкого языка он занимал достаточно самостоятельную позицию. В-третьих, в его труде фактически был поставлен вопрос о диалектной основе литературного словацкого языка.

Анализируя диалектную дифференциацию словацкого языка, Петровский высказал ряд критических замечаний по поводу упомянутой выше классификации Коллара—Шафарика. «Коллар и Шафарик, — писал он, — все особенности словенской речи подводили под семь отделов, которые, впрочем, могут быть сведены к четырем» [7, с. 467]. И далее: «Указанное деление словенских поднаречий весьма дробно, с одной стороны, и неравномерно, с другой, так как оно пограничную смесь сербского наречия ставит на равную степень с собственно словенским наречием...» [7, с. 468]. Похвально отозвался Петровский об ином диалектном членении словацкого языка, предложенном в 1847 г. М. Годжой [8], который выделял три диалекта: чешско-словенский, новословенский и польско-словенский [9]. Такое деление, по мнению Петровского, «весьма четко характеризует важнейшие особенности в наречии словаков» [7, с. 468]. Учитывал Петровский и книгу чешского исследователя А. Шемберы, в которой назывались три словацких наречия: западное, среднее и восточное [10], замечая при этом, что Шембера, «можно сказать, повторил мнение Годжи, хотя несколько иначе формулировал его» [7, с. 468].

Петровский высказал ряд соображений о соотношении местных словацких диалектов и литературного словацкого языка. В частности, он указывал на появление у словаков нескольких литературных школ, «избиравших органом литературного движения тот или другой говор словенской речи» [7, с. 468]. Поэтому в своем сочинении, наряду с общесловацкими признаками он отмечает и «особенности каждого говора, возводимого на степень книжного языка» [7, с. 467], то есть фактически характеризует диалектную основу разных вариантов литературного словацкого языка. В связи с этим Петровский констатирует: «В письменности словаков встреча-

ются три разноречия: два западных — Трнавское, Тренчинско-Нитранское и одно центральное» [7, с. 479]. С первым «разноречием» связывались попытки использовать в литературе словацкий язык, предпринятые в конце XVIII в. Й. И. Байзой и А. Бернолаком, со вторым — литературный словацкий язык, введенный в жизнь в сороковых годах XIX в. Л. Штуром и Й. М. Гурбаном, которые «решились Тренчинско-Нитранское наречие возвести на степень книжного языка словаков» [7, с. 479]. Заметим, что характеристика диалектной базы указанных «литературных школ» была не совсем точной, но она в основном соответствовала распространенным в то время взглядам чешских и словацких ученых. Вместе с тем Петровский правильно отметил, что в 1851 г. был положен конец литературно-письменному расколу у словаков, и основу единых норм словацкого литературного языка, закрепленных в анонимно изданной грамматике М. Гатталы [11], составили «многие особенности центрального говора в области словенского наречия» [7, с. 479].

Следующая страница истории отечественной словакистики связана с именем малоизвестного слависта А. А. Соколова [12], который в 1879 г. опубликовал относительно краткую, но содержательную статью о языке и литературе словаков [13]. Как и его предшественники, он затронул в ней и вопрос о диалектном членении словацкого языка, ограничившись, однако, лишь упоминанием классификаций Коллара—Шэфарика и Годжа (правда, к трем выделенным им наречиям Соколов предложил добавить «русско-словацкое») [13, с. 6].

Наиболее полно и подробно рассматриваемую проблематику осветил известный славист Т. Д. Флоринский (1854—1919). Он уделял большое внимание вопросу о месте словацкого языка в кругу славянских языков. Говоря о том, что в науке утвердился взгляд на словацкий язык как на наречие чешского языка, Флоринский замечает: «...едва ли такой взгляд можно считать достаточно обоснованным» и продолжает: «Сравнительное изучение всех славянских языков привело меня к иному заключению: словацкий язык, несомненно, ближе к чешскому, чем к какому-либо другому, но не составляет с ним единого целого, а занимает свое особое, самостоятельное место в славянской семье языков» [14]. Следует подчеркнуть, что подобное понимание данного вопроса с тех пор получило полное признание в отечественной словакистике.

В книге Флоринского «Лекции по славянскому языкознанию» (2-я часть) имеется специальный раздел «Наречия и говоры словацкого языка» [14, с. 326—344]. Автор подчеркивает важность исследования словацких диалектов. Он пишет: «Словацкий язык распадается на множество наречий

и говоров, изучение которых представляет высокую ценность для сравнительной славянской грамматики, особенно ввиду занимаемого словацким языком срединного географического положения на славянской территории» [14, с. 224]. Флоринский отмечает слабую разработанность словацкой диалектологии и приходит к выводу: «...научная классификация словацких говоров в настоящее время невозможна» [14, с. 328]. Тем не менее, опираясь на труды словацких и чешских лингвистов, в том числе и на специальные диалектологические исследования, см.: [10; 15], он дает детальное описание местных словацких говоров по трем наречиям: среднему, западному и восточному.

При этом Флоринский определяет территорию каждого из трех наречий (например, он так характеризует зону среднесловацкого диалекта: «Среднее наречие распространено по верхнему Поважью, верхнему и среднему Погронью (до р. Сланы), а также по рекам Римаве и Ельшаве, т. е. в комитатах — нижне-оравском, турчанском, липтовском, зволенском, тековском, гонтском, новоградском и части гемерского» [14, с. 328]), подробно описывает главные фонетические и отчасти морфологические особенности этих наречий (например, в среднесловацком он называет 12 признаков, в восточнословацком — 22 признака), в каждом наречии выделяет входящие в его состав «поднаречия» и тоже отмечает их отличительные черты. Таким образом, по книге Флоринского, хотя она являлась учебным пособием, а не научным исследованием в собственном смысле слова, можно было получить наиболее полное представление о диалектном членении словацкого языка, о характерных признаках каждого из трех его основных диалектов и многочисленных говоров, объединенных в этих диалектах.

Примечания

- [1] См.: Л. Н. Смирнов. Из истории словакистики в России // Л. А. Булаховский и современное языкознание. Киев, 1987, с. 178—185.
- [2] И. И. Срезневский. Купальская песня шарийских словаков // Известия Императорской Академии наук по Отделению русского языка и словесности. Памятники и образцы народного языка и словесности русских и западных славян. СПб., 1853, т. II, с. 285—288.
- [3] И. И. Срезневский. Пословицы малогонтских словаков // Там же, с. 159—160.
- [4] Более подробно об этом собрании диалектных материалов И. И. Срезневского см.: Н. А. Кондрашов. Материалы для словаря горных словаков, собранные И. И. Срезневским // Jazykovedný časopis. Bratislava, 1958, čís. 1—2, s. 103—116. Он же. Словацкие материалы в архиве И. И. Срезневского // НДВШ. Филоло-

гические науки, 1959, № 4, с. 160—168; I. K o t u l i č. Slovenský nárečový materiál v pozostalosti I. I. Srezněvského // Jazykovedný zborník venovaný prof. St. Tóbiakovi k šesťdesiatym narodeninám. Bratislava, 1969, s. 41—53; Н. И. Толстой. И. И. Срезневский — диалектолог // Уч. зап. Тартуского гос. университета, вып. 573. Из истории славяноведения в России. Тарту, 1981, с. 27—45.

- [5] См.: Н. А. Ко н д р а ш о в. Материалы для словаря...
- [6] J. K o l l á r. Národné Zpiewanky čili Pjsně Swětské Slowáků w Uhrách, I—II. Budjn, 1834—1835.
- [7] М. П. П е т р о в с к и й. Материалы для славянской диалектологии // Известия и ученые записки Казанского университета. Казань. 1866, вып. IV, с. 466—480.
- [8] М. М. Н о д ž а. Epigenes Slovenicus. Leutschoviae, 1847.
- [9] В известной мере это было повторением классификации П. Й. Шафарика, который в 1826 г. выделил три главных варианта словацкого языка: собственно-словацкий, моравско-словацкий и польско-словацкий, см.: P. J. Š a f á r i k. Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí. Bratislava, 1963, s. 364.
- [10] A. Š e m b e r g a. Základové dialektologie československé. Ve Vídni, 1864.
- [11] Krátka mluvnica slovenská. V Prešporuku, 1852.
- [12] См.: Л. Н. С м и р н о в. Соколов А. А. // Славяноведение в дореволюционной России. М., 1979, с. 314.
- [13] А. А. С о к о л о в. О современном состоянии языка и литературы словаков // Филологические записки. Журнал, посвященный исследованиям и разработке разных вопросов по языку, литературе и вообще по сравнительному языкознанию и славянским языкам. Год восемнадцатый. Воронеж, 1879, вып. I, с. 27—38. См. также отдельную публикацию: А. А. С о к о л о в. О современном состоянии языка и литературы у словаков. Воронеж, 1879, с. 1—12, на которую мы ссылаемся в данной статье.
- [14] Т. Д. Ф л о р и н с к и й. Лекции по славянскому языкознанию. Часть вторая. Киев, 1897.
- [15] F. B a r t o š. Dialektologie maravská. První díl. V Brně, 1888; F. P a s t r n e k. Beitrage zur Lautlehre der Slovakisch Sprache in Ungarn. Wien, 1888 и др.

L. Smirnov

To the History of Study of Slovak Dialects in Pre-Revolutionary Russia

The article deals with the development of scientific Slovak studies in Russia in the 19th century and the researches of Russian scientists into Slovak dialects. In the beginning their works contained only scant information about the dialectal distinctions of the Slovak language, but gradually the investigation of this problem became wider and deeper. Due to it a whole number of interesting articles devoted to the Slovak language were written and published. They gave a rather complete description of the local Slovak dialects belonging to three basic dialectal groups: the Western-Slovak, the Middle-Slovak and the Eastern-Slovak.

Е. В. Чешко (Москва)

К истории создания «Атласа болгарских говоров СССР» (М., 1958)

Работа над Атласом началась в Институте славяноведения АН СССР с 1947 г. С. Б. Бернштейн, возглавивший сектор славянской филологии, посетил летом того же года болгарские села Бессарабии и составил программу сбора материала по атласу, которая в течение зимы и весны следующего года была проверена и дополнена во время командировок сотрудников сектора в болгарские села с различными говорами. Летом 1948 г. состоялась первая диалектологическая экспедиция, в результате которой было обследовано 40 болгарских говоров в 26 селах Молдавской ССР и Измаильской области УССР. В 1949 г., во время второй экспедиции в болгарские села Измаильской области, сбор материала по атласу в Бессарабии был в основном закончен. В 1950 г. третьей экспедицией было проведено обследование по программе атласа всех болгарских сел Приазовья. Кроме сотрудников и аспирантов Института, в экспедициях принимали участие филологи-болгаристы (студенты и аспиранты) Московского и Ленинградского университетов, прошедшие предварительную подготовку в семинарах по лингвогеографии и болгарской диалектологии.

Программа и принципы составления лингвистического атласа, предложенные проф. С. Б. Бернштейном, принципиально отличались от принятых тогда в европейской лингвогеографии. Формирование новых принципов советской лингвогеографии рождалось «в острой полемике с идеями зарубежной лингвистической географии (Жильерона, Доза, Мийарда, Яберга и др.), — писал Р. И. Аванесов, — главным пороком которых является антиисторизм, а также с группой советских диалектологов, стоящих на позициях Марра, которые, как и Жильерон, игнорировали понятие диалекта, системы языка, закономерности развития языков» [1].

Пolemика касалась вопросов содержания и характера программы, способов сбора материала и тематики наблюдаемой речи, выбора и ко-

личества информаторов и населенных пунктов, в которых собирается материал [2, с. 246—249].

В европейской лингвогеографии в программу включались только отдельные слова, наличие фонетических и морфологических изоглосс не признавалось. Такой тип картографирования не давал ответов на многие важные вопросы, ограничивал значение атласа. В нашей программе также имеются вопросы по произношению отдельных слов и форм, на значение отдельных слов. Однако наряду с этим имеются карты на фонетические и морфологические явления, при этом фонетические вопросы, как правило, содержат перечень обязательных слов. Фонетические, морфологические и лексические вопросы содержат также примерный перечень возможных вариантов. Лексические вопросы занимают значительное место в программе (73 из общего числа 179). На лексических картах не картографируются фонетические варианты. Особыми знаками отмечаются на лексических картах словообразовательные варианты (например, название индюка: *фит, фиток, фитор*). Имеется в программе и 6 семантических вопросов. По всем этим разделам в программу вносятся вопросы только на такие явления, которые картографируются на исследуемой территории, т. е. могут дать материал для построения карт.

Ценность атласа зависит в значительной степени от количества исследуемых пунктов: чем чаще будет сетка обследованных населенных пунктов, тем точнее будет обозначено направление изоглосс и очерчены границы диалектов и говоров.

Широко применяемый французскими, итальянскими, румынскими диалектологами метод прямого опроса, а также письменных ответов сельских учителей и других корреспондентов, является порочным. К прямому опросу можно прибегать лишь в крайних случаях, когда не удастся получить ответ в непосредственной беседе на разные темы. «Объектом наблюдения при составлении атласа может быть только разговорная речь. Ни язык сказок, ни, тем более, язык песен не может дать надежного материала для диалектологов» [2, с. 249].

Большое значение имеет вопрос о выборе и о количестве информаторов. Принятое западными лингвогеографами привлечение только одного информатора «не только упрощает, но и искажает представление об исследуемом говоре» [2, с. 247]. Необходимо привлечение нескольких информаторов, чтобы учесть различие языка разных возрастных групп, социальную дифференциацию, влияние соседних говоров и литературного языка.

«Атлас должен строиться на основе личных наблюдений квалифицированных лингвистов-диалектологов» [2, с. 247]. Письменные ответы

местных жителей могут использоваться только как дополнительный материал.

Изложенные выше идеи и были положены в основу составленной С. Б. Бернштейном программы и инструкции по сбору материала для лингвистического атласа болгарских говоров СССР, а позднее были приняты Ст. Стойковым при создании болгарского диалектного атласа.

Отмечая, что создание диалектного атласа является одной из первоочередных задач болгаристики [3], С. Б. Бернштейн считал, что предложенная методика должна обеспечить выполнение тех задач, которые стоят перед лингвистическим атласом. «Только такой атлас даст полное представление о современных говорах, покажет распространение важнейших черт языка на всей территории, даст надежный материал для изучения многих вопросов из истории языка, вскроет как древние, так и новые колонизационные передвижения населения. Лингвистический атлас даст также надежную почву для изучения тенденций в развитии современных говоров, а также в развитии литературного языка» [2, с. 246].

Составление «Атласа болгарских говоров СССР», естественно, требовало учета специфики этих говоров. Атлас охватывал лишь территорию первоначальных массовых переселений болгар. Это была Бессарабия, присоединенная к России после русско-турецкой войны 1806–1812 гг., когда и произошла первая массовая иммиграция болгар в Россию из северо-восточных и юго-восточных районов Болгарии. Они заселили преимущественно западную часть Южного Буджака. «Новая иммиграционная волна была вызвана русско-турецкой войной 1828–1829 гг. Еще во время войны, а затем после заключения Адрианопольского мирного договора в Россию устремилось большое число переселенцев» [4]. Это были главным образом носители южнобалканских говоров (сливенских и ямбольских). Они расселились преимущественно на северо-восточных землях Южного Буджака. Выходцы из одного села стремились селиться вместе. Таким образом создавались регионы однотипных или близких говоров. Это давало возможность строить карты, определяющие группировку говоров. Кроме сел с одним говором, были села с несколькими говорами, а также со смешанными говорами. Значительное число последних возникло после русско-турецкой войны 1853–1856 гг., когда по Парижскому договору Южный Буджак был присоединен к Молдавскому княжеству. Значительная часть болгарского населения тогда переселилась в пограничные русские земли в Бессарабии, но большая часть – в Таврическую губернию. В связи с этим произошли большие передвижки населения на всей территории Бессарабии и во многих селах образовались смешанные говоры. Это определило проблему изуче-

ния и картографирования смешанных говоров как одну из существенных проблем работы над атласом.

Параллельно с работой над атласом Институт стал издавать сборник «Статьи и материалы по болгарской диалектологии», где публиковались исследования по истории смешанных говоров (необходимые, в частности, и для правильного построения карт), отчеты об экспедициях с подведением их научных итогов, словари и монографические описания отдельных говоров, материалы по сопоставлению бессарабских болгарских говоров с говорами переселенцев в Приазовье, а также с говорами метрополии. Первый выпуск «Статей и материалов по болгарской диалектологии» был опубликован во втором томе «Ученых записок» в 1950 г., остальные 9 публиковались отдельными изданиями в течение 1951–1962 гг. Последние три выпуска под заглавием «Статьи и материалы по болгарской диалектологии» [5] готовились совместно с болгарскими учеными, что было связано с началом совместной работы с Институтом болгарского языка Болгарской АН над болгарским диалектологическим атласом, в создании первого тома которого участвовали диалектологи нашего института.

Программа «Атласа болгарских говоров СССР» ориентирована на исследование восточноболгарских говоров, так как болгарское население Бессарабии в подавляющей своей массе составляли переселенцы из различных областей Восточной Болгарии. Только в двух селах были обнаружены западные говоры: это один из четырех говоров села Шоп-Тараклия и говор села Новое Вале Перже.

Чтобы избежать перегрузки программы, в нее, как правило, не включались вопросы относительно тех явлений языка, которые на материале восточноболгарских говоров не должны были картографироваться. Наоборот, все характерные различия восточноболгарских говоров — фонетические, морфологические и лексические — должны были найти отражение в нашей программе, с тем чтобы на основании собранного по программе атласа материала можно было установить типы имеющихся на территории СССР восточноболгарских говоров, их основные группировки, первоначальные различия между этими говорами и, по возможности, их связь с говорами метрополии.

Другой особенностью переселенческих болгарских говоров являлось то, что в пределах одного села могли соседствовать говоры разного типа. При этом они могли либо сохранять свои основные диалектные особенности, либо образовывать смешанный говор, обычно на основе одного из них, с включением каких-то черт других говоров. Материал программы, отражающий характерные различия восточноболгарских говоров, давал возмож-

ность определить, какие смешанные говоры образовались на территории Бессарабии, а также проследить судьбу отдельных языковых явлений при смешении разнотипных говоров, устойчивость и неустойчивость отдельных явлений, их взаимозависимость и взаимовлияние, взаимосвязь отдельных языковых явлений в системе одного говора. Таков примерный круг вопросов, для решения которых должно было дать достаточный материал обследование болгарских говоров по программе «Атласа».

Специфика переселенческих говоров и задачи, связанные с их картографированием, изучением процессов смешения говоров, определяют особенности построения программы и условий сбора материала. Так, в фонетической части программы, отражающей все важнейшие фонетические различия восточноболгарских говоров, учитываются не только различные фонетические позиции, где проявляются эти различия, но также возможные отклонения в определенных словах и отдельных морфологических категориях. Например, в вопросах, посвященных произношению звука на месте старого *ѣ*, отмечаются позиции: под ударением перед твердым согласным, под ударением перед мягким согласным, под ударением в конце слова, но учитываются и возможные отклонения в отдельных словах (например, *мл'ачна, н'амам*), а также в отдельных морфологических категориях. Поэтому все фонетические вопросы программы содержат перечень обязательных слов на данное явление. Иногда это может быть только одно слово, например, как говорят: *нош* или *нъш*? (18), *върлам'* или *фърл'ам*? (32). Иногда речь идет о двух фонетических явлениях в одном слове, например, (12) как говорят: *жел'азо, жыл'азо, жул'азо, джел'азо, джул'азо*? Вопросы на явление без приведения обязательных слов встречаются редко. Таковы, например, вопросы из морфологии 64 и 65 на образование членной формы мужского рода ед. числа и употребление полных членных форм. Ответы при этом должны иллюстрироваться примерами.

Материал должен был собираться квалифицированными диалектологами, группой из трех-четырёх человек, из которых один ведет беседу, а другие записывают. Затем записи сверяются, и расхождения заново проверяются. Большое значение имеет выбор информаторов, их должно быть несколько, представляющих как старшее поколение (основные), так и другие возрасты. При наличии вариантов проводится более широкая проверка, чтобы выявить преобладающий вариант, старый и новый, исконный для говора и заимствованный.

Картографирование смешанных говоров определило особое внимание, которое уделяется методике картографирования вариантов, бытующих в говоре, а также их комментированию. Так, карты показывают

старое и новое из конкурирующих явлений, а также степень распространения того и другого. Это достигается членением четырехугольника, обозначающего исследуемый говор: архаическое явление ставилось внизу, новое — сверху, а делился четырехугольник в соответствии с их распространением. Если же определение архаического и нового было по каким-то причинам невозможно, применялось вертикальное членение четырехугольника. Основания того или иного решения комментировались. Часто при этом опирались на показания говора переселенцев из данного села в Приазовье. Специфика переселенческих говоров определила и особый характер комментариев. Комментарий в большинстве случаев носит не только вспомогательный характер, где указывается, на основании какого материала составлена карта (из каких вопросов привлечен материал), в каких пунктах какой материал отсутствует или недостаточно убедителен, какие слова или позиции чаще дают отклонения и в каких пунктах и т. п. Комментарий — это вместе с тем чтение карты, из которого мы узнаем, как группируются говоры в отношении той или иной черты (ведь на карте эти говоры часто не образуют компактных группировок), проводятся параллели с говорами метрополии, определяется связь различных явлений между собой, иногда приводятся данные о том или ином говоре и явлении из других источников, которые подтверждаются или опровергаются нашими картами. Приводятся собственные заключения и гипотезы авторов относительно восстановления первоначального состояния данного явления в говоре, хода процесса изменения и появления новообразований. Часто карты на явления строятся по историческому принципу (произношение звуков на месте старого ъ, на месте ѧ и т. п.).

По замыслу авторов «лингвистическая карта без всякого текста должна дать ясное представление о распространении на определенной территории данной языковой черты. Основная задача комментариев — дать выводы, итоги, к которым пришел диалектолог на основании материала данной карты» [6, с. 29]. Материал карт и комментариев обобщен в главе «Группировка болгарских говоров Советского Союза» [6, с. 32–41] и отражен на первой карте Атласа.

В своей рецензии на «Атлас болгарских говоров СССР» Фр. Славский следующим образом охарактеризовал цели и итоги проделанной авторами работы: «Основной целью работы было, с одной стороны, дать географический обзор распространения наиболее существенных фонетических, морфологических и лексических особенностей болгарских говоров СССР, с другой — что особенно важно для авторов „Атласа“ — провести

реконструкцию первичных черт начального периода их жизни на занимаемой теперь территории. Эта последняя задача находится в тесной связи с основным замыслом „Атласа“ — установить генетические связи с исконными болгарскими диалектами. Необходимость реконструкции первичного состояния болгарских говоров СССР определяется тем, что многие из них, особенно на территории Бессарабии, являются сильно смешанными. Использование материалов Приазовья, а также исследование всех говоров в их совокупности сделало возможным достижение этой цели: мы имеем не только прекрасную характеристику современного состояния болгарских говоров СССР, но также и реконструкцию их состояния в конце XVIII и начале XIX вв.» [7, с. 123]. Характеризуя принципы картографирования, автор замечает, что почти все карты прозрачны и задача комментариев, которые даны к каждой карте, «подвести итоги по карте, сделать выводы, предупредить возможные неясности и трудности» [7, с. 123]. Атлас показал, «что болгарские говоры СССР не представляют собой „бессистемного конгломерата“, который не укладывается в определенную систему, как считал когда-то Державин. Удалось показать несомненную связь отдельных говоров между собой, а также установить в некоторых случаях преемственную связь с исконными говорами Болгарии. Это, без сомнения, одно из больших достижений долгой и кропотливой работы над «Атласом» [7, с. 121–124]. Отмечая, что не со всеми заключениями можно согласиться, Фр. Славский пишет, что «окончательного решения этих вопросов нужно ждать до опубликования атласа исконных болгарских говоров» [7, с. 124]. Действительно, публикация второго тома Болгарского диалектного атласа, посвященного северо-восточным говорам, позволила внести известные коррективы в наше представление о происхождении так называемых чийшийских говоров Бессарабии [8].

Примечания

- [1] Р. И. А в а н е с о в. Сорок лет в славистике // Исследования по славянскому языкознанию. М., 1971, с. 23.
- [2] С. Б. Б е р н ш т е й н. Лингвистический атлас болгарских говоров СССР // Известия АН СССР, ОЛЯ, 1949, т. VIII, вып. 3.
- [3] С. Б. Б е р н ш т е й н. Болгарский лингвистический атлас // Вестник АН СССР, 1948, № 2, с. 120.
- [4] С. Б. Б е р н ш т е й н. Болгарские говоры Южного Буджака // Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. М., 1952, вып. 2, с. 9.

- [5] Статьи и материалы по болгарской диалектологии. М., 1958, вып. 8; М., 1959, вып. 9.; М., 1962, вып. 10. Выпуски № 9 и № 10 — совместные издания Института славяноведения и Института болгарского языка Болгарской АН.
- [6] С. Б. Бернштейн, Е. В. Чешко, Э. И. Зеленина. Атлас болгарских говоров СССР. Вступительные статьи и комментарии к картам. М., 1958.
- [7] Фр. Славский. Атлас болгарских говоров СССР // ВЯ, 1960, № 3.
- [8] Г. П. Клепикова, Т. В. Попова. О значении данных лингвистической географии для решения некоторых вопросов истории болгарского языка // ВЯ, 1968, № 6, с. 102 и сл.

E. Tscheschko

Zur Geschichte des "Kartenatlas der bulgarischen Mundarten in der UdSSR" (M., 1958)

Im Artikel werden das Programm und die Prinzipien behandelt, nach denen «Kartenatlas der Bulgarischen Mundarten in der UdSSR», der unter Leitung S. B. Bernstein zusammengestellt wurde. Der Atlas erschien im Jahre 1958 in Moskau.

Hier werden prinzipielle Unterschiede des von S. B. Bernstein geschaffenen Programms von den Prinzipien der linguistischen Geographie jener Zeit erläutert.

Im Artikel werden kurz historische Bedingungen der Umsiedlung der Bulgaren gezeigt, die die Spezifik der Mundarten der bulgarischen Umsiedler bestimmt haben.

Die massenhafte Umsiedlung der Bulgaren geschah im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts hauptsächlich aus Ostbulgarien nach Bessarabien. Deshalb werden in den Karten nur bulgarische Mundarten Bessarabiens nach dem Programm dargestellt, das Unterschiede zwischen den ost-bulgarischen Mundarten widerspiegelt.

Die Migration der bulgarischen Bevölkerung nach dem russisch-türkischen Krieg 1853—1856, als ein Teil Bessarabiens laut Pariser Friedensvertrag dem Moldauer Fürstentum abgegeben wurde, hatte die Bildung einer großen Zahl gemischter Mundarten zur Folge. Deshalb wurde die Untersuchung der gemischten Mundarten und die Bestimmung der ursprünglichen und neuen Varianten in den Mundarten zum Hauptproblem für die Dialektologen.

Hier werden auch die Methodik des Kartographierens der gemischten Mundarten und der Inhalt des Kommentars zu den Karten dargelegt.

Zum Schluß werden auch die Einschätzung des Werkes «Kartenatlas der bulgarischen Mundarten in der UdSSR» in der wissenschaftlichen Kritik und kritische Bemerkungen zur Frage über den Herkunftsort einiger Mundarten gegeben.

Библиография трудов по диалектологии
проф. С. Б. Бернштейна
(1939—1995) *

- 1939 Болгарские говоры Украины (Ольшанский район) // Наукові записки Одеського педагогічного інституту, т. 1, с. 111—123.
- 1941 К вопросу о диалектной основе польского литературного языка // Изв. ОЛЯ, № 1, с. 99—105.
- 1947 К вопросу об источниках славянской письменности в Валахии // Изв. ОЛЯ, т. 6, вып. 2, с. 125—135.
- 1948 Болгарский лингвистический атлас // ВАН, № 2, с. 119—122.
Разыскания в области болгарской исторической диалектологии. М.; Л., т. 1. Язык валашских грамот XIV—XV веков, 370 с.
Рец.: Румынский лингвистический атлас. Atlasul lingvistic român de Muzeul limbii române din Cluj sub conducerea lui S. Pușcariu. Partea I de Pop. Vol. I. Cluj, 1938; vol. II, 1942; Partea II de E. Petrovici. Vol. I. Cluj, 1940 // БДС ИРЯ, вып. 3, с. 93—100.
- 1949 Из истории конъюнктивных местоимений в болгарских говорах // Вестник МГУ, вып. 4, с. 81—88.
Лингвистический атлас болгарских говоров СССР // Изв. ОЛЯ, т. 8, вып. 3, с. 245—253.
Отчет о диалектологической поездке в болгарские села Молдавской ССР и Измаильской области УССР летом 1947 г. // УЗИС, т. 1, с. 385—391.

* Библиография трудов С. Б. Бернштейна составлена Е. Н. Овчинниковой с использованием материалов, подготовленных И. Е. Можяевой и опубликованных в юбилейных сборниках: «Исследования по славянскому языкознанию» (М., 1971, с. 5—17) и «Studia slavica» (М., 1991, с. 5—15).

Предварительный отчет о диалектологической поездке в болгарские села Молдавской ССР и Измаильской области УССР // УЗИС, т. 1, с. 395—396. [Совм. с И. К. Буниной.]

- 1950 Задачи изучения болгарских говоров СССР // УЗИС, т. 2, с. 219—224.
 О языке города Болграда // УЗИС, т. 2, с. 225—231.
- 1951 О некоторых вопросах лингвистического картографирования // Славянская филология, вып. 1, с. 17—23.
 Опыт классификации болгарских говоров СССР // УЗИС, т. 4, с. 327—343. [Совм. с Е. В. Чешко.]
- 1952 Атлас болгарских говоров СССР // ДСИЯ, т. 2, с. 135—141.
 Болгарские говоры южного Буджака // СМБД, вып. 2, с. 4—20.
 Отчет о диалектологической экспедиции в болгарские села Запорожской области УССР в августе 1950 г. // СМБД, вып. 2, с. 99—106. [Совм. с Е. В. Чешко.]
 Ред.: Статьи и материалы по болгарской диалектологии. М., вып. 2, 107 с.
- 1953 Отчет о диалектологической экспедиции в болгарское село Суворово летом 1951 года // СМБД, вып. 3, с. 110—149. [Совм. с В. К. Журавлевым, М. Г. Сенкевич, Н. И. Толстым, Е. В. Чешко.]
 Ред.: Статьи и материалы по болгарской диалектологии. М., вып. 3, 150 с.; вып. 4, 167 с.
- 1954 Заметки по болгарской диалектологии // Славянская филология, вып. 2, с. 68—75.
 Ред.: Статьи и материалы по болгарской диалектологии. М., вып. 5, 135 с.; вып. 6, 135 с.
- 1955 Задачите на картографирането на българските народни говори (по материалите на «Атлас на българските говори на територията на СССР») // БЕз, год. 5, кн. 4, с. 297—307.
 Ред.: Статьи и материалы по болгарской диалектологии. М., вып. 7, 132 с.
- 1957 Совместный труд болгарских и советских ученых // Славяне. М., № 1, с. 13—14.
 Резултатите от първата експедиция за събиране на материали за български диалектен атлас // БЕз, год. 7, кн. 2, с. 181—186. [Совм. с С. Стойковым.]

- 1958 Атлас болгарских говоров в СССР, ч. 1—2. М., ч. 1: Вступительные статьи, комментарии к картам, 84 с.; ч. 2: Карты, 109 карт. [Совм. с Е. В. Чешко и Э. И. Зелениной.]
Об одном важном источнике «Болгарского лингвистического атласа» // Сборник статей по языкознанию. Профессору Московского университета академику В. В. Виноградову. М., с. 67—72.
Лингвистическая география и структура языка. О принципах общеславянского лингвистического атласа. М., 130 с. [Доклад на IV Международном съезде славистов, совм. с Р. И. Аванесовым.] Резюме доклада см. в кн.: IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. М., 1962, т. 2. Проблемы славянского языкознания, с. 355—358.
Ред.: Статьи и материалы по болгарской диалектологии. М., вып. 8, 120 с.
- 1959 *Ред.:* Статьи и материалы по болгарской диалектологии. М., вып. 9, 159 с. [Совм. со С. Стойковым.]
- 1960 Из истории болгарских поселений в Крыму (по материалам Одесского исторического архива) // Исследования в чест на Марин С. Дринов. София, с. 273—281.
Към историята на българска диалектология // Езиковедско-етнографски изследвания в памет на академик Стоян Романски. София, с. 345—348.
- 1961 Граюриле булгэрешть дин РССМ ши РССУ (режюния Оде-са). Болгарские говоры МССР и УССР (Одесская область) // Лимба ши литература молдовеняскэ. Кишинев, № 2, с. 33—38.
Некоторые проблемы сравнительно-исторического изучения славянских языков // КСИС, вып. 33/34, с. 179—186.
- 1962 Об одной особенности глагольной флексии I л. ед. ч. настоящего времени в юго-восточных говорах Болгарии // Slavica pragensia. Praha, t. 4, s. 241—245.
Ред.: Статьи и материалы по болгарской диалектологии. М., вып. 10. 148 с. [Совм. со С. Стойковым.]
- 1963 Карпатский диалектологический атлас // ВЯ, № 4, с. 72—84. [Ответ на вопр. № 7.] Какви са задачите и принципите за построяване на атлас на балканския езиков съюз // Славянска филология. София, т. 1. Отговори на въпросите за научната анкета по езикознание, с. 321—322.
Классификация юго-восточных говоров Болгарии // Изв. ОЛЯ, т. 22, вып. 4, с. 289—299. [Совм. с Е. В. Чешко.]

- 1964 Български диалектен атлас, ч. 1—2. Югоизточна България / Съставен под ръководството на Ст. Стойков и С. Б. Бернштейн. София: БАН, ч. 1: Карты; ч. 2: Статии. Коментари. Показалци. 204 с. [Совм. с Т. Костовой, И. Кочевым, М. Лиловым, М. Младеновым, С. Стойковым, Х. Топаловой, Х. Холиолчевым, Г. К. Венедиктовым, Э. И. Зелениной, Г. П. Клепиковой, Т. В. Поповой, Е. В. Чешко.]
 Еще раз о происхождении русского цоканья // *Romanoslavica. București*, t. 10, p. 191—192.
 Из «Карпатского диалектологического атласа» // *Lingua vi-get. (Commentationes Slavicae in honorem V. Kiparsky)*. Helsinki, s. 19—24.
 Карпатский диалектологический атлас // Проблемы лингво-и этногеографии и ареальной диалектологии. Тезисы докладов. М., с. 28—31.
- 1965 Изучение диалектов карпатского ареала // XII Республиканска диалектологична нарада. Тези доповідей. Київ, с. 13—14.
 К изучению польско-южнославянских языковых связей // *Studia z filologii polskiej i słowiańskiej*. Warszawa, t. 5, s. 36—47.
 Неславянские языки в общеславянском лингвистическом атласе // ОЛА. М., с. 36—47.
 [Резюме по докладу и выступления по докладам М. Думитреску «Наблюдения над фонетикой русских говоров на территории Румынии», Э. Врабие «Место славянских говоров на территории Румынской Народной Республики в системе славянских языков и их значение для славянской диалектологии» и С. Стойкова «Основното диалектно деление на български език» на V Международном съезде славистов] // *Славянска филология*. София, т. 7, с. 166—167, 215—216, 223.
 Ред.: Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. М., 172 с. [Совм. с Р. И. Аванесовым, В. Г. Орловой, С. К. Пожарицкой.]
- 1967 Карпатский диалектологический атлас. М., ч. 1. 271 с.; ч. 2. Карты, 212 карт. [Совм. с В. М. Иллич-Свитычем, Г. П. Клепиковой, Т. В. Поповой, В. В. Усачевой.]
- 1968 Предисловие // Полесье (Лингвистика. Археология. Топонимика). М., с. 3—4.
 Выступление по докладу Э. Петровича о болгарских элементах в исторорумынском диалекте // *Actes du premier congrès international des études balkaniques et sud-est européennes*. VI. Linguistique. Sofia, s. 646—647.

- Рец.*: С. Стойков. Банатския говор. София, 1967. 489 с. // ССл, № 4, с. 124—128.
- 1969 Успехи на българските езиковеди // Народна култура. София, 16 августа.
Рец.: Атласул лингвистик молдовенеск. I, п. 1 — Фонетика де Р. Удлер, 235 хэрць; п. 2 — Фонетика де Р. Удлер. Морфоложия де В. Мелник ши В. Комарницки. 285 хэрць; Артиколе ын-тродуктиве. Анексе. 176 с. Кишинэу, 1968 // ВЯ, 1969, № 5, с. 120—126. [Совм. с Г. П. Клепиковой.]
Рец.: С. Стойков. Българска диалектология. Второ попр. издание. София, 1968. 197 с. // ВЯ, 1969, № 4, с. 134—136. [Совм. с Г. К. Венедиктовым.]
- 1970 Памяти профессора Стойко Стойкова // ССл, № 3, с. 125—127.
Стойко Стойков (1912—1969) // ОЛА. М., с. 226—227. [Совм. с Р. И. Аванесовым.]
- 1971 Проблемы карпатского языкознания и ОЛА // Тезисы докладов и сообщений по вопросам диалектологии и истории языка. М., с. 26—29. [Совм. с Г. П. Клепиковой.]
- 1972 Проблемы интерференции языков карпато-дунайского ареала // Культура та побут населення Українських Карпат. Ужгород, с. 7—9.
Проблемы карпатского языкознания // Карпатская диалектология и ономастика. М., с. 3—15.
Ред.: Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1970. М., 342 с.
- 1973 Проблемы интерференции языков карпато-дунайского ареала в свете данных сравнительной диалектологии // Славянское языкознание: VII Международный съезд славистов. М., с. 25—41.
Рез.: VII Międzynarodowy kongres slawistów: Streszczenia referatów i komunikatów. Warszawa, s. 136.
Ред.: Л. Э. Калнынь. Опыт моделирования системы украинского диалектного языка: Фонологическая система. М., 338 с.
Ред.: Симпозиум по проблемам карпатского языкознания // Тезисы докладов и сообщений. М., 67 с.
- 1974 В памет на приятеля и другаря // В памет на професор Стойко Стойков. София, с. 15—19.
Интерференция языков карпатского ареала. М., 16 с.

Интерференция языков карпатского ареала // III Международный съезд по изучению стран Юго-Восточной Европы. Тезисы *Linguistique, littéraire, folklore, ethnographie, arts, droit et institutions*. Bucarest, t. 2, p. 11—12.

Рец.: Польские говоры в СССР. Минск, 1973, ч. I. Исследования и материалы. 1967—1969. 323 с.; ч. II. Исследования и материалы. 1969—1971. 215 с. // ССл, № 2, с. 89—91.

Ред.: Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1971. М., 167 с.

1976 Взаимодействие языков карпато-дунайского ареала // Карпатский сборник. М., с. 16—21.

Интерференция языков карпатского ареала // Балканские исследования: Проблемы истории и культуры. М., с. 202—228.

Процессы языковой интерференции на Карпатах и «Общекарпатский диалектологический атлас» // ССл, № 2, с. 63—69. [Совм. с Г. П. Клепиковой.]

Лингвистические аспекты карпатистики // ОЖДА. Лингвистические и этнографические аспекты. Кишинев, с. 5—10.

«Общекарпатский диалектологический атлас» и его восточно-романский аспект // Лимба ши литература молдовеняскэ. Кишинэу, № 2, с. 49—56. [Совм. с Р. Удлером.]

Ред.: Общекарпатский диалектологический атлас: Лингвистический и этнографический аспекты. Кишинев, 198 с.

Ред.: Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1974. М., 271 с.

1977 Общекарпатский диалектологический атлас // *Celokarpatský dialektologický atlas*. Bratislava, r. 26, s. 35—46.

Ред.: Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1975. М., 295 с.

1978 Итоги работы над «Общекарпатским диалектологическим атласом» и задачи XI Международной конференции по ОЖДА // Справочно-информационные материалы по ОЖДА. М., с. 3—8.

Общекарпатский диалектологический атлас. Принципы. Предварительные итоги // Славянское языкознание: VIII Международный съезд славистов. М., с. 27—41. [Совм. с Г. П. Клепиковой.]

Рез.: VIII Međunarodni slavistički kongres: Knjiga referata. Sažeci. I. A—K. Zagreb, s. 73.

Ред.: Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1976. М., 336 с.

Ред.: Справочно-информационные материалы по ОЖДА. М., 132 с.

- 1979 Задачи VII Международной конференции по «Общекарпатскому диалектологическому атласу» // Справочно-информационные материалы по ОҚДА. М., с. 4–10.
 О некоторых аспектах «Общекарпатского диалектологического атласа» // Prace językoznawcze. Warszawa: Kraków, z. 61, s. 9–17.
 Рец.: Atlas językowy Kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich. I–XV. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1964–1978 // ССл, № 4, с. 121–122.
 Ред.: Справочно-информационные материалы по ОҚДА. 2. М., 74 с.
- 1980 Из карпатского диалектологического атласа: к этимологии *grěxъ // Philologica. Vrno, ročn. 30, s. 31–35.
 Общекарпатский диалектологический атлас и проблемы сотрудничества лингвистов и этнографов // Carpatobalcanica, X, 1/2. Bratislava, s. 9–33. [Совм. с Г. П. Клепиковой.]
 Ред.: Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1976. М., 336 с.
- 1981 Ред.: Л. Э. Калнынь, Л. И. Масленникова. Сопоставительная модель фонологической системы славянских диалектов. М., 403 с.
 Ред.: Общекарпатский диалектологический атлас: Вопросник. М., 127 с.
 Ред.: Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1979. М., 359 с.
- 1982 Историко-культурные аспекты ареальной диалектологии (на материале «Общекарпатского диалектологического атласа») // Славянские культуры и мировой культурный процесс: Международная научная конференция. Тезисы докладов и сообщений. Минск, с. 13–15. [Совм. с Г. П. Клепиковой.]
 Ред.: Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1980. М., 366 с.
- 1983 К вопросу о членении болгарских диалектов // ВЯ, № 4, с. 10–18.
 «Общекарпатский диалектологический атлас» и некоторые проблемы южнославянского этногенеза // Славянское языковедение. IX Международный съезд славистов. М., с. 13–17. [Совм. с Л. А. Гиндиным и Г. П. Клепиковой.]
 Рец.: Le rôle des données de «L'Atlas dialectologique des Carpathes» pour l'étude des processus linguistiques et ethniques de l'aide carpatho-balkanique // IX Международный съезд славистов.

тов. Резюме докладов и письменных сообщений. М., с. 8.
[Совм. с Л. А. Гиндиным и Г. П. Клепиковой.]

1984 Историко-культурные аспекты лингво-географического изучения карпато-балканской зоны // Славянское и балканское языкознание. М., с. 36—38. [Совм. с Г. П. Клепиковой.]

Проблема славянизации Балкан и вопросы диалектного членения древнеболгарского языка // Античная балканистика: Карпато-балканский регион в диахронии. Предварительные материалы к международному симпозиуму. М., с. 4.

Ред.: Этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья: Лингвистика, история, археология. М., 279 с.

1985 Историко-культурные аспекты ареальной диалектологии (на материале «Общекарпатского диалектологического атласа») // Славянские культуры и мировой культурный процесс: Материалы Международной научной конференции ЮНЕСКО. Минск, с. 88—91. [Совм. с Г. П. Клепиковой.]

К вопросу о различных видах лингвистических атласов // Сборник за филологију и лингвистику. Нови Сад, књ. XXVII—XXVIII, с. 65—68.

О некоторых итогах и перспективах лингвистических исследований карпато-дунайского региона // Carpatobalcanica, XIV, 1—2. Bratislava, s. 79—102.

K niektorým záverom a perspektívam lingvistických výskumov Karpatsko-Dunajského regiónu // Slovenský národopis. Bratislava, № 4, s. 665—673. [Рез. на рус. и нем. яз.]

Ред.: Л. Э. Калнынь, Л. И. Масленникова. Опыт изучения слога в славянских диалектах. М., 191 с.

Ред.: Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1982. М., 320 с.

1986 Вклад А. М. Селищева в изучение русских диалектов (К 100-летию со дня рождения) // ВЯ, № 5, с. 14—22.

Размышления о славянской диалектологии // Славянское и балканское языкознание: Проблемы диалектологии. Категория посессивности. М., с. 3—10.

Ред.: Славянское и балканское языкознание. Проблемы диалектологии. Категория посессивности. М., 248 с.

1987 А. М. Селищев — славист-балканист. М., 112 с. [с. 27—31; с. 32—45; с. 45—55.]

1988 Общекарпатский диалектологический атлас: Некоторые предварительные итоги // Прилози, XIII/1. Скопје, с. 133—141.

- Предисловие // Общекарпатский диалектологический атлас. М., вып. 2, с. 8.
Ред.: Общекарпатский диалектологический атлас. М., вып. 2, 211 с.
Ред.: Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1984. М., 336 с.
- 1989 Лингвогеографическое изучение карпатской (карпато-балканской) зоны и проблема диахронической интерпретации «карпатизмов» // ОЛА. 1985—1987. М., с. 129—147. [Совм. с Г. П. Клепиковой.]
 Предисловие // Лексика в ОҚДА. М., с. 3—10. [Совм. с Г. П. Клепиковой.]
Ред.: Общеславянский лингвистический атлас. 1985—1987. М., 287 с.
Ред.: Лексика в ОҚДА. [I.] М., 144 с.
- 1990 Общеславянский лингвистический атлас (ОЛА). Критические заметки // ВЯ, № 6, с. 5—15.
 Некоторые итоги и перспективы работы над ОҚДА // Limba și literatura moldovenească. Chișinău, № 5.
- 1991 *Ред.*: Общекарпатский диалектологический атлас. 3. Warszawa, 184 s.
- 1992 К проблеме дифференциации славянского диалектного ландшафта // Славистические исследования. ИСБ РАН. М., с. 24—27. [Совм. с Г. П. Клепиковой.]
Ред.: Лексика в ОҚДА. II. ИСБ РАН. М., 144 с.
- 1993 [Выступление на:] Представление первых томов ОЛА научной общественности Москвы // ОЛА, Материалы и исследования. 1988—1990. М., с. 212—213.
 Проблемы дифференциации славянского диалектного ландшафта (по данным ОҚДА). М., 38 с. [Совм. с Б. Видоеским, Г. Клепиковой, П. Лизанцом, И. Рипкой, Я. Сятковским.]
 Проблемы дифференциации славянского диалектного ландшафта (по данным ОҚДА) // XI. medzinárodný zjazd slavistov. Zborník rezumé. Bratislava, s. 402—403. [Совм. с Б. Видоеским и др.]
 Кость Михальчук — учений, особістість // Проблеми сучасної ареалогії. Київ, с. 20—24.
Ред.: Общекарпатский диалектологический атлас. 4. Київ, 182 с.

- 1994 *Ред.*: Общекарпатский диалектологический атлас. 2. ИСБ РАН. М., 50 карт, коммент., 136 с.
- 1995 Итоги работы над «Общекарпатским диалектологическим атласом» (1973—1993) // ОЛА, Материалы и исследования. 1989—1991. М. [Совм. с Г. П. Клепиковой.] (В печати.)

Принятые в библиографии сокращения

БАН	Българска академия на науките.
БДС	Бюлетень диалектологического сектора ИРЯ АН СССР.
БЕз	Български език. София, 1951—, год. I—.
ВАН	Вестник АН СССР. М.
ВЯ	Вопросы языкознания. М., 1952—.
ДСИЯ	Доклады и сообщения Ин-та языкознания АН СССР. М.
Изв. ОЛЯ	Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. М.
ИСБ РАН	Институт славяноведения и балканистики Российской Академии наук.
ОКДА	Общекарпатский диалектологический атлас.
ОЛА	Общеславянский лингвистический атлас.
Славянская филология	Славянская филология. Сборник статей. М., 1953, вып. I—3. [АН СССР. Советский комитет славистов. IV Международный съезд славистов.]
СМБД	Статьи и материалы по болгарской диалектологии (ИСБ РАН). М.
ССл	Советское славяноведение. ИСБ РАН. М., 1956—.
УЗИС	Ученые записки Института славяноведения. М.

Научное издание

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СЛАВЯНСКОЙ ДИАЛЕКТОЛОГИИ. 4.

Dialectologia slavica

Сборник к 85-летию Самуила Борисовича Бернштейна

Утверждено к печати
Институтом славяноведения и балканистики РАН

Наборщики — *Е. Штофф, Н. Клешина*
Корректор — *Г. Остроухова*
Младший редактор — *О. Горбунова*
Редактор — *Н. Волочаева*

Оформление и верстка оригинал-макета
Н. Волочаевой

Издательство «Индрик»
Директор — *С. Григоренко*
Главный редактор — *Н. Волочаева*
Выпускающий редактор — *О. Климанов*

ЛР № 070644, выдан 26 октября 1992 г.

Формат 60×84 1/16. Гарнитура «Бодони». Печать офсетная.
24,0 п. л. Тираж 1 000 экз. Заказ № 3721

Отпечатано с оригинал-макета
в Типографии № 2 РАН
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., д. 6

DIALECTOLOGIA SLAVICA

ИССЛЕДОВАНИЯ
ПО СЛАВЯНСКОЙ
ДИАЛЕКТОЛОГИИ